

Джакомо Казанова Мемуары

В качестве предисловия публикуется очерк Стефана Цвейга «Эпоха великих авантюристов»

Эпоха великих авантюристов

I

Героическая эпоха авантюристов

Четверть века отделяет Семилетнюю войну от Французской революции, и все эти 25 лет над Европой стоит душное безветрие. Великие династии Габсбургов, Бурбонов и Гогенцоллернов устали воевать. Бюргеры безмятежно покуривают, пуская дым кольцами, солдаты пудрят свои косы и чистят ненужные уже ружья; измученные народы могут, наконец, немного передохнуть, но князья скучают без войны. Они скучают смертельно, все эти германские, итальянские и прочие князьки в своих крохотных резиденциях, и им хочется, чтобы их забавляли. Да, ужасно скучно этим беднягам, всем этим мелким в их призрачном величии курфюрстам и герцогам, в их свежестроенных, еще сыровато-холодных дворцах в стиле рококо, несмотря на всякие потешные сады, фонтаны и оранжереи, зверинцы, парки с дичью, галереи и кунсткамеры. На выжатые кровью деньги и с проворно разученными у парижских танцмейстеров манерами они, как обезьяны, подражают Трианону и Версалию и играют в «большую резиденцию» и «короля-солнце». От скуки они становятся даже покровителями искусств и интеллектуальными гурманами, переписываются с Вольтером и Дидро, собирают китайский фарфор, средневековые монеты и барочные картины, заказывают французские комедии, зазывают итальянских певцов и танцоров — и только властелину Веймара удастся пригласить к своему двору нескольких немцев Шиллера, Гете и Гердера. В общем же, кабаньи травли и пантомимы на воде сменяются театральными дивертисментами — ибо всегда в те моменты, когда земля чувствует усталость, особую важность приобретает мир игры — театр, мода и танец.

И князья стараются перещеголять друг друга в денежных тратах и дипломатических ухищрениях, чтобы отбить друг у друга наиболее интересных развлекателей, наилучших танцоров, музыкантов, певцов-органистов. Они переманивают друг у друга Глюка и Генделя, Метастазиио и Гассе, так же, как каббалистов и кокоток, фейерверкеров и охотников на кабанов, либреттистов и балетмейстеров, ибо каждый из этих князьков хочет иметь при своем маленьком дворе самое новое, самое лучшее и самое модное — в сущности, скорее назло мелкопоместному соседу, чем себе на пользу. И вот у них — церемониймейстеры и церемонии, каменные театры и оперные залы, сцены и балеты, — недостает лишь еще одного, чтобы разогнать скуку захолустного города и придать настоящий светский вид безнадежно приевшимся физиономиям неизменных шестидесяти дворян, а именно — знатных визитеров, интересных гостей, космополитических иностранцев- живую газету, — словом, несколько изюминок в квашеном тесте, маленького ветерка из большого света в душном воздухе уместившейся в тридцати улочках резиденции.

И лишь только об этом распространится молва, — глядь, из невесть каких уголков и укромных местечек уже катят всякие искатели приключений под сотнями личин и одеяний, ночь спустя они подкатывают в почтовых экипажах и английских колясках и широкой рукой снимают самую элегантную анфиладу комнат в самой лучшей гостинице. На них фантастические мундиры каких-нибудь индостанских или монгольских армий, и они носят громкие фамилии, которые на деле являются такой же имитацией, как и фальшивые камни на пряжках их туфель. Они говорят на всех языках, твердят о своем знакомстве со всеми властителями и выдающимися людьми, они будто бы служили во всех армиях и учились во

всех университетах. Их карманы наполнены проектами, языки трещат смелыми обещаниями; они замышляют лотереи и дивертисменты, государственные союзы и фабрики, они предлагают женщин, кастратов и ордена, и хотя сами они не имеют в кармане и десяти золотых монет, они всем и всякому шепчут на ухо, что обладают тайной алхимиков. При каждом дворе они изошряются в новых художествах; тут они выступают под таинственным покрывалом франкмасонов и розенкрейцеров, там, у сребролюбивого владельца, разыгрывают знатоков химической кухни и трудов Парацельса; сластолюбивому они предлагают свои услуги в качестве сводников и поставщиков с изысканным подбором товара, к любителю войн они являются в качестве шпионов, к покровителям наук и искусств — в качестве философов и рифмоплетов. Суеверных они ловят гороскопами, легковых — проектами, игроков — краплеными картами и наивных — великосветской эlegantностью; но все это неизменно окутывается непроницаемо-шумящей оболочкой странности и тайны, непостижимой и тем самым вдвойне занимательной. Как блуждающие огоньки, внезапно вспыхивающие и манящие в трясину, мерцают они и поблескивают то тут, то там в неподвижном и затхлом воздухе резиденций, появляясь и исчезая в призрачной пляске обмана. При дворах их принимают, забавляются ими, не уважая их, и столь же мало интересуясь подлинностью их дворянства, как обручальными кольцами их жен и девственностью сопровождающих их девиц. Ибо в этой аморальной, отравленной упадочной философией атмосфере приветствуют без дальнейших расспросов всякого, кто приносит развлечение или хотя бы на час смягчает скуку, эту страшную болезнь властителей. Их охотно терпят наравне с девками, пока они забавляют и пока обирают не слишком нагло. Иногда эта свора артистов и мошенников получает сиятельный пинок ногой в зад, иногда они выкатываются из бального зала в тюрьму или даже на галеры, подобно директору императорских венских театров Аффлизио. Некоторые, правда, присасываются крепко, становятся сборщиками податей, любовниками куртизанок или даже, в качестве услужливых супругов придворных блудниц, настоящими дворянами и баронами. Обычно они не ждут, чтобы запахло скандалом, ибо все их обаяние основано лишь на новизне и таинственности; когда их шулерство становится слишком наглым, когда они слишком глубоко залезают в чужие карманы, когда слишком надолго устраиваются по-домашнему при каком-нибудь дворе, вдруг может явиться кто-нибудь, кто поднимет их мантию и разоблачит под ней клеймо вора или рубцы каторжника. Для их сомнительных делишек полезна частая перемена воздуха, и поэтому они непрестанно разъезжают по Европе, эти искатели счастья, эти коммивояжеры темного ремесла, эти цыгане, странствующие от двора к двору, от ярмарки к ярмарке.

И так на протяжении XVIII столетия вертится все одна и та же карусель мошенников, с одними и теми же фигурами — от Мадрида до Петербурга, от Амстердама до Прессбурга, от Парижа до Неаполя. Пытаются говорить о случайности, когда Казанова встречает за каждым игорным столом, при каждом дворе, все тех же мошенников-собратий — Тальвиза, Аффлизио, Шверина, Сен-Жермена*; но для посвященных его непрестанное странствование означает скорее убежание, нежели развлечение. И все они вместе составляют единую сплоченную родню, единый орден авантюристов, единую масонскую общину без лопатки и прочих символов. Всюду, где только они встречаются, один тянет другого, предлагает себя в партнеры за игорным столом при обирании глупцов, один проталкивает другого в знатное общество и, признавая его, удостоверяет свою собственную личность. Они меняют женщин, платье, имена — все, за исключением одного: профессии. Все эти актеры, танцоры, музыканты, искатели счастья, блудницы и алхимики, попрошайничающие по дворам, являются, совместно с иезуитами и евреями, единственно интернациональным элементом в мире. Стоя между оседлым узколобым мелкобуржуазным столбовым дворянством и еще несвободным тупым бюргерством, не принадлежа ни к тому, ни к другому лагерю, члены этого ордена легко и ловко шмыгают между ними, блуждают по странам и классам, двусмысленные и непостижимые, мародеры без флага и отечества, потомки флибустьеров и конквистадоров. С ними начинается новая эпоха, новое искусство эксплуатации: они уже не

обирают незащищенных и не грабят на большой дороге почтовые экипажи, а надувают тщеславных и облегчают кошельки легкомысленных. Вместо физической смелости у них присутствие духа, вместо свирепого неистовства — ледяная наглость, вместо грубого разбойничьего кулака — тонкая игра на нервах и психологии. Этот новый вид плутовства заключил союз с космополитизмом и изысканными манерами, он отказался от старого способа грабежа при помощи кинжала и поджога, заменив его краплеными картами и магическими тинктурами, галантной улыбкой и дутыми векселями. Это еще все та же отважная порода, которая на парусах отправлялась в Новую Индию и мародерствовала во всех армиях, которая не хочет влачить свою жизнь на буржуазный, преданно-лакейский лад, а предпочитает наполнять карманы одним махом, пренебрегая всеми опасностями. Только метод стал более утонченным, а вместе с ним и облик. На смену неуклюжим кулакам, спившимся рожам, неотесанным манерам старых вояк пришли руки в перстнях и пудренные парики над беспечным челом. Они глядят в лорнеты и вертятся в пируэтках, словно танцоры, изыскиваются, как актеры, и пускают пыль в глаза, как архи-философы; смело отворачивая беспокойный взор, они делают вольт за игорным столом и в остроумной беседе всучают женщинам любовные напитки и поддельные алмазы. Надо признать, что в каждом из них есть нечто одухотворенное, что делает их привлекательными, а некоторые из них вырастают до гениального. Вторая половина XVIII столетия является их настоящей героической эпохой, их золотым веком, их классическим периодом. Подобно тому, как раньше, при Людовике XV, французские поэты объединяются в блестящую плеяду, а позднее, в Германии, чудесное мгновение Веймара воплотило творческие стремления гения в немногие, но бессмертные фигуры, так и тогда над всей эпохой победоносно сияет яркое семизвездие славных аферистов и бессмертных искателей приключений. Вскоре они уже не удовлетворяются запусканьем рук в княжеские карманы — они нагло и величаво вмешиваются в ход событий и вертят исполинскую рулетку мировой истории. Вместо того, чтобы с согбенной спиной лакействовать и прислуживать, они, гордо подняв голову, начинают втираться в дела двора и управления. И особенно характерным для второй половины XVIII века является приبلудный ирландец Джон Лоу*, который своими ассигнациями стирает в порошок французские финансы. Д'Эон, гермафродит, человек сомнительного происхождения и сомнительной славы, руководит международной политикой. Маленький круглоголовый барон Нейгоф становится настоящим королем Корсики, хотя, правда, и кончает свою карьеру в тюрьме из-за долгов. Калиостро*, деревенский парень из Сицилии, за всю свою жизнь не научившийся по-настоящему грамоте, видит весь Париж у своих ног и сплетает из пресловутого ожерелья петлю королевской монархии. Старик Тренк*, напоротившийся в конце концов на гильотину, как истый трагик, разыгрывает в красной шапке героя свободы. Сен-Жермен, этот маг без возраста, покоряет французского короля и теперь еще продолжает морочить усердных ученых неразгаданной тайной своего рождения. Все они обладают большим могуществом, нежели наиболее могущественные властелины, они ослепляют ученых, обольщают женщин, грабят богачей и, не имея должности и не зная ответственности, тайно подергивают ниточки политических марионеток.

И последний, однако, не худший из них — Джакомо Казакова, историограф этого цеха, который рисует их всех занимательнейшим образом, рассказывая о самом себе в сотнях подвигов и авантюр, — завершает эту семерку незабываемых и незабытых, из которых каждый в отдельности более прославлен, чем все поэты, более влиятелен, чем все современные им политики, — кратковременные властелины уже обреченного на гибель мира. Ибо всего только 30 или 40 лет длится героическая эпоха этих крупных гениев наглости и мистического актерства в Европе, а затем она изживает себя через наиболее законченный свой тип, наиболее совершенный свой идеал — поистине демонического авантюриста. Ибо Наполеон действует всерьез там, где эти мелкие шарлатаны только играли, он величавым жестом захватывает то, чем они только лакомились и к чему лишь притрагивались. В его лице авантюризм проникает из княжеских передних в тронный зал; он завершает и тем самым заканчивает восхождение преступного к высоте власти: в его

единственной фигуре авантюризм на короткий час мировой истории надевает себе на голову корону Европы.

II

Молодой щевалье де Сейнгаль

В парке замка Сан-Суси, в 1764 г., Фридрих Великий, вдруг останавливаясь и разглядывая Казанову.

— Знаете ли, вы очень красивый человек!

Театр в небольшом столичном городе. Певица только что закончила блестящей фиоритурой свою арию, аплодисменты посыпались градом, и теперь, во время начинающихся постепенно речитативов, напряженное внимание ослабевает. Франты навешают логи, дамы рассматривают друг друга в лорнеты, едят серебряными ложечками локомые желе и апельсинный шербет: нужды нет, что Арлекин тем временем выкидывает на сцене свои гротески с пируэтирующей Коломбиной. Но вдруг все взоры с любопытством устремляются к запоздавшему незнакомцу, который смело и вместе с тем небрежно входит в партер с непринужденностью настоящего знатного человека. Атлетическая фигура разодета пышно и богато, бархатное платье пепельного цвета раскрывается над изящно вышитым брокатным жилетом и драгоценными кружевами, золотые петлицы оттеняют темные складки пышной одежды от самых пряжек на брюссельском жабо и вплоть до шелковых чулок. Рука небрежно несет нарядную шляпу с белым пером; тонкий, сладкий запах розового масла или новомодной помады исходит от знатного незнакомца, который; равнодушно следует через весь партер до первого ряда и беспечно прислоняется там к барьеру, надменно опирая покрытую перстнями руку на усыпанную драгоценными камнями шпагу английской стали. Словно не замечая обращенного на него всеобщего внимания, он поднимает золотой лорнет, чтобы с деланным равнодушием оглядеть логи. А тем временем из ряда в ряд по креслам легким шушуканием передается любопытство провинциального городка: кто это князь, богатый иностранец? Головы сближаются, почтительное перешептывание имеет предметом обрамленный алмазами орден, который болтается у него на груди на ярко-красной ленте, настолько осыпанный блестящими камешками, что никто уже не узнает эту дрянную дешевку — Шпорный Крест папы римского. Певцы на сцене сразу чувствуют, что внимание отвлечено в другую сторону; речитативы льются несвязно, а танцовщицы, вышмыгнув из-за кулис, высматривают поверх скрипок и виол, не занесло ли им счастье герцога-толстосума на прибыльную ночь. Но прежде чем все эти сотни людей в зале успели разгадать загадку этого незнакомца и определить его происхождение, женщины в ложах заметили уже в смущении нечто другое: необычайную красоту этого неизвестного мужчины, красоту и поразительную мужественность. Его рослая фигура дышит мощью, плечи квадратны, мясистые и мускулистые руки цепки, во всем напряженном, стальном мужском теле ни одной изнеженной линии, так стоит он перед ними, слегка наклонив голову, словно готовый ринуться бык. В профиль его лицо напоминает римскую монету, настолько резко и чеканно выделяется каждая отдельная черта на темной меди этой головы. Из-под каштановых, любовно завитых и причесанных искусной рукой камердинера волос прекрасной линией вырисовывается лоб, которому мог бы позавидовать любой поэт, нос изгибается дерзким, смелым крючком, под крепкой костью подбородка выпукло поднимается кадык в два ореха величиной: положительно, каждая черта этого лица дышит напором и победной решимостью. И. только губы, очень алые и чувственные, изгибаются, мягкие и влажные как мякоть граната, открывая белые ядра зубов.

Теперь красавец медленно обращает профиль к темному зрительному залу, под ровными, округлыми густыми бровями из черных зрачков сверкает нетерпеливый и беспокойный взор, быстро перескакивая от одной точки к другой. Так настоящий охотник высматривает добычу, готовый одним прыжком броситься на намеченную жертву. Но пока что — взор этот только мерцает, не загорелся еще ярким пламенем, а медленно ошупывает

ряды лож и, минуя мужчин, оглядывает, как продажный товар, женщин. Незнакомец рассматривает их одну за другой, выбирая, как знаток, и чувствуя, что и они рассматривают его; при этом слегка приоткрываются сластолюбивые губы, и зарождающаяся улыбка этого сочного рта южанина теперь впервые обнаруживает белоснежную, сытую, чувственную челюсть. Пока эта улыбка еще не имеет в виду какую-либо одну женщину, пока она еще обращена ко всем — к женщине как таковой. Но вот он приметил в одной из лож знакомую: его взор сразу становится сосредоточенным; бархатный и вместе с тем искрящийся блеск сразу заливаает глаза, которые только что глядели нагло-вопрошающе, левая рука отделяется от шпаги, правая хватает тяжелую шляпу с перьями, и так он подходит к ней, с еле уловимым приветом на устах. Мускулистая шея грациозно сгибается для поцелуя над протянутой рукой, он тихо говорит ей что-то. И по смятению и смущению дамы ясно заметно, как нежно и томно звучит для ее слуха этот певучий голос; затем она оборачивается и представляет незнакомца своим спутникам: «шевалье де Сейнгаль». Поклоны, церемонии, учтивости, гостю предлагают место в ложе, от которого он скромно отказывается; обмен любезностями переходит, наконец, в беседу.

Постепенно Казанова возвышает голос, направляя слова через головы окружающих. Он по-актерски придает гласным мягкую певучесть, а согласным — ритмическую раскатистость. И все слышнее раздается его голос из рамок ложи, громкий и настойчивый, ибо он хочет, чтобы насторожившиеся соседи слышали, как остроумно и свободно разговаривает он по-французски и по-итальянски, как ловко цитирует Горация... Как бы невзначай кладет он руку в перстнях на барьер ложи таким образом, чтоб издалека можно было видеть дорогие кружевные манжеты и, прежде всего, блеск громадного солитера на его пальце. Теперь он предлагает кавалерам из усыпанной алмазами табакерки мексиканский нюхательный табак «Мой друг, испанский посланник, прислал мне его вчера с курьером», доносятся его слова в соседнюю ложу, а когда один из кавалеров вежливо восхищается миниатюрой на табакерке, он бросает небрежно, но достаточно громко, чтобы его слова распространились по залу: «Подарок моего друга и милостивого государя, кельнского курфюрста».

Так он болтает, по-видимому, совершенно небрежно; однако, рисуясь, хвастун в то же время зорко следит глазами хищной птицы за производимым им впечатлением. Да, все заняты им, он ощущает на себе любопытство женщин, чувствует, что вызвал внимание, изумление и восхищение, и все это придает ему еще больше смелости. Ловким маневром он перебрасывает разговор в соседнюю ложу, где сидит фаворитка герцога, и благосклонно-он это чувствует- слушает его прекрасную французскую речь. И с почтительным жестом, рассказывая о какой-то красавице, он рассыпает перед ней галантности, которые она принимает с ответной улыбкой. Теперь его друзьям не остается ничего другого, как представить шевалье высокопоставленной даме. И дело уже в шляпе. Завтра он будет обедать с высшими представителями города; завтра вечером он в одном из дворцов предложит устроить маленькую игру в фараон и будет обирать их, завтра ночью он будет спать с одной из этих блестящих, раздетых в своих платьях женщин — и все это благодаря своей отважной, уверенной и энергичной хватке, своей воле к победе и мужественной, открытой красоте смуглого лица, которые дали ему все: улыбку женщин и солитер на пальце, усыпанную бриллиантами часовую цепочку и золотые петлицы, кредит у банкиров и дружбу дворян и то, что прекраснее всего: свободу в бесконечном многообразии жизни.

Тем временем примадонна приготовилась начать новую арию. Казанова, уже приглашенный обвороженными его светским разговором кавалерами, уже милостиво позванный к утреннему приему фаворитки, возвращается, после глубокого поклона, на свое место, садится и, опираясь левой рукой на шпагу, склоняет красивую голову, чтобы, как знаток, слушать пение. За его спиной, из ложи в ложу, из уст в уста, шепотом несутся любопытный вопрос и ответ: «Шевалье де Сейнгаль!». Подробностей о нем не знает никто, — ни откуда он пришел, ни чем он занимается, ни куда направляется; но имя его жужжит и гудит по всему темному и любопытному залу, забрасывается, танцуя, как

невидимое, мелькающее пламя, навстречу на сцену, к охваченным таким же любопытством певицам. И вдруг маленькая венецианская танцовщица заливается смехом: «Шевалье де Сейнгаль? Ах, этот обманщик! Да ведь это же Казанова, сын Буранеллы, маленький аббат, который пять лет тому назад ловко украл девственность у моей сестры, придворный шут старика Брагадина, хвастун, дрянчуга и авантюрист!» Но она, по-видимому, не слишком возмущена его проделками, ибо из-за кулис она подмигивает ему, как старому знакомому, и многозначительно подносит кончики пальцев к губам. Он замечает это, узнает ее, улыбается и быстро соображает, что она не испортит ему игры со знатными дураками, а предпочтет поспать с ним сегодня ночью.

III

Последние дни старого авантюриста

Все изменилось теперь, увы! — и я не присутствую, сам я уже не тот и не думаю, что еще существую: я — был.

(Латинская надпись на портрете Казаковы в старости).

1797–1798 год. Кровавая метла революции вымела вон галантный век, головы христианнейшего короля и королевы лежат в корзине гильотины, и десять дюжин принцев и князьков, совместно с венецианскими инквизиторами, прогнаны к черту маленьким корсиканским генералом. Европа читает уже не «Энциклопедию», Вольтера и Руссо, а отрывистые бюллетени с театра военных действий, не слушает больше итальянских арий, а трепещет перед пушками. Великий Пост навис над Европой, — карнавалам и рококо наступил конец, нет больше кринолинов и пудренных париков, серебряных пряжек на туфлях и брюссельских кружев; никто не носит больше бархатного платья — оно сменилось мундиром и бюргерской одеждой. Но, странно, — кто-то забыл о времени. Это какой-то престарелый человечек там, на севере, в самом темном закоулке Богемии. Как рыцарь Глюк в легенде Гофмана, как какая-то цветистая птица, старик в бархатном жилете с позолоченными пуговицами, в вылинявшем и пожелтевшем кружевном воротнике, шелковых чулках с узорчатыми подвязками и в парадной шляпе с белым пером, спускается тяжелой поступью среди белого дня из замка Дукс по неровной булыжной мостовой в город. По старому обычаю смешной старик еще носит косу, хотя она и напудрена плохо (нет больше лакеев!), а дрожащая рука важно опирается на старомодную трость с золотым набалдашником, какие носили при королевском дворе в лето

1730... Да, это Казанова или, вернее, его мумия, он все еще жив, этот старый авантюрист, несмотря на нужду, заботы и сифилис. Кожа стала пергаментной, крючковатый нос выступает, как птичий клюв, над дрожащим, слюнявым ртом, густые брови поседели и стали щетинистыми; все это дышит уже затхлым запахом старости и тления, высыханием в желчи и книжной пыли. В одних только глазах, черных, как смола, еще живет былое беспокойство, остро и зло выглядывают они из-под полузакрытых век. Но он недолго смотрит по сторонам, он только сердито брюзжит и ворчит про себя, ибо находится в дурном настроении. Да, Казанова никогда уже не бывает в духе с тех пор, как судьба выбросила его на эту богемскую свалку. К чему поднимать глаза — каждый взгляд был бы слишком большой честью для этих глупых ротозеев, этих широконосых немецко-богемских картофельных рож, которые никогда не высовывают носа дальше деревенской грязи и даже не выполняют своего долга приветствовать его, шевалье де Сейнгаль, который в свое время всадил пулю в живот польскому гофмаршалу и получил из собственных рук папы римского Золотые Шпоры. Но еще досаднее то, что и женщины уже не уважают его больше, а прикрывают руками рот, чтобы сдержать раскаты громкого деревенского хохота. И им есть над чем посмеяться, ибо служанки рассказали попу, что старый греховодник охотно залезает им рукой под юбки и на своем тарабарском языке шепчет в уши всякие глупости. Но все же, эта чернь все-таки лучше, чем проклятая лакейская сволочь, на произвол которой он отдан дома, эти «ослы, пинки которых он вынужден переносить», — и больше всего — от домоправителя

Фельткирхиера и его присного Видерхольта. Канальи! Вчера они опять нарочно пересолили ему суп и сожгли макароны, они вырвали его портрет из изокамерона и повесили его в отхожем месте, они осмелились, эти негодяи, поколотить маленькую собачку с черными пятнами, Мелампигу, подаренную ему графиней Роггендорф, только за то, что прелестный зверек отправил естественную потребность в комнатах. Ах, куда удалились те золотые времена, когда можно было просто посадить в колодки подобную лакейскую сволочь и переломать ей ребра вместо того, чтобы терпеть подобную наглость! Но нынче из-за этого Робеспьера хамье подняло голову, проклятые якобинцы изгадили всю эпоху, и сам ты уже только старый, бедный беззубый пес. Что толку сетовать, ворчать и брюзжать целый день, лучше всего наплевать на весь этот сброд, подняться наверх, в свою комнату, и читать Горация.

Но сегодня нет места всем этим печальным размышлениям, — мумия торопливо бежит по комнатам, как подергиваемая марионетка. Она облеклась в старое придворное платье, прицепила орден и хорошенько почистилась щеткой, чтобы удалить малейшую пылинку. Ибо господин граф дали знать, что приедут сегодня, их милость своей персоной придут из Теплица и привезут с собой принца де Линя и еще несколько благородных господ; за столом они будут беседовать по-французски, и завистливая лакейская банда, скрежеща зубами, должна будет прислуживать, подавать ему тарелки, сгибаясь в три погибели, а не швырять ему на стол, как вчера, перепорченные и изгаженные объедки, как бросают кость собаке. Да, сегодня, во время обеда он будет сидеть за большим столом вместе с австрийскими кавалерами, умеющими еще ценить утонченный разговор, и почтительно слушать философа, которого изволил уважать сам Вольтер и которого когда-то удостоивали своего внимания императоры и короли. «А как только дамы удалятся, господин граф и господин принц, вероятно, самолично попросят меня прочесть им что-нибудь из известного манускрипта, да, попросят, господин Фельткирхнер, поганая рожа вы такая, высокорожденный господин граф Вальдштейн и господин фельдмаршал принц де Линь будут просить меня, чтобы я опять прочел им отрывок из моих любопытнейших приключений... И я это, может быть, и сделаю — может быть ибо я ведь не слуга господина графа и не обязан слушаться его, я не принадлежу к лакейскому сброду, я — гость и библиотекарь и стою с ними на равной ноге, — ну, да вы ничего этого не понимаете, якобинская сволочь!.. Но парочку анекдотов я все же им расскажу, черт возьми! Парочку анекдотов в восхитительном жанре моего учителя, господина Кребильона, или парочку венецианских — с перцем и солью; ведь мы, дворяне, будем между собой и мы хорошо разбираемся в оттенках. Они будут смеяться и пить черноватое крепкое бургундское вино, как при дворе Его христианнейшего Величества, будут беседовать о войне, алхимии и книгах, а прежде всего — слушать рассказы старого философа о светских делах и о женщинах». Возбужденно шмыгает по отпертым залам маленькая, старая, высохшая злая птица, с глазами, ссеркающими злобой и отвагой. Вытирает обрамляющие орденский крест стразы (настоящие камни уже давно проданы английскому жиду), тщательно пудрит волосы и упражняется перед зеркалом (с этими невежами забудешь всякие манеры!) в старомодных реверансах и поклонах, какие были приняты при дворе Людовика XV. Правда, спина уже порядочно хрустит: не безнаказанно тряслась старая тачка семьдесят три года во всех почтовых каретах вдоль и поперек Европы, а женщины стоили ему бог знает сколько силы! Но там, наверху, в башке — там, по крайней мере, еще не испарилось остроумие, он еще сумеет позабавить этих господ и придать себе весу в их глазах. Круглым и замысловатым, немного дрожащим почерком переписывает он на чуть-чуть шершавом листе дорогой бумаги приветственные стишки на французском языке для принцессы де Рекке и разрисовывает буквы высокопарного посвящения на своей новой комедии для любительского театра: «Да, даже здесь, в Дуксе, мы еще не разучились держать себя подобающим образом!» И, действительно, когда, наконец, подкатывают кареты, и он, сгорбившись, сходит вниз по крутым ступеням, тяжело ступая своими скрюченными ногами, — господин граф и его гости небрежно бросают слугам шапки, плащи и шубы, но его они обнимают по дворянскому обычаю, представляют незнакомым господам в качестве

прославленного шевалье де Сейнгаля, превознося его литературные заслуги, и дамы польщены видеть его рядом с собой за столом.

Блюда еще не убраны, трубки еще идут вкруговую, а принц уже справляется — совсем как он предвидел — об успехах беспримерно увлекательной истории его жизни, и кавалеры и дамы в один голос просят его прочесть им главу из этих мемуаров, которые, несомненно, приобретут громкую известность. Как отказать в каком-либо желании любезнейшему графу, его милостивому благодетелю? Господин библиотекарь поспешно взбирается наверх, в свою комнату, и берет из пятнадцати фолиантов тот, в который он уже предусмотрительно вложил шелковую ленту: главный, наиболее выдающийся эпизод — один из немногих, который не должен чуждаться присутствия дам, рассказ о его бегстве из свинцовых карцеров Венеции. Кајс часто и кому только не читал уже он эту несравненную авантюру: курфюрстам баварскому и кельнскому, в кругу английских дворян и при варшавском дворе, но пусть они увидят, что Казанова умеет рассказывать иначе, нежели этот скучный прусса'к, господин фон Тренк, из-за приключений которого теперь поднимают столько шума. Ибо он недавно вставил в рассказ несколько новых эффектов — чудесные неожиданные осложнения, — и в конце — великолепную цитату из божественного Данте. Бурные аплодисменты награждают его за чтение, граф обнимает его и при этом левой рукой тайно сует ему в карман сверток дукатов, которые ему, черт возьми, приходится весьма кстати, ибо если его и забывает весь мир, то кредиторы преследуют его даже и здесь.

Но, увы, на другой день лошади уже нетерпеливо звякают сбруей, кареты ждут у ворот, ибо высокие особы уезжают в Прагу, и хотя господин библиотекарь и делал трижды тонкие намеки на то, что у него в Праге много неотложных дел, его все-таки никто не берет'с собой. Он вынужден остаться в огромном, холодном, с гуляющими сквозняками, каменном ящике Дукса, отданный в руки наглого богемского сброда — лакеев, которые, едва только улеглась пыль за колесами господина графа, опять начинают свое нелепое зубоскальство, растягивая рот до ушей. Всюду одни варвары, нет больше никого, кто умел бы разговаривать по-французски и по-итальянски об Ариосто и Жан-Жаке, невозможно же вечно писать письма этому заносчивому, погрязшему в деловых актах жеребцу — господину Опицу в Часлове, или тем немногим милостивым дамам, которые еще устаивают его чести переписываться с ним. Затхло и сонно скука, как серый дым, снова ложится над необитаемыми комнатами, и забытый вчера ревматизм с удвоенной свирепостью дергает ноги. Казанова угрюмо снимает придворное платье и надевает на мерзнувшие кости толстый турецкий шерстяной халат, угрюмо подползает он к единственному приюту воспоминаний — письменному столу, очинённые перья ждут его рядом с кипой больших белых листов, в ожидании шелестит бумага. И вот он, вздыхая, садится и дрожащей рукой — благодатная, подстегивающая его скука! — продолжает писать историю своей жизни.

Ибо за этим иссохшим лбом, за этой мумифицированной кожей, живет, как белое ядро ореха за костяной скорлупой, свежая и цветущая гениальная память. В этом маленьком костном пространстве между лбом и затылком сохранилось еще нетронуту и точно все, чем когда-то алчно завладевали в тысячах авантур эти сверкающие глаза, эти широко дышащие ноздри, эти жесткие, жадные руки, — и распухшие от ревматизма пальцы, которые водят гусиным пером в течение тринадцати часов в день («тринадцать часов, а они проходят для меня, как тринадцать минут!»), еще помнят о всех атласных женских телах, которые они когда-то с наслаждением ласкали. На столе в пестром беспорядке лежат пожелтевшие письма этих прежних возлюбленных, записки, локоны, счета и сувениры — и как над потухшим пламенем еще серебрится дым, так из поблекших воспоминаний подымается ввысь невидимое облако нежного благоухания. Каждое объятие, каждый поцелуй — «le plaisir de se souvenir de ses plaisirs». «Наслаждение вспоминать свои наслаждения» (франц.).

Глаза старого ревматика блестят, губы дрожат от увлечения и возбуждения, он шепчет вновь придуманные слова и наполовину воскресшие в памяти диалоги, невольно подражая былым голосам, и сам смеется собственным шуткам. Он забывает еду и питье, бедность и несчастье, унижение и бессилие, все злополучие и всю отвратительность старости,

забавляясь в мечтах перед зеркалом своих воспоминаний. По его зову перед ним встают улыбающиеся тени-Анриетта, Бабетта, Тереза, — и эти, вызванные им к жизни духи дают ему, может быть, больше наслаждения, чем пережитая когда-то действительность. И так пишет он и пишет, без усталости, вновь переживая, с помощью пера и пальцев, бывшие авантюры, бродит взад и вперед, декламирует, смеется и не помнит себя больше.

Перед дверью стоят чурбаны-лакеи и перекидываются грубыми шутками. «С кем он забавляется там, в комнате, этот старый французский дурак?» Смеясь, они указывают пальцами на лоб, намекая на его чудачество, с шумом спускаются вниз, к попойке, и оставляют старика одного в его светелке. Никто на свете не помнит о нем больше — ни близкие, ни дальние. Живет он, старый сердитый ястреб, там, на своей башне в Дуксе, как на вершине ледяной горы, безвестный и забытый, и когда, наконец, на исходе июня 1798 г., разрывается старое дряхлое сердце, и жалкое, когда-то пламенно обнимаемое сотнями женщин тело зарывают в землю, для церковной книги остается неизвестной его настоящая фамилия. «Казаней, венецианец» — вносится в нее неправильное имя и «восемьдесят четыре года от роду» — неточный возраст: настолько незнакомым стал он для окружающих. Никто не заботится о его могиле, никому нет дела до его сочинений, забытым тлеет его прах, забытыми тлеют его письма, и забытыми странствуют где-то по равнодушным рукам томы его труда.

Как с хрипом внезапно останавливаются запыленные, заржавелые часы с курантами, так в 1798 г. остановилась эта жизнь. Но четверть века спустя она заявляет о себе снова.

Мир прислушивается, удивляется, изумляется, вновь охваченный восхищением и возмущением: мемуары Казаковы вышли в свет, и с тех пор старый авантюрист живет вновь — всегда и всюду.

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Детство

Джакомо Казанова, умерший в глубокой старости, сражался во Франции, командуя полком у Фарнезе, против короля Наварры, будущего Генриха IV Французского. Он оставил в Париже сына, который женился на Терезе Копти. Родившийся у этой четы Джакомо в 1680 году взял за себя Анну Ралли и прижил с ней двоих сыновей — Джованни-Батисто и Гаэтано-Джузеппе-Джакомо. Старший ушел из Пармы в 1712 году и более не вернулся; младший покинул родной дом в 1715 году в возрасте девятнадцати лет.

Все это я нашел в капитуляриуме моего отца, дальнейшее я узнал из уст моей матери.

Гаэтано-Джузеппе-Джакомо, расставшись с семьей, попал в конце концов в труппу комедиантов, дававшую спектакли в театре Сан-Самуэле в Венеции.

Напротив дома, где он квартировал, проживало семейство башмачника Джеромо Фарузи, состоявшее из самого хозяина, его жены Марции и единственной дочки Дзанетты. Дзанетте было 16 лет, и она была совершенной красавицей. Молодой комедиант влюбился в девушку, сумел привлечь ее благосклонное внимание и склонить к побегу. Это было единственное средство заполучить ее, так как о родительском согласии говорить не приходилось: в глазах Марции, а тем более Джеромо, комедиант являл собой омерзительную фигуру. Молодые влюбленные, снабдившись нужными бумагами, предстали в сопровождении двух свидетелей перед венецианским патриархом, который и благословил их брак. Марция, мать Дзанетты, долго сокрушалась по этому поводу, а отец даже умер от огорчения. Я родился ровно через девять месяцев после этого брака, 2 апреля 1725 года.

Уже на следующий год я был отдан на попечение своей бабки по матери. Та примирилась с замужеством дочери, узнав об обещании моего отца не понуждать свою супругу подниматься на сцену. Такие обещания всегда дают женящиеся на мещанках актеры, но никогда их не выполняют, еще и потому, что сами жены не настаивают на верности слову. Впрочем, моя мать может быть довольна судьбой, — сделавшей ее актрисой, ибо, когда через девять лет она овдовела, сцена оказалась единственным средством, позволившим ей

поддерживать существование своих шестерых детей и дать им воспитание.

Мне исполнился, стало быть, год, когда отец, оставив меня в Венеции, отправился актерствовать в Лондон. В этом городе моя мать впервые поднялась на сцену и там же, в 1727 году, произвела на свет моего брата Франческо, знаменитого баталиста, обосновавшегося впоследствии в Вене и окончившего свои дни в том же городе в 1783 году.

В конце 1728 года мои родители возвратились в Венецию и мать, успевшая уже стать актрисой, осталась ею.

Так мы подошли к началу моего существования как существа разумного.

Первое мое воспоминание относится к началу августа 1733 года: мне было тогда восемь лет и четыре месяца. Обо всем, что происходило со мною до этого времени, моя память хранит молчание.

Я стою в углу комнаты, прижавшись к стене, и смотрю на кровь, которая хлещет на пол из моего носа. Марция, горячо любящая меня моя бабушка, подходит ко мне, обмывает мое лицо ледяной водой, тайком от всего дома садится вместе со мной в гондолу, и мы плывем в Мурано, на весьма населенный остров всего в полулье от Венеции.

Выбравшись из гондолы, мы оказываемся в какой-то лачуге, где застаем сидящей на убогом ложе старую женщину. На руках у нее дремала черная кошка, а еще пять или шесть других терлись об ее ноги. Это была колдунья. Обе старухи начали долгую беседу, предметом которой несомненно был я. Говорили они на форлийском просторечьи, и в конце концов колдунья, получив от моей бабушки серебряный дукат, открыла большой ларь и, легко приподняв меня, опустила туда. Перед тем как закрыть крышку, она предупредила, чтобы я ничего не боялся. Одного этого предупреждения вполне хватило бы, чтобы лютый страх обуял меня, будь я мало-мальски смышленным ребенком. Но я был туп и потому преспокойно устроился в уголке, прижимая платок ко все еще кровоточащему носу; я остался совершенно безучастным к поднявшемуся снаружи содому: я слышал попеременно хохот, плач, пение, крики и удары по крышке ларя — мне было все равно. Наконец меня вытащили, кровотечение остановилось. Странная женщина, осыпав меня ласками, раздевает меня, укладывает на кровать, возжигает куренья, закутывает в пропитанную дымом простыню, бормочет заклинания, затем распеленывает и дает отведать пять очень приятных на вкус пилюль! Тут же она натирает мне виски и затылок источающей сладкий аромат мазью и лишь теперь одевает меня. Она говорит мне, что мои кровотечения мало-помалу прекратятся, если только я никому не буду рассказывать о том, как меня лечили, и, наоборот, из меня вытечет вся кровь и я умру, если проговорюсь. Наставив меня подобным образом, она еще предупредила меня, что следующей ночью ко мне придет одна прекрасная дама и мое благополучие также зависит от того, смогу ли я удержаться и сохранить в тайне ночное посещение. С этим мы и возвратились домой. Едва очутившись в постели, я сразу же заснул, но через несколько часов что-то разбудило меня. Я увидел — или вообразил, что вижу спускающуюся от каминной трубы ослепительную женщину в великолепном, на широком панье, платье. Корона на ее голове была усеяна камнями, рассыпавшимися, как показалось мне, огненные искры. Величаво, медленно поплыла она к моей кровати и присела на нее. Что-то приговаривая, она извлекла из складок своего одеяния маленькие коробочки и высыпала их содержимое мне на голову. Из ее долгой речи я не понял ни слова. Наконец она нежно поцеловала меня и исчезла тем же путем, каким и явилась. И я сразу снова уснул. Назавтра бабушка, едва войдя ко мне, стала говорить о молчании, которое я должен хранить о событиях ночи, и предрекать мне смерть, если я осмелюсь заговорить с кем-нибудь об этом. Бабушка была единственным существом, которому я безгранично верил и чьи приказания я исполнял слепо. Приговор, произнесенный ею, был причиной того, что ночное видение снова вспомнилось мне, но, я постарался запечатлеть его в самых тайных уголках моей пробудившейся памяти. Впрочем, я и так не стремился рассказывать кому-либо о ночном волшебстве: сначала потому, что не видел в этом ничего интересного, а потом я и не знал, кому бы я мог рассказать — моя болезнь сделала меня мрачным и никому не интересным, только жалели, но не стремились со мной общаться; считалось, что я не жилец на этом свете.

Что же касается тех, кто произвел меня на этот свет, то они никогда и не говорили со мной.

После поездки в Мурано и ночного визита феи кровотечения уменьшались день ото дня и так же быстро пробуждалось мое сознание. Меньше чем за месяц я выучился читать.

Смешно, конечно же, приписывать мое выздоровление этим чудесам; однако я полагаю также, что неверно было бы вовсе отрицать их влияние. Явление волшебной королевы я, правда, всегда считал сновидением, если только не нарочно устроенным маскарадом. Но лекарства от самых тяжелых болезней не всегда хранятся у аптекарей. Каждый день какое-нибудь открытие показывает нам всю величину нашего незнания, и никто не станет оспаривать тот факт, что почти невозможно сыскать на свете образованного человека, чей разум был бы полностью свободен от суеверий. Конечно, волшебников никогда не было на белом свете. Но так же несомненно, что для тех, кого мошенники ухитрились убедить в их существовании, волшебники существуют и творят великие чудеса.

...Мой отец расстался с жизнью в цветущем возрасте, ему было тридцать шесть лет. Он ушел в могилу, оплакиваемый не только театральной публикой, но и многими патрициями, понимавшими, что он стоял гораздо выше своего сословия не только по своим нравственным качествам, но и по высокому искусству владения мастерством механика.

За два дня до смерти, чувствуя приближающуюся кончину, он собрал у своей постели детей и жену и пригласил господ Гримани*, благородных венецианских патрициев, чтобы попросить их не оставить нас своим покровительством.

Благословив всех нас, он заставил обливающуюся слезами нашу матушку дать ему клятву, что никого из нас она не станет воспитывать для театра. Она поклялась, и все три патриция скрепили своими свидетельствами нерушимость этой клятвы. Обстоятельства помогли моей матери сдержать в дальнейшем свое обещание.

Один из упомянутых патрициев, аббат Гримани, взял на себя миссию подыскать для меня хороший пансион в Падуе. Ему в этом помог некий ученый химик, давний знакомец аббата, проживавший в этом городе. Звали падуанца Оттавиани, он был еще и владельцем антикварной лавки. В несколько дней пансион был найден, и 2 апреля 1734 года, в мой девятый день рождения, я, моя матушка и аббат Гримани погрузились на барку и отплыли по каналу Бренты в Падую... Мы прибыли в Падую рано на следующий день и отправились к Оттавиани. Жена его расцеловала меня от души, а он сразу же повел нас к дому, где мне предстояло жить на пансионе. Это было всего в пятидесяти шагах, в приходе церкви Сан-Микеле, у одной старой славонки*... Там перед ней открыли мой маленький чемодан, познакомили с его содержимым и отсчитали ей шесть цехинов- аванс за мое полугодовое содержание. На эту ничтожную сумму она должна была меня кормить, содержать в чистоте и оплачивать мое обучение в школе. После чего меня расцеловали, наказали быть послушным и распрощались. Считалось, что моя судьба устроена... После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику по имени доктор Гоцци*, с которым Славонка (название ее племени превратилось в ее имя) уговорила за сорок су, одиннадцатую часть цехина, в месяц. Меня еще предстояло обучить письму, и учитель поместил меня вместе с детишками пяти и шести лет, сразу же начавшими насмехаться надо мною... Вернувшись к Славонке, я получил ужин. Как и следовало ожидать, он оказался куда хуже обеда... Ночью паразиты всех трех хорошо известных мастей не давали мне сомкнуть глаз. Кроме того, крысы, шнырявшие по чердаку и взбиравшиеся ко мне на кровать, повергали меня в леденящий ужас. Здесь, на этом чердаке, я стал делаться восприимчивым к несчастьям и начал учиться терпеливо переносить страдания. Насекомые, пожиравшие меня, уменьшали страх, который вызывали во мне крысы, за это страх в свою очередь делал меня менее чувствительным к укусам насекомых. Так моя душа старалась использовать те невзгоды, которые терпело мое тело. Служанка же оставалась глухой ко всем моим жалобным крикам.

Едва забрезжил день, я сполз со своего убогого ложа и, поведав этой девке о всех казнях египетских, перенесенных мною, попросил новую сорочку на мою было страшно взглянуть. Она ответила мне, что белье меняют по воскресеньям, и громко расхохоталась, когда я пригрозил пожаловаться на нее хозяйке.

Впервые в жизни плакал я от горя и обиды на виду издевающихся надо мной однокашников. Несчастливым приходилось также несладко, но они к этому привыкли. Этим сказано все.

..Мой школьный учитель обратил на меня особенное внимание. Он посадил меня за свой стол, и чтобы показать, что я ценю это внимание, я приложил к учению все свои силы: уже к концу месяца я писал так хорошо, что он принялся со мной за грамматику.

...Однажды полубивший меня доктор Гоцци пригласил меня в свой кабинет и спросил, как бы я отнесся к его предложению оставить Славонку и перейти на полное содержание к нему. Видя, что я пришел в восторг от такого предложения, он посоветовал мне написать письмо, с которого я сделал три копии, отправив первую аббату Гримани, вторую нашему другу г-ну Баффо, а третью моей доброй бабушке... Описав в этих письмах все перенесенные мною муки, я обещал умереть, если меня не вырвут из рук Славонки и не отдадут моему учителю, который согласен меня принять за два цехина в месяц.

...Семья доктора Гоцци состояла из четырех человек; его матери, безмерно его уважавшей, так как, будучи от рождения простой крестьянкой, она не считала себя достойной иметь сыном священника, да к тому же еще и доктора. Она была стара, уродлива и бранчлива. Его отец, сапожник, трудившийся весь день, ни с кем в доме не разговаривал и даже за столом не желал проронить ни слова. Общительным он становился только по праздникам, которые он проводил всегда в кабачке с приятелями и, возвращаясь домой за полночь, любил декламировать Тассо... Была у доктора Гоцци и сестра, ей было тринадцать лет, и она звалась Беттина: красивая, живая и большая охотница читать романы. Отец и мать ворчали на нее за ее привычку торчать все время у окна, а доктора беспокоило ее чрезмерное увлечение чтением. Эта барышня сразу понравилась мне, не знаю почему, это она мало-помалу зажгла в моем сердце первые искры той страсти, которая впоследствии стала главной страстью всей моей жизни.

Через полгода после моего вступления в этот пансион доктор остался без учеников: видя, что все его силы отдаются обучению одного, другие дезертировали. При таких обстоятельствах он надумал набрать новых школьников постарше и учредить небольшой коллегийум. На создание учебного заведения ушло почти два года, и это время доктор употребил на то, чтобы передать мне все, что он знал. Знал он, по правде говоря, немного, однако его знаний хватило на то, чтобы я постиг азы наук. Кроме того, он обучил меня игре на скрипке, каковое умение помогло мне выбраться впоследствии из одного запутанного дела; в свое время я расскажу об этом читателю. Добрый доктор Гоцци, будучи никаким философом, все же дал мне представление о логике перипатетиков и космогонии, в которой он придерживался обветшавшей системы Птолемея.

Нравственность доктора Гоцци была безупречной; он любил хорошо поспать, распить бутылочку и побалагурить в домашнем кругу. Не любил он ни умников, ни острословцев, ни критиканов и смеялся над дураками, читавшими газеты, в которых, как он считал, повторялось одно и то же и все было неправдой. Он говаривал, что ничто так не вредит человеку, как переменчивость, непостоянство, к которому, по его мнению, ведет всякое умствование.

Великом Постом 1736 года мать моя написала доктору Гоцци, что она намеревается ехать в Петербург и хотела бы повидать меня перед отъездом; не мог бы он поэтому привезти своего воспитанника на три-четыре дня в Венецию. Над этим приглашением доктору пришлось поразмышлять, — он никогда не бывал в Венеции и не общался со светскими людьми, а выглядеть в чем-либо новичком не любил. Но все же мы собрались, и все семейство проводило нас к пристани, к такой же барже, на какой я прибыл в Падую раньше.

Мать моя встретила доктора с аристократической приветливостью и непринужденностью, но он, будучи человеком весьма привлекательным, был в то же время и чрезвычайно стеснительным. Даже разговаривая с нею, мой добрый мэтр не осмеливался взглянуть ей в лицо; матушка заметила это и положила непременно при случае подшутить

над ним. Я же вызвал живейший интерес всей компании: все помнили меня чуть ли не дурачком, и вдруг такая перемена за два года! Доктор наслаждался, слушая, как все наперебой хвалили его, приписывая ему заслугу моей метаморфозы.

За ужином доктор сидел рядом с моей матерью и вел себя крайне неловко. Он не произнес бы, наверное, ни одного слова, если бы некий англичанин, человек пишущий, не обратился к нему на латыни; не поняв вопроса, доктор смиренно отвечал, что он не знает английского, и вызвал, разумеется, взрыв хохота у всего застолья. Синьор Баффо постарался рассеять наше с доктором смущение, сказав, что англичане читают и произносят латинские тексты по-своему, так же, как они читают и произносят английские слова. Я тут же добавил, что англичане так же ошиблись бы, если бы пробовали читать и произносить свои слова по правилам латыни. Англичанин, восхищенный моей сообразительностью, тут же написал одно древнее двустиие и протянул мне:

Dicite, grammatici, cur maskula nomina cunnus, Et cur femineum mentula nomen habet? (Пусть-ка грамматик мне объяснит, почему же cunnus мужской род имеет, а mentula женского рода?)

Cunnus (лет.) — женский половой орган; mentula (лет.) — лов. — Примеч. переводчика.)

— Вот латынь! — воскликнул я, прочитав вслух это двустиие.

— Это мы знаем, — ответила матушка, — но надо же перевести.

— Перевести мало, — сказал я. — Здесь содержится вопрос, на который я хочу ответить.

И, подумав немного, я приписал к двустиию еще одну строку:

Disce quod a domino nomina semis habet. Тем объясню, что рабыня носит хозяина имя.

Это был мой первый подвиг на поприще литературы, и могу сказать, что в ту же минуту, когда раздались аплодисменты и я почувствовал себя на вершине блаженства, в мою душу упало первое зерно поэтического честолюбия. Англичанин, пораженный таким ответом одиннадцатилетнего мальчишки, обнял меня и презентовал тут же мне свои часы. Матушка, заинтересовавшись, спросила аббата Гримани, о чем шла речь, тот затруднился ей ответить, и снова пришел на помощь синьор Баффо, который на ухо прошептал ей оба перевода. Обрадованная моими знаниями, она достала золотые часы и поднесла их моему учителю, который при всем — этом выглядел довольно комично. Вдобавок матушка, выражая ему полную свою признательность, подставила для поцелуя щеку. Этот столь обычный в каждой честной компании знак внимания окончательно добил беднягу: было видно, что он предпочтет смерть. Отвернув в сторону голову, он так решительно отшатнулся от радушной хозяйки, что его оставили на этот раз в покое.

Он смог излить свою душу только тогда, когда мы остались одни в отведенной нам комнате.

— Как жалко, — сказал он мне, — что в Падуге нельзя будет никому прочитать ни двустиия, ни твоего ответа.

— А почему? — удивился я.

— Да потому что это мерзость.

— Но это же поэзия!

— Замолчи и давай спать. Твой ответ удивителен только потому, что тебе незнаком предмет обсуждения и ты не умел писать стихов.

Что касается предмета обсуждения, то я его знал, хотя и теоретически, так как успел уже тайком прочесть строго-настроено запрещенного мне Мерсиуса* (именно поэтому и прочел), а вот моему умению ответить стихами доктор удивлялся вполне справедливо, потому что сам-то, обучая меня просодии, не мог состряпать ни одного стиха. Но аксиома: «Никто не может дать того, что не имеет», неприменима в области нравственного.

...Три или четыре месяца по возвращении в Падугу доктор только и говорил о моей матушке, расхваливая ее направо и налево. Беттина же, получившая от моей матушки в подарок двенадцать пар перчаток и пять локтей люстрина, чрезвычайно расположилась ко

мне и проявляла особенную заботу о моей прическе. Каждое утро она приходила ко мне причесать меня и частенько заставляла еще в кровати. Ей некогда ждать, пока я оденусь, говорила она и принималась за мой туалет; она умывала меня: лицо, шею, грудь. Я считал ее ребяческие ласки невинными, но меня невольно раздражало то, что я оставался к ним совсем безучастным. Будучи тремя годами старше меня, не могла же она полюбить такого младенца, и я бессознательно огорчался этим. Когда, присев на мою кровать, уверяя меня, что я все время толстею, она старалась убедиться в этом собственноручно, я не противился, чтобы не показать, в какое волнение она меня приводит. Когда она говорила «какая у тебя нежная кожа», я отшатывался, будто бы боясь щекотки, злясь на самого себя, что не могу ответить ей тем же, и довольный, что она не догадывается о растущем во мне желании. Наконец, одевшись, я получал от нее нежнейший поцелуй как ее «милое дитя», а последовать ее примеру у меня все еще не хватало смелости. Со временем, однако, я набрался боевого опыта и на Беттинины насмешки над моей застенчивостью отвечал все удачнее и все больше смелел, но всякий раз останавливался, когда чувствовал жгучую охоту двинуться дальше: тогда я поворачивал голову в сторону, словно ища какую-то вещь, и Беттина уходила. Оставшись один, я приходил в отчаяние, что опять не послушался зова своей натуры и обещал себе на следующий раз изменить свое поведение.

В начале осени доктор принял трех новых пансионеров; один из них малый лет пятнадцати — показался мне по прошествии месяца довольно сблизившимся с Беттиной.

Это открытие заставило меня испытать чувство, о котором я не имел до сих пор ни малейшего представления и которое я проанализировал лишь несколькими годами позднее. Это не было ни ревностью, ни негодованием, это было какое-то благородное презрение, от которого я не мог отделаться, потому что Кордиани не имел передо мной никаких преимуществ, кроме уже наступившей возмужалости: он был сыном простого крестьянина, был невежествен, груб, неотесан, я стою гораздо больше его, говорило мне мое нарождающееся самолюбие. По этому чувству гордости, смешанному с презрением, которое обратилось и на Беттину, можно было понять, что я влюблен в нее, сам того не сознавая. Она заметила что-то неладное: я отталкивал ее руки, когда она подходила ко мне по утрам, не давал ей целовать себя. Раздосадованная всем этим, она спросила меня однажды о причинах изменения моего обращения с нею и, не получив ответа, сказала с хитрым видом, что я ревную ее к Кордиани. Этот упрек показался мне унижительной клеветой; я ответил, что Кордиани вполне достоин ее, а она достойна Кордиани. Беттина удалилась с улыбкой на устах, но захотела мне отомстить. Для приведения замысла в исполнение надо было вызвать во мне еще большую ревность и окончательно влюбить меня в себя. Вот как она принялась за дело. Утром она явилась к моей постели с парой белых, связанных ею для меня чулок. Конечно же она захотела примерить их мне самолично, чтобы увидеть, впору ли ок-и, и связать потом другую пару. Доктор в это время читал мессу. Приготовившись натянуть на меня чулок, она вдруг сказала, что мне не мешало бы как следует вымыть ноги, и тут же приступила к делу, не заботясь о моем разрешении. Я постыдился показать ей, что стыжусь, и позволил ей действовать, никак не предвидя последствий. В своей заботе о чистоте Беттина проявила такое рвение и зашла так далеко, что ее любопытство причинило мне столь острое, до сих пор не испытанное мною наслаждение, которое я не мог укротить, и оно вырвалось на волю. Когда все утихло, я, считая себя виновным, попросил у Беттины прощения. Она, не ожидавшая этого, подумав немного, великодушно сказала, что в этом вина ее, а не моя, но что больше такого не повторится. Тут она ушла, оставив меня наедине с моими размышлениями. Они были печальны. Мне казалось, что я опозорен, что я обманул доверие дома, надругался над священными законами гостеприимства, что, наконец, стереть этот тяжкий грех я могу только женившись на Беттине и то, если она захочет взять в мужья такого недостойного ее негодяя. Следствием этих размышлений стала глубокая меланхолия, которая росла изо дня в день. Беттина между тем прекратила свои визиты к моей постели. Ее сдержанность казалась мне вполне благоразумной, и постепенно моя печаль приняла бы характер истинной любви, если бы поведение Беттины с Кордиани не отравляло мою душу

ядом ревности, хотя, разумеется, я был далек от мысли, что она способна совершить с Кордиани то же, что совершила со мной. А то, что произошло со мной, шептали мне мои мысли, случилось по ее воле, и теперь ее удерживает от встреч со мною только раскаяние. Самолюбие мое было польщено в высшей степени: значит, нас любят. И я решил ободрить Беттину. Я написал ей письмо, краткое, но достаточное, чтобы ее успокоить. Оно казалось мне шедевром, которое поставит все на свои места: меня будут обожать, а Кордиани... как можно после такого письма колебаться в выборе между ним и мной! Через полчаса после того, как Беттина получила мой шедевр, она ответила на него устно, сказав, что следующим утром она, как и прежде, навестит меня. Я ждал ее, но напрасно. Я был взбешен, но каково же было мое удивление, когда, увидев ее за столом, я услышал от нее такое предложение: наш сосед доктор Оливо собирался дать через пять или шесть дней бал и на этот бал Беттина собиралась взять меня, переодев девочкой. Присутствующие одобрили этот план, и я согласился. Я усмотрел здесь прекрасную возможность объясниться с Беттиной, но обстоятельства — увы — сложились так, что дело приняло трагикомический оборот.

Неожиданно тяжело заболел родственник доктора и призвал к смертному одру и доктора и его родителей. До ночи бала было еще далеко, и мое нетерпение подсказало мне, что надо воспользоваться благоприятным случаем. Улучив минутку, я сообщил Беттине, что оставлю ночью дверь моей комнаты, выходящую в коридор, открытой и буду ее ждать. Она сказала, что придет, как только все в доме уляжется.

Описание ситуаций подобного рода в романах кажутся преувеличением. На самом деле это не так, и то, что рассказывает нам Ариосто об ожидающем Альцину Руджеро, есть точный список с натуры.

Без особой тревоги я ожидал до полуночи. Но вот прошел час, другой, третий, четвертый, никто не появлялся в моих дверях, и мое спокойствие сменилось волнением, а потом и гневом. Снег падал за окном большими хлопьями, но я дрожал не от холода. За час до рассвета, не в силах больше бороться с нетерпением, я решился спуститься тихонько, босиком, чтобы не разбудить собаку, до конца лестницы, откуда рукой подать до комнаты Беттины. Если она вышла из комнаты, дверь должна быть открытой. Осторожно я приближаюсь к двери — она заперта изнутри. Я решил, что Беттина спит и просто не смогла проснуться. Стучать? Разбудишь собаку, поднимется шум. В отчаянии присел я на ступеньки, но долго сидеть там было нельзя: вот-вот рассветет, встанет прислуга и, обнаружив меня, решит, что я спятил. Надо было возвращаться к себе. Я поднимаюсь, но в то же самое мгновение шум в комнате Беттины говорит мне, что она не спит. Уверенность, что я сейчас увижу ее, возвращает мне силы, я подбегаю к двери, она распахивается и... вместо Беттины мне навстречу бросается Кордиани. Он с силой бьет меня ногой в живот, и я отлетаю настолько далеко, что падаю в снег. Кордиани стремительно исчезает за дверью зала, где он спал со своими друзьями, и запирается там. Я вскочил и кинулся к двери Беттины и, найдя ее запертой, яростно ударил по ней ногой. Казалось, ничто не могло спасти девицу от моего мщения, но тут проснулась собака и подняла такой лай, что я опрометью бросился наверх, заперся в своей комнате и рухнул на постель, чтобы привести немного в порядок свои силы и нравственные и физические. Обманутый, оскорбленный, побитый, униженный счастливым триумфатором Кордиани, часа три я провел, обдумывая самые черные планы мести... как вдруг у моей двери раздался хриплый голос матери Беттины: она звала на помощь, ее дочь умирает. Обеспокоенный тем, что она умрет, не испытав перед этим моей грозной мести, я поспешил вниз. Беттина лежала на кровати своего отца и корчилась в ужасных судорогах, все семейство собралось вокруг... По прошествии часа она успокоилась и заснула.

...Назавтра наш урок был прерван матерью доктора, которая заявила ему, что она знает, какого рода болезнь у ее дочери: она околдована, и колдунья, наведшая на нее порчу, известна. — Это, возможно, конечно, матушка, но здесь нельзя ошибиться. Кто эта колдунья? — Наша старая служанка, и я только что в этом убедилась. — Каким же образом?

— Я оставила у дверей моей комнаты две метлы, так что их ручки образовали крест;

чтобы войти в комнату, надо было этот крест разнять. Когда она это увидела, она попятилась и вошла в мою комнату через другую дверь. Не будь она ведьмой, разве она побоялась бы притронуться к кресту?

— Это не так уж очевидно, матушка. Позовите-ка ее ко мне.

Служанка вошла, и доктор спросил ее:

— Почему ты сегодня утром вошла в комнату в другую дверь?

— Мне невдомек, о чем вы спрашиваете? — Ты видела на двери крест Святого Андрея? — Что это еще за крест?

— Не прикидывайся дурачком, — вмешалась мать доктора. — Где ты ночевала в прошлый четверг?

— Я принимала роды у племянницы.

— Ничего подобного. Ты летала на шабаш. Ты ведьма и околдовала мою дочку.

Взбешенная старуха плюнула ей в физиономию, разъяренная мать схватила палку, доктор кинулся их разнимать; служанка выбежала из комнаты, ругаясь и проклиная, и призывая на помощь соседей.

После этой комической и скандальной сцены доктор счел, что его положение священника обязывает применить обряд экзорцизма, чтобы убедиться, действительно ли его сестра одержима дьяволом.

...Мать отправилась из дому и вернулась через час с самым знаменитым в Падуе изгонителем бесов. Это был уродливый капуцин по имени отец Просперо да Боволенто.

Едва завидев экзорциста, Беттина начала с громким хохотом выкрикивать в его адрес ужасные оскорбления. Все присутствующие были напуганы такой смелостью дьявола, не побоявшегося напуститься на столь уважаемого капуцина. Однако изгонитель бесов, нимало не смутясь, принялся охаживать Беттину распятием, приговаривая, что он колотит дьявола. Он остановился лишь тогда, когда увидел, что она схватила ночной горшок, явно намереваясь метнуть его в голову монаха. «Если тот, кто тебе все это наговорил, — крикнула Беттина, дьявол, обзови его так же, осел ты этакий! Но это я тебе, дураку, сказала и говорю сейчас: проваливай отсюда!»

Я увидел, как покраснел мой бедный доктор, но капуцин держался невозмутимо; вооруженный с головы до пят, он начал читать страшные формулы экзорцизма, после чего приказал лукавому назвать свое имя.

— Меня зовут Беттина.

— Нет, так зовут крещеную отроковицу.

— Ты, значит, считаешь, что у сатаны должно быть мужское имя? Знай же, ты, невежественный капуцин, что сатана это ангел, а ангелы не имеют никакого пола. Но, раз уже ты веришь, что моими устами с тобой говорит дьявол, обещай мне отвечать правду и я обещаю тебе уступить твоим заклинаниям.

— Обещаю.

— Тогда ответь, ты считаешь себя учнее меня?

— Нет, но я считаю себя укрепленным могуществом Святой Троицы и моим саном.

— Если ты такой могущественный, попробуй помешать мне сказать всю правду о тебе. Ты горд своей бородой, ты расчесываешь ее раз по десять на дню, захочешь ли ты убавить ее наполовину, чтобы заставить меня покشгуть это тело? Отрежь бороду — и, клянусь, я выйду.

— Князь тьмы, я удваиваю тебе наказание!

— Плевала я на тебя!

За этими словами послышался такой взрыв смеха Беттины, что я не удержался и рассмеялся тоже. Капуцин живо повернулся к доктору и заявил, что я маловер, что такому не место при совершении святого обряда и меня надо удалить. Я был вынужден подчиниться и уже в дверях обернулся: капуцин протягивал Беттине руку для поцелуя, и я успел получить удовольствие, видя, как она смачно плюнула в него.

Так это непостижимое, столь одаренное создание посрамило капуцина, что, впрочем,

никого не удивило, поскольку всем было ясно, что за нее говорил дьявол.

Отобедав, заклинатель бесов вернулся в комнату Беттины, чтобы дать ей благословение и тут же... выскочил оттуда, объявив доктору, что его сестра безусловно одержима дьяволом и что нужно искать другого экзорциста, поскольку Бог не дал ему силы освободить ее.

После его ухода Беттина провела шесть часов совершенно спокойно и радостно удивила нас появлением за вечерним столом. Она уверила родителей, что чувствует себя отлично, поговорила с братом, а затем обратилась ко мне и напомнила, что завтра бал, а потому с утра она придет ко мне, чтобы причесать меня под девочку. Я поблагодарил и ответил, что она слишком больна и ей надо беречься. Вскоре она отправилась спать, а мы остались за столом еще некоторое время и говорили только о ней.

Придя к себе, я обнаружил под своим ночным колпаком записку следующего содержания: «Или ты отправишься завтра со мной на бал, или я тебе устрою такой спектакль, что ты пожалеешь».

Дождавшись, пока доктор уснет, я приготовил ей ответ: «Я не пойду на бал, так как я решил избегать всякой возможности остаться с Вами наедине. Что же касается спектакля, которым Вы мне грозите, то зная Ваши дарования, не сомневаюсь, что Вы сдержите слово. Но я прошу Вас пощадить меня, побережь мое сердце, ибо я люблю Вас, как любил бы сестру. Я простил Вас, дорога Беттина, и хочу все забыть».

Ум и талант этой девушки заслужили мое уважение: я не мог больше ее презирать... Так же, как она любила меня впоследствии без всяких ухищрений, так и я нежно любил ее, никогда не пытаясь сорвать цветок, который предрассудки предписывали хранить до брака. Но какого печального брака! Двумя годами позже Беттину выдали замуж за башмачника Пиготто, отвратительного мошенника, который довел ее до такого состояния, что доктор, ее брат, был принужден вырвать сестру из рук негодяя и принять на себя заботы о ней. Еще через пятнадцать лет, избранный архиереем в Сан-Джорджо Делавалеа, добрый доктор взял ее с собой и, когда много лет спустя я приехал повидать его после долгой разлуки, я встретил там Беттину дряхлую, больную, умирающую. Она испустила дух у меня на глазах в 1776 году, на следующий день после моего приезда к ним.

...Примерно в это же время моя матушка возвращалась из Петербурга, где императрице Анне Иоанновне итальянская комедия пришлась не по вкусу. Через полгода она вызвала меня в Венецию повидаться перед отъездом в Дрезден. Она получила пожизненный ангажемент при дворе курфюрста Саксонского Августа III, короля Польши.

После ее отъезда я провел еще целый год в Падуе, занятый изучением права, доктором которого я стал в шестнадцать лет*. По гражданскому праву у меня была тема «О завещаниях», а по каноническому — «Могут ли евреи возводить новые синагоги».

Мне хотелось обучаться медицине, к ней я чувствовал неодолимую склонность, но меня не слушали: хотели, чтобы я занимался науками юриспруденции, а к ним я испытывал такое же непреодолимое отвращение. Вполне естественно, что я не стал ни юристом, ни врачом. Возможно этим объясняется моя привычка никогда не прибегать к услугам адвокатов при отстаивании своих законных претензий перед правосудием и не звать врача, когда я заболел. Разоренных крючкотворами семейств куда больше тех, кого они выручили, а принявшие смерть из рук врачей бесчисленны в сравнении с теми, кто выздоровел. Разве это не доказательство того, что мир был бы гораздо счастливее как без тех, так и без других?

На лекции университетских профессоров нельзя было ходить в сопровождении, и я впервые стал появляться на людях один. Это было удивительное ощущение: до сих пор я никогда не чувствовал себя свободным человеком и, желая насладиться обретенной свободой в полной мере, я немедленно завел самые дурные знакомства среди самых знаменитых студентов. Самыми знаменитыми же среди них были самые отъявленные шалопаи, бабники, игроки, завсегдатаи притонов, пьянчуги, гуляки, обманщики, развратители порядочных девушек, словом, все не способные воспринимать ни одной добродетели. В обществе подобных людей начал я узнавать мир, изучать великую книгу жизненного опыта.

Зажив по-новому и желая выглядеть не беднее своих новых товарищей, я пустился во все тяжкие. Я продал и заложил все, что можно, и все-таки влез в долги, которые не мог оплатить. Так я впервые испытал на себе безденежье самую острую беду для молодого человека, стремящегося к жизни на широкую ногу. В отчаянии я написал бабушке, умоляя ее о помощи. Она оказала мне ее, но не таким путем, на который я рассчитывал: она сама приехала в Падую и 1 октября 1739 года, горячо поблагодарив доктора и Беттину за все заботы обо мне, увезла меня в Венецию.

На прощание доктор прослезился и подарил мне очень ценную для него вещь: частичку мощей какого уж не помню святого. Эта реликвия и сейчас была бы со мной, не окажись она оправленной в золото. И все-таки и таким путем она сотворила чудо, выручив меня в минуту тяжелой нужды. Всегда, когда я приезжал в Падую для своих занятий правом, я останавливался у моего добрейшего учителя. И всегда огорчался, видя рядом с Беттиной тупицу, предназначенного ей в мужья, которому она никак не подходила. И клял предрассудок, заставивший меня сохранить для него нетронутым тот цветок, который я легко мог сорвать.

Юность.

Он приехал из Падуи, где изучал право — эта формула моего представления в обществе, едва произнесенная, сразу привлекала ко мне молчаливое внимание равных мне по возрасту и по положению, одобрительные слова отцов семейств и ласковую доброжелательность старых женщин, за которых очень хотели бы сойти и более молодые, чтобы иметь законную возможность поцеловать меня, не нарушая приличий. Настоятель прихода Сан-Самуэле отец Тозелло представил меня монсеньеру Корреру, патриарху Венеции; тот тонзуровал* меня, и по его особому благословению я через четыре месяца получил все четыре степени младшего клира. Радость моей бабушки была неописуема. Надо было найти толковых учителей, чтобы продолжить мое обучение, и синьор Баффо выбрал аббата Шиаво, чтобы учить меня итальянской словесности и особенно языку поэзии, к которой я имел решительную склонность. Я зажил отлично вместе с братом Франческо, обучавшимся театральной архитектуре. Сестра и младшие братья остались с нашей доброй бабушкой, которая жила в своем доме и намеревалась там и умереть, чтобы встретить смерть там же, где встретил смерть ее муж. Моим обиталищем был дом, где скончался мой отец; матушка продолжала нанимать этот большой и прекрасно обставленный дом.

Хотя моим главным покровителем считался аббат Гримани, я довольно редко видел его. Но отец Тозелло представил меня синьору Мальпиеро, к которому я привязался чрезвычайно. Этот синьор Мальпиеро* был шестидесятидвухлетний сенатор, удалившийся от государственных забот. Он счастливо жил в своем палаццо, любил и умел хорошо поесть и собирал по вечерам изысканное общество, которое составляли дамы, сумевшие отлично попользоваться своими лучшими годами, и тонкие умы, осведомленные обо всем, что происходило в городе. К несчастью, этого богатого холостяка по несколько раз в году настигали жесточайшие приступы подагры — так что у него отнимался то один член, то другой, превращая его в калеку. Но голова, легкие и желудок оставались здоровыми. Красавец, гурман и сластена, он обладал тонким умом, великолепным знанием жизни, венецианским остроумием. Я бывал на его ассамблеях по его настойчивым приглашениям. Он говаривал, что в этом обществе поживших дам и мудрых стариков я почерпну гораздо больше, чем из всей философии Гассенди, которой я в то время занимался тоже по его совету, забросив Аристотеля, предмет его постоянных насмешек. Он изложил мне правила, необходимые для того, чтобы, несмотря на мой столь неподходящий возраст, быть принятым в этом обществе. Я должен только отвечать на вопросы и особенно не высказывать своего мнения ни на какой предмет, потому что в мои лета собственного мнения быть не может. Следуя его указаниям, я неукоснительно соблюдал правила, и через малое время мне удалось не только заслужить уважение сенатора, но и стать любимчиком всех дам, посетительниц

сенаторских ассамблей. Они охотно брали с собой юного аббата, когда отправлялись навестить своих дочерей или племянниц, воспитывавшихся в монастырских пансионах, избегая, однако, представлять меня барышням. Я покорно следовал за ними, мне выговаривали, если я позволял себе пренебречь такими визитами даже на одну неделю. Нередко, когда я входил в приемные, девушки порывались скрыться, но, приглядевшись, убедившись, что это всего лишь я, они оставались; их растущее ко мне доверие очень меня радовало. Часто сенатор расспрашивал меня о моих отношениях с теми почтенными дамами, с которыми я завел у него знакомство. Он говорил, что они сама целомудренность и что обо мне будут очень плохо судить, если я стану рассказывать о них что-либо противное этому утверждению. Так он внушал мне мудрые заветы сдержанности. У сенатора я познакомился с г-жой Манцони, женой нотариуса, о котором у меня еще будет случай поговорить. Эта достойная дама вызвала у меня чувство самой глубокой привязанности, она давала мне весьма разумные советы, и если бы я воспользовался ее уроками, моя жизнь не была бы столь бур-вой и беспокойной, но зато вряд ли бы имело смысл сегодня писать о ней.

Знакомство с дамами, которых принято называть *comme il faut*, побудило меня еще больше обращать внимание на свою внешность и заботиться об эlegantности моего наряда, чем настоятель и моя бабушка были очень недовольны. Однажды, отозвав меня в сторону, настоятель со сладкой улыбкой сказал мне, что в пути, который я себе выбрал, больше заботятся о том, чтобы Богу нравилась душа, я не миру — внешность. Он нашел мои волосы чересчур ухоженными, а помаду чересчур пахучей. Он сказал, что демон ухватит меня когда-нибудь за мои длинные волосы, о которых я так пекусь, и закончил цитатой из канонического устава: «Анафема клирику, который отрачивает волосы». В ответ я привел в пример сотни надушенных аббатинов, которым никто не грозит лишением сана, хотя на их туалет уходит пудры вчетверо больше, что они употребляют помаду из амбры, от которой женщины млеют и падают в обморок, а моей жасминовой довольны все, с кем я встречаюсь в обществе. Закончил я сожалением, что вызвал его неудовольствие, но если бы я не следил за собой, не был бы опрятным, я походил бы на нищенствующего капуцина, а не на аббата.

...Пребывая в таком умонастроении, я получил в начале осени письмо от графини Монреали. Она приглашала меня провести несколько дней в ее* поместье Пасеан*. У нее должна была собраться блестящая компания, в числе которой была и ее дочь, только начавшая появляться в обществе. Она отличалась красотой и умом, и таким прекрасным глазом, что его красота вполне компенсировала отсутствие второго. Я принял это приглашение и провел в Пасеане время, о котором вспоминаю и сейчас с большим удовольствием.

...Вернувшись в Венецию, я возобновил свои ухаживания за Анжелой (племянницей моего настоятеля), которые я начал несколькими неделями раньше.

Две сестры, обучавшиеся вместе с Анжелой ремеслу вышивания на пяльцах, были близкими ее подругами и поверенными всех секретов. Позднее, сойдясь с ними короче, я узнал, что они осуждали подругу за суровость со мною. Встречая их постоянно возле Анжелы, зная об их дружбе, я нередко жаловался им на бесчувственность девушки. В ту пору я был равнодушен ко всему, что не составляло предмет моих насущных желаний, и самонадеянная мысль о том, что я могу влюбить в себя эти юные создания, не приходила мне в голову. Но оплакивая свою судьбу, я так увлекался порою в разговорах с ними и говорил с тем жаром отчаявшегося влюбленного, какой никогда не мог проявить в присутствии предмета моей страсти. Истинная любовь всегда обязывает к сдержанности, опасение выглядеть чрезмерно экзальтированным зачастую приводит к тому, что осторожный любовник, боясь сказать слишком много, говорит слишком мало. Хозяйка мастерской, старая святоша, сначала не обращала внимания на интерес, который я явно проявлял к Анжеле. Но потом ей надоели мои участвовавшие визиты, и она пожаловалась настоятелю. Однажды тот, как всегда смиренно, сказал мне, что надо бы пореже посещать этот дом во избежание кривотолков, могущих повредить репутации его племянницы. Эти слова поразили меня, как удар молнии, но у меня хватило самообладания не показать ему ничего, что могло бы

вызвать подозрения, и так же смиренно пообещать последовать его совету. Через три или четыре дня я все-таки пришел в мастерскую, намеренно не обращая внимания на юных особ, но, уловив минуту, сумел сунуть в руку старшей сестры записку, в которую была вложена другая, адресованная Анжеле. Я сообщал о резонах, побудивших меня сократить число посещений, и умолял ее подумать о том, как бы мне встретиться с нею, чтобы объяснить всю силу моего чувства к ней. Нанетту же я просил только передать мою записку подруге и извещал, что я увижу их послезавтра и надеюсь, что они найдут средство передать мне ответ. Мое поручение она исполнила как нельзя лучше, потому что, когда на третий день я снова зашел к ним, она ухитрилась тайком вручить мне записку. Анжела, небольшая любительница писать, просила меня только исполнить все, о чем пишет ее подруга. Письмо же Нанетты я хранил, как и все письма, полученные мною когда-либо. «Нет ничего на свете, господин аббат, чего бы я ни сделала Для моей подружки. Она проведет у нас весь праздник, будет ужинать и останется ночевать. Я подскажу вам, как познакомиться с нашей теткой г-жой Орио. Но помните, что вы ни в коем случае не должны показывать, что вам нравится Анжела, тетке будет очень приятно, если она поймет, что вы пришли к ней только для того, чтобы повидаться с другими. Вот путь, по которому вам надо идти. Г-жа Орио хотя дама и с положением, но не очень состоятельна и поэтому хотела бы, чтобы ее внесли в список вдов нобилей, получающих помощь от братства Санто-Сакраменто; а президент этого братства г-н сенатор Мальпиеро. В прошлое воскресенье Анжела сказала ей, что вы пользуетесь расположением этого синьора и что самым надежным средством получить пенсию было бы просить вас походатайствовать перед сенатором. Сдуру Анжела еще сказала, что вы влюблены в меня, что вы ходили к нашей хозяйке только для того, чтобы иметь возможность поговорить со мной и что мне поэтому будет очень легко уговорить вас. Тетушка ответила, что поскольку вы аббат, бояться нечего и я могу смело, послать вам приглашение нанести нам визит; я отказывалась. Прокурор Роза, давний друг тетушки, согласился со мной; он сказал, что приличнее было бы, если тетушка сама пошлет мне приглашение посетить ее по очень важному делу, и если вы действительно в меня влюблены, вы непременно воспользуетесь этой счастливой оказией. Тетушка послала вам письмо, которое, наверное, уже ждет вас дома. Если вы хотите выполнить просьбу тетушки, вы тут же станете любимчиком семьи, но только прошу меня простить, если я буду обходиться с вами не очень учтиво, я сказала, что вы мне совсем не по душе. Вы поступите очень хорошо, если будете немножко любезничать с тетушкой, ей шестьдесят лет, г-н Роза ревновать не станет, а вы сделаетесь совсем своим в доме. Я же обещаю вам устроить так, что вы останетесь наедине с Анжелой и сможете поговорить с нею. Я сделаю все, чтобы вы убедились в моей к вам дружбе. Прощайте!»

Я признал этот проект блестяще продуманным и в воскресенье, получив приглашение г-жи Орио, отправился в гости. Эта дама приняла меня чрезвычайно любезно и, объяснив суть дела, вручила мне все необходимые бумаги. Я заверил ее в моей полнейшей готовности к услугам и только старался поменьше замечать Анжелу, возмещая это явным ухаживанием за Нанеттой, которая обращалась со мной довольно небрежно. Но прокурору Роза я понравился, а он нам должен был сослужить в дальнейшем службу.

...Нанетта и сестра ее Мартов были сиротами, дочерьми сестры г-жи Орио. Все богатство этой достойной дамы составлял дом, в котором она жила, сдавая внаем первый этаж, и небольшой пенсион, выплачиваемый ей ее братом, секретарем Совета Десяти. Ее семью составляли две очаровательные племянницы, старшей было шестнадцать лет, младшей пятнадцать. Единственным ее другом был прокурор Роза; ему было также шестьдесят, и он ждал момента, когда овдовеет, чтобы сочетаться браком со своей давней подругой.

Сестры спали на третьем этаже, и на все время праздника Анжела должна была быть третьей в их широкой кровати.

Как только я стал обладателем акта о назначении вспомоществования г-же Орио, я поспешил в вышивальную мастерскую передать Нанетте весть о полном успехе моего

предприятия и о моем намерении посетить их послезавтра, чтобы лично вручить декрет, подписанный сенатором; разумеется, я не преминул напомнить ей об обещании сделать все возможное, чтобы устроить мне тет-а-тет с моей красоткой.

В день моего визита к г-же Орио Нанетта исхитрилась передать мне записку, предупредив, чтобы я прочел ее до того, как покину их дом. Торопясь прочитать ее, я отказался от кресла, предложенного мне г-жой Орио, желавшей обстоятельно изложить мне всю свою благодарность, и лишь поцеловал ей руку, объясняя свою поспешность неотложной необходимостью выйти.

— Ох, мой милый аббат, — сказала почтенная дама. — Поцелуйте меня, в этом нет ничего предосудительного, я же на тридцать лет старше вас. — Она могла сказать «на сорок лет», и не ошиблась бы, но я поцеловал ее дважды к ее глубочайшему удовлетворению. Она пожелала, чтобы я поцеловал и ее, двух племянниц, но те пустились в бега, и только Анжела не испугалась моей решительности. Затем дама снова предложила мне присесть.

— Я не могу, мадам.

— Почему же?

— Мне необходимо...

— А, понимаю. Нанетта, проводи г-на аббата.

— Ох, тетенька, прошу вас, увольте меня...

— Тогда ты, Мартон!

— Позвольте и мне, как сестре...

— Увы! — обратился я к хозяйке. — Барышни совершенно правы. Разрешите мне выйти.

— Нет, нет, милый аббат, мои племянницы просто дуры. Роза, будьте так любезны...

Добрый старик отважно взял меня под руку и повел на третий этаж. Там, оставшись, наконец, один, я развернул заветную записку. Вот ее содержание:

«Тетушка будет просить вас отужинать — не соглашайтесь. Откланяйтесь, как только пригласят к столу, и Мартон пойдет вам посветить до наружной двери, но вы не выходите. Дверь захлопнется, и все решат, что вы ушли. Тогда вы на цыпочках поднимитесь на третий этаж и ждите нас там. Мы придем, как только уйдет г-н Роза и тетушка уляжется спать. Полагаю, что Анжела намерена провести с вами всю ночь тет-а-тет и от души надеюсь, что вы будете счастливы».

Итак, именно здесь я должен ждать предмет моего обожания. Уверенный в том, что все произойдет, как задумано, я спустился к г-же Орио, переполненный предвкушением близкого счастья.

Итак, я возвратился в гостиную. Г-жа Орио, принеся мне тысячу благодарностей, заверила меня, что я могу пользоваться всеми правами друга дома, и мы провели после этого часа четыре среди шуток и смеха.

Наступил час ужина; я привел такие убедительные извинения, что г-жа Орио была вынуждена меня отпустить. Мартон, взяв свечу, пошла проводить меня, но тетушка, помня, что моя фаворитка Нанетта, довольно строго приказала ей заменить сестру. Нанетта быстро спустилась по лестнице, открыла дверь, затем громко захлопнула ее и, погасив свечу, оставила меня в темноте. Ощупью я добрался до третьего этажа, нашел комнату девушек и расположился на диване в ожидании счастливого мига пасторали.

Около часа провел я в самых сладких грезах, наконец дверь внизу открылась и закрылась, и через несколько минут я увидел входящих ко мне двух сестер и Анжелу. Я привлек ее к себе и, никого не видя, кроме нее, проговорил с нею целых два часа. Пробыло полночь, меня удивило, что на меня смотрят с состраданием. Я был наверху блаженства, чего еще оставалось желать? И тут мне сказали, что я в неволе, что ключ от входной двери у тетушки под подушкой, а она откроет дверь только утром, когда отправится на мессу. Я удивился: неужели они думают, что для меня это дурная новость? Напротив, я счастлив, что впереди еще по крайней мере пять часов и я проведу их с моей обожаемой Анжелой. Еще через час Нанетта стала посмеиваться, Анжела захотела узнать причину смеха, и та

прошептала ей объяснение на ухо; засмеялась и Мартон. Заинтригованный, я тоже захотел узнать причину их веселости, и Нанетта, приняв скорбный вид, сообщила мне, что у них осталась последняя свеча и мы вот-вот окажемся в полной темноте. Эта новость обрадовала меня еще больше, но я постарался скрыть мою радость; я даже сказал, что сержусь за их непредусмотрительность. Впрочем, они могут ложиться и спокойно спать, вполне положившись на меня. Это предложение опять заставило их рассмеяться.

— А что мы будем делать в темноте? — Поболтаем.

Нас было четверо, уже три часа мы оживленно беседовали, и я был героем пьесы. Любовь — великий поэт... Моя Анжела больше слушала; несловоохотливая, она отвечала редкими репликами, а если я хотел помочь высказываниям своей любви руками, она отталкивала мои бедные руки. Я, однако, продолжал говорить и жестикулировать, не теряя куражу, но с отчаянием убеждался, что мои самые тонкие доводы не убеждают, а скорее ошеломляют Анжелу и вместо того, чтобы умягчить ее сердце, лишь слегка колеблют его. С другой стороны, я был весьма удивлен, видя по физиономиям двух сестричек, какое впечатление производят на них стрелы, предназначенные Анжеле. Эта метафизическая кривая показалась мне противной всем законам природы: должен был ведь образоваться угол. В ту пору я, к несчастью, как раз занимался геометрией. Я был в таком состоянии, что, несмотря на время года, пот катил, по мне большими каплями. Наконец свеча стала меркнуть, Нанетта встала, чтобы вынести ее. Как только наступила темнота, я сразу же протянул вперед руки, чтобы прикоснуться к той, кого так жаждала моя душа, но руки схватили пустоту, и я горько рассмеялся тому, с какой ловкостью успела Анжела опередить меня на мгновение, чтобы не быть захваченной врасплох. Снова прошел целый час в разговорах. Я говорил все, что может подсказать любовь самого остроумного, самого нежного, чтобы убедить ее вернуться на прежнее место. Мне казалось, что это всего лишь игра, и она вот-вот уступит.

Наконец, в дело начало вмешиваться нетерпение. «Эти шутки, — сказал я, — слишком затянулись, так нельзя, не могу же я гоняться за вами. Кроме того, я слышу, что вы смеетесь, и мне кажется это странным- неужели вы издеваетесь надо мной? Вернитесь же и посидите снова рядом со мною, а так как я разговариваю с вами не видя вас, пусть мои руки убедят меня, что я говорю не с пустым местом. Если вы смеетесь надо мной, то моя любовь не заслужила такого оскорбления».

— Успокойтесь, я вас прекрасно слышу, но вы должны понять, что мне неприлично быть рядом с вами в полной темноте.

— Вы хотите сказать, что я так и просижу до самого утра?

— Ну, так ложитесь спать.

— Я удивляюсь, неужели вы думаете, что я могу заснуть? Хорошо, сейчас мы будем играть в жмурки.

И вот я вскочил с места и принялся шарить вокруг себя, но все напрасно. Если мне удавалось схватить кого-нибудь, это обязательно оказывались Нанетта или Мартон, и они из предосторожности сразу же произносили свое имя, и я, глупый Дон-Кихот, в ту же минуту отпускал добычу. Любовь и предрассудок не давали мне увидеть, каким смешным было это благородство! Я не читал еще анекдотов о французском короле Людовике XIII, но Боккаччо-то я прочел уже!

Поиски мои продолжались, ровно как и упреки в неуступчивости и уговоры позволить наконец мне найти ее. Она же отвечала, что сама никак не может отыскать меня в этой темноте. Комната была не так уж велика, и в конце концов я просто взбесился от сознания собственного бессилия. И вот, мне это надоело, я опустил на стул и принялся пересказывать историю Руджерио, когда Анжелика*, воспользовавшись волшебным кольцом, отданным ей простодушным рыцарем, исчезла.

И говоря так, ловил он свою фортуна, И уподобясь слепому, напрасно протягивал руки. О сколько раз сжимал он в своих объятьях Лишь пустоту вместо стана подруги!

Анжела не знала Ариосто, но Нанетта перечитывала его не единожды. Она вступилась

за Анжелику и обвиняла простодушного Руджеро; окажись тот несообразительней, он никогда бы не отдал кольца кокетке. Рассуждения Нанетты меня восхитили, но я был еще слишком новичок, чтобы догадаться отнести их на собственный счет.

Мне оставался только час, и я провел его в бесплодных попытках уговорить Анжелу сесть возле меня. Какие муки перенесла моя душа, читатель, не бывавший в подобных положениях, вряд ли сможет представить. Искерпав все разумные доводы, я перешел к мольбам и наконец к слезам. Все было напрасно, и постепенно чувство, владевшее мной, — а его можно назвать благородным негодованием — возвысилось до праведного гнева. Я был готов отколотить это чудовище недоступности, мучившее меня так жестоко целых пять часов кряду, да ведь вокруг меня был непроглядный мрак! Я обрушил на ее голову все проклятия, которые отвергнутой любви внушает разъяренный рассудок. Я говорил ей, что вместо любви я испытываю к ней теперь ненависть, и закончил предупреждением остерегаться меня, ибо я убью ее, как только она станет доступной моему взгляду.

Мои инвективы прекратились при первых лучах рассвета. Как только я услышал скрип тяжелого ключа, которым г-жа Орио отмыкала дверь, чтобы нести свою душу на покаяние, я надел плащ, взял шляпу и собрался уходить. Но как изобразить мое горестное недоумение (может быть, растерянность), когда, обернувшись для прощального взгляда, я увидел, что все три юные особы плачут в три ручья. Пристыженный, отчаявшийся, я чуть было не убил себя в эту мшгугу. Я вернулся в комнату, опустился на стул и, молча размышляя о своей грубости, упрекал себя за слезы, вызванные мною у этих прелестных созданий. Слезы пришли мне на помощь, я разрыдался. Нанетта подошла ко мне и сказала, что тетушка скоро возвратится; я отер слезы и, пряча взгляд, поспешно покинул свой ночлег и, придя домой, бросился на кровать, но заснуть не мог...

Положив не бывать больше у г-жи Орио я посвятил свои дни разработке тезы по метафизике, а затем отправился в Падую готовиться к испытаниям на получение звания доктора. Вернувшись в Венецию, я получил послание от г-на Роза, в котором он от имени г-жи Орио приглашал меня прийти к ней. Уверенный, что на этот раз там не окажется Анжелы, я отправился в тот же вечер. Воспоминания об ужасной ночи несколько смущали меня даже через два месяца, но встретившие меня прелестные сестры сразу же развеяли мое смущение своей веселостью. Для г-жи Орио моя теза и мой докторат служили веским оправданием долгого отсутствия, а в остальном ей нечего было на меня жаловаться.

Уходя, я получил от Нанетты конверт, в котором было письмо от Анжелы. Вот оно: «Если вы решитесь провести со мной еще одну ночь, вы не пожалеете, потому что я вас люблю...»

А вот письмо умницы Нанетты:

«Когда мы надоумили г-на Роза послать вам приглашение, я приготовила это письмо, чтоб вы знали: Анжела в отчаянии, что потеряла вас. Та ночь, ничего не скажешь, была ужасной, но, по-моему, это не причина прекратить знакомство хотя бы с нашей тетушкой. Если вы по-прежнему любите Анжелу, советую вам рискнуть еще на одну ночь. Она сумеет оправдаться, и вы останетесь довольны. Соглашайтесь же. Прощайте».

Эти письма обрадовали меня чрезвычайно: как приятно было бы отплатить Анжеле полнейшим равнодушием! В первый же праздничный день я помчался к моим дамам, запасшись двумя бутылками кипрского и копченым языком. К моему удивлению, я не застал там своей обидчицы. Нанетта, умело переведя разговор на нее, сообщила, что она сможет прийти только к ужину. Помня о верхнем этаже, я поблагодарил г-жу Орио и откланялся в ту минуту, когда они собрались садиться за стол, и, разумеется, очутился в условленном месте. Страстная жажда мести владела мной полностью.

Прошло три четверти часа, я услышал, как запирается дверь на улицу, и вскоре передо мной предстали Нанетта и Мартон.

— А где же Анжела? — спросил я Нанетту.

— Так случилось, что она не смогла ни прийти, ни предупредить нас. Но ей должно быть известно, что вы здесь.

— Она думает, что поймала меня, а на самом деле я ее и не ждал вовсе. Ну вот, теперь вы ее узнали: она смеется надо мной, она радуется. Она использовала вас, чтобы заманить меня в ловушку, но ей повезло: если бы она явилась, то это я посмеялся бы над нею.

— О, вот в это позвольте не поверить.

— Придется поверить, прекрасная Нанетта, и доказательством будет та славная ночь, которую мы проведем без нее.

— Это значит, что вы как умный человек умеете приспособиться и в худшем случае; ну что ж, вы ложитесь здесь, а мы ляжем на диване в другой комнате.

— Помешать вам я, конечно, не могу, но вы со мной играете скверную шутку. Впрочем, я все равно спать не буду.

— Как! У вас хватит сил провести с нами бессонные семь часов? Хотя я знаю, что когда вы утомитесь болтать, вы все равно уснете.

— Посмотрим. А пока вот провизия. Неужели вы будете так жестоки, что мне придется ужинать в одиночестве? Есть ли у вас хлеб?

— О нет, мы не будем жестокими, мы поужинаем во второй раз.

— Вот в кого я должен был влюбиться, в вас! А правда, милая Нанетта, если бы я был в вас влюблен, как был влюблен в Анжелу, вы так ж плохо обошлись бы со мной?

— Вы думаете, что можно задавать такие вопросы? Это вопрос фата. Все, что я могу вам сказать, так это то, что я ничего не могу сказать.

Они быстрехонько накрыли стол на три куверта, принесли хлеба, пармезану, воды, все это с шутками, со смешками, и мы приступили к трапезе. Непривычное для них кипрское быстро ударило им в голову, и легкое опьянение украсило их еще больше. Я был поражен: как же я не разглядел раньше все их достоинства. После нашего импровизированного ужина я, сидя между двумя сестрами и поцеловав у каждой из них руку, спросил, считают ли они меня своим истинным другом и как они относятся к поведению Анжелы со мной в ту ночь? Обе они в один голос воскликнули, что им было жалко меня до слез.

— Тогда, — подхватил я, — пусть я буду для вас нежным братом, а вы моими милыми сестрами. Обменяемся залогами чистоты наших сердец и поклянемся в вечной верности.

В первом моем поцелуе не было ничего ни от поцелуя влюбленного, ни от поцелуя ловкого соблазнителя. Да и они, как мне было поведено несколько дней спустя, отнеслись к нему только как к проявлению братниной нежности. Но, невинные вначале, поцелуи становились жарче и жарче, кровь быстрее побежала по нашим жилам, хотя никто из нас не ожидал, что все примет серьезный оборот. Сестры выбежали в соседнюю комнату. Бездумно, без всяких романтических затей втянувшись в это дело, я, единственный из нас троих, должен был теперь задуматься. Не приходилось удивляться, что пламя этих поцелуев обожгло мою душу и я вдруг почувствовал себя без ума от этих очаровательных особ: обе они были куда красивее Анжелы, Нанетта к тому же превосходила ее умом, а Мартов характером, бесхитростным и наивным. Но это были порядочные барышни из благородного семейства и случайность, бросившая их в мои объятия, не должна была обернуться для них роковой случайностью. Я не был настолько самонадеян, чтобы решить, что они вдруг полюбили меня, но вполне допускал, что наши поцелуи подействовали на них так же, как и на меня, и в этих обстоятельствах при помощи разных хитростей и незнакомых им уловок мне не составит труда добиться от них некоторой снисходительности, а потом и более решительных уступок. Эта мысль привела меня в ужас, и я строго-настрого положил себе не преступать границ приличия, не сомневаясь, что у меня станет сил блюсти этот запрет.

Они возвратились. Безмятежное спокойствие и удовлетворенность, написанные на их лицах, окрасили и мои чувства в те же цвета, и я решил не подставлять себя больше под огонь их поцелуев.

Снова заговорили об Анжеле. Я сказал, что-мне незачем ее видеть, ибо я убежден, что она не любит меня.

— Она вас любит, — возразила простушка Мартон. — И я это точно знаю; но если вы не намерены на ней жениться, вам придется порвать с ней окончательно: она решила не

позволять вам даже одного поцелуя, а не то чтобы стать вашей любовницей. Так что вы или расставайтесь с нею, или приготовьтесь к тому, что не получите от нее и самой малой малости.

— Рассуждение ангельское. Но почему вы все-таки уверены, что она любит меня?

— Раз мы теперь брат и сестра, я могу вам сказать почему. Потому что когда мы спим с Анжелой, она нежно прижимается ко мне, целует и называет своим миленьким аббатом.

При этих словах Нанетта со смехом прижала ладонь к губам сестры. Я, взволнованный этой откровенностью, еле нашел в себе силы сдержаться. Мартон возразила Нанетте, что я, человек сведущий, не могу не знать о том, чем занимаются девушки, когда спят вместе.

— Разумеется, — поспешил я вмешаться. — Всем известно об этих пустяках, и вы напрасно, дорогая Нанетта, считаете дружескую откровенность вашей сестры неприличной.

— Это делают, но об этом же не говорят! Если бы Анжела узнала!

— Она была бы в отчаянии. Но Мартон подарила меня таким знаком дружбы, что я буду ей благодарен до самой смерти. Ну, ладно, дело кончено: Анжела мне отвратительна и не будем больше о ней говорить. Она испорченная особа, она делает все, чтобы погубить меня.

— Но в чем же ее испорченность? Она вас любит и хочет, чтобы вы стали ее мужем!

— Конечно, но она думает только о себе: разве она не видела, как я страдаю? Если бы она любила меня для меня, могла ли она так поступать? А пока что она старается удовлетворить свои желания с этой милой Мартон, согласившейся послужить ей взамен мужа.

В ответ на эти слова Нанетта рассмеялась еще пуще, но я выдерживал серьезный тон и продолжал расхваливать Мартон за ее искренность. Потом я сказал, что наверняка по праву взаимности Анжела в свою очередь была и ей мужем, но Мартон засмеялась и ответила, что она была мужем только для Нанетты, и Нанетта подтвердила слова сестры.

— Но кого же, — поинтересовался я, — Нанетта в этих* ласках называла своим мужем? Чье имя она произносила?

— А вот этого никто не знает. — Вы любите кого-нибудь, Нанетта? Люблю, но никто не узнает моего секрета.

Такая сдержанность подсказала мне, что этим секретом вполне могу быть я, что Нанетта и Анжела соперницы. Столь занимательная беседа понемногу поколебала мою решимость провести с этими, словно созданными для любви, созданиями бездельную ночь.

— Я счастлив, — сказал я, — что питаю к вам только дружеские чувства. Иначе мне было бы трудно быть с вами ночью, не пытаясь дать вам доказательств моей нежности и получить от вас такие же. Ведь вы обе на редкость красивы и созданы для того, чтобы кружить головы мужчинам. Да вы и сами это знаете.

И разговаривая таким образом, я постарался показать им, что меня начинает клонить ко сну. Нанетта это заметила первая.

— Не- церемоньтесь, ложитесь-ка в постель, а мы пойдем в другую комнату и ляжем на диване.

— Я был бы последним человеком, если бы допустил такое. Поговорим еще, мне совсем расхотелось спать. Я беспокоюсь только из-за вас. Вам надо отдохнуть. Идите в другую комнату, а я останусь, мои милые подруги, здесь. Если вы меня опасаетесь, запритесь, но только вам нечего бояться — я люблю вас настоящей братской любовью.

— Мы никогда этого не сделаем, — ответила Нанетта. — Но позвольте вас уговорить: ложитесь.

— Я не могу спать одетым.

— Ну так разденьтесь, мы не будем на вас смотреть.

— Этого я не боюсь, но я не смогу заснуть, зная, что вы будете бодрствовать из-за меня.

— А мы тоже-ляжем, — проговорила Мартон. — Только мы не будем раздеваться.

— Это недоверие обижает меня. Скажите, Нанетта, вы считаете меня благородным человеком?

— Да, конечно.

— Прекрасно, но я не смогу этому поверить, если вы не докажете это. И потому вы должны лечь рядом со мной совершенно раздетыми и поверить слову благородного человека, что он не притронется к вам. А в конце концов, вас двое против одного, чего вам бояться? Если благоразумие изменит мне, кто помешает вам тут же покинуть постель? Словом, если даже увидев, что я заснул, не захотите оказать мне такой знак доверия, я не буду спать вовсе.

И закончив эту речь, я сделал вид, что подавляю зевоту. Они пошептались, потом Мартон сказала, чтобы я ложился, и они последуют моему примеру, как только увидят, что я сплю. Нанетта подтвердила это решение, я повернулся к ней спиной, пожелал им доброй ночи и вытянулся на кровати. Я думал притвориться спящим, но сон и вправду одолел меня и проснулся я только когда почувствовал, что они улеглись по обе стороны. Тогда, слегка поворочавшись как бы во сне, я снова затих, пока не убедился, что они заснули или, во всяком случае, делают вид, что засну ти. О е они лежали ко мне спиной, свет был погашен, и я оказал первые знаки внимания той, что была справа, не зная, подступаюсь ли к Нанетте или к Мартон. Я обнаружил лишь, что она лежит, подобрав под себя ноги, и что охраняет ее тонкое одеяние. Не торопясь, оберегая ее стыдливость, я постепенно занял такое положение, при котором она убедилась, что побеждена и что не остается ничего лучшего, как продолжать притворяться спящей, предоставив мне действовать. Вскоре голос природы заговорил в ней в унисон с моим, я достиг цели, и мои усилия были увенчаны полным успехом, не оставившим во мне никакого сомнения, что мне достались первые плоды, которые предрассудок, возможно, заставляет нас так высоко ценить. В восторге от того, что я впервые в жизни вкусил наслаждение в полной мере, я тихонько покинул свою красавицу, чтобы понести другой дань своего пыла. Она лежала на спине, без движения, погруженная, казалось, в глубокий спокойный сон. Осторожно, словно боясь ее разбудить, я подводил свои апроши, думая, что и она такой же новичок, как и ее сестра. Как только мое естество дало мне понять, что Амур готов к жертвоприношению, я счел своим долгом немедленно приступить к совершению обряда. И здесь, уступив силе чувств, которые ее обуревали, и устав играть надоевшую роль, спящая перестала быть спящей и, крепко прижав меня к себе, покрывая меня поцелуями, бросая меня от восторга к восторгу, сплелась со мной, пока наши души не потерялись в обоюдном наслаждении. По этим признакам я решил, что это Нанетта. Я окликнул ее.

— Да, это я, — ответила она. — И я буду считать себя счастливой, так же как и моя сестра, если вы окажетесь верным и постоянным.

— До самой смерти, ангелы мои. И так как все, что с нами свершилось, свершилось по зову любви, забудем наконец об Анжеле.

Я попросил ее подняться и зажечь свечи, но Мартон, милая Мартон, вскочила в ту же минуту и сама выполнила мою просьбу. И вот я увидел их: Нанетту в моих трепещущих от любви объятиях и Мартон, стоящую подле со свечой в руках. Ее взгляд, казалось, упрекал нас, что мы забыли о ней, тогда как это она, первой предавшись моим ласкам, подала сестре воодушевляющий пример. Я смотрел на них, переполненный блаженством.

— Встанем же, любимые мои, и поклянемся друг другу в вечной любви!

Мы встали и тут же все вместе совершили омовение, каждый помогая один другому среди шуток и смеха. Это и освежило нас и снова оживило наш пыл. Затем в одеждах золотого века мы сели за стол и покончили с остатками нашего ужина. Наговорив друг другу тысячи вещей, которые понять может только любовь, мы снова улеглись в постель, и самая сладкая из ночей прошла во взаимных доказательствах нашей страсти и нежности. Последний свой жар мне выпало отдать Нанетте.

...Через день я снова был у г-жи Орио. Анжелы не было, я остался ужинать и удалился вместе с г-ном Роза. Нанетта на этот раз передала мне не только записку, но и маленький

сверток. В свертке лежал кусок воска с отпечатком ключа, а записка сообщала, что, сделав по этому слепку ключи, я смогу их навещать в любую ночь, когда только мне захочется. Кроме того, Нанетта писала, что Анжела ночевала у них прошлой ночью и по изменению в их повадках догадалась о том, что произошло. Они признались ей во всем, упрекнув, что она послужила причиной случившегося. Она всячески разбранила их, пообещав, что ноги ее больше не будет в их доме, но им это все равно.

Через несколько дней судьба избавила нас от Анжелы. Ее отец, приглашенный на два года в Виченцу для росписей, взял ее с собой. И в ее отсутствие я мог безмятежно пользоваться всеми правами счастливого обладателя двух прелестных девушек, с которыми я проводил не меньше двух ночей в неделю, пустив в ход подделанный мною с их помощью ключ.

Я провел пост то блаженствуя с моими двумя ангелочками, то занимаясь экспериментальной физикой в монастыре де ла Салюте, то бывая на ассамблеях у сенатора Мальпиери, но на Пасху, держа слово, данное графине Монреали, я отправился в Пасеан. Общество, которое я там нашел, сильно отличалось от собрания прошлой осени. Граф Даниело, старший в роде, женатый на графине Гоцци, и один молодой и богатый откупщик со своей женой, крестницей старой графини, и со свояченицей. Молодая жена откупщика, было ей лет девятнадцать или двадцать, привлекала всеобщее внимание своими манерами. Говорунья, напигованная максимами, которые она без конца демонстрировала перед всеми, да к тому же еще набожная, да еще обожавшая своего супруга до такой степени, что не могла скрыть страдания, видя его сидящим напротив за столом с ее собственной сестрой, она производила комическое впечатление. Муж ее был вертопрах. Наверняка, он и любил жену, но, следуя правилам хорошего тона, выказывал полное равнодушие к ней, а из тщеславия находил даже удовольствие, чтобы давать ей поводы для ревности. Она же, в свою очередь, боясь прослыть дурой, делала вид, что стоит выше этого. В свете ей было неловко, но именно потому она стремилась там бывать. Когда я начинал нести какой-нибудь вздор, она внимательно прислушивалась ко мне и, желая остаться на высоте положения, принималась хохотать совсем не к месту. Ее странности, ее неловкость, ее претензии пробудили, однако, во мне желание узнать ее поближе. И я стал волочиться за нею. Крупные и мелкие знаки внимания, моя подчеркнутая заботливость о ней, доходившая порой до кривлянья, скоро показали всем, на ком остановил я свой выбор. Мужа поспешили предупредить, но он находил это забавным и лишь посмеивался, когда ему говорили, как я опасен. Я изображал простоватого, беспечного человека. Он же, верный своей роли, поощрял мои ухаживания, а она в свою очередь играла, впрочем довольно плохо, роль полной раскованности. Как-то, на пятый или шестой день моего усердного ухаживания, во время прогулки по саду она имела неосторожность объяснить мне причины своего беспокойства, упрекнув мужа за то, что он дает ей к этому поводы. Самым дружеским тоном я сказал ей, что лучшим способом исправить мужа было бы полное равнодушие к тому, что он оказывает предпочтение ее сестре, и явная снисходительность ко мне. Можно даже показаться влюбленной в меня. Чтобы легче склонить ее к моему предложению, я предупредил ее, что сыграть влюбленную, чтобы фальшь не бросалась в глаза, очень трудно. Я знал, по какой точке бить: она уверила меня, что сыграет превосходно. Но несмотря на свою уверенность, играла она так плохо, что все заметили, что пьеса была моего изготовления. Однажды, когда, отбившись от компании, мы остались одни в аллее, она, решив, что раз нас теперь никто не видит, я предложу ей сыграть свою роль взаправду, кинулась от меня бежать, да так, что когда следом за нею я присоединился к обществу, меня тут же принялись поддразнивать, называя плохим охотником. Как только представился случай, я не упустил попенять ей за ее бегство, представив, какой триумф она устроила для своего мужа. Я восхвалял ее разум, но оплакивал ее воспитание. Я говорил ей, что я обращаюсь с нею именно так, как принято в высшем обществе, что мой тон и манеры показывают всем, как ценю я ее ум. В результате всех этих рассуждений еще через неделю она огорошила меня сообщением, что я будучи священником, должен знать, что всякая любовная связь есть смертный грех, что Бог все

видит, что она не хочет ни погубить себя, ни каяться исповеднику в забвении всех правил и грехе со священником. Я стал было объяснять ей, что я пока еще не священник, но был сражен наповал ее вопросом: относится ли то, к чему я ее склоняю, к числу грехов? Не имея смелости отрицать это, я понял, что пришла пора кончать наш диспут.

После этого я как-то присмирел, и эта перемена была тотчас же замечена, и однажды за столом старый граф, хитро улыбнувшись, громко объявил, что, судя по всему, дело сделано. Я решил этим воспользоваться и сказал моей упрямой святоше, что все равно все уже считают нас согрешившими. Но я зря тратил свою латынь: случай послужил мне лучше, и вот как произошла счастливая развязка всей этой интриги.

В день Вознесения мы направились всем обществом нанести визит г-же Бергали*, знаменитости итальянского Парнаса. В тот же вечер мы возвращались в Пасеан. И вот моя прекрасная откупщица вознамерилась ехать в четырехместной коляске, где уже разместились ее муж и ее сестра, в то время как мне пришлось бы возвращаться одному в изящной крытой двуколке. Я возмутился, вся компания поддержала меня, сказав ей, что безбожно так пренебрежительно обходиться со мной. Пристыженная, она заняла место рядом, и я сказал кучеру, что предпочел бы ехать кратчайшим путем. Тогда он свернул в лес Чекини, а другие экипажи поехали по дороге. Погода была прекрасной, небо было чистым, но не прошло и получаса, как его стала заволакивать туча — из тех туч, что час-то проходят по небу юга, обрушивая на землю бурные потоки, а потом уходят, оставляя посвежевший воздух и снова чистое небо; тучи, которые несут больше блага, чем зла.

— Ой, взгляните на небо! — закричала моя откупщица. — Мы сейчас попадем в грозу!

— Да, — сказал я. — И хотя коляска крытая, ваше прекрасное платье может пострадать.

— Что мое платье! Я боюсь грозы!

— Ну так заткните уши.

— А молния?

— Кучер, где-нибудь мы можем укрыться?

— Здесь нет ничего поблизости, сударь, только в миле отсюда есть домик. Но пока мы доберемся, и гроза пройдет.

И вот он продолжает свой путь в полном спокойствии, а молнии сверкают, гром грохочет, моя откупщица дрожит. Дождь начинает лить как из ведра, я снимаю плащ, чтобы защитить нас от потоков воды, бьющей в лицо, и в ту минуту, озаренные яркой вспышкой, мы видим, как всего в сотне шагов от нас бьет оземь молния. Лошади встают на дыбы, мою бедную спутницу пронзает конвульсия, ее бросает на меня и прижимает ко мне. Я наклоняюсь, чтобы поднять упавший плащ, и, пользуясь-случаем, обнажаю доверху ее ноги. Она пытается опустить платье, но новая вспышка молнии лишает ее сил окончательно. Пытаясь снова прикрыть нас плащом, я привлекаю ее к себе и тряска экипажа мне способствует, — она падает на меня и оказывается в самой удачной позиции. Я не теряю времени и, будто бы поправляя часы в кармане, приготавливаю к приступу. Она же, чувствуя, что вот-вот наступит решительный момент, делает резкое движение. Крепко обхватив ее, я шепчу ей, что если она не притворится упавшей в обморок, то кучер, обернувшись, все увидит, и, предоставив ей удовольствие обзывать меня безбожником, негодяем и всем, что угодно, я одержал самую полную победу, какую когда-либо одерживают атлеты.

Итак, дождь продолжает лить, ледяной ветер бьет в лицо, а ей приходится оставаться все в том же положении. Она говорит мне, что я гублю ее честь, потому что кучер может все видеть.

— Я слежу за ним, — ответил я. — У него и в мыслях нет обернуться; а если он даже и обернется, он ничего не увидит, нас закрывает плащ. Но только будьте благоразумны и помните: вы в обмороке, я ведь не отпускаю вас.

Она как будто смирилась, но тут же спросила, почему меня не пугают молнии.

— Они со мной в сговоре, — ответил я.

Почти поверив, что я говорю правду, она несколько успокоилась и, ощутив мой экстаз, спросила, конец ли это? Я усмехнулся и сказал, что нет, что надо, чтобы и она испытала такое же счастье, что и я.

— Соглашайтесь, или я сбрасываю плащ.

— Чудовище, я несчастна навеки!.. Ну, теперь вы довольны?

— Нет.

— Чего же вы хотите еще?

— Моря поцелуев.

— Боже, я погибла! Ну вот, получайте.

— Теперь скажите, что вы меня прощаете, и признайтесь, что вы разделили со мной удовольствие.

— Вы отлично знаете, что да, и... я прощаю вас.

Тогда я отпустил ее, но, выказав ей известные утонченные любезности, попросил и ее отплатить мне тем же; и она исполнила все, на этот раз с улыбкой на устах.

Гроза окончилась, порядок восстановился, целуя ее руки, я сказал, что она может быть спокойна, кучер ничего не видел, а я совершенно уверен в ее полном выздоровлении от страха перед грозой, а также в том, что она никому не расскажет о рецепте лечения. Она ответила, что она уверена по меньшей мере в том, что никогда ни одна женщина не выздоравливала таким образом.

— Это, — возразил я, — должно было происходить за тысячу лет миллион раз. Я признаюсь вам, что я рассчитывал на это, садясь в коляску, я не видел другого способа добиться вас. В утешение вам скажу, поверьте, что ни одна столь испугавшаяся женщина не сумела бы защитить себя.

— Я тоже так думаю, но впредь я буду ездить только с мужем.

— И очень плохо, потому что, мне кажется, ваш муж не сможет вам помочь, как это сделал я.

— И это правда. С вами узнаешь удивительные вещи, но больше мы с вами тет-а-тет не путешествуем.

В разговорах такого рода мы доехали до Пасеана, опередив на час всех остальных. Моя красавица отправилась к себе, а я задержался, отыскивая в кошельке экую для кучера. Я увидел, что он улыбается.

— Чему ты смеешься? — спросил я его.

— Будто вы не знаете, сударь.

— Вот еще тебе дукат и держи язык за зубами.

За ужином только и было разговору, что о грозе, и откупщик, знавший о слабости своей супруги, с уверенностью сказал, что теперь я больше не буду ездить с ней вместе.

— И я не буду, — быстро добавила откупщица. — Это безбожник, который шутя закликает молнии.

И эта женщина так ловко избегала меня, что мне больше ни разу не удалось остаться с ней тет-а-тет.

Мое возвращение в Венецию было печальным: тяжело больна оказалась моя бабушка, и мне пришлось отказаться от всех своих привычек, так как я слишком любил ее, чтобы заниматься своими хлопотами. Я почти неотлучно был возле нее до самой ее смерти*. Она не смогла мне ничего оставить, ибо все, что было в ее возможностях, она отдала мне при жизни. Но ее смерть имела последствием то, что мне пришлось начать совсем иную жизнь.

Месяц спустя после ее смерти я получил письмо от матери. Она писала, что, не имея никаких видов на возвращение в Венецию, решила отказаться от найма дома, о своем решении она известила аббата Гримани, и я должен сообразовывать свое поведение с его указаниями. Ему поручено продать всю движимость и поместить меня, а ровно братьев моих и сестру, в хороший пансион.

Дом был оплачен до конца года. Зная, что к тому времени я останусь без жилья, а вся обстановка будет распродана, я пустился во все тяжкие: продав постельное белье, ковры,

фарфор, я приступил к зеркалам, мебели и т. д. Понимая, что это не вызовет одобрения, я считал, что все это наследство отца, на которое моя мать не имела никакого права, а с братьями я со временем смогу все уладить.

Через четыре месяца пришло новое письмо от матери. Оно было из Варшавы и в конверте находилось еще одно. Вот что писала моя мать: «Дорогой сын, я познакомилась здесь с одним монахом-францисканцем, калабрийцем по происхождению, человеком отменных качеств. Это-то и побуждало меня всякий раз, когда я его видела, вспоминать о тебе. Некоторое время назад я рассказала ему, что у меня есть сын, посвятивший себя священнической карьере, но у меня совершенно нет средств, чтобы его содержать. Этот достойный человек ответил мне, что он отнесется к моему сыну как к своему собственному, если б я смогла помочь ему получить место епископа на его родине. Это легко сделать, пояснил он: я могла бы просить королеву*, чтобы она написала о нем своей дочери, королеве неаполитанской.

Уповая на Божью помощь, я припала к стопам Ее Величества, и мне была оказана милость. Королева написала дочери, и мой почтенный прелат был избран папой в епископы Мартурано. И во исполнение своего слова, сын мой, он в середине будущего года возьмет тебя с собою. В Калабрию он направляется через Венецию. Он сам пишет тебе в прилагаемом письме: ответить ему немедленно и адресуй письмо мне, я ему его передам. Он поможет тебе пройти достойный путь в служении Церкви; и как же я буду утешена, когда через двадцать или тридцать лет увижу тебя самого в епископском сане. В ожидании приезда епископа аббат Гримани позаботится о тебе. Шлю тебе свои благословения» и т. д. и т. п.

Письмо епископа, написанное на латыни, повторяло все, что сообщила мне мать. Впрочем же оно было любезно до приторности и содержало известие, что достойный прелат остановился в Венеции на три дня.

Я, конечно, немедленно послал ответ.

Эти два письма вскружили мне голову. Прощай, Венеция! Ожидание самой блестящей карьеры, желание поскорее начать ее совершенно затмили в моей душе сожаление о том, что мне придется бросить, покидая отечество. Все это суэта сует, говорил я себе, а меня ждет великое будущее. Синьор Гримани был также полон самых светлых надежд и обещал найти мне с начала года хороший пансион, где я мог бы прилично жить в ожидании приезда епископа.

Сенатор Мальпиери, который был, что называется, философом и который наблюдал мою полную развлечений и рассеяний жизнь в Венеции, был очень обрадован как тем, что мне предстоит изменить свою судьбу, так и той легкостью, с какой я принял то, что предложили мне обстоятельства. Вот его слова, которые я никогда не забуду: «Известный завет стоиков, — говорил он, — *segue de deum*, можно перевести такими словами: „Доверься тому, что предлагает тебе судьба, если ты не испытываешь непреодолимого отвращения к этому“. Это, добавил он, демон Сократа, что „часто останавливается и редко действует“ или, что то же самое, — „судьба знает, куда нас вести“ стоиков».

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В ожидании приезда епископа Казанова успел затеять тяжбу по поводу распродажи своего имущества. Направленный аббатом Гримани и настоятелем Тозелло в духовную семинарию, он был изгнан оттуда за проступок, которого, правда, не совершал; были у него и романтические приключения. В конце концов его посадили в крепость Святого Андрея, где он смог жить достаточно весело. Все это описано им в нескольких главах его мемуаров, которые мы опускаем и возвращаемся к их тексту с момента приезда в Венецию епископа Мартуранского.

...На третий или четвертый день аббат Гримани возвестил мне приезд епископа, который остановился в монастыре своего ордена в Сан-Франческо де Пауло. Он говорил мне об этом прелате так, словно это была драгоценность, которую он сам выискал, и только он имеет право представить ее на обозрение.

Я увидел красивого монаха с епископским крестом. Ему было тридцать четыре года, и епископом он стал по воле Бога, Святого Престола и моей матери. Коленопреклоненно, с целованием руки я принял его благословение, и он поспешил прижать меня к груди, назвал своим возлюбленным сыном и в дальнейшем говорил только на латыни. Я решил, что он, как калабриец, стесняется говорить на своем языке, но он тут же опроверг меня, обратившись к аббату Гримани по-итальянски.

Он сказал мне, что я должен ехать в Рим, куда меня отправит аббат Гримани, и что в Анконе я получу адрес епископа у одного из его друзей, францисканца Лазари. Он же снабдит меня всем необходимым для путешествия. «А в Риме мы встретимся, — добавил он, — и уж больше не разлучимся, вместе поедem в Мартурано через Неаполь. Приходите ко мне завтра утром пораньше; как только я отслужу мессу, мы позавтракаем. Я отбываю послезавтра»

Г-н Гримани, когда мы вернулись к нему, повел со мной долгую поучительную беседу, во время которой мне не один раз приходилось удерживаться от смеха. Между прочим он сказал, что я не должен слишком увлекаться занятиями, так как тяжкий воздух Калабрии не способствует трудам и может вызвать легочную лихорадку.

Назавтра с утра я появился у епископа. После мессы и шоколада он часа три кряду наставлял меня в вере. Я не очень ему понравился, это было мне очевидно, но я остался им доволен. Он казался мне человеком доброжелательным, впрочем, я был предрасположен к нему: как-никак этому человеку предстояло руководить мною на пути к высоким ступеням церкви, а я в те времена, несмотря на хорошее мнение о своей персоне, в глубине души не очень-то был в себе уверен.

После отъезда епископа г-н Гримани передал мне его письмо, которое мне предстояло вручить отцу Лазари во францисканском монастыре в Айконе. Г-н Гримани сказал, что он намерен отправить меня в Анкону в свите посла Республики, собиравшегося в путь. Мне, стало быть, нужно пребывать в постоянной готовности к отъезду, и так как это означало мое освобождение от опеки Гримани, все эти приготовления радовали меня чрезвычайно.

Сразу же, как мне стал известен час отъезда Венецианского посла, я отправился делать прощальные визиты. Брата Франческо я оставлял в школе г-на Джолли, знаменитого художника-декоратора.

Пеотта, которая должна была доставить меня в порт, отчаливала на рассвете, и я поспешил провести эту короткую ночь с двумя моими ангелами, которые уж и не чаяли увидеть меня больше. Я же ни о чем не загадывал, отдавшись в руки судьбы; зачем размышлять о будущем? Так прошла эта ночь между печалью и радостью, между восторгами и слезами. И на прощанье я возвратил им заветный ключ, подаривший мне столько сладчайших минут.

Эта любовь, первая в моей жизни, почти ничего не дала мне в смысле познания рода людского: она была безоблачно счастливой, никакие ссоры не нарушали ее, никакая корысть ее не омрачала. Как часто мы, все трое, поднимали наши мысленные взоры к небесному Провидению, чтобы возблагодарить его за заботу, с которой оно отвращало от нас все помехи на пути к полной гармонии и покою.

У г-жи Манцони я оставил на хранение все свои бумаги и запрещенные книги. Эта добрая женщина, бывшая двадцатью годами старше меня, верила в предопределение и, перелистывая свой гроссбух, сказала, что она уверена, что уже в следующем году все оставленное у нее я получу обратно. Это предсказание и удивило и обрадовало меня; я подумал, что хотя бы из уважения к ней я должен постараться, чтобы ее пророчество сбылось. Впрочем, ее стремление угадывать будущее не было ни суеверием, ни пустым предчувствием, над которым разум выносит свой приговор, она просто знала жизнь и знала характер того, кому предсказывала будущее. Она уверяла меня с улыбкой, что никогда не ошибается.

Я отправлялся от Пьяцетты Сан-Марко. Накануне г-н Гримани вручил мне шесть цехинов: этого по его расчетам вполне хватало на время моего карантина в Анконском

лазарете, а после моего выхода оттуда деньги мне не понадобятся. Поскольку мои опекуны не сомневались в этом, то и мне следовало разделить их уверенность: моя беспечность избавляла меня от труда задумываться об этом. В действительности же то, что я имел в кошельке тайком от всего света, давало мне некоторую уверенность: сорок два цехина очень способствовали моему юному задору. Итак, я отправился в путь со счастливой душой и ни о чем не сожалел.

Начало странствий

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Поиски епископа обернулись для Казаковы целым сонмом приключений: в Кьодже его обыгрывают шулеры, он проводит несколько недель в карантине в Анконе, первом городе Папской области по пути в Рим; после взлетов и падений, он наконец прибывает в Мартурано, маленький городок в Калабрии, южной части тогдашнего Неаполитанского королевства, в самом носке «итальянского сапога».

застал епископа Бернардо де Бернарди, когда он, примостясь за неуклюжим столиком, что-то писал. Как положено, я опустился на колени, но вместо благословения он встал, заключил меня в свои объятия и крепко прижал к груди. Он был искренне огорчен моим рассказом о напрасных поисках в Неаполе, о том, что мешало мне поскорее припасть к его стопам. Но его огорчение поубавилось, когда я сообщил ему, что я не наделал долгов и что здоровье мое ничуть не пострадало. Он усадил меня, вздыхал, сожалеюще покачивал головой и приказал слуге подать третий прибор. Дом, который занимал епископ, был вместительным, но некрасивой постройки и содержался плохо. Дошло до того, что когда я отправился в соседнюю комнату, чтобы расположиться на ночь, там на кровати не оказалось матраца, и Его Святость уступил мне один из своих! Чтобы не говорить много слов об его обеде, скажу лишь, что он меня напугал. Впрочем, Его Святость был человек умный и человек чести. К своему великому удивлению, я узнал от него, что его епархия, кстати, отнюдь не самая маленькая, дает годовой доход всего лишь пятьсот королевских дукатов, а одних долгов у него на шесть сотен. Со вздохом он прибавил, что единственное благо, которое ему доставил новый пост, это то, что он вырвался из-под ига монахов, державших его чуть ли не пятнадцать лет в некоем подобии чистилища. Эти признания подействовали на меня крайне удручающе: приехал я явно не в землю обетованную и могу только добавить хлопот епископу. Да он и сам был удручен тем жалким будущим, которое мог мне предложить.

Я спросил, есть ли здесь хорошие книги, можно ли найти людей пишущих, наконец, просто общество, где было бы приятно провести несколько часов. Он усмехнулся и сказал, что во всем его диоцезе нет не только человека, знающего толк в изящной словесности, но и мало-мальски умеющего излагать свои мысли на бумаге; что я не отыщу здесь даже читателя газет, не то что книжника. Он пообещал, однако, что у нас будет возможность заниматься чтением, как только придут из Неаполя выписанные книги.

Это-то будет, но без хорошей библиотеки, без избранного кружка, без соперничества, без литературного общения можно ли совершенствоваться в восемнадцатилетнем возрасте? Добряк-епископ, видя меня погруженным в глубокую задумчивость, поспешил меня утешить: он сделает все, что в его силах, чтобы я остался доволен здешней жизнью.

Назавтра, присутствуя при исполнении, им священнических обязанностей, я имел возможность увидеть весь клир, прихожан, мужчин и женщин, заполнивших собор, и это обозрение укрепило во мне мысль как можно скорее бежать из этой грустной страны. Казалось, передо мной прошло стадо дикарей, скандализированных к тому же моим внешним видом. До чего уродливы были женщины! Как тупы и надуты мужчины! Войдя потом к епископу, я сказал этому доброму прелату, что я- охотнее умер бы, чем остался жить в этом

жалком городе. «Благословите меня, — добавил я, — и отпустите на волю. А еще лучше уезжайте вместе со мной. Я уверен, что в других краях нам будет куда лучше».

Над этим предложением он принимался смеяться несколько раз в течение дня. Но, я уверен, прими он его, ему бы не пришлось через два года в расцвете лет расстаться с жизнью*. А сейчас достойный человек, поняв все мое состояние, просил меня простить ему ошибку, приведшую меня следом за ним в этот городишко. Считая своим долгом возвратить меня в Венецию, не располагая деньгами и не зная, что у меня они есть, он сказал мне, что направляет меня в Неаполь к одному горожанину, который выдаст мне шестьдесят королевских дукатов на обратный путь домой. Я с благодарностью принял это предложение.

... Я прибыл в Неаполь 16 сентября 1743 года и сразу же поспешил по указанному епископом адресу. Там проживал г-н Дженнаро. Этот человек, чье дело было выдать мне указанную епископом сумму, прочитав его письмо, предложил мне остановиться у него, так как ему хотелось бы познакомить меня со своим сыном, который «тоже поэт». (Епископ сообщил ему, что я поэт замечательный). После обычных церемоний я принял это предложение и водворился в доме гостеприимного неаполитанца...

Мне было совсем не трудно отвечать на многочисленные вопросы доктора Дженнаро, но меня смущали и даже настораживали постоянные смешки, которыми он сопровождал каждый мой ответ. Ужасные условия жизни в Калабрии и плачевное состояние дел епископа Мартуранского должны были скорее вызвать слезы, а не смех. Решив, что я, может быть, становлюсь объектом издевательства, я уже начал закипать негодованием, когда, отсмеявшись после очередного моего ответа, мой собеседник сказал, что я должен его извинить, что его постоянная смешливость представляет собой болезнь, причем наследственную в его роду — один его дядя даже умер от смеха.

— Умереть от смеха! — воскликнул я.

— Да, эта болезнь, совершенно неизвестная Гиппократу, называется flatti (Дословно «отрыжка», нечто вроде истерического приступа.).

— Как! Ипохондрические припадки, которые делают раздражительными всех, кто им подвержены, вас веселят?

— Да, потому что мои действуют не на желчный пузырь, а на селезенку, а она, как утверждает мой врач, — орган смеха. Это целое открытие.

— Вовсе нет! Это довольно древнее представление...

— Мы поговорим еще об этом, я надеюсь, вы проведете у нас несколько недель.

— К сожалению, не смогу, я уеду, самое позднее, послезавтра.

— А деньги у вас есть?

— Я рассчитываю на шестьдесят дукатов, которые вы мне должны передать.

При этих словах раздается новый взрыв смеха, но, видя мое смущение, он говорит мне: «Мне очень приятна мысль задержать вас подольше. Но, господин аббат, я прошу вас познакомиться с моим сыном. Он пишет довольно милые стихи». На самом деле шестнадцатилетний юноша был большим поэтом.

Служанка проводила меня к молодому человеку. Он оказался на редкость привлекательной внешности и с самыми приятными манерами. Принял меня он чрезвычайно любезно и учтивейшим образом извинялся, что не может именно в эту минуту оказать мне достаточное внимание, ибо должен закончить канцону по случаю пострижения в монастырь одной родственницы герцогини Бовине. Конечно, это были весьма уважительные причины, и я предложил молодому поэту свою помощь. Он тут же начал читать мне свою канцону, написанную с большим жаром в манере Гвиди. Я посоветовал назвать ее одой, и хотя я по справедливости нашел ее приспосабливаемой подлинных красот, все же на некоторые ошибки и слабости я ему указал. Более того, я попытался переделать эти места по-своему. Он был в восхищении от моих замечаний, благодарил меня и спрашивал совета еще и еще, словно я был сам Аполлон. Он сел переписывать свою оду, а я за это время сочинил сонет на ту же тему, сонет поверг его в полный восторг, он попросил меня подписать его и позволить отправить к типографщику вместе с его одой.

Пока я поправлял и переписывал набело, он побежал к своему родителю порасспросить обо мне побольше, и это вызвало новые приступы смеха у г-на Дженнаро до того самого момента, когда мы сели за стол. Вечером мне постелили роскошную постель в комнате юного поэта.

Семья доктора Дженнаро состояла из упомянутого сына, довольно некрасивой дочери, его супруги и двух сестер, по виду старых святош. За ужином я познакомился со многими литераторами, в числе которых был маркиз Галиани, занятый в то время составлением комментариев к Витрувию. Через двадцать лет в Париже я знал его брата, аббата Галиани, секретаря посла графа Кантильяна. На следующий день за ужином я свел знакомство со знаменитым Дженовезе*: ему также были посланы письма обо мне, которые он уже получил.

Назавтра пострижение, и в собрании пьес, написанных по этому случаю, ода молодого Дженнаро и мой сонет получили наиболее высокую степень признания. Некий неаполитанец, носивший ту же фамилию, что и я, захотел немедленно познакомиться со мною и с этой целью посетил дом, в котором я остановился.

Представившись, дон Антонио Казанова осведомился, происхожу ли я из прирожденного венецианского семейства. «Я, сударь, — был мой ответ, правнук внука несчастного Марка-Антонио Казаковы, служившего секретарем у кардинала Помпео Колонны и скончавшегося от чумы в Риме, в году 1528-м, в понтификат Климента VII». Не успел я договорить эту фразу, как дон Антонио бросился ко мне на шею, называя дорогим кузеном.

В эту минуту дон Дженнаро разразился смехом, да так, что все общество испугалось за его жизнь: казалось, невозможно остаться в живых после такого приступа неудержимого хохота. Весьма рассерженная г-жа Дженнаро напустилась на моего нового родственника: он-де, зная о недуге ее мужа, мог бы быть поосторожнее. Дон Антонио, нимало не смутившись, отвечал, что ему никак нельзя было предположить, что дело покажется столь смешным. Мне же вся эта сцена показалась донельзя комической. Наш бедный хохотун понемногу успокоился, Казанова же все с тем же серьезным видом пригласил меня и юного Паоло Дженнаро, с которым мы уже успели стать неразлучными, оказать ему честь и посетить его дом.

Как только мы явились к нему, мой достойный кузен поспешил показать мне свое генеалогическое древо, которое начиналось с дона Франциско, брата дона Хуана. Что касается меня, я твердо знал, что дон Хуан, от которого я происхожу по прямой линии, был посмертным ребенком (родившийся после смерти отца) и, вполне возможно, приходился братом Марку-Антонио. В конце концов, когда он узнал, что я веду свой род от дона Франциско, арагонца, жившего в конце XIV столетия, и что вследствие этого вся генеалогия прославленного рода Казанова де Сарагоса становится и его генеалогией, радости его не было предела: он сумел выяснить, что в наших жилах течет общая кровь! После обеда дон Антонио сказал мне, что герцогиня Бовино горит желанием узнать, кто таков этот аббат Казанова, написавший сонет в честь ее родственницы, и он, — которому это желание стало известно, берется на правах родственника представить меня герцогине. Оставшись с ним наедине, я стал просить избавить меня от этого визита, отговариваясь тем, что гардероб мой состоит только из дорожного платья и мне приходится бережно расходовать средства, чтобы не оказаться в Риме без денег. Он слушал меня все с тем же выражением восхищения на лице и явно поверил в основательность моих доводов, но возразил мне: «Я богатый человек, — сказал он, — и прошу вас отбросить всякую щепетильность и позволить мне предложить вам своего портного». К этому он добавил, что никто не узнает ничего, а мой отказ смертельно его огорчит. Я с благодарностью пожал ему руку и сказал, что он может располагать мною. Мы отправились к портному, внимательно выслушавшему все указания дона Антонио, и назавтра я мог облачиться в одеяние, как нельзя более подходящее для аббата. Дон Антонио обедал у нас. Затем в сопровождении юного Паоло мы отправились к герцогине. Эта дама приняла меня совершенно по-неаполитански, перейдя «на ты» с первых же слов. У нее была дочь лет десяти-двенадцати, премилая особа, которой через несколько лет предстояло стать

герцогиней Маталона. Герцогиня-мать подарила мне табакерку из перламутра, инкрустированного золотом, и пригласила обедать у нее на следующий день с тем, чтобы после обеда мы поехали в монастырь Санта-Клара для свиданья с новой послушницей. Я провел в приемной монастыря Санта-Клара два дивных ослепительных часа под любопытствующими взглядами всех монахинь, вышедших в этот день к решетке. Выпади мне судьба остаться в Неаполе, успех был бы мне обеспечен, но, хотя и безотчетно, я чувствовал, что меня призывает Рим. Поэтому я отказался от всех заманчивых предложений моего кузена дона Антонио, развернувшего передо мной целый список первых неаполитанских семейств, где меня ждали как воспитателя их подрастающего потомства. У герцогини Бовине я познакомился с мудрейшим из неаполитанцев доном Лелио Караффа* из рода герцогов Маталона, которого король Дон Карлос назвал своим другом. Дон Лелио Караффа предложил мне большое жалованье, если бы я согласился руководить воспитанием его племянника, десятилетнего герцога Маталона. Я же попросил оказать мне благодеяние иначе — дать мне рекомендательные письма в Рим. Охотно, без всяких колебаний он согласился и на завтра прислал мне два: одно — кардиналу Аквавиве и другое отцу Джорджи.

Заметив, что друзья мои стараются выхлопотать для меня приглашение к королеве на целование руки, я поспешил с приготовлениями к отъезду, я понимал, что Ее Величество могла меня спросить, а я не мог бы не ответить и не признаться, что я сбежал из Мартуано, от бедного епископа, которого она сама назначила на это злосчастное место. К тому же королева знала мою мать еще по Дрездену, и ничто не могло ей помешать рассказать о том, какую роль играла при дворе моя матушка. Это убило бы дона Антонио, а вся моя генеалогия рухнула тут же. Я знал силу предрассудков, медлить с отъездом было нельзя. На прощание дон Антонио подарил мне великолепные золотые часы и вручил рекомендательное письмо к дону Гаспаро Вивальди, которого он назвал своим лучшим другом. Дон Дженнаро отсчитал мне мои шестьдесят дукатов, а его сын просил писать и поклялся мне в вечной дружбе. Все они проводили меня до экипажа; было пролито много слез, произнесено много благословений и добрых пожеланий.

Я не был неблагодарным по отношению к доброму епископу Мартуранскому; если даже он невольно и причинил мне огорчения, я охотно признаю, что его письмо к дону Дженнаро было источником всех благодеяний, которыми я был осыпан в Неаполе. Я написал ему из Рима.

Пока я осушал слезы разлуки, мы успели проехать всю прекрасную Толедскую улицу и выехать за город. Только теперь я присмотрелся к физиономиям моих спутников. Рядом со мной сидел мужчина между сорока и пятьюдесятью годами, довольно приятной наружности, с живым выражением лица. Но сидящие напротив обрадовали меня гораздо больше: две молодые и красивые дамы, одетые подобающим образом, имевшие вид одновременно и открытый и скромный. Такое соседство нельзя не назвать приятным, но на сердце у меня все еще было тяжело, и мне необходимо было молчание. Мои же попутчики всю дорогу до Капуи болтали почти непрерывно, и — вещь невероятная — я ни разу не раскрыл рта. Я молча наслаждался, слушая неаполитанский говор моего соседа и милый лепет дам, которые были римлянками. Со мной произошло воистину чудо: я провел пять часов визави с двумя очаровательными женщинами, ни разу не обратившись к ним не то что с комплиментом, даже слова не сказав!

Приехав в Капуя, где нам предстоял ночлег, мы получили на постоялом дворе комнату с двумя кроватями — обычная вещь для Италии. Неаполитанец повернулся ко мне: «Стало быть, я буду иметь честь спать с господином аббатом».

С самым серьезным видом я ответил ему, что он волен выбирать и даже может распорядиться совсем по-другому. При ответе одна из дам улыбнулась и это послужило мне добрым предвестием.

Ужинали мы впятером, возница отвечает за питание пассажиров, если нет особой договоренности, и тогда все едят вместе. Во время застольных разговоров мне были

продемонстрированы и скромность, и живость ума, и светскость. Это меня заинтересовало.

После ужина я вышел во двор и, отведя возницу в сторонку, спросил о своих спутниках. «Господин, — отвечал он, — адвокат, а одна из дам, только не знаю которая, ихняя супруга».

Вернувшись, я поспешил улечься в постель первым, чтобы дамы спокойно могли раздеться и приготовиться ко сну, а утром первый же встал и отправился погулять до завтрака. Кофе был отменного качества, я его похвалил, и самым любезным образом мне был обещан такой же на всем протяжении пути. Появился цирюльник, чтобы побрить адвоката. Закончив с ним, плут предложил свои услуги мне. Я сказал, что мне пока не требуются его услуги, и он удалился ворча, что носить бороду нечистоплотно.

Как только мы тронулись в путь, адвокат заметил, что все цирюльники обычно большие наглецы.

— Сначала надо решить, — отозвалась одна из красавиц, — можно ли считать бороду нечистотами.

— Конечно, — ответил адвокат. — Это же экскременты, выделения организма.

— Возможно, — сказал я. — Но можно взглянуть и иначе. Разве называют экскрементами волосы? А они той же природы. Напротив, мы любим их великолепием, густотой и длиной.

— Следовательно, — заключила вопрошавшая, — бородой просто дурак.

— Но кроме того, — добавил я, — разве у меня есть борода?

— Полагаю, что есть, — ответила она.

— В таком случае в Риме я начну с того, что пойду к брадобрею. В первый раз слышу, что у меня заметна борода.

— Ах, женушка, — сказал адвокат, — лучше бы ты молчала. Весьма возможно, что господин аббат едет в Рим, чтобы стать капуцином.

Эта шутка заставила меня рассмеяться, но, не желая отстать, я ответил, что он угадал, но, встретив синьору, я забыл о своем намерении.

— О, это напрасно, — весело ответил адвокат. — Моя жена без ума от капуцинов, и коль вы хотите ей понравиться, не передумывайте.

Так, непринужденно болтая, мы провели весь день, а вечером живой и остроумный разговор помог нам скрасить скверный ужин, поданный нам в Гарильяно. Моя зарождающаяся страсть очень окрепла за этот день с помощью той, что ее вызвала.

Наутро, когда мы разместились в экипаже, милая дама спросила меня, останусь ли я на какое-то время в Риме перед отъездом в Венецию. Я отвечал, что никого не знаю в этом городе и, боюсь, мне будет там скучно.

— Там любят иностранцев, — утешила она меня. — Я уверена, что вы не разочаруетесь.

— Могу ли тогда надеяться, синьора, что мне будет позволено быть вашим поклонником?

— Сочтем за честь, — живо откликнулся адвокат.

... Пообедав в Веллетри, мы приготовились ночевать в Марино. Городок был наводнен войсками, но для нас нашлись две маленькие комнатки и славный ужин.

Я не мог желать большего от моей очаровательной римлянки: хотя я получил от нее залог почти неуловимый, но зато такой искренний и такой нежный! В дороге наши глаза редко обращались друг к другу, но зато волнующими касаниями разговаривали наши ноги.

Адвокат рассказывал мне, что он едет в Рим улаживать одно церковное дело, а жена хочет повидать свою мать, которую не видела два года, со времени замужества. Свояченица же намерена выйти в Риме замуж за человека, служащего в Банке Святого Духа. Остановятся они у тещи адвоката. Получив адрес и приглашение бывать, я пообещал посвятить им все своей минуты, свободные от дел. За десертом красавица обратила внимание на мою табакерку, ей хотелось бы иметь такую же.

— Я тебе куплю, дорогая.

— Купите мою, — сказал я. — Я отдам ее вам за двадцать унций, а вы заплатите их предъявителю векселя, который вы мне дадите. Я должен эту сумму одному англичанину, и мне было бы очень удобно именно так с ним рассчитаться.

— Табакерка ваша, г-н аббат, стоит двадцать унций, но я смогу ее купить только в том случае, если вы возьмете наличными сейчас же. Если вы согласны, я буду счастлив тут же увидеть ее в руках моей жены, которой она будет прекрасным напоминанием о вас.

Его жена, видя, что я не соглашаюсь на его предложение, спросила, не все ли ему равно, заплатить деньги сейчас или выдать вексель.

— Эх, — воскликнул адвокат, — неужели ты не видишь, что никакого англичанина не существует! Он никогда не появится, и табакерка нам достанется задаром. Остерегайся, милая моя, этого аббата, он большой плут.

— Я и не предполагала, — возразила его жена, взглянув на меня, — что на свете существуют плуты такого рода.

А я, приняв самый опечаленный вид, добавил, что мне бы очень хотелось так разбогатеть, чтобы почаще заниматься подобным плутовством. Влюбленному достаточно безделицы, чтобы впасть в отчаяние или подняться до вершин блаженства. В комнате, где мы ужинали, стояла одна только кровать, а во второй, совсем маленькой, сообщавшейся с первой и не имевшей своей двери наружу, стояла еще одна. Дамы выбрали отдаленную комнату, а адвокат предшествовал мне в пути к нашей общей кровати. Я пожелал дамам спокойной ночи и отправился спать, рассчитывая, что до самого утра мне будет не до сна. Но кто может вообразить мой гнев, когда я услышал, как скрипит кровать при любом движении, скрип этот мог пробудить и мертвого. Я замер, дожидаясь, когда мой товарищ по ложу погрузился в глубокий сон. Вот, судя по всему, он заснул, я пробую тихонько соскользнуть с кровати, раздается ужасный скрип, мой компаньон просыпается и шарит вокруг себя рукой. Убедившись, что я рядом, он опять засыпает. Проходит пелчаса, я делаю новую попытку, он пробуждается снова. Я отказываюсь от своего замысла.

Амур — самый коварный из всех богов, переменчивость — вот его постоянное качество, но так как он существует лишь для того, чтобы удовлетворять желания своих пылких поклонников, в минуту, когда все кажется погибшим, маленький слепец прозревает, и все кончается полным успехом.

Я уже начал засыпать, когда страшный шум снаружи разбудил меня. На улице слышались ружейные выстрелы, пронзительные крики, на лестнице раздавался топот бегущих людей; наконец яростные удары посыпались в нашу дверь. Встревоженный адвокат спросил меня, что бы это могло значить. Я с самым равнодушным видом отвечал ему, что что бы это ни было, я хочу спать. Но тут перепуганные дамы закричали, чтобы мы принесли им посветить. Я не шевельнулся, адвокат быстро вскочил с кровати, чтобы отправиться на поиски. Я пошел вслед за ним и, закрывая дверь, толкнул ее чуть сильнее, чем нужно, пружинка соскочила, дверь оказалась запертой и я, не имея ключа, не мог бы ее открыть.

Теперь я подхожу к дамам, чтобы их успокоить, говорю им, что адвокат поспешил, чтобы узнать причины суматохи, и что он скоро вернется с разъяснением. Но не теряя ни минуты, я предпринял все необходимые авансы, слабое сопротивление побуждает меня действовать со всей возможной расторопностью. Забыв об осторожности, я чересчур энергично налег на мою красавицу, и мы все вперемешку барахтаемся на полу. Адвокат возвращается, колотит в запертую дверь. Сестра моей возлюбленной вскакивает, и я, уступая обстоятельствам, подкрадываюсь на цыпочках к двери и говорю адвокату, что у нас нет ключа и мы не можем открыть ему. Обе сестры стоят за моей спиной, я протягиваю руку, но ее яростно отталкивают; значит, я попал на сестру, рука моя тянется в другую сторону, на этот раз с большим успехом. Муж отходит от двери, вскоре возвращается, и мелодия ключа извещает нас, что дверь вот-вот откроется, мы кидаемся к своим кроватям.

Как только дверь открылась, адвокат поспешил к двум своим женщинам, чтобы успокоить и ободрить их, но вместо успокоительных слов разразился смехом, видя их лежащими в развалившейся кровати. Он зовет меня, чтобы полюбоваться этим

уморительным зрелищем, но я из скромности отклоняю его призыв. Тогда он рассказывает нам, что тревога объясняется ссорой, вспыхнувшей между немецким отрядом и испанцами*. Через четверть часа все затихает и покой полностью воцаряется вокруг. Похвалив мою невозмутимость, он ложится и сразу же засыпает. Что до меня, я не смыкая глаз ждал рассвета и с первыми же лучами солнца поспешил выйти, чтобы вымыться и переменить белье. Это было совершенно необходимо. Я вернулся к завтраку, и пока мы наслаждались чудным кофе, изготовленным донной Лукрецией и в этот день, я заметил, что ее сестра дует на меня. Но эта маленькая неприятность была совсем ничтожной в сравнении с той радостью, какую вызывали во мне сияющий вид и благодарное выражение глаз моей несравненной Лукреции! Мы прибыли в Рим ранним утром. Адвокат был в прекрасном настроении, я тоже и, наговорив ему множество любезностей, предсказал ему скорое рождение первенца, взяв с его жены обещание не обмануть ожидания мужа. Не забыл я и сестры моей обожаемой Лукреции; чтобы развеять ее предубеждение против меня, я с таким жаром объяснялся ей в своих дружеских чувствах, проявил к ней такой глубокий интерес, что в конце концов ей пришлось простить мне разломанную кровать. Я расстался с ними, обещав быть с визитом на следующий день.

Итак, я в Риме, хорошо одетый, достаточно снабженный золотом, оправленный в драгоценности, приобретший некоторый опыт, имеющий хорошие рекомендательные письма, совершенно свободный и в том возрасте, когда человек вправе рассчитывать на удачу, если он смел и его внешность привлекает окружающих. Я не был красив, но во мне было нечто, что стоит гораздо больше, что-то неуловимое, располагавшее к симпатии, и я чувствовал себя способным на многое. Я знал, что Рим — единственный город, где человек, не обладающий ничем, может достигнуть всего. Эта мысль воодушевляла меня, необузданное самолюбие, поощряемое моей неопытностью, увеличивало мою уверенность. Человек, желающий добиться успеха в этой древней столице мира, должен быть чутким хамелеоном, способным воспринимать все цвета окружающей его атмосферы, Протеем, умеющим менять свои формы. Он должен быть изворотливым, вкрадчивым, скрытным, непроницаемым, зачастую подлым, притворно чистосердечным, казаться менее осведомленным, чем это есть на самом деле, оставаться холодным, как камень, там, где другой пылал бы огнем; и если — обычная вещь — при таком состоянии души у него нет веры в сердце, он должен сохранить ее в своих речах и, коли он порядочный человек, сумеет примириться с собственным лицемерием. Без этого он должен покинуть Рим и искать счастья в другом месте. Из всех перечисленных качеств, не знаю, гордиться ли этим или покаянно признаться, у меня было только одно: я умел быть услужливым. Во всем остальном я представлял собой приятного проказника, породистую молодую лошадку, еще совсем не выезженную или вернее плохо выезженную, что было хуже всего.

Я начал с того, что отправился с рекомендательным письмом дона Лелио к отцу Джорджи. Весь город уважал этого просвещенного монаха, и сам папа относился к нему с большим почтением. Он не терпел иезуитов и в открытую разоблачал их, хотя сами иезуиты считали себя столь могущественными, что пренебрегали его нападками.

Внимательно прочитав письмо, он сказал, что готов быть моим советчиком, а все остальное будет зависеть от меня, потому что при разумном поведении человеку не надо бояться несчастий. Затем он спросил, чем я намерен заняться в Риме, и я ответил ему, что надеюсь на его указания.

— Это возможно, но тогда, — добавил он, — приходите ко мне почаще и не скрывайте ничего, решительно ничего из того, что вы будете наблюдать, и из того, что с вами будет происходить.

— Дон Лелио, — сказал я, — дал мне еще письмо к кардиналу Аквавиве*.

— С этим можно вас только поздравить. Кардинал — человек более могущественный в Риме, чем папа.

— Следует ли отнести письмо тотчас же?

— Нет, я увижу его сегодня вечером и предупрежу. Приходите ко мне завтра поутру, и

я скажу вам, где и в каком часу вы сможете вручить письмо. Есть ли у вас деньги?

— Достаточно, чтобы их хватило по крайней мере на год.

— Совсем хорошо! А есть ли у вас какие-нибудь знакомые?

— Никого.

— Не знакомьтесь ни с кем без моего совета и старайтесь не бывать в кафе и ресторанах, а уж коли там окажетесь, слушайте, но не говорите. Знаете ли вы французский?

— Ни единого слова.

— Тем хуже! Надо выучиться. Вы учились чему-либо?

— Плохо, но я *infarinato* («обсыпанный мукой» — нахватанный (итал.) до такой степени, что могу поддерживать беседу в обществе.

— А вот это лучше. Только будьте осмотрительны. Рим — город, наполненный инфаринато, все они стремятся разоблачить один другого и ведут постоянную войну между собой. Но я надеюсь, что вы завтра отправитесь с письмом к кардиналу одетым, как подобает скромному аббату, а не в этом наряде. Он сослужит плохую службу вашей фортуне. А покамест, прощайте до завтра.

Я простился и как нельзя более довольный и приемом этого монаха, и его манерой разговаривать направился на Камподи-Фиори, дабы вручить письмо моего кузена дону Гаспаро Вивальди. Я нашел этого достойного человека в его библиотеке в обществе двух почтенных аббатов. После весьма ласкового приема он осведомился о моем адресе и пригласил назавтра отобедать.

Восхваляя на все лады отца Джорджи, он проводил меня до лестницы и там сообщил, что завтра же выполнит получение дона Антонио и вручит мне известную сумму.

Вот еще один дар моего великодушного кузена! Разумеется, нетрудно дарить, когда ты богат, но надо обладать искусством дарить, которое есть далеко не у всех людей. Способ, избранный доном Антонио, был столь же благороден, сколь и изящен; я не мог и не должен был отклонить его дар.

Назавтра, первого октября 1743 года, я решил впервые побриться. Мой пушок уже становился бородой, и пришла пора отказываться от некоторых привилегий юности. Оделся я совершенным римлянином, как этого и хотел портной моего кузена, и отец Джорджи остался весьма доволен моим костюмом.

Он предложил мне сначала чашку шоколада, а затем сообщил мне, что кардинал, уже предупрежденный о письме дона Лелио, примет меня после полудня на Вилле Негрони, где Его Преосвященство будет совершать прогулку. Тут я сказал отцу Джорджи, что я приглашен обедать у дона Гаспаро Вивальди, и он посоветовал мне бывать там почаще.

...На Вилле Негрони кардинал взял мое письмо и опустил его в карман, даже не распечатав. Внимательным взглядом изучив меня, он спросил, есть ли у меня склонность к политике. Я отвечал, что до сей поры склонности мои были довольно легкомысленны и поэтому я могу лишь заверить его, что мое величайшее стремление усердно служить ему поможет мне выполнить все, что Его Преосвященству будет благоугодно поручить мне.

— Приходите завтра, — сказал он, — в мое бюро к аббату Гаме, которого я предупрежу. Надо, — добавил он, — чтобы вы как можно скорее выучились французскому языку, это язык необходимейший.

Затем, расспросив меня о здоровье дона Лелио, он протянул для поцелуя руку и отпустил меня с миром.

Не тратя времени я отправился к синьору Вивальди, где пообедал в избранной компании. Поскольку единственной страстью дона Гаспаро была литература, он был холост. Он любил поэзию латинскую еще сильнее, чем итальянскую, и Гораций, которого я знал наизусть, был его любимым автором. После обеда мы прошли в его кабинет, где он выдал мне сто римских экю от имени дона Антонио и еще раз уверил меня, что будет очень рад почаще видеть меня у себя дома.

Назавтра я представлялся аббату Гаме. Это был сорокалетний португалец с приятным лицом, добродушным и умным. Он сразу же располагал к себе. И манерами и речью он был

истинный римлянин. Он сказал, что Его Преосвященство уже дал относительно меня необходимые распоряжения своему управляющему, что меня поселят в самом палаццо монсеньера, что столоваться я буду вместе с секретарями и что в ожидании, пока я выучу французский язык, мне поручат нетрудную работу составления экстрактов из тех писем, которые мне дадут. Затем мне был указан адрес учителя французского языка, которому обо мне также уже было сказано. Учитель этот был римский адвокат Дальаква и жил как раз насупротив Палаццо ди Спанья.

После такой краткой и точной инструкции и заверений в самом дружеском ко мне расположении, аббат Гама проводил меня к управляющему. Тот вписал мое имя в большую книгу, где было множество других имен, и отсчитал мне шестьдесят римских эку — таковым оказалось мое содержание за три месяца, выплаченное мне авансом. Затем меня провели на третий этаж в предназначенные для меня апартаменты. Горничная вручила мне ключ, сказала, что каждое утро она к моим услугам. Управляющий проводил меня до дверей, дабы я мог быть известным привратнику. И я поспешил перенести мой чемодан в тот дом, где мне было бы суждено, я в этом уверен, сделать блестящую карьеру, окажись я способным жить вопреки собственной натуре.

Понятно, что первым моим движением было отправиться к моему ментору и во всем ему отчитаться. Отец Джорджи сказал, что я могу считать себя вставшим на верный путь и теперь все дальнейшее зависит от моего поведения.

— Помните, — добавил этот мудрый человек, — вам, чтобы не повредить своей карьере, необходимо во многом себе отказывать, и если с вами случатся неприятности, никто не назовет их роковой случайностью, такое слово — пустой звук; все ваши неудачи отнесут на ваш собственный счет.

— Я уже знаю наперед, преподобный отец, — сказал я, — что моя молодость и неопытность побудят меня часто докучать вам. Я боюсь, что покажусь в конце концов вам назойливым, но вы всегда найдете во мне внимательного и послушного ученика.

— А я вам покажусь порой излишне суровым, но боюсь, что вы мне не станете рассказывать всего.

— Все, абсолютно все!

— Позвольте вам не поверить. Вы, например, не сказали мне, где провели вчера целых четыре часа.

— Но я не считал это столь важным! Это дорожное знакомство, я сделал визит, и мне показалось, что это порядочное семейство, которое я смогу посещать, если, разумеется, вы не предпишете иное.

— Сохрани меня Бог от этого! Это очень приличный дом, в котором бывают самые уважаемые люди. Я только могу поздравить вас с подобным знакомством. Вы очень всем понравились, и там надеются, что и вы остались довольны. Мне рассказали обо всем сегодня утром. И все-таки вам не надо часто бывать в этом доме.

— Должен ли я прекратить визиты сразу же?

— Нет, это было бы невежливо с вашей стороны. Бывайте там раз, два в неделю, но не засиживайтесь. Дитя мое, вы, кажется, вздохнули?

— Вовсе нет: я совершенно подчиняюсь вам.

— О, дитя мое, я хотел бы обойтись без титула «подчинение» и особенно чтобы вы поступили так, не скрепя сердце. Во всяком случае, я предпочитаю вас убедить. Помните: нет у рассудка большего врага, чем сердце.

— Однако они могут быть и в согласии друг с другом.

— Тешьте себя этой надеждой, но в таком случае вы выступаете против вашего любимого Горация. Вы знаете его: «Ежели не послушаньем, то приказаньем...»

— Знаю, преподобный отец, но в этом доме, право же, моему сердцу ничто не угрожает.

— Тем легче вам будет отказаться от частых визитов. Помните, что моя обязанность — верить вам.

— А моя — выслушивать ваши добрые советы и следовать им. Я буду бывать у донны Цецилии крайне редко.

С тяжелым сердцем потянулся я к нему поцеловать руку, но он отечески прижал меня к груди и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Итак, мне, влюбленному в Лукрецию и осчастливленному ею, предстояло теперь отказаться от нее! Это казалось мне сущим варварством. Я восставал против этой необходимости, выглядевшей в моих глазах неестественной и унижительной. Еще я думал, что отец Джорджи напрасно сказал мне, что дом, от которого предстояло отречься, порядочный дом. Мне бы было легче тогда подчиниться его настойчивому совету. В таких невеселых размышлениях провел я весь день и большую часть ночи.

Утром аббат Гама принес мне громадную кипу министерских писем, которые мне, чтобы чем-нибудь заняться, надо было компилировать. Едва он ушел, я, напустив на себя самый озабоченный вид, вышел из дворца и отправился на первый урок французского языка. После урока я намеревался совершить небольшую прогулку по Страда ди Кондотти. Меня окликнули. Аббат Гама манил меня к себе, стоя в дверях кафе. Я шепнул ему на ухо, что Минерва запретила мне посещать римские кафе. «Минерва, — ответил он, — повелевает вам узнать о них. Пойдёмте, посидите со мной».

И вот я сижу в римском кафе и слушаю, как некий юный аббат громко рассказывает об одном происшествии, истинном или вымышленном, нападая на правосудие Святого Отца, но без всякой язвительности. Окружающие обсуждают случившееся на все лады со смехом и шутками. А вот другой на вопрос, почему он оставил службу у кардинала Б., отвечает во всеуслышание, что это произошло оттого, что Его Преосвященство считал себя вправе не оплачивать дополнительные услуги, оказывавшиеся ему рассказчиком. И снова общий смех и толк. Наконец, третий подходит к аббату Гама спросить, не захочет ли он после обеда отправиться на Виллу Медичи; там они встретятся с двумя юными девицами, которые стоят всего «кватрино». Это золотая монета стоимостью в четверть цехина. Еще один аббат читает сонет, направленный против правительства, и все кидаются переписывать его. Другой автор обнародывает сатиру собственного сочинения, задевающую честь одного почтенного семейства. В разгар всего этого содома я вижу очаровательного аббата, только что вошедшего в кафе. Глядя на его покачивающиеся бедра, я принял его за переодетую женщину и сказал об этом аббату Гама. Тот рассмеялся: это Беппино Делла Мамана, знаменитый кастрат. Аббат подзывает его и сообщает ему, что я принял его За женщину. Тот пристально смотрит на меня и говорит, что если мне угодно, он готов тут же доказать мою ошибку или мою правоту.

...Вечером я отправился к Лукреции. Там уже знали о моих успехах и всячески поздравляли меня. Но Лукреция заметила, что я чем-то опечален, и я признался, что меня огорчает невозможность свободно располагать своим временем. Ее супруг, как всегда в шутливой манере, открыл ей, что я в нее влюблен и что его теща донна Цецилия советует ему не бояться этого. Я провел час среди этого милого семейства и отправился домой, чуть ли не поджигая воздух пламенем, горевшим в моей душе. Дома я кинулся к столу, за ночь написал оду и отправил ее адвокату, зная, что он обязательно покажет ее своей жене. Она была страстной поклонницей поэзии, но совсем не подозревала, что и я подвержен той же страсти. Затем я наложил на себя трехдневный обет воздержания — я ее навещался в их дом, прилежно занимаясь французским языком и переписыванием официальных писем.

Каждый вечер Его Преосвященство собирал у себя высшее общество Рима. Я не бывал на этих ассамблеях, но аббат Гама бывал и сказал мне, что я могу, по его примеру, приходить туда запросто. Явившись и будучи никому почти незнакомым, я естественно возбудил всеобщее любопытство: на меня смотрели, обо мне спрашивали. Аббат Гама поинтересовался, кто из светских дам кажется мне наиболее привлекательной. Я указал на одну исключительную красавицу, и этот легкомысленный куртизан тут же поспешил к ней и после недолгой оживленной беседы, к моей вящей досаде, меня начали лорнировать, а потом и улыбаться. Это была прелестная маркиза Г., в поклонниках которой состоял кардинал С. К.

Утром того дня, на какой был намечен мой визит к донне Лукреции, меня навестил адвокат, ее супруг. Начал он с того, что я ошибаюсь, если думаю разубедить его в моей влюбленности в его жену, не показывая к ним глаз, а закончил приглашением принять участие в ближайший четверг в поездке в Тестаччо, куда они намерены отправиться всем семейством. «Моя жена, добавил он, — выучила вашу оду наизусть. Она прочла ее и жениху Анжелики, который умирает от желания познакомиться с вами. Он тоже поэт и будет вместе с нами в Тестаччо». Я обещал ему быть у них в назначенный день с двухместным экипажем.

Нельзя было допустить, чтобы отец Джорджи узнал об этой увеселительной поездке от кого-либо помимо меня; я попросту отправился к нему за позволением. Признаюсь, я даже был удивлен его полнейшим равнодушием: он не имел ничего против, это семейная поездка, сказал мой почтенный опекун, а кроме того, мне представляется возможность увидеть окрестности Рима.

Я пожаловал в двухместной «кароцце» (Легкая карета), нанятой мной у одного авиньонца по имени Ролан. Упоминаю здесь его потому, что через восемнадцать лет мое знакомство с этим человеком имело важные последствия. Очаровательная вдова представила мне дону Франческо, своего будущего второго зятя, как большого любителя писателей и очень образованного человека. Я принял все это за чистую монету и готов был с ним обращаться соответственно, но выглядел он довольно туповатым и никак не отвечал представлениям о счастливом женихе прелестной девушки. Но он был честен и богат что стоило гораздо больше, чем образованность и остроумие.

Мы приготовились рассаживаться по экипажам, когда адвокат сообщил мне, что будет моим спутником, а три дамы поедут вместе с доном Франческо. Я воспротивился: пусть адвокат едет с доном Франческо, а на мою долю пусть достанется донна Цецилия. От другого порядка я наотрез отказался и поспешил предложить руку обворожительной вдовушке. Она нашла мои резоны совершенно справедливыми, да к тому же меня порадовал одобрительный взгляд ее старшей дочери. Но почему адвокат предложил такой вариант размещения? Это было не похоже на его прежние отношение ко мне. «Неужели он начинает ревновать?» спросил я себя. Однако печальные мысли досаждали мне недолго, надежда на Тестаччо развеяла туман, и я всю дорогу самым отменным образом любезничал с донной Цецилией.

И прогулка, и оплаченные адвокатом угощения были превосходны, и день прошел быстро. Я старался выглядеть как можно беззаботнее, все мое внимание было обращено на донну Цецилию, с донной Лукрецией я лишь обменялся несколькими словами на ходу, а с адвокатом вообще не разговаривал: мне казалось, он должен был понять, что он ошибся на мой счет.

При отъезде адвокат отобрал у меня донну Цецилию и повел к своему экипажу, где уже сидели Анжелика с доном Франческо. Стараясь не выказать свою радость, я предложил руку донне Лукреции, произнеся при этом самые общие учтивости. Адвокат же смеялся от всего сердца, как будто вполне уверясь, что он изрядно подшутил надо мною. Ах, сколько бы нежных слов произнесли мы, прежде чем кинуться в объятия друг другу, не будь так дороги мгновенья, выпавшие нам! Но мы знали, что всего полчаса отпущено нам безжалостным временем, и не тратили слов. В разгар опьянения страстью Лукреция вдруг воскликнула: «О Боже! Как мы несчастны!» Она оттолкнула меня, выпрямилась, лошади встали, слуга распахнул дверцу.

— Что случилось? — спросил я. — Мы приехали...

Дома я бросился в постель, но заснуть не мог. Во мне пылал огонь, погасить который мне мешало слишком короткое расстояние между Тестаччо и Римом.

...Я проснулся поздно, как раз к тому времени, когда нужно было идти брать уроки французского. У моего учителя была дочь по имени Барбара. Первое время она присутствовала на уроках и даже иногда делала очень точные замечания. Молодой человек, который брал уроки вместе со мной, влюбился в нее, и она отвечала взаимностью. Он нравился мне прежде всего своей скромностью: он скрывал свою любовь, на все мои

расспросы на эту щекотливую тему он всегда отмалчивался.

...Однажды выходя после мессы, я заметил его. Подойдя к нему с упреком в долгом отсутствии, я заметил на глазах его слезы. Я спросил о причине. Он сказал, что его терзает такое горе, что он окончательно потерял голову. Не желая быть назойливым, я собрался покинуть его, он меня удержал. Тогда я сказал, что он может не числить меня в своих друзьях, если немедленно не откроет мне своего сердца. И вот что он рассказал:

«Вот уже шесть месяцев, как я люблю Барбару, и три месяца назад она дала мне неопровержимые доказательства своей любви. На прошлой неделе нас, преданных служанкой, отец Барбары застал в самом деликатном положении. Он вышел из комнаты, не произнеся ни слова, я и решил кинуться за ним, чтобы упасть к его ногам. Но как только я явился к нему, он схватил меня и потащил к дверям, говоря, чтоб я никогда больше не смел появляться в его доме. Я не могу просить ее руки — у меня есть женатый брат, а мой отец беден. Ни у меня, ни у моей возлюбленной нет никаких средств. Я все рассказал вам, ради Бога, скажите мне, в каком она состоянии? Она, я знаю, так же несчастна, как и я. И я не могу передать ей письмо, ее не выпускают из дому даже в церковь. Что же мне делать?»

Я мог ему только посочувствовать, так как, по чести, я не мог оказаться замешанным в это дело. Я сказал, что уже дней пять как я не видел его возлюбленную и ничего не могу сообщить ему о ней. Не имея никаких средств утешения, я дал ему совет, какой всегда дают пошляки в подобных случаях: постараться забыть ее.

Мы разговаривали, прохаживаясь по набережной Рипетта, и я, заметив, какой взгляд впериł он в мутные воды Тибра, испугался за него: отчаянье могло толкнуть его на роковой поступок. Чтобы его успокоить, мне пришлось сказать, что я постараюсь разузнать новости о его возлюбленной и ее отце и сообщить ему. Он, несколько успокоившись после моего обещания, просил меня не забывать о нем.

Несмотря на огонь, зажженный во мне прогулкой в Тестаччо, я вытерпел четыре дня, не видя моей дорогой Лукреции. Совесть моя страшилась и кротости отца Джорджи, но еще более опасался я, что он откажется давать мне советы. И все же я не выдержал: на пятый день я оказался в доме моей возлюбленной. Я застал ее одну и очень опечаленной, — Ах, — сказала она, едва меня завидев, — ужели вы не могли найти минуту, чтоб повидаться со мной?

— Нежный друг мой, сейчас не время сердиться на меня. Я просто берегу нашу любовь до такой степени, что предпочел бы умереть, нежели обнаружить ее. Я надумал пригласить вас всех отобедать в Фраскати. Я закажу фаэтон и надеюсь, что там какой-нибудь счастливый случай поможет нашей любви.

— О да, друг мой, конечно! Так и сделайте, я уверена, вам не откажут.

Через четверть часа все семейство оказалось в сборе, и я обнародовал свое приглашение: в следующее воскресенье отправиться в Фраскати. Это был как раз день Святой Урсулы, праздник самой младшей сестры Лукреции. Я пригласил и донну Цецилию и ее сына, молоденького аббата. Приглашение мое было принято, и мы условились, что ровно в семь часов у их дверей будет ждать фаэтон, а я сам прибуду в то же время в двухместной коляске.

Вечером, на собрании у Его Преосвященства, где я теперь бывал регулярно, хотя никто из особ высшего класса еще ни разу не обращался ко мне ни с единым словом, кардинал сделал мне знак приблизиться. Он беседовал с очаровательной маркизой Г., той самой, которая так понравилась мне при моем первом появлении на вечере кардинала, о чем ее известил несносный Гама.

— Маркиза спрашивает, — сказал кардинал, — каковы ваши успехи во французском? Она сама знает этот язык, как родной.

Я отвечал, что занимаюсь много и многому научился, но не решаюсь пока еще на попытку начать разговаривать.

— Надо решиться, — сказала маркиза. — Только без всяких претензий, и вы будете защищены от критики.

В моем сознании мелькнуло другое значение слова «решиться», о котором маркиза, вероятно, забыла. Я покраснел, и она, заметив это, поняла мою оплошность. Разговор увял, и я смог удалиться.

Назавтра в семь часов я был у донны Цецилии. Нанятый мной фаэтон стоял у дверей, так же как и предназначавшаяся для меня двухместная коляска. На этот раз я нанял элегантное «визави». Донья Цецилия пришла в восторг от мягких и покойных рессор*. «Это мой экипаж на обратном пути», — объявила донна Лукреция, и я отвесил ей глубокий поклон, как бы ловя ее на слове. Чтобы не возбуждать подозрений, она никак не ответила на мой поклон. Предвкушение близкого счастья еще более увеличило мою прирожденную веселость. В Фраскати, распорядившись приготовить обед, мы отправились прогуляться до Виллы Людовизи и условились на случай, если разбредемся, встретиться в гостинице. Достойная вдова оперлась на руку своего зятя, Анжелика поступила таким же образом с женихом, Лукреция осталась моей счастливой добычей. Урсула с братом убежали от нас, и через четверть часа моя прелестная возлюбленная оказалась со мною наедине.

— Понял ли ты, — сказала она, — с каким милым простодушием я обеспечила на обратный путь два часа наедине? И вдруг мы вдвоем гораздо раньше! Как хитроумна любовь!

— Да, моя прелесть, зачем любви пользоваться нашим умом, когда у нее есть свой! Я тебя обожаю. Я провел так много дней без тебя лишь для того, чтобы полнее были радости этого дня.

— Я об этом не думала. Это все ты устроил. Как много ты умеешь для своих лет!

— Еще месяц назад я был совсем несведущ. Ты первая женщина, которая посвятила меня в истинные таинства любви. Что я буду делать, когда ты уедешь! Ведь во всей Италии не найти второй такой женщины.

— Как! Я твоя первая любовь? Бедняжка, ты не вылечишься от этого. Если б я была твоей! Ты тоже моя первая любовь, первая и последняя. Счастлива та, которую ты полюбишь после меня. Нет, нет, я не ревную, но я хотела бы знать, что ее сердце будет таким же, как и мое.

Наступила минута покоя. Я любовался самым пленительным беспорядком, в каком она пребывала, как вдруг мысль, что нас могут застигнуть, встревожила меня. Я сказал ей об этом.

— Не бойся, мой друг, — успокоила она меня. — Мы под защитой добрых гениев.

Мы отдыхали, черпая во влюбленных взглядах друг друга новые силы, и вдруг Лукреция, быстро взглянув направо, воскликнула:

— Вот видишь, мой милый, я тебе говорила! Да, наши гении хранят нас. Ах, как он смотрит на нас, словно старается успокоить своим взглядом. Посмотри на этого маленького демона. Это самое тайное из тайн природы. Полюбуйся им Это или твой или мой гений.

Я подумал, что она бредит.

— Что ты говоришь, душа моя? Я тебя не понимаю. Чем я должен любоваться?

— Разве ты не видишь эту змейку? Посмотри, она же восхищается нами!

Я взглянул туда, куда меня приглашали взглянуть: в самом деле, переливающаяся огненными цветами змея длиной с локоть, приподняв головку, смотрела на нас. Зрелище это ничуть меня не обрадовало, но я не хотел показаться менее бесстрашным, нежели моя подруга.

— Неужели, — спросил я, — моя обожаемая подруга, тебя несколько не пугает ее вид?

— Он меня восхищает, — ответила она. — И я уверена, что это божество, только прикинувшееся змеей.

— А если это божество прямо по траве скользнет к тебе?

— Я крепко прижмусь к твоей груди, а в твоих объятиях Лукреция ничего не боится. Смотри, смотри! — закричала она. — Она уползает. Скорей, скорей. Она дала нам знак, что кто-то идет сюда. Она говорит нам, что надобно искать другое убежище для нашей любви.

Мы нехотя поднялись и усталой поступью двинулись вперед. И тут же из соседней

аллеи к нам вышла донна Цецилия под руку с адвокатом. С самым естественным видом я спросил ее, боится ли ее дочь змей.

— Да, вообразите, — ответила она. — Несмотря на весь свой ум она до обмороков боится грозы и поднимает ужасный крик, едва завидит самую маленькую змейку. Кстати, здесь их много, но их не надо бояться: они здесь не ядовитые.

У меня волосы встали дыбом: выходит, мне пришлось стать свидетелем подлинного чуда, совершенного любовью. В это время к донне Цеции подбежали младшие дети, и мы с Лукрецией как ни в чем не бывало снова отделились от остальной компании.

— Удивительная, восхитительная женщина, скажи мне, что бы ты делала, если б вместо твоей милой змейки возле нас появились твоя матушка и супруг?

— Ничего! Разве ты не знаешь, что в минуты торжества любви для влюбленных существуют только они сами? Разве ты сомневаешься, что я отдаюсь твоим ласкам полностью?

— Ты думаешь, — снова спросил я, — нас никто не подозревает?

— Мой муж не думает, что мы влюблены, или относится к этому как к пустякам, обычным в юности. Матушка моя умна и, быть может, догадывается, но она понимает, что это не ее дело. Сестра моя, конечно, знает, разве она может забыть сломанную кровать? Но она осторожна, а кроме того, ей вздумалось жалеть меня. И она не представляет, каковы мои чувства к тебе. Да я и сама прожила бы всю жизнь, не имея представления о таких чувствах, если бы не ты. То, что я чувствую к своему мужу... это скорее признательность, то, что мне полагается чувствовать в моем положении.

— И все-таки он счастливее меня, и я завидую ему. Он может, когда захочет, обнять тебя, он может видеть без этих ужасных покровов все твои тайные прелести.

— Ах, где же ты, моя милая змейка? Явись, возьми меня под свою защиту, и я сразу же исполню все желания того, кого я обожаю.

Всю первую половину дня мы провели в разговорах о нашей любви и во взаимных доказательствах этой любви.

В конце обеда, за десертом, когда разговор оживился, нареченный Анжелики пожелал прочитать нам сонет собственного сочинения, который он написал специально для меня. Разумеется, я, как должно, поблагодарил его и, приняв от него сонет, положил его в карман, обещав ответить вскоре и моим сонетом. Это его разочаровало, он ждал, что я тотчас же возьмусь за перо и отблагодарю его сонет своим, но я не собирался отдавать Аполлону те часы, которые были отведены мною для другого бога, о котором, судя по всему, жених Анжелики знал только понаслышке. После кофе мы встали из-за стола, я расплатился с хозяином, и мы углубились в лабиринты Виллы Альдобрандини.

С какими сладостными воспоминаниями связаны для меня эти места! Словно впервые предстала предо мной моя божественная Лукреция. Наши глаза пылали, сердца бились в унисон самым жарким нетерпением, и инстинкт вел нас в уединенное убежище, где рука любви приготовила все для сокровенных мистерий ее тайного культа. На середине длинной аллеи под густым зеленым шатром располагалась широкая дерновая скамья, укрытая с обеих сторон густой чащей. Наши глаза могли видеть всякого, кто мог появиться на аллее, и мы были защищены от любой неожиданности. Нам не надо было говорить, за нас говорили наши сердца.

Молча мы стояли, прижавшись друг к другу, и наши проворные руки торопливо отбрасывали все докучные преграды, чтобы показать природе все те красоты, которые скрывали от нее ревнивые одежды. Целых два часа провели мы, вкушая полную сладость любви. В конце, восхищенные и довольные друг другом, мы воскликнули оба в один голос: «Любовь, я благодарю тебя!»

Два часа обратной дороги мы провели в моем «визави», вконец измучившись, прося у природы больше, чем она в состоянии дать: прибыв в Рим, мы были вынуждены опустить занавес еще до развязки пьесы, которую актеры играли с величайшим удовольствием. Я вернулся к себе несколько утомленным; но сон, как обычно в таком возрасте, быстро вернул

мне все мои силы, и утром я, как обычно, отправился брать урок французского языка.

..Я редко бывал у дона Гаспара, так как французские уроки отнимали у меня все утра, единственное время, когда я мог к нему навещать. Но каждый вечер я проводил у отца Джорджи, и хотя я там мало с кем разговаривал, я многому научился: там критиковали без злословия, толковали о политике без пристрастия, о литературе без ярости. Проведя часть вечера в обществе этого мудрого монаха, я отправлялся на ежевечерние собрания к моему хозяину, по тем соображениям, что мне надобно было там бывать. Почти всегда, когда я проходил мимо стола, за которым играла прекрасная маркиза Г., она поднимала голову от карт и обращалась ко мне с каким-либо вопросом по-французски, и я, чтобы не вызывать смеха у людей честной компании, неизменно отвечал ей по-итальянски. Это было странное чувство, объяснить его я представляю проницательности читателя: я находил эту женщину очаровательной и в то же время избегал ее; не то чтобы я боялся влюбиться в нее; я любил Лукрецию, и эта любовь казалась мне надежным щитом от всякой другой. Скорее это было опасение, что она влюбится в меня или хотя бы из любопытства захочет поближе познакомиться со мной. Что же это было: глупая самонадеянность или застенчивая скромность? Порок или добродетель? Возможно, ни то, ни другое.

Как-то на одном из вечеров аббат Гама сказал мне, что маркиза желает со мной поговорить. Я подошел, она стояла с кардиналом, моим патроном, и первая же ее фраза удивила меня до чрезвычайности: она произнесла ее по-итальянски, чего с ней раньше никогда не случалось:

— *Vi ha piaciuto molto Frascati?* Очень вам понравилось Фраскати?

— Очень, мадам. Я никогда прежде не встречал таких красот.

— *Ma la compagnia con laquale — eravate era ancor piu bella, ed assai galante era il vostro vis-a-vis.* Но общество было еще лучше, а ваша визави очень мила.

Мне оставалось только вежливо поклониться. Но в разговор вступил кардинал Аквавива. Очень добродушно он спросил меня:

— Вы удивлены, что все знают?

— Я удивлен, монсеньер, что об этом говорят. Никогда не предполагал, что Рим такой маленький город.

— Чем дольше вы здесь пробудете, — сказал Его Преосвященство, — тем меньше он будет становиться для вас. Вы еще не целовали туфлю у папы?

— Еще нет, монсеньер.

— Надо это сделать.

Я снова поклонился в ответ.

При выходе аббат Гама сообщил мне, что аудиенция у папы будет завтра. Затем он добавил:

— Вы, конечно бываете у маркизы Г.?

— Ни разу.

— Это удивительно, она вас подзывает, она с вами разговаривает.

— Так я пойду к ней вместе с вами.

— Но я там не бываю.

— Но она же разговаривает с вами!

— Да, но... Вы не знаете Рима. Отправляйтесь к ней один, вы это должны сделать.

— Она меня примет?

— Надеюсь, вы шутите? Вам не надо, чтобы о вас докладывали. Вы приходите к ней в ее приемный день, когда двери дома широко раскрыты. Вы увидите там множество ее почитателей.

— А она меня заметит?

— В этом можете не сомневаться.

Назавтра, как мне было предписано, я отправился в Монте-Кавалло*. Меня ввели в личные папские покои. Он* был один, я простерся ниц и поцеловал Святой крест на носке его наисвятейшей туфли. Святой Отец спросил, кто я, я ответил; он сказал, что наслышан

обо мне, и поздравил с тем, что я служу у столь значительной персоны. Спросил он и о том, как я очутился в Риме. Я рассказал ему все, начиная с моего прибытия в Мартурано. Вволю насмеявшись над моей повестью о бедняге епископе, он попросил меня не мучить себя тосканским диалектом, а говорить с ним по-венециански; сам он употреблял болонский диалект. Я почувствовал себя с ним совершенно свободно, наговорил ему столько разных разностей, так его развлек, что он сказал, что всегда будет рад видеть меня. Тогда я попросил у него позволения читать все книги, находящиеся под запретом, и он позволил, пообещав дать и письменное разрешение. Впрочем, об этом обещании он так и не вспомнил.

Бенедикт XIV был ученый человек, весьма любезный, ценивший и понимавший шутку. Во второй раз я видел его на Вилла Медичи. Он подозвал меня и, прогуливаясь, болтал со мной о всяких пустяках. Его сопровождали кардинал Альбани и посол Венеции. Некий человек весьма скромной внешности приблизился к нам. Папа спросил, что ему угодно, он отвечал, понизив голос; выслушав его, папа сказал: «Вы правы. Поручаю вас Бергу». Бедняга отошел с печальным видом, Святой Отец продолжил свою прогулку.

— Святой Отец, — сказал я, — этот человек не очень обрадован ответом Вашего Святейшества.

— Почему же?

— Потому что, судя по всему, он уже обращался к Богу перед тем, как обратиться к вам. И когда вы отправили его туда снова, то он увидел, что с ним поступают по пословице: посылают от Ирода к Пилату.

Папа и двое других рассмеялись, я же оставался по-прежнему серьезен.

— Я ведь не могу сделать ничего стоящего без Божьего соизволения.

— Воистину так, Святой Отец, но этот человек знает также, что вы у Господа первый министр. Легко представить себе его затруднительное положение, когда его снова отправляют к господину, после того как он побывал у управителя. Ему остается последнее средство — римские нищие. Он даст им деньги, и каждый из них за одно байокко станет горячо молиться за него. Но я верю только в милость Вашего Святейшества и умоляю вас оказать мне такую милость: видите, каким голодным блеском воспалены мои глаза, избавьте меня от этого, я не могу сидеть на одной постной пище.

— Да ешьте скоромное, дитя мое!

— Благословите меня, Святой Отец.

Я получил благословение, но он добавил, что большие посты я обязан соблюдать.

Вечером у кардинала я увидел, что мой диалог с папой известен всему собранию. Все наперебой старались заговорить со мной. Я был до крайности польщен этим, но еще больше меня радовало то удовольствие, которое кардинал Аквавива тщетно пытался скрыть от меня.

Не желая пренебрегать советами аббата Гама, я отправился к маркизе в день, когда у нее бывали все, в день приема. Я увидел ее, я увидел кардинала, множество других прелатов, но сам я оставался словно невидимым, так как хозяйка не удостоила меня ни единым взглядом, никто не обратился ко мне с каким-либо вопросом. С полчаса я играл роль без слов. Через пять-шесть дней красавица с величественной и милостивой улыбкой сказала мне, что она видела меня в своей гостиной.

— Я действительно там был, но не подозревал, что имел честь быть замеченным мадам.

— О, я замечаю все. Мне также говорили, что вы умны.

— Если те, кто вам это сказал, сударыня, не лгали, то вы сообщили мне очень приятную новость.

— Да, да, они это знают.

— Очевидно, мадам, эти особы должны были говорить со мной. Без этого они вряд ли могли вынести такое заключение.

— Конечно, но прошу вас не пренебрегать визитами ко мне.

Мы составили кружок. Его Преосвященство сказал мне, что когда маркиза разговаривает со мной тет-а-тет по-французски, плохо ли, хорошо ли я говорю, но моя обязанность отвечать ей на том же языке. Политичный Гама, чуть отведя меня в сторону,

сказал, что мои ответы были несколько резковаты и что я в конце концов могу разонравиться. Я действительно добился довольно быстрых успехов во французском и теперь, когда прекратились мои уроки, для усовершенствования мне были необходимы постоянные упражнения.

Через два дня после высказанного маркизой полуприказания, я появился у нее в приемные часы. Увидев меня, она послала мне радушную улыбку, на которую я счел долгом ответить лишь глубоким поклоном. Я ограничился этим и через четверть часа ушел к себе. Маркиза была красива, у нее было огромное влияние, но я не мог заставить себя унижаться. Римские нравы в этом смысле претили мне.

...Как меня предупреждала Лукреция, дело, по которому ее муж находился в Риме, приближалось к концу. Наконец, решение состоялось, и адвокат пришел на прощанье засвидетельствовать мне свои самые дружеские чувства. Я провел два последних вечера у Лукреции, постоянно среди членов ее семейства, но в день отъезда, желая порадовать ее приятным сюрпризом, выехал заранее и стал ждать ее в той гостинице, где они предполагали остановиться на первый ночлег. Но они замешкались со сборами в дорогу и прибыли туда, где я их поджидал, только на следующий день к обеду. После печальной трапезы мы попрощались, они отправились дальше, а я возвратился в Рим.

Отъезд этой редкой женщины поселил во мне чувство пустоты, естественное для человека, чье сердце не может ни на что надеяться. Целыми днями я оставался в своей комнате, занятый работой над французскими письмами кардинала. Его Преосвященство был так добр, что нашел мои обзоры очень толковыми, но посоветовал мне не слишком перегружаться. Я получил эту лестную похвалу в присутствии красавицы-маркизы. Со времени моего второго визита к ней я у нее не появлялся; она дулась на меня и не упустила случая показать это: она сказала Его Преосвященству, что я так много работаю для того, чтобы разогнать тоску после отъезда донны Лукреции.

— Я не буду скрывать, мадам, что я человек чувствительный. Донна Лукреция была со мной добра и великодушна. Она легко прощала мне редкие визиты. Впрочем, моя привязанность к ней была совершенно невинна.

— Не сомневаюсь, хотя ваша ода написана страстно влюбленным поэтом.

— Поэт и должен казаться влюбленным, — добродушно заметил кардинал, когда он пишет оду.

— Но, — возразила маркиза, — если он и вправду влюблен, ему не надобно прикидываться.

С этими словами маркиза извлекла из кармана бумагу и вручила ее Его Преосвященству.

— Вот эта ода. Она делает честь ее автору: так расценили ее все знатоки изящного в Риме, а донна, Лукреция выучила ее наизусть.

Кардинал бегло пробежал по строкам, улыбаясь вернул бумагу маркизе, сказав, что он не поклонник итальянской поэзии и если бы маркиза была столь любезна и перевела оду на французский язык, он мог бы вполне насладиться красотой стихов.

— По-французски я пишу только прозой, — сказала маркиза, — а прозаический перевод отнимает у стихов три четверти достоинств. Иногда я решаюсь, — добавила она, бросив на меня многозначительный взгляд, — набросать несколько совершенно безыскусных итальянских стихов.

— О, я бы почитал себя счастливым, мадам, если бы мог доставить себе радость полюбоваться ими.

— Вот, — неожиданно вмешался кардинал С. К., - сонет, написанный мадам.

Я почтительно взял листок с сонетом и приготовился читать, но маркиза попросила меня спрятать его и вернуть завтра кардиналу, хотя, добавила она, сонет многого не стоит.

— Если вы завтра днем сможете прервать свои труды, мы пообедаем вместе, — сказал кардинал С. К., и кардинал Аквавива живо воскликнул: «О, к обеду он не опоздает!»

Глубокий поклон был моим ответом на приглашение, и я счел возможным удалиться.

Мне не терпелось прочитать сонет. Но поднявшись к себе, я умерил свое любопытство и решил сначала бросить внимательный взгляд на самого себя. Мое положение представилось мне заслуживающим некоторого рассмотрения после гигантских шагов, которые, кажется, я сделал за сегодняшний вечер. Маркиза Г. в самой недвусмысленной манере дала мне понять, что она мной интересуется, публично делала мне авансы, решительно не страшась оказаться скомпрометированной. Но кто посмеет найти здесь повод для злословия? Молоденький аббат, каким был я, без всякого положения, едва ли могущий претендовать на ее высокое покровительство, и она, созданная как будто нарочно для того, чтобы даровать протекцию тем, кто считает себя недостойным этого, кто далек от того, чтобы высказывать подобные претензии. В этом пункте моя скромность бросалась в глаза всем, и маркиза, без сомнения, оскорбила бы меня, если бы могла предположить во мне уверенность, что я ей понравился, что она питает ко мне склонность. Нет, до такой самонадеянности моя натура не могла прийти. Недаром же ее кардинал пригласил меня обедать. Поступил бы он так, если бы имел хоть малейшее предположение, что я могу нравиться его прелестной маркизе? Разумеется, нет. Он и пригласил меня, подвигнутый к этому словами самой маркизы; я был для нее персоной, с которой можно поболтать несколько часов, ничем не рискуя, ничем совершенно.

Как бы не так!

Зачем мне притворяться перед моими читателями? Пусть они сочтут меня самоуверенным фатом, я их извиняю. Но я действительно чувствовал, что нравлюсь маркизе. Я поздравил себя с тем, что первый шаг, такой важный и такой нелегкий, она уже сделала. Без него я никогда не решился бы не только на правильную осаду, но даже случай не остановил бы на ней мой выбор. До этого вечера я не думал о том, что она может заменить мне Лукрецию. Она была молода, красива, умна и образованна; она была самая просвещенная и самая влиятельная женщина в Риме, чего же еще желать? Я положил, однако, что мне надо казаться не понимающим ее склонности ко мне и убедить ее, что я влюблен в нее и без всякой надежды на взаимность. Я знал, что это могущественное средство потешить ее самолюбие... Мне доставляло удовлетворение и то, что кардинал Аквавива был свидетелем приглашения, сделанного мне кардиналом С. К., был свидетелем воздаяния мне той чести, какой он сам никогда не оказывал. Это могло иметь далеко идущие последствия.

Я прочел сонет прелестной маркизы: он был написан легко, певучими стихами, изящно. В нем воспевался прусский король, только что захвативший с налету Силезию. Мне пришла в голову мысль переписать сонет, персонифицировав Силезию. Я заставил ее жаловаться Амуру (под которым я разумел автора) на то, что он рукоплещет ее победителю, тогда как этот победитель не скрывает своей вражды к любви.

Человек, привыкший слагать рифмованные строки, не может позволить, чтобы счастливая мысль осталась невошющенной в стихах. Поэтический огонь сожжет его при попытке сдержать полет своей вдохновенной фантазии. И я написал свой сонет, сохранив те же самые рифмы, и, довольный своей музыкой, крепко уснул.

Назавтра, когда я заканчивал переписку своего труда, явился аббат Гама с приглашением позавтракать; он воспользовался случаем, чтобы поздравить меня с той честью, которую оказал мне кардинал С. К., публично пригласив меня отобедать у него. «Но, — добавил аббат, — будьте настороже, Его Преосвященство слывет ревнивцем». Я поблагодарил за это дружеское предостережение, но заверил его, что мне нечего опасаться, поскольку я не чувствую никакой склонности к прекрасной маркизе.

Кардинал С. К. принял меня очень доброжелательно, но к этому примешивалось и его явное желание дать мне почувствовать, какими благодеяниями он меня осыпает.

— Не правда ли, — приступил он к разговору, — сонет маркизы совсем не дурен?

— Монсеньер, я нашел его совершенно законченным и, более того, очаровательным. Вот он.

— Она очень талантлива. Я хотел бы вам показать сочиненные ею стансы, но прошу вас, аббат, помнить, что это строгий секрет.

— Ваше Преосвященство можете быть во мне уверены.

От извлек из своего секретера стансы. Я прочел их; написаны они были мастерски, но это было лишь ловкое упражнение на тему любви, страстное и откровенное, но лишенное того огня, по которому распознаешь истинность чувства. Славный кардинал поступал, конечно, чрезвычайно опрометчиво, но тщеславие диктует разные поступки. Я спросил, будет ли Его Преосвященство отвечать на это послание.

— Нет, — решительно ответил он, но, подумав, прибавил: — Если только вы не одолжите мне ваше перо, разумеется, при условии полнейшего опять же секрета.

— Что касается секрета, монсеньер, я ручаюсь своей головой. Но я боюсь, что мадам заметит разницу стиля.

— Она ничего не знает о моем стиле, — ответил он. — Я вообще не думаю, что она считает меня умелым стихотворцем и потому надобно, чтобы ваши стансы были в манере, которую она не посчитала бы превосходящей мои возможности.

— Я это исполню, монсеньер, и Ваше Преосвященство сможет в этом убедиться. И если вы увидите, что моя манера разительно отличается от вашей, вы просто не вручите эти стансы адресату.

— Верно сказано. Так, может быть, вы сейчас и приступите?

— Сейчас, монсеньер? Но это не проза!

— Тогда постарайтесь передать мне их завтра.

Мы обедали вдвоем, и Его Преосвященство хвалил мой аппетит, приговаривая, что я эту работу выполняю так же хорошо, как и он сам.

Я начинал понимать этого чудаковатого человека и, чтобы ему польстить, сказал, что он делает мне слишком много чести, что мне куда как далеко до него. Этот сомнительный комплимент очень ему понравился, и мне стало видно, Какие выгоды можно извлечь из этого Преосвященства. К концу нашей трапезы вошла не кто иная, как маркиза, без доклада, как ни в чем не бывало. Выглядела она обворожительно. Не дав кардиналу времени встать, она села возле него. Я остался стоять, как и положено. Совершенно не замечая меня, маркиза говорила о разных вещах до тех пор, пока не подали кофе. Тогда, наконец, она обратила на меня внимание и предложила мне сесть с видом королевы, подающей милостыню.

— Кстати, аббат, — промолвила она, — вы прочли мой сонет?

— Да, мадам, и имел честь вернуть его монсеньеру. Он очень удался, я уверен, что вы потратили на него немало времени.

— Времени! — сказал кардинал. — Вы не знаете маркизу.

— Монсеньер, — ответил я. — Всякая достойная вещь требует времени. Именно поэтому я не осмелился показать Вашему Преосвященству ответ, который я написал за полчаса.

— Ну-ка, — сказала маркиза, — я хотела бы его прочитать. «Ответ Силезии Амуру». Прочитав эти слова, она очаровательно покраснела.

— Но там же любовь ничего не спрашивала! — воскликнул кардинал.

— Подождите, — сказала маркиза. — Надо понять мысль автора. — Она прочитала сонет несколько раз и нашла упреки Силезии в адрес Амура совершенно справедливыми. Потом она объяснила мою мысль кардиналу, толковав ему, почему Силезия была оскорблена тем, что ее победителем был именно король Пруссии*.

— А-а, — воскликнул развеселившийся кардинал. — Ведь Силезия женщина... а король-то прусский... О-о, какая блестящая мысль!

И кардинал принялся хохотать во все горло.

— Надо переписать этот сонет, — сказал он, отдышавшись. — Мне непременно надо его иметь.

— Я сейчас продиктую аббату, — сказала маркиза.

Я приготовился было переписывать, но в этот момент кардинал снова закричал:

— Маркиза, это удивительно. Он написал все это вашими же рифмами! Вы заметили?

Прекрасная маркиза бросила на меня столь выразительный взгляд, что он завершил мое

порабощение. Я понял ее желание, чтобы я стал своим у кардинала, так же как своей была она в этом доме, и что мы с ней, так сказать, в доле. Я осознал себя всецело в ее власти.

Закончив под диктовку этой обворожительной женщины переписывать сонет, я приготовился уходить, но кардинал, восхищенный всем происшедшим, сообщил мне, что ждет меня и завтра к обеду.

Трудная задача стояла передо мной: мне предстояло с^сздать десять стансов весьма своеобразного рода; я должен был вольтижировать меж двух седел и призвать на помощь всю свою ловкость. Надо было постараться, чтобы маркизе не пришлось выглядеть притворщицей, принимая кардинала за автора, и в то же время она должна была догадаться, что стансы написаны мною и быть уверенной, что мне известно об ее догадливости. Я должен был проявить достаточно осторожности, чтобы она не заподозрила меня в нескромных надеждах, несмотря на весь жар страсти, пробивающийся сквозь тонкий покров поэзии. Что касается кардинала, я понимал, что чем больше красот он найдет в стихах, тем охотнее согласится считать их своими. Дело, стало быть, шло о необходимости ясной простоты, самой трудной вещи в поэзии; двусмысленные же туманности сойдут для моего нового Мидаса за возвышенную риторику. Но хотя мне и было важно понравиться ему, Преосвященный был всего лишь побочным элементом, главным была прекрасная маркиза.

Если маркиза в своих стансах представила величественный список всех достоинств кардинала как нравственных, так и физических, я не должен был пренебречь подобным же ответным перечислением, тем более что мне было легче это сделать. Словом, овладев темой, я дал волю своему воображению и закончил стансы двумя прекрасными стихами из Ариосто:

Но ангельской красе, рожденной Божьим словом,
Не спрятаться ни под каким покровом.

Очень довольный своим изделием, явился я на завтра знакомить с ним Преосвященного. Я сказал ему, что вряд ли он захочет считаться автором столь заурядного сочинения/Он прочитал, потом перечитал, и довольно дурно, вслух и заключил, что действительно в стансах не так уж много дельного, но это именно то, что требовалось. За две последних строчки он поблагодарил меня... особо и, словно в утешение, сказал, что, переписывая стансы, он подпортит для полноты иллюзии несколько стихов.

Как и накануне, мы великолепно пообедали, и я поспешил уйти, чтобы дать ему возможность приготовить копию к приходу своей дамы.

На следующий вечер, встретив ее у дверей нашего дворца и подав руку, чтобы помочь выйти из кареты, я услышал такие слова:

— Если в Риме узнают о моих и ваших стансах, можете быть уверены, что вы нажили во мне врага.

— Простите, мадам, я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Я ждал этого ответа, — ответила маркиза, — но для вас пока хватит.

Я проводил ее до дверей залы и, удрученный ее неподдельным гневом, отправился к себе.

«Мои стансы, — размышлял я, — оказались чересчур пылки и задели ее репутацию. Ее гордость тоже задета, она увидела меня стоящим слишком близко к тайнам ее любовной связи. И все-таки я уверен, что ее опасения моей нескромности всего лишь предлог, чтобы не оказать мне милость. Она не оценила моей сдержанности! Что бы она делала, если б я изобразил ее в одежде золотого века, без всяких покровов, которые набрасывает стыдливость на ее пол!» Досадуя на себя за скромность, я разделся и лег в постель. Не успел я задремать, как в мою дверь постучали. Я открыл, вошел аббат Гама.

— Милый мой, — сказал он, — кардинал просит вас спуститься. Вас хотят видеть маркиза Г. и кардинал С. К.

— Мне жаль, но я никак не могу. Скажите им, что я нездоров и уже в постели.

Аббат ушел и более не возвращался, очевидно, точно передав мои слова. Ночь прошла спокойно, а утром, я еще не успел одеться, как мне доставили записку от кардинала С. К. Он звал меня к обеду, сообщал, что был вынужден сделать себе кровопускание и что ему надо

говорить со мной. В конце он снова повторил приглашение, добавив, что ждет меня, невзирая на мою болезнь.

Экая настойчивость! Но судя по всему, ничего плохого эта записка мне не предвещала. Я пошел к мессе, надеясь быть замеченным кардиналом Аквавивой. Так и случилось: после службы монсеньер дал мне знак подойти к нему.

— Вы в самом деле больны?

— Нет, монсеньер, я просто очень хотел спать.

— Это меня радует, но вы напрасно пренебрегли приглашением, вас любят. Кардиналу пришлось пустить кровь.

— Я это знаю, монсеньер. Он прислал мне записку с этим известием и приглашением к обеду. Если Ваше Преосвященство разрешит мне...

— Весьма охотно. Но это забавно! Я не думал, что он нуждается в третьем.

— Там будет кто-то третий?

— Я ничего не знаю и даже знать не хочу.

Кардинал отпустил меня. Думаю, все решили, что кардинал говорил со мной о делах государственных.

Я отправился к моему новому Меценату, которого застал в постели.

— Мне прописана диета, — сказал он. — Вам придется обедать одному, но вы ничего не потеряете, мой повар об этом не знает. То, что я хотел сказать вам: боюсь, не оказались бы ваши стансы слишком хорошими, маркиза от них без ума. Если бы вы прочли их мне так, как это сделала она, я никогда не согласился бы принять их.

— Но она считает их написанными Вашим Преосвященством?

— Безусловно.

— Так это главное, монсеньер!

— Да, но что же мне делать, если ей вздумается, чтобы я написал еще?

— Вы ответите ей тем же способом. И днем и ночью вы можете полностью располагать мной и быть уверенным в том, что все это будет в нерушимом секрете.

— Пожалуйста, примите этот маленький подарок. Это гаванский негрилло, присланный мне кардиналом Аквавивой.

Табак был хорош, но оправа была еще лучше. Это была великолепная золотая табакерка. Я принял ее с выражениями глубочайшей и, главное, искренней признательности. Если Его Преосвященство не умел писать стихи, он зато умел дарить, и дарить надлежащим образом. А это умение для большого синьора гораздо важнее. Около полудня, к моему большому удивлению, я увидел прекрасную маркизу, вошедшую к нам в очаровательном дезабилье.

— Если б я знала, — сказала она, — что у вас здесь такая хорошая компания, я не пришла бы.

— Я уверен, дорогая маркиза, что аббат не покажется вам лишним.

— Нет, я ведь считаю его порядочным человеком.

Я держался на почтенной дистанции, готовый отбыть вместе с моей драгоценной табакеркой при первой же шпильке в мой адрес. Кардинал спросил, обедала ли она.

— Да, — был ответ, — но скверно — я не люблю есть в одиночестве.

— Если вы окажете ему эту честь, аббат составит вам компанию.

Она взглянула на меня благосклонно, однако не проронила ни слова. Первый раз я имел дело с женщиной высшего общества. И ее покровительственный, даже с некоторой долей доброжелательства, вид смутил меня: в нем не было ничего общего с любовью. Но как же иначе она могла вести себя в присутствии кардинала? Я это понял.

Стол накрыли возле кровати кардинала. Маркиза почти не притрагивалась к блюдам, предпочитая восторгаться моим счастливым аппетитом.

— Я же говорил вам, что аббат мне не уступает, — сказал С. К.

— Я думаю, — сказала маркиза, — что ему осталось совсем немного, чтобы он сравнялся с вами. Правда вы большой лакомка, — добавила она, желая польстить кардиналу.

— Госпожа маркиза, осмелюсь ли я просить вас указать мне, в чем я, по-вашему, меньший лакомка. Во всех вещах я стараюсь найти самое тонкое и изысканное.

— Объясните-ка это «во всех вещах», — потребовал кардинал.

И тогда, рассмеявшись, я принялся в стихах перечислять все тонкое и изысканное, что приходило мне на ум. Маркиза встретила мою импровизацию аплодисментами и сказала, что восхищена моей смелостью.

— *Mon courage est votre ouvrage*. Моя отвага — ваша заслуга. Я ведь тих, словно кролик, пока меня не воодушевит одобрение. Это вы автор этого экспромта.

— Вы прелесть. Что касается меня, пусть меня воодушевляет сам бог Пинда, я не смогу придумать и четырех строчек без пера в руках.

— Решитесь, мадам, предайтесь вашему гению, и вы произнесете дивные вещи.

— Я тоже так думаю, — сказал кардинал. — Прошу вас, позвольте мне показать аббату ваши десять стансов.

— Они очень небрежно написаны, но если это останется между нами, пожалуйста.

Кардинал протянул мне стансы маркизы, и я прочел, призвав на помощь все свое декламационное искусство.

— Как вы прочитали это! — сказала маркиза. — Даже автор не может прочитать лучше. Благодарю вас. Но теперь будьте добры и прочитайте стансы, написанные кардиналом в ответ на мои. Они намного лучше.

— Я так не считаю, — сказал кардинал, вручая мне мои стансы, — но прошу вас читать так, чтобы ничего не потерялось при чтении.

Его Преосвященству не было особой надобности просить читать получше. Не только потому, что это были мои стихи, но и потому еще, что передо мной была та, которая вызвала к жизни эти стихи, тем более что сияющие глаза маркизы раздували огонь, горевший в моих жилах. Я читал стихи в манере, восхитившей кардинала, но я заставил покрыться краской стыда прекрасное чело маркизы, когда я перешел к перечислению ее прелестей, которые я мог только вообразить, ни разу еще не видя их воочию. Она вырвала у меня бумагу со стихами и сказала, что я читаю стихи, слишком подчеркивая, что было справедливо, но я не мог в этом ни за что признаться. Я разгорячился, весь пылал огнем, и она была взволнована. Она встала, направляясь к выходу на бельведер. Я последовал за нею. Она села так, что ее колено коснулось моего кармашка для часов. Какое положение! Нежно взяв ее за руку, я сказал ей, что она зажгла в груди моей неугасимое пламя, что я ее обожаю, и если я не могу надеяться на ее сочувствие ко мне, мне остается только бежать отсюда навсегда.

— Соизвольте, прекрасная маркиза, произнести приговор. — По-моему, вы распутник и ветреник. — Я ни тот и ни другой.

Проговорив это, я встал, прижал ее к своей груди и запечатлел на ее свежих, пахнущих розой губах сладчайший поцелуй. Этот поцелуй, который казался мне предвестником более осязательных ласк, подвинул руки мои к некоторым вольностям, и я уже... Но маркиза так грациозно высвободилась из моих объятий и так ласково попросила меня удерживать мой пыл и уважать ее, что я нашел большее удовлетворение в сладости подчиненья желаниям этой дивной женщины. Я не только отказался от мысли добиваться победы, но я униженно попросил у нее прощенья, которое и было мне даровано без слов, одним только взглядом. Затем она заговорила со мной о Лукреции, и моя скромность понравилась ей. Оттуда разговор свернул на кардинала, и она постаралась внушить мне, что отношения между ними не заключают в себе ничего, кроме дружеской привязанности. Я знал истину, но старался держаться так, чтобы она поверила в то, что я ей поверил. Потом мы принялись читать друг другу стихи наших лучших поэтов. Моя позиция (я стоял, возвышаясь над сидящей маркизой) позволяла мне пожирать жадными взорами прелести, к которым с виду я оставался равнодушным, решив на этот раз не стремиться к победе более прекрасной, нежели та, которую я уже одержал.

Очнувшись после долгого благодетельного сна, кардинал заглянул к нам, не снимая ночного колпака, и благодушно просил извинить его. Я провел с ними время до сумерек и

отправился домой, удовлетворенный этим днем вполне. Я положил держать до времени свои чувства в узде, пока полная победа не совершится сама собой.

С того дня обворожительная маркиза без всякого стеснения не переставала выказывать мне знаки особенного уважения. Я возлагал большие надежды на приближающийся карнавал; я был убежден, что чем щепетильнее я буду обходиться с нею, тем охотнее постарается она воспользоваться случаем отблагодарить мою преданность и вознаградить мою нежность и мое постоянство. Но судьбе угодно было рассудить иначе. В тот самый час, когда и папа и мой кардинал всерьез обдумывали, как надежней и прочней устроить мое положение, фортуна повернулась ко мне спиной.

Был первый день Святков, когда я снова увидел любовника Барбары Дельаква, дочери моего французского учителя. Молодой человек вбежал в мою комнату, запер за собою дверь, бросился передо мной на колени и воскликнул, что я вижу его в последний раз.

— Я пришел только, чтоб попросить у вас добрый совет!

— Какого совета вы ждете?

— Прочтите, вы все поймете.

Это было письмо его подруги. Вот содержание письма: «Я ношу под сердцем залог нашей взаимной любви: никаких сомнений нет, и я решила бежать из Рима, друг мой, куда глаза глядят, если ты не позаботишься обо мне. Я скорее умру, чем откроюсь отцу».

— Если вы человек порядочный, — обратился я к молодому человеку, — вы не можете ее оставить. Женитесь на ней против воли и вашего отца и ее отца. Женитесь на ней, и Провидение вознаградит вас.

Успокоенный, казалось, этим советом, он вышел. В начале января он снова пришел ко мне; на этот раз он выглядел гораздо лучше.

— Я снял верхний этаж дома, смежного с домом Барбары — сообщил он. Сегодня ночью я проберусь к ней через слуховое окно чердака, и мы условимся о времени побега. Я все обдумал: я увезу ее в Неаполь. Придется взять с собой и ее служанку, она как раз спит на чердаке и бежать без ее ведома невозможно.

— Да поможет вам Бог!

Через неделю около полуночи он появился у меня в сопровождении какого-то аббата.

— Что вам угодно в такой поздний час?

— Позвольте представить вам этого милого аббата.

Я взгляделся в лицо аббата и с удивлением узнал в нем Барбару Дельаква.

— Вас кто-нибудь видел у входа? — спросил я.

— Нет, а кроме того, это же аббат. Мы уже несколько ночей все время вместе.

— Поздравляю вас с этим.

— Служанка тоже с нами, она согласилась нас сопровождать.

— Еще раз поздравляю вас и прощайте. Теперь прошу вас уйти.

Через несколько дней я прогуливался с аббатом Гамой, и он, между прочим, сказал мне, что сегодня ночью на Пьяцца ди Спанья будет полицейский осмотр.

— Полицейский осмотр? Зачем?

— Начальник полиции или его лейтенант придут исполнить некоторые ordine santissimo «святейшее распоряжение» или осмотреть кое-какие подозрительные комнаты, где они надеются встретить неожиданных гостей.

— Как это стало известно?

— Его Преосвященство должен быть извещен об этом. Папа не осмелится без его разрешения вмешиваться в его юрисдикцию.

— Стало быть, он дал такое разрешение?

— Конечно. Сегодня утром у него был аудитор Святого Отца.

— Но наш кардинал мог и отказать?

— Разумеется, но он никогда не отказывает.

— А если персона, которую разыскивают, находится под его протекцией?

— Тогда кардинал предупреждает это лицо.

Беседа перешла на другие темы, но новость меня встревожила. Я понимал, что этот вопрос может касаться Барбары и ее любовника, поскольку дом ее отца находился под юрисдикцией Испании. Я бы напрасно стал разыскивать молодого человека, я не мог скомпрометировать себя этими поисками...

Возвратившись к полуночи домой и войдя в комнату, я увидел в своем кресле почти бездыханного юного аббата. Распознав Барбару, я обо всем догадался и, предвидя последствия ее прихода, взволнованный, смущенный тем, что она решила прятаться у меня, попросил ее тотчас же уйти.

Ужасно! Чувствуя, что я погибну вместе с нею, не имея никакой возможности помочь ей, я был вынужден чуть ли не силой выпроваживать ее и готов был даже позвать на помощь, если она начнет противиться. Мне не хватило на это смелости, я невольно решил подчиниться судьбе.

Как только я приказал ей уходить, она, обливаясь слезами, бросилась к моим ногам, умоляя сжалиться над нею.

Какое жестокое сердце надо иметь, чтобы не уступить слезам и мольбе прекрасной женщины, оказавшейся в беде! И я уступил, сказав только, что она губит нас обоих.

— Никто, — сказала она мне, — не видел ни как я вошла в дом, ни как поднялась к вам. И хорошо, что я была здесь неделю назад, иначе я никак не сумела бы пробраться к вам.

— Увы! Лучше бы вам это не удалось. А что случилось с доктором?

— Его вместе с нашей служанкой схватили сбирь. Я сейчас вам все расскажу. Предупрежденная моим возлюбленным, что он будет ждать меня в экипаже ночью у паперти церкви Тринита-деи-Монти, я выбралась через чердак и вместе со служанкой поспешила к месту свиданья. Служанка шла немного впереди меня с моими пожитками. На углу улицы я почувствовала, что у меня расстегнулась пряжка, и остановилась застегнуть ее, а она продолжала свой путь. Я увидела, как она подошла к экипажу, стоявшему возле церкви, поднялась туда, и тут же я увидела целую толпу сбирь, высыпавших из-за угла. Один из них вскочил на место кучера, другие прыгнули в экипаж, и лошади тронулись с места. Мне стало ясно, что они приняли служанку за меня и увезли ее вместе с моим возлюбленным, сидевшим в экипаже и схваченным ими раньше. Что же мне оставалось делать? Домой я вернуться не могла и, следуя первому побуждению, кинулась к вам. Вот что привело меня сюда.

При этих словах слезы снова полились с удвоенной силой. Да, ее положение было куда хуже моего, хотя я, ни в чем не повинный, был накануне падения в пропасть.

— Позвольте мне, — сказал я, — проводить вас к вашему батюшке. Я уверен, что смогу уговорить его простить вас. Услышав это, она ужаснулась еще более: «Я знаю моего отца, — взмолилась она. — Я погибла. Ах, господин аббат, выкиньте лучше меня на улицу и предоставьте меня моей несчастной судьбе».

Я так и должен был поступить, если бы моя осторожность взяла верх над состраданием. Но эти слезы! Я говорил о них часто, и читатель знающий согласится со мной: нет ничего неотразимей потока слез, льющихся из женских глаз. Особенно когда эти глаза принадлежат женщине хорошенькой, порядочной и глубоко несчастной. И я не мог найти в себе сил противиться им.

— Бедная моя девочка, — сказал я наконец, — скоро наступит утро, что же вы будете делать утром?

— Я уйду отсюда, — проговорила она сквозь рыдания. — В этой одежде никто меня не узнает. Я выберусь из Рима и буду идти, куда глаза глядят, пока не свалюсь от усталости и горя.

Едва выговорив эти слова, она упала на пол, смертельно побледнела и лишилась чувств. Ужасное положение! Я расстегнул воротник, распустил шнуровку, брызнул ей в лицо водой и смог вернуть ее к жизни. Ночь было холодна, камин не горел, я предложил перенести ее на кровать, предупредив, что ей нечего меня опасаться. «Ах, господин аббат, я сейчас могу возбуждать только жалость...».

Действительно, я был настолько растроган и встревожен, что никакие желания не могли проснуться во мне. Я положил ее в постель, сама она не могла раздеться — настолько была слаба, и раздел ее. Моим глазам предстало зрелище, способное пробудить неистовые чувства, но я еще раз убедился, что сострадание заставляет смолкнуть голос самых могущественных потребностей. Я заснул, не раздеваясь, в кресле и проснулся с первыми лучами солнца. Я разбудил ее, она смогла сама одеться, и, наказав ей не беспокоиться и ждать моего возвращения, я вышел в город. Я намеревался отправиться к ее отцу и убедить его простить дочь, употребив для этого все возможные средства. Но на Пьяцца ди Спанья я увидел множество подозрительных субъектов: намерения мои изменились, я решил пойти в кафе.

Тут же я заметил, что какой-то странный тип, судя по всему переодетый сбир, следует за мной по пятам. Не показывая, что я обнаружил соглядатая, я вошел в кафе, выпил шоколаду, попросил завернуть мне несколько бисквитов и вышел на улицу. Шпион поджидал меня и не отставал до самых дверей Пьяцца ди Спанья. Я рассудил, что начальник полиции, упустив добычу, берет под надзор всех подозрительных; еще более утвердился в этом убеждении, услышав от привратника, что ночью приходили с полицейским осмотром, но он не пропустил сбиров. Мой разговор с привратником был прерван появлением аудитора кардинала-викария; он пришел узнать, когда можно побеседовать с аббатом Гамой. Я понял, что времени терять нельзя, и поспешил к себе, дабы принять решение.

Предложив бедной девушке пару бисквитов, смоченных канарским вином, я повел ее под крышу нашего дома в место, где ее было бы трудно отыскать, и оставил там дожидаться моего возвращения.

Как только лакей пришел убирать мою комнату, я распорядился, чтобы он, окончив уборку, запер ее и ключ отнес к аббату Гаме, у которого я его буду ждать. В дверях аббата я столкнулся с выходящим от него аудитором. После того как слуга принес нам шоколаду и мы остались одни, аббат Гама дал мне точный отчет о случившейся только что беседе. Дело идет о том, чтобы просить Его Преосвященство нашего кардинала распорядиться выдворить из его дворца некую персону, проникшую туда минувшей ночью. «Надо подождать, — добавил аббат, — когда кардинал примет аудитора, несомненно, что если кто-то проник во дворец без ведома кардинала, он его выдворит незамедлительно». Мы поговорили еще о том, о сем, пока мой лакей не принес мне ключ. В моем распоряжении оставался по крайней мере час, я придумал выход, казавшийся мне единственно возможным, чтобы спасти несчастную Барбару от позора.

Пробравшись незамеченным к месту, где меня ждала моя затворница, я продиктовал ей следующее письмо по-французски: «Я порядочная девушка, монсеньер, обстоятельства вынудили меня надеть платье аббата. Я умоляю Ваше Преосвященство позволить мне открыться Вам лично. Я надеюсь, что Вы по благородству Вашей души спасете мою честь». Я научил ее, каким образом передать это письмо, уверив ее, что, как только Его Преосвященство прочтет его, он распорядится доставить ее к себе. «Оказавшись перед ним, упадите на колени, расскажите ему все без утайки, кроме того, что вы провели ночь в моей комнате; об этом обстоятельстве вы не должны говорить никому, нельзя, чтобы кардинал знал, что я принимал участие в вашем деле. Скажите ему, что как только вы увидели, что ваш возлюбленный схвачен, вы в ужасе бросились бежать, в беспамятстве вошли в этот дом и забрались под самую крышу, где и провели страшную ночь. Что под утро вы решились написать ему и воззвать к его великодушию. Я уверен, что Его Преосвященство как-нибудь сумеет спасти вас от позора. И это, наконец, единственное средство, которое поможет вам соединиться с любимым человеком».

Она пообещала исполнить в точности все, и я, несколько успокоившись, привел себя в надлежащий порядок и отправился, как обычно, на мессу, чтобы кардинал увидел меня. Затем я вышел из дому и вернулся только к обеду, во время которого все только и говорили, что об этом деле. Лишь аббат Гама хранил полное молчание, и я следовая его примеру. Из всех этих пересудов я уловил, что кардинал взял мою бедную Барбару под свое

покровительство. Это было все, чего я желал, и, поняв, что мне нечего опасаться, я в молчании любовался своей стратагемой, казавшейся мне маленьким шедевром. После обеда, оказавшись наедине с Гамой, я спросил его, что же это была за интрига, и он рассказал мне следующее: «Некий отец семейства, я пока еще не знаю его имени, хо>-дательствовал перед кардиналом-викарием о пресечении попытки его сына бежать вместе с одной девицей за пределы Государства Святого Отца. Побег должен был случиться ночью, и свидание любовников должно было произойти на Пьяцца ди Спанья. Кардинал-викарий, известив нашего кардинала, о чем я вам рассказывал вчера, приказал начальнику полиции устроить засаду и схватить молодых людей; Приказ был исполнен, но только наполовину: когда арестованных доставили к начальнику полиции, выяснилось, что женщина, оказавшаяся в экипаже с юношей, совсем не та, которую искали. Тут подоспел шпион с донесением, что видел, как какой-то молодой аббат опрометью бросился от места происшествия к Палаццо ди Спанья и скрылся там. Явилось подозрение, что под личиной аббата прячется разыскиваемая. Начальник полиции сообщил обо всем кардиналу-викарию, и тот обратился к Его Преосвященству с просьбой выдать мнимого аббата. Кардинал Аквавива принял сегодня в девять часов утра аудитора, которого вы встретили у меня, и обещал ему выполнить эту просьбу.

Действительно, сразу же было отдано распоряжение провести тщательный осмотр всего здания, но через четверть часа управляющий получил новый приказ: прекратить розыски.

Дворецкий рассказал мне, что в десятом часу один молодой аббат, в котором он сразу же заподозрил переодетую женщину, пришел к нему, умоляя передать письмо в собственные руки Его Преосвященства. Кардинал, прочитав письмо, тотчас же принял этого аббата, который, наверное, не кто иной, как ускользнувшая от сборов девушка».

— Его Святейшество несомненно выдаст ее, но не в руки сборов и не в руки кардинала?

— Даже и не в руки папы, — ответил Гама. — Вы еще не знаете, как далеко простирается милость монсеньера. Юная особа находится не только в его дворце, но и в его собственных покоях, под его защитой.

История была занимательна, и мое любопытство не должно было вызвать подозрений у Гамы, даже при всей его наблюдательности, я же, разумеется, не собирался доверить ему свою тайну.

На следующее утро аббат Гама явился ко мне с сияющим видом и объявил, что кардинал-викарий знает, что соблазнитель был моим приятелем, и предполагает, что и я здесь не без греха, поскольку отец девушки был моим учителем французского языка.

— Он уверен, — сказал Гама, — что вы знали всю эту историю и что именно в вашей комнате провела ночь сбежавшая девица. Я должен признаться, что восхищен вашим умением держаться. Во время вчерашней беседы мне и в голову не приходило, что вы хоть что-нибудь знаете об этом деле.

— Это правда, — отвечал я с самым серьезным видом. — Я узнал все только сейчас. Я знал эту девушку, но не видел ее уже шесть недель с тех пор, как прекратились мои уроки. Молодой доктор знаком мне гораздо лучше, но он никогда не сообщал мне о своих планах. Каждый волен думать, что ему угодно. И хотя вы говорите, что вполне естественно предположить, что девушка провела ночь в моей комнате, я могу только смеяться над теми, кто путает свои предположения с действительностью.

— Это, — откликнулся аббат, — порок всех римлян, мой милый друг; счастлив тот, кто может над этим смеяться, но эта клевета вам много может стоить, даже при всем уме нашего патрона.

В этот вечер не было спектакля в Опере и я отправился на ассамблею к кардиналу. Я не заметил никакого изменения ни тоне разговора кардинала со мной, ни в отношении ко мне других персон, а маркиза была со мной мила даже более чем обычно. На следующий день я узнал от Гамы, что Его Святейшество решил поместить девушку в один из монастырей, где

она будет содержаться за счет кардинала, и, как надеется кардинал, она покинет монастырь только для того, чтобы стать женой молодого доктора. Через два дня, придя навестить отца Джорджи, я узнал от него, что главная новость сегодняшнего дня в Риме неудавшийся побег дочери Дельаквы и честь устройства всей этой интриги молва приписывает мне. Добрый старик был этим крайне удручен. Я отвечал ему в тех же выражениях, что и аббату Гама, и видел, что он поверил мне. «Но, объяснил он, — Рим предпочитает видеть не то, что есть на самом деле, а то, что ему нравится видеть. Известно, друг мой, что вы проводили каждое утро в доме Дельаквы, известно, что молодой человек бывал у вас: этого достаточно. Все хотят знать не то, что может разрушить клевету, а то, что может ее укрепить. Так уж ведется в этом Святом городе. Ваша непричастность к этой истории не мешает вспомнить о ней и лет через сорок, когда конклав будет выбирать вас в папы». В последующие дни толки об этом деле надоели мне до последней степени. Все заговаривали со мной, и я видел, что мои ответы встречают полное недоверие. Кардинал Аквавива не был со мной так искренен и открыт, как прежде, хотя никому, кроме меня, это и не было заметно. Весь этот шум начал уже утихать, когда в начале Поста кардинал пригласил меня в свой кабинет. Он сказал мне следующее: «Дело молодой Дельаква закончено, и о нем уже не говорят. Но общее мнение склонно считать причастными к нему вас и меня. Все эти толки мне глубоко безразличны, в таких случаях я поступаю так, как поступил. Я также не интересуюсь знать, кто считает, что вы должны были говорить там, где вы предпочли по долгу порядочного человека молчать. И все-таки, несмотря на все мое презрение к этой болтовне, я не могу открыто пренебрегать ею. Таким образом, я вынужден просить вас не только оставить службу у меня, но и вообще покинуть Рим. Я удаляю вас под достойным предлогом, не нанося никакого ущерба вашей репутации. Я обещаю вам сообщить всем, что вы отправляетесь с чрезвычайно важной миссией конфиденциального характера. Подумайте о стране, куда вы хотели бы поехать, у меня есть друзья повсюду, и я отрекомендую вас моим друзьям самым лучшим образом, вы сможете получить достойное место. Приходите завтра ко мне в Виллу Негрони, чтобы сказать мне, куда я должен адресовать свои письма. Вам надлежит собраться в дорогу за неделю. Поверьте, что мне тяжело вас терять, но это жертва, которую я вынужден принести предубеждениям. Теперь идите, я не хочу быть свидетелем вашего огорчения».

Он сказал мне это, видя, что мои глаза наполнились слезами. Выходя из его кабинета, я* собрался с силами настолько, что аббат Гама, пригласивший меня к себе выпить кофе, нашел меня даже повеселевшим.

— Я вижу, что вы довольны той беседой, которая была у вас с Его Преосвященством.

— Беседа состоялась, но вы не видите того огорчения, которое я стараюсь не показывать.

— Огорчения?

— Да, я тревожусь из-за трудного поручения, возложенного на меня кардиналом сегодня утром. Я вынужден скрывать свою неуверенность, чтобы не уменьшить доверия Его Преосвященства ко мне.

— Если вам могут помочь мои советы, прошу вас располагать мною. Однако мне думается, вы поступите правильно, если постараетесь выглядеть как можно более спокойным. Это поручение связано с Римом?

— Нет, мне придется через десять дней отправиться в путешествие.

— В какую же сторону?

— На запад.

— Молчу, больше ни о чем не спрашиваю.

Я расстался с ним и отправился на Виллу Боргезе, где провел два часа в состоянии мрачного отчаянья. Я полюбил Рим, и я видел, какие блестящие возможности открывались передо мною в этом городе, а теперь я очутился перед бездной, неизвестностью, все прекрасные надежды были разбиты. Строгим взглядом рассмотрел я свое поведение: я мог обвинить себя только в излишней готовности помочь, но как оказался прав достойный аббат Джорджи! Я не должен был впутываться в эту интригу, и как только я увидел ее завязку, мне

было необходимо тут же поменять преподавателя; но все эти запоздалые рассуждения были что для мертвого припарки.

Куда же мне теперь? Напрасно искал я ответа на этот вопрос: если не Рим, то не все ли мне равно? На следующий день, через аббата Гама, мне было передано распоряжение кардинала прийти к нему. Я нашел его прогуливающимся в садах Виллы Негрони. Он отослал секретаря, мы остались одни. В мельчайших подробностях рассказал я ему всю историю двух любовников, изобразил живейшими красками мое отчаянье от вынужденного расставания с ним. «Я вижу, — сказал я, — что судьба моя рушится, раз мне приходится покидать службу у Вашего Преосвященства». Битый час говорил я с ним, сопровождая свои слова потоками слез, но решение его оставалось непоколебимым. Доброжелательно, но настойчиво он просил у меня ответа, какое место Европы я выбрал. Отчаянье и досада заставили меня назвать Константинополь.

— Константинополь? — переспросил он, даже попятившись от меня. — Да, монсеньер, Константинополь, — повторил я сквозь слезы.

Этот прелат, исполненный ума, но сущий испанец душой, после некоторого молчания произнес с улыбкой:

— Покорно благодарю, что вы не назвали Исфагань, это было бы мне затруднительно. Когда вы едете?

— Через неделю, как изволили приказать Ваше Преосвященство.

— Вы отправитесь из Неаполя или из Венеции? — Из Венеции.

— Я дам вам самый весомый паспорт, так как в Романье расположились на зимние квартиры сразу две армии. Я думаю, что вы можете рассказывать всем, что я послал вас в Константинополь, ибо никто вам не поверит.

Выбор, сделанный мною, удивил меня самого. Вернувшись к себе, я долго размышлял об этом. «Или я сумасшедший, — говорил я себе, — или я ведом таинственным духом оккультных сил, знающим, где судьба предназначила мне действовать». Единственное, что я никак не мог объяснить, почему кардинал так легко согласился с моим выбором. «Разумеется, — продолжал я свои размышления, — он, говоря, что у него друзья повсюду, не хотел показаться в моих глазах хвастуном, бахвалящимся своим могуществом. Но кому же он может порекомендовать меня в Константинополе? И что я буду делать в этом городе? Ладно, я знаю только одно: мой путь лежит в Константинополь».

Через день кардинал вручил мне паспорт до Венеции и запечатанное письмо, адресованное Осману Бонневало, паше Карамании, в Константинополь. Я мог никому не сообщать об этом, но так как Его Преосвященство напрямую не запретил мне, то я показывал адрес на конверте всем своим знакомцам.

Венецианский посланник кавалер де Лечче дал мне письмо для своего друга, богатого и гостеприимного турка, дон Гаспарро и аббат Джорджи также снабдили меня письмами. Только аббат Гама, хитро усмехнувшись, сказал мне, что он твердо знает, что в Константинополь я не поеду.

Я отправился сказать последнее «прости» дому донны Цецилии. Она только что получила известие от Лукреции, что той вскоре предстоит стать матерью. Я попрощался также с Анжеликой и доном Франческо. Недавно состоялась их свадьба, на которую я приглашен не был.

Вместе с последними распоряжениями я получил от кардинала Аквавивы кошелек, содержащий семьсот унций золотых квадруплей; у меня уже было триста, теперь стало тысяча.

Я занял место в берлине, отправлявшейся в Анкону. Со мной ехала дама, которая везла к Богоматери Лореттской свою недужную дочь. Девушка была изрядной дурнушкой, и путешествие вышло довольно скучным.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

С отъездом из Рима завершается очень важная пора жизни Джованни

Джакомо Казаковы, сформировавшая в значительной мере его характер, кончается юность Казаковы. В 19 лет он вынужден начинать новую карьеру. Добравшись не без приключений до Венеции (мадам Манцони оказалась права он вернулся через год), сменив по дороге одеяние аббата на военный мундир, он отправляется в Константинополь на судне, везущем вновь назначенного губернатора острова Корфу (одно из последних некогда многочисленных заморских владений Венеции).

В Константинополе, радушно принятый графом Бонневалем, французским авантюристом, сражавшимся за свою родину против Австрии и за Австрию против своей родины, приговоренным к смертной казни, замененной ему изгнанием, и принявшим на склоне лет мусульманство, Казанова, как обычно, завязывает обширные знакомства. Ему даже предлагают стать мусульманином и жениться на дочери богатого турка. В конце концов его неугомонный темперамент и опасная любознательность вынуждают его поспешно покинуть берега Босфора. Прослужив некоторое время в гарнизоне Корфу, он возвращается в Венецию.

Последние годы в Венеции

Едва высадившись в Венеции, я поспешил к г-же Орио, но ее дом был пуст. Сосед сообщил мне, что она вышла замуж за г-на Роза и поселилась в его доме. Поговорив с соседом, я узнал дальнейшее. Первая же новость, поразившая меня, была та, что Нанетта стала графиней Р. и живет в Гвасталле вместе со своим супругом.

Через двадцать четыре года я увидел ее старшего сына, офицера на службе инфанта-герцога Пармского.

Что касается Мартон, то, подвигнутая чувством благочестия, она стала монахиней в Мурано. Двумя годами позже я получил от нее письмо, так и дышащее лампадным маслом, в котором она заклинала меня именем Иисуса Христа и Святой Девы не пытаться больше ее увидеть.

... Я ее больше не видел, а она, в 1754 году, меня видела, о чем я расскажу в свое время.

Зато г-жа Манцони была все та же. Она предупреждала меня, что я недолго пробуду военным, и когда я сказал ей, что я и в самом деле решил оставить военную службу, она смеялась до колик. Поинтересовавшись, на что же я намерен променять шпагу, и получив ответ, что я подумываю об адвокатстве, она рассмеялась снова и сказала, что для этого уже поздно, время упущено. Мне было тогда только двадцать лет.

... Через несколько дней я получил отставку, снял униформу и оказался полным хозяином собственной персоны.

Чтобы жить, надобно было выбрать род занятий, и я решил попытаться поддержать свое существование игрой, но госпожа Фортуна рассудила иначе: через неделю я спустил все, чем располагал. Что было делать? Я вспомнил о профессии скрипача. Когда-то аббат Гоцци неплохо обучал меня игре на этом инструменте, я вполне мог пикировать в театральном оркестре. С помощью Гримани я стал оркестрантом в театре Сан-Самуэле, где зарабатывал экую в день в ожидании лучших времен.

Оценивая себя беспристрастно, я понимал, что мне вряд ли придется теперь бывать в таких домах, куда я был вхож в прежние, до моего падения, времена. Что же! Меня могли считать шалопаем, но я плевал на это; меня могли презирать, но меня утешало то, что сам я не считал себя достойным презрения. Теперешнее положение после тех блестящих ролей, какие мне выпадало играть, было унижительным; но хотя я и мог его стыдиться, оно меня не принижало полностью: Фортуна на этот раз отвернулась от меня, но я не терял надежд на ее благосклонность в будущем, ибо я был молод, а эта ветреная богиня почти никогда не отказывает молодости.

... В половине апреля 1746 года синьор Джироламо Корнаро, старший сын в семействе Корнаро делла Реньо, сочетался браком с девицей из дома Соранцо де Сен-Поль, и я имел честь присутствовать на этом торжестве... в роли деревенского скрипача. Я был среди

многочисленных оркестрантов, игравших на балах, которые давались в течение трех дней в Палаццо Соранцо. На третий день, к концу праздника, за час до рассвета, усталый до изнеможения, я бросил свое место в оркестре и отправился домой. Спускаясь по лестнице, я увидел человека, судя по красной мантии сенатора, намеревающегося сесть в гондолу. Вынимая из кармана платок, он незаметно для себя обронил письмо. Я поспешил подобрать его и вручил сенатору находку. Он поблагодарил меня, спросил, где я живу, и предложил место в своей гондоле. Предложение было как нельзя кстати, я поклонился и был посажен на скамью слева от сенатора. Едва мы отчалили, он попросил меня встряхнуть его левую руку: он что-то перестал ее совсем чувствовать, я дернул его за руку изо всех сил, но тут же еле слышным голосом он сказал, что теперь онемела вся левая половина и что он умирает. Я отдернул полог, свет фонаря осветил его: лицо перекошилось, он действительно выглядел умирающим. Я крикнул гондольерам, чтобы они немедленно высадили меня, надо было найти хирурга и сделать кровопускание сенатору. Едва гондола успела коснуться набережной, я выскочил из нее и кинулся в ближайшее кафе, там мне указали адрес хирурга. Чуть ли не разбив ударами кулака дверь дома, я разбудил его и потащил, не дав ему времени снять ночной халат, к умирающему. В то время как врач делал свое дело, я разорвал на компрессы и бинты свою рубашку.

Приказав лодочникам налечь на весла, я через несколько минут доставил сенатора к его дому на Санта-Марина. С помощью проснувшихся слуг мы вынесли его из гондолы, перенесли в дом и положили на кровать в спальне. Он был почти без признаков жизни.

Приняв на себя роль распорядителя, я послал слугу привести как можно быстрее врача. Явившийся эскулап одобрил принятые мною меры и произвел второе кровопускание. Считая себя вправе остаться подле больного, я расположился рядом с его ложем в ожидании, когда ему потребуется моя помощь.

Через час, один за другим, появились два патриция, друзья больного. Оба они были очень встревожены и, узнав от гондольеров о моей роли в оказании помощи сенатору, подступили ко мне с расспросами. Я рассказал обо всем случившемся, они выслушали, и поскольку они даже не поинтересовались узнать, кто я, я скромно промолчал об этом.

Больной был недвижим, и только дыхание выдавало, что он еще жив. Ему сделали припарки и послали за священником, который, казалось, был необходим в этом положении. По моему настоянию все другие посещения были запрещены, и мы втроем остались в комнате умирающего до утра. Там же нам подали в полдень обед, довольно вкусный, который мы и съели, не отходя от кровати.

Вечером старший из двух патрициев сказал мне, что, если у меня есть дела, я могу идти, потому что они останутся на всю ночь в комнате больного. «И я, господа, — отвечал я твердым голосом, — проведу всю ночь в том же кресле, потому что если я отойду от больного, он непременно умрет; я знаю, что пока я рядом с ним, жизнь его в безопасности». Это решительное заявление заставило их не только с удивлением, но и с уважением посмотреть на меня.

Мы поужинали, и после ужина я узнал от этих господ (хотя я их и не расспрашивал ни о чем), что их друг сенатор младший брат прокурора Брагадина и носит ту же фамилию. Наш сенатор был знаменитый человек в Венеции. Он славился как своим красноречием и большим талантом в государственных делах, так и галантными приключениями в молодости. Много безумств совершил он ради женщин, да и они тоже натворили немало ради его красоты, элегантности и обходительности. Он много играл и много проигрывал и имел в лице своего брата злейшего врага, который даже обвинял его перед Советом Десяти в попытке отравления. Дело это слушалось несколько раз и было прекращено ввиду полной невиновности младшего брата. Однако столь страшное обвинение подействовало на недавнего жизнелюбца: он стал философом и как философ искал утешения в дружбе. Два горячо преданных ему друга были сейчас возле него. Один из них носил славную фамилию Дандоло, другой принадлежал к не менее известному дому Барбаро. Оба они были честные и добропорядочные люди; им, как и их другу, было около пятидесяти лет *. Врача, лечившего

больного, звали Терро. Он избрал довольно странный метод лечения: утверждал, что для спасения пациента должно применить ртутные компрессы на грудь. Быстрое действие этого лекарства, обрадовавшее двух друзей, меня, напротив, напутало: за двадцать четыре часа мозг больного пришел в сильное возбуждение. Лекарь заявил, что он это предвидел, что ртуть дает нужный эффект и что эти явления проявятся скоро во всем организме, оживив циркулирующие в нем флюиды. В полночь наш больной буквально горел: я наклонился к нему — я увидел глаза умирающего и услышал тяжелое прерывистое дыхание. Тогда я разбудил его задремавших друзей и объявил, что их друг непременно умрет, если немедленно не приостановить действие злосчастного лекарства. В ту же минуту, не дожидаясь их ответа, я снял с его груди пластырь, тщательно обмыл грудную клетку теплой водой, и уже через три минуты мы слышали, как дыхание успокаивается, и скоро он погрузился в глубокий сон. И тогда, наконец, мы смогли тоже уснуть, обрадованные, а особенно я, случившимся на наших глазах улучшением состояния нашего подопечного. Пришедший рано утром врач несказанно обрадовался, увидев своего пациента в хорошем состоянии. Но когда г-н Дандоло сообщил ему о принятых ночью мерах, он пришел в страшный гнев, говоря, что пренебрежение ртутью погубит больного, и поинтересовался, по чьему распоряжению были отменены его рецепты. И вдруг г-н Брагадин заговорил: «Доктор, — сказал он, — тот, кто освободил меня от ртутных компрессов, по-видимому, гораздо более сведущ в медицине, чем вы». И он указал на меня.

Я не знаю, кто выглядел более удивленным в этот момент: доктор ли, увидев перед собой совершенно незнакомого молодого человека, которого он, естественно, должен был принять за шарлатана и которого, тем не менее, объявили более сведущим, чем он, или я, только что, без всякого моего намерения, провозглашенный светилом медицины. Я постарался держаться с величайшей скромностью, хотя мне очень хотелось рассмеяться, врач же смотрел на меня со смешанным чувством замешательства и досады, как на наглого самозванца, дерзнувшего захватить его место. Наконец, он обратился к больному, сказав, что в таком случае он отказывается от лечения. Он ушел, предоставив мне превратиться в лейб-медика одного из самых знаменитых членов Сената Республики Венеция. В сущности, я уже был им, и это меня ничуть не испугало: твердым голосом сказал я больному, что надо только строго придерживаться режима, а там крепкая его натура и приближающаяся благодатная пора быстро поставят его на ноги.

Отставленный врач рассказал эту историю всему городу, и так как больному день ото дня становилось лучше, один из его родственников, допущенный, наконец, к его ложу, спросил, как же он не побоялся довериться в своем лечении какому-то театральному скрипачу. Г-н Брагадин резко прервал его, сказав, что познания этого скрипача не менее обширны, чем у всех медиков Венеции вместе взятых.

Этот синьор прислушивался ко мне, как к своему оракулу, и его друзья относились ко мне с тем же уважением. Это очень воодушевляло меня, и я с видом заправского знатока рассуждал о физических свойствах, поучал, цитировал никогда не читанных мною авторов.

Г-н Брагадин, имевший пристрастие ко всему таинственному и мистическому, сказал однажды, что я обладаю удивительно глубокими для столь юного возраста знаниями, и, очевидно, дело тут не обошлось без помощи сверхъестественных сил. Он просил меня не таиться и сказать ему всю правду.

Вот что такое случай и сила обстоятельств! Не желая обидеть моего благодетеля сомнением в его проницательности, я не стал объяснять, что он очень ошибается, я имел глупость сделать ему, в присутствии обоих его друзей, ошеломляющее, насквозь выдуманное мною, конфиденциальное сообщение: да, я действительно связан с таинственными силами, я владею особой числовой таблицей, с помощью которой я, задавая вопросы, предварительно зашифровав их цифрами, получаю ответы, тоже в цифрах, делающие для меня известным то, что неизвестно никому на свете. Г-н Брагадин сказал, что это Ключ Соломона, то, что в просторечье зовется каббалой*. Он спросил, кто выучил меня этой науке.

— Старик-отшельник, — ответил я без смущенья, — он жил в Испании в горах

Карпанья. Я имел случай с ним познакомиться, когда попал под арест в испанской армии.

— Ты владеешь, — сказал сенатор, — истинным сокровищем, и от тебя самого зависит та великая польза, какую ты можешь извлечь из этого.

— Не знаю, какую пользу могу извлечь из этой науки, — отвечал я, ведь ответы, получаемые от моей таблицы, чаще всего настолько туманны, что я ничего не могу в них понять. Хотя благодаря тому, что я составил однажды свою пирамиду, я имел счастье познакомиться с Вашим Превосходительством.

— Как же это?

— К концу второго дня праздника в доме Соранцо мне захотелось спросить у моего оракула, предстоит ли мне на балу какая-нибудь неприятная встреча. Я получил такой ответ: «Покинь праздник ровно в десять часов». Я послушался и встретил Ваше Превосходительство.

Три моих слушателя замерли пораженные. Г-н Дандоло первым попросил меня ответить на вопрос, который он мне сейчас предложит; истолкование ответа он возьмет на себя, потому что дело известно только ему одному.

Я вынужден был согласиться, за дерзость надо было расплачиваться. Он написал вопрос, дал его мне, я прочел и ничего не понял: тем не менее надо было отвечать. Если вопрос был настолько темен, что я ничего не мог понять, вполне естественно я ничего не должен был понять и в ответе. Я придумал четыре стиха, предварительно записал их цифрами, предоставив интерпретацию ответа вопрошавшему. Сам я, разумеется, сохранял вид полнейшего равнодушия и непонимания. Г-н Дандоло перечихал ответ несколько раз, удивился, понял все: это изумительно, это непостижимо, это язык небес! Цифры были всего лишь посредниками, но ответ был продиктован бессмертным разумом.

Радость г-на Дандоло побудила его друзей в свою очередь подступить ко мне с вопросами. Мои, совершенно непонятные мне самому, ответы привели их в экстатическое состояние. Я получил столько похвал, что мог только поздравить себя с обладанием чудесным даром, о котором я и не подозревал до сего дня. Разумеется, поскольку я увидел, что могу быть полезным Их Превосходительствам, я объявил им о своей всегдашней готовности к их услугам.

Тогда все трое спросили, сколько времени понадобится мне, чтобы посвятить их в тайны этого чудесного шифра. «Совсем немного времени, господа, — ответил я, — и я охотно посвящу в него вас. И хотя отшельник предупредил меня, что если я захочу поделиться с кем-либо открытой мне тайной, я умру на третий день, я не верю в эту опасность».

Г-н Брагадин, будучи человеком более сведущим, чем я, тут же возразил мне с весьма серьезным видом, что пренебрегать этой опасностью нельзя ни в коем случае. С этого момента никто из них не обращался более ко мне с подобной просьбой. Они решили, и совершенно справедливо, что если они смогут привязать меня к себе, то это сделает их как-то сопричастными к великой науке. Таким образом я стал жрецом-предсказателем, иерофантом этих трех синьоров, людей почтенных и доброжелательных, которых, однако, несмотря на всю их литературную образованность, трудно было назвать людьми истинно знающими. Они истово верили в химеры оккультных наук и в существование совершенно невозможных вещей. Они уже считали, например, что с моей помощью станут обладателями философского камня, универсальной медицины, лекарства всех лекарств; смогут стать собеседниками элементарных частиц материи и духа и даже, благодаря моему таинственному дару, проникнут в тайны всех правительств Европы.

Получив ответы на вопросы о минувшем, удостоверюсь в великой силе моей науки, они приступили к выяснению тайн настоящего и будущего. Мне было нетрудно угадывать, поскольку мои ответы всегда были двусмысленны; я позаботился, однако, чтобы все прояснялось лишь после того, как событие произойдет: таким образом моя «каббала», подобно оракулу в Дельфах, не знала неверных пророчеств. Я постиг тогда легкость, с какою жрецы древности дурачили языческий мир; я увидел, как легко смогу обходиться с

легковерными глупцами, и понял римского оратора, сказавшего об авгурах, что они не могут смотреть друг на друга без улыбки. Но я не понял и не смогу, наверное, никогда понять, почему Отцы Церкви, будучи не столь просты и невежественны, как наши евангелисты, не могут проникнуть в тайны оракулов и объясняют их предсказания кознями дьявола. Они не могли бы выставить столь странное объяснение, зная тайну моей «каббалы» и прочих ухищрений. В этом смысле трое моих почтенных друзей напоминали святых отцов: они были умны, но суеверны и совсем не философы. Правда, доброта их сердец не позволяла им приписывать точность моего оракула дьявольской ловкости, напротив, они считали, что мои ответы продиктованы ангелом.

С этими тремя оригиналами, заслуживающими всяческого уважения как за свои нравственные достоинства и порядочность, так и за их доверие ко мне и возраст, не говоря уж о благородстве происхождения, я провел чудесные дни. Правда, порой их неутолимая жажда знаний держала нас всех по десять часов кряду взаперти от остального мира.

В конце концов я сделал их своими ближайшими друзьями, рассказав обо всем, что происходило со мной раньше, не без утайки, однако, некоторых подробностей, дабы не делать их свидетелями смертных грехов. Разумеется, даже в собственных глазах я не выглядел вполне честным человеком, но если читатель, перед которым я исповедуюсь, знает этот мир и ведает человеческое сердце, пусть он задумается, прежде чем осуждать меня, и тогда, быть может, он признает, что я заслуживаю известной снисходительности.

Мне скажут, что если я хотел держаться правил поведения нравственного человека, мне не надо было бы искать дружбы с ними или же я должен был рассеять их заблуждения. Я бы не стал отрицать это, но ответил, что мне было двадцать лет, что я был всего лишь простым скрипачом, и, попытайся я открыть им глаза, они рассмеялись бы мне в лицо, назвали невеждой, а затем отвернулись бы от меня.

Да я и не имел никакого желания выступать в качестве апостола, и если б я принял героическое решение плюнуть на них, как только они признали меня за прорицателя, я бы оказался всего-навсего мизантропом, врагом и тех людей, которым я доставлял невинные радости, и самого себя, двадцатилетнего полного сил и здоровья жизнелюбца. Я мог бы пренебречь вежливостью и милосердием, я мог бы оставить умирающего Брагадина, наконец, и в результате всего этого я допустил бы, чтобы три достойных человека стали, благодаря их мании, жертвами первого попавшегося пройдохи, который вытянул бы из них на свал химерические опыты все их состояние.

... Я выбрал, мне кажется, самое верное, самое благородное и самое естественное решение.

Благодаря дружбе с этими тремя людьми я получил удовольствие стать предметом пересудов и подозрений болтунов, чесавших языки в рассуждениях о феномене, который никак не могли объяснить. Вся досужая Венеция ломала голову, пытаясь понять, что связывает меня с этими тремя людьми: что общего у них, столь возвышенных, со мной, таким земным; у них, людей столь строгих нравов, со мной, распутным и дерзким гулякой.

В начале лета г-н Брагадин уже был в состоянии присутствовать в Сенате, и вот что он сказал мне накануне своего первого выхода из дому:

«Кто бы ты ни был, я обязан тебе жизнью. Все выбиравшие для тебя дороги, пытавшиеся сделать из тебя священника, доктора, адвоката, солдата, наконец музыканта, были жалкими глупцами, не понимавшими твоего предназначения. Но Бог послал ангела, и он привел тебя ко мне. Я узнал тебя и смог тебя оценить; чтобы стать моим сыном, тебе достаточно назвать меня отцом, их; той же минуты все в моем доме будут считать тебя таковым до дней моей смерти. Твои комнаты готовы, распорядись перенести туда свои вещи; у тебя будет слуга, в твоём распоряжении будет гондола, ты будешь есть за моим столом и получать десять цехинов в месяц на карманные расходы. В твоём возрасте я получал от моего отца меньше. Не обязательно, чтобы ты сразу же позаботился о своём будущем, развлекайся, если хочешь, но прошу тебя помнить, что я твой друг, а не только отец, и рассчитывай на мои советы всегда, когда они тебе понадобятся; во всем, что с тобой будет

происходить, я буду тебе верным, повторяю, другом*.

Я бросился перед ним на колени, чтобы выразить всю свою признательность, а потом обнял его, произнеся заветное слово „отец“. Од, прижав меня к сердцу, назвал дорогим сыном; я обещал ему послушанием любовь. После этого два?ш друга, остававшиеся все еще в палатце, явились также меня обнять, и мы поклялись друг другу в вечной братской дружбе.

Такова, любезный читатель, история моей метаморфозы и конец приключения, превратившего меня из жалкого скрипача, пиликающего в оркестрике, в богатого и благородного отпрыска знатной фамилии-. Фортуна, которой угодно было явить мне еще раз образчик своей непостоянной натуры, осчастливила меня в то время, когда я шел по пути, никак не связанным с благоразумием. Она не обладала, однако, властью заставить меня подчиниться законам сдержанности и осмотрительности, которые одни только могли обеспечить мое прочное будущее.

Мой пылкий характер, непреодолимая склонность к удовольствиям, непобедимое стремление к независимости вряд ли могли смириться с теми условиями, которые диктовало мне мое новое положение: я не мог быть ни осторожным, ни предусмотрительным. Поэтому я начинал жить, стараясь быть свободным от всего, что могло ограничить мои склонности, я полагал возможным для себя стать выше предрассудке».

Итак, я решил вести жизнь полностью свободного человека в стране, подчиненной аристократическому наследственному правительству, это не удалось бы и в том случае, если та же капризная фортуна сделала бы меня членом этого правительства, ибо Республика Венеция считала первым своим долгом охранять незыблемость порядка*. В конце концов, она сделалась рабой так называемых государственных соображений. Ей пришлось отдать, все в жертву этим соображениям, этому *raison d'Etat* (Государственный разум)

Но оставим эту материю, ставшую с недавних пор общим местом для всех; род человеческий, во всяком случае а Европе, убедился, что безграничная свобода ничуть не зависит от общественного строя. Я задел эту тему только для того, чтобы дать читателю представление о моем образе жизни в те времена, когда я начал торить дорогу, приведшую меня в конце концов в республиканскую государственную тюрьму.

Достаточно богатый, одаренный от природы приятной внешностью и обаянием, отчаянный игрок, настоящий дырявый кармаи, острый и находчивый собеседник, поклонник всех хорошеньких женщин, не терпящий соперников, любитель веселых компаний, я мог возбуждать ненависть; но всегда готовый расплачиваться собственной персоной, я считал, что могу себе позволить все, и видел мой долг в том, чтобы преодолевать любые стесняющие меня преграды.

Подобное поведение не могло нравиться трем почтенным особам, превратившим меня в своего оракула, но они предпочитали молчать. Лишь добрейший Брагадин заметил как-то, что я повторяю все безумства его молодости и что мне придется платить за них, когда я подойду к его теперешнему возрасту. Конечно, я пренебрег предостережением- этого уважаемого мною человека и продолжал жить, как жил. И вот первый урок, который дала мне его мудрая опытность.

Я свел знакомство с молодым польским дворянином Завойским. В ожидании получения денег из своего отечества он жил на то, что охотно ссужали ему венецианцы, очарованные внешностью и чисто польскими манерами. Мы сдружились, я открыл ему свой кошелек; добавлю, что он сделал то же самое еще с большей широтой через двадцать лет в Мюнхене. Это был славный малый, не слишком, правда, большого ума, но и такого вполне хватало ему для хорошей жизни. Он умер лет пять-шесть тому назад министром пфальцского правителя.

Однажды во время прогулки этот любезный молодой человек представил меня некоей графине, очень мне понравившейся. Вечером мы отправились к ней с визитом и после знакомства с ее супругом, графом Ринальди, были приглашены отужинать. Муж ее, между тем, держал банк, и я, понтируя вместе с очаровательной графиней, выиграл пятьдесят дукатов.

В восторге от столь приятного знакомства, на следующее утро я отправился к Ринальди

один. Граф встретил меня извинениями: жена еще не поднялась, и ей придется принять меня, не вставая с постели. Я был введен в спальню. Графиня обошлась со мной самым непринужденным образом и, оставшись со мной наедине, повела дело столь искусно, что, ничем не скомпрометировав себя, сумела мне внушить большие надежды. В тот момент, когда я приготовился откланяться, я получил от нее приглашение на ужин. Вечером снова была игра, и я, играя, как и накануне в паре с графиней, опять оказался в выигрыше. Я покинул их дом окончательно влюбленным.

На следующий день я опять отправился туда, надеясь найти графиню еще более расположенной ко мне, но когда я попросил доложить о себе, мне было сказано, что графини нет дома. Я не замедлил явиться вечером. После многочисленных извинений банк снова был сооружен, и я проиграл все, что выиграл накануне. После ужина, отпустив всех посторонних, хозяин решил предоставить мне и Завойскому возможность реванша. Денег у меня уже не оставалось, я играл на честное слово, и когда мой проигрыш достиг пятисот цехинов, граф сложил карты. На этот раз мое возвращение домой было печальным. Честь обязывала меня завтра же заплатить долг, а у меня не было ни гроша. Любовь еще более усиливала мое отчаянье: я предвидел свое безмерное унижение в глазах любимой женщины. Это состояние столь явственно отражалось на моем лице, что не могло укрыться от глаз г-на Брагадина. Очень дружески он стал расспрашивать меня и просил во всем довериться ему, я понял, что ничего другого не остается, и рассказал, по наивности, всю историю, закончив словами, что я обещан, а жить обещанным не смогу. Он утешил меня, сказав, что в этот же день заплатит мой долг, если я обещаю ему никогда не играть на честное слово. Поцеловав ему руку, я охотно принес такую клятву. Затем я отправился прогуляться, чувствуя, как спадает с души огромная тяжесть: я знал, что мой добрый отец вручит мне к вечеру пятьсот золотых монет, и радовался тому, как восхитится моей точностью прелестная графиня. Надежды мои снова расцветали, и мне было не до сожалений о столь крупной сумме. Однако, думая о великодушной щедрости моего благодетеля, я твердо решил никогда не нарушать данную ему клятву. Я весело пообедал вместе с моими тремя друзьями без малейшего упоминания о докучном деле. Едва мы поднялись от стола, как слуга вручил г-ну Брагадину письмо и какой-то пакет. Вскрыв письмо и отослав слугу, он попросил меня пройти с ним в его кабинет. Как только мы затворили за собой дверь, он протянул мне пакет: «Вот, сказал он, — возьми пакет, это твое». Открыв пакет, я обнаружил в нем сорок цехинов. Видя мое удивление, г-н Брагадин усмехнулся и дал мне еще и письмо, которое содержало в себе следующее: «Г-н Казанова должен знать, что игра, которая велась минувшей ночью, была всего лишь шуткой: он мне ничего не должен. Моя жена посылает ему половину суммы, которую он проиграл наличными. Граф Ринальди».

Видя мое недоумевающее лицо, г-н Брагадин смеялся от всей души. Все поняв, я бросился ему на шею со словами благодарности и обещаниями впредь быть умнее. Завеса спала с моих глаз: я почувствовал себя выздоровевшим от любви, и только горечь от того, что я был обманут вдвойне — и мужем, и женой, — осталась в моем сердце.

На другой день рано утром меня навестил Завойский, чтобы сообщить, что меня ждут к вечеру и что он восхищен моей щепетильностью в уплате долгов чести. Я не стал разубеждать его, но никогда больше не бывал у графа Ринальди. Только через шестнадцать лет я встретил его еще раз в Милане. Завойского же я посвятил во всю эту историю только в 1787 году в Карлсбаде.

Через три или четыре месяца я получил еще один, не менее весомый урок Завойский познакомил меня с неким французом по фамилии Л'Аббадье, который ходатайствовал перед правительством о получении места инспектора сухопутных войск Республики. Назначение это зависело от Сената, я представил его моему покровителю, и поддержка французам была обещана. Однако инцидент, о котором я сейчас расскажу, помешал выполнению этого обещания.

Как-то мне для уплаты неотложных долгов понадобилось сто цехинов, и я попросил их у своего опекуна.

— А почему бы, мой милый, — спросил он меня, — тебе не доставить такое удовольствие г-ну Л'Аббадье?

— Я не решаюсь, дорогой отец.

— А ты решишь, я думаю, что он охотно ссудит тебе эту сумму.

— Я в этом очень сомневаюсь, но попробую.

Я увидел Л'Аббадье на завтра и после короткой преамбулы изложил ему, какого рода услугу я ожидаю от него. Он рассыпался в извинениях, привел тысячи причин, сказал все, что положено говорить, когда хотят вежливо отказать в просьбе. Я откланялся и поспешил к своему патрону рассказать ему о моей неудачной попытке. Улыбаясь, он сказал мне, что этот француз совсем не так умен, как казался.

Беседа эта происходила именно в тот день, когда назначение должно было обсуждаться в Сенате. Я отправился в город по своим делам или, точнее сказать, по своим забавам, вернулся я поздно и отца увидел только на следующее утро; поздоровавшись, я сказал ему, что собираюсь пойти с поздравлениями к новому инспектору.

— Избавь себя от этого труда, сын мой, Сенат отказал в ходатайстве.

— Как? Три дня назад Л'Аббадье был совершенно уверен в противном!

— Он не ошибался, декрет был бы уже подписан, если бы я не выступил против. Я разъяснил Сенату, что столь важный пост нельзя поручить иностранцу.

— Я очень удивлен, ведь Ваше Превосходительство еще вчера не думали об этом.

— Ты прав, но до вчерашнего дня я не знал его достаточно хорошо. А вчера я понял, что у этого субъекта совсем не та голова, какая нужна на этой должности. Разве человек, находящийся в здравом уме, может отказать в такой безделице, как сотня цехинов? Этот отказ стоил ему важного места и трех тысяч экю, которые он получал бы в этой должности.

Выйдя из дому, я неожиданно встретил Завойского; с ним был и Л'Аббадье, которого я никак не хотел увидеть. Этот последний был в ярости.

— Если бы вы предупредили меня, что сотня цехинов нужна для того, чтобы заткнуть глотку Брагадину, я бы нашел возможность доставить вам эту сумму.

— Если бы у вас была голова инспектора, вы бы сами могли догадаться об этом.

Этот злопамятный человек оказался мне весьма полезным; он рассказывал об этом случае всем, кто желал его слушать; с тех пор всякий нуждающийся в помощи моего покровителя обращался сначала ко мне. Вскоре все мои долги были уплачены...

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Тек, под строгим, но надежным покровительством богатого и знатного венецианца начинает Казанова третье десятилетие своей жизни, которое окончится заключением в страшную венецианскую тюрьму «Пьомбн» («под Пломбами»). Больше всего он занят любовными приключениями, список его подруг разнообразен: от соблазненной крестьянской девушки до прославленной венецианской куртизанки, от титулованной дамы высшего света до дочери прачки. Зачастую, по его собственному признанию, «он влюбляется, чтобы разогнать скуку». Привязанности его кипучи, но кратки. Самая продолжительная загадочная французка Лнриетта (этот эпизод послужил основой для пьесы М. Цветаевой «Приключение») провела с ним целых три месяца.

Второй страстью Казаковы были карты, игра. Он сам пишет, что ценил лишь те деньги, которые добывал за карточным столом. Но постепенно появляется и еще один источник дохода. Став невольным (см. историю лечения сенатора Брагадина) магом и кудесником, Казанова мало-помалу втягивается в «общение со сверхъестественными силами». Для этого ему приходится заниматься и химией, и медициной, и исследованиями различных старинных манускриптов. Все это помогает ему дурачить многих простаков, но все чаще привлекает внимание властей: обвинение в чародействе и магии было даже в просвещенном XVIII веке достаточно серьезным.

Так прожигает в погоне за удовольствиями свою жизнь этот талантливый, смелый человек. Поле его деятельности пока что Италия, он колесит по городам и

весьма этой страны: Милан, Маттея, Парма, Чезена. Но в конце концов он вынужден покинуть не только Венецию, но и выехать за пределы Италии. Казанова оказывается в Париже. Здесь он занимается все тем же: женщины, карты, магия. После Парижа поездка по Европе: Дрезден, Вена. Наконец, после нескольких лет отсутствия он возвращается в родной город. Он повидал Европу, познакомился со многими выдающимися людьми и полицией двух крупнейших европейских столиц. И вот он в Венеции, ему л*. лет, почти три года он провел вдали от родного города, от палаццо Де Браг-дин.

Итак, я возвратился в свое отечество. Чувства, которые я испытывал, знакомы каждому истинно мыслящему человеку, когда он вновь видит места, давшие его разуму и сердцу первые впечатления.

В моем кабинете я с радостью нашел полное «статус кво». Слой пыли толщиной в палец на моих бумагах свидетельствовал, что ничья рука не нарушала их покой за эти годы.

На третий день после возвращения я приготовился сопровождать на гондоле выход «Бучинторо»*. На этом корабле новый дож, согласно древнему обычаю, отплывал для церемонии обручения с Адриатическим морем, вдовой столько мужей и при этом всегда целомудренной невестой. Дурная погода вынудила, однако, отложить торжество, и я, воспользовавшись этим, отправился вместе с г-ном Брагадином в Падую. Мой покровитель, который так празднично провел свою молодость, с годами стал искать тишины и покоя и всегда удалялся из Венеции накануне шумных торжеств. Проводив его до Падуи и отобедав там, я попрощался с ним и отправился в обратный путь, наняв почтовую карету. Случись мой отъезд двумя минутами раньше или позже, никогда не произошло бы со мной то, что произошло, и судьба моя сложилась бы совсем иначе. Читатель убедится в этом.

Выехав в роковую минуту из Падуи, я около Оридажо встретил почтовый кабриолет, запряженный двумя шедшими крупной рысью лошадьми. Едва успел я разглядеть внутри очень хорошенькую женщину и мужчину в немецкой униформе, как кабриолет опрокинулся. Не раздумывая, я выскочил на ходу из кареты и успел подхватить даму, которая вот-вот и упала бы в воды Brenty. Целомудренной рукой я восстановил порядок ее туалета, нарушенный столь неожиданным падением.

Цел и невредим к нам подошел ее спутник, и прекрасная незнакомка припала рыдая к его груди, потрясенная, по-моему, не столько падением, сколько нескромным поведением Я: воих юбок, открывшим постороннему взору то, что порядочная женщина не показывает незнакомцу. Затем последовали йчагодарности, она называла меня своим спасителем и даже ангелом-хранителем.

Наши почтальоны подняли кабриолет, дама отправилась в Падую, я в Венецию, где едва успел надеть маску и поспешить в Оперу.

Назавтра ранним утром я уже был в маске, чтобы отправиться вслед за «Бучинторо», который, воспользовавшись прекрасной погодой, должен был выйти к Лидо для величественной и смехотворной церемонии. Это не то что редкое, а единственное в своем роде бракосочетание проходит под наблюдением Адмирала Арсенала, отвечающего головой за благоприятную погоду: малейший порыв противного ветра может опрокинуть корабль и сбросить в воду дожа со всей сиятельной синьорией, посланниками и папским нунцием, призванным освятить этот шутовской брак, к которому венецианцы относятся с суеверным почтением. Чтоб усугубить несчастье, при всех дворах Европы не преминули бы заметить, что наконец-то дож полностью осуществил свои обязанности супруга.

Сняв маску, я пил кофе под арками Прокураций на Сан-Марко, когда проходившая мимо маскированная дама игриво ударила меня по плечу веером. Не узнав маску, я не придавал этому заигрыванию никакого значения и, допив спокойно свой кофе, встал и пошел к набережной Сепулькре, где меня ждала гондола Брагадина. Какой-то уличный торговец демонстрировал за десять су изображения различных чудовищ. Среди зрителей я увидел ударившую меня. Подойдя к ней, я спросил, по какому праву она позволяет себе бить меня.

— По праву спасенной вами. За то, что вы не заметили меня!

Так это была дама из кабриолета на берегу Бренты! Я поклонился и спросил, собирается ли она посмотреть на церемонию.

— Охотно, если б у меня была надежная гондола.

Я предложил свою, довольно вместительную, и, переговорив с сопровождавшим ее офицером в маске, она согласилась.

Прежде чем разместиться в гондоле, я попросил их открыть лица, но они сказали, что у них есть резоны оставаться неузнанными. Тогда я спросил, не принадлежат ли они к какому-либо иностранному посольству; в таком случае я, хотя и с величайшим сожалением, вынужден просить их выйти из гондолы — на гребцах моих ливреи патрицианского дома, и мне не хочется иметь неприятности с государственной инквизицией. «Нет, — отвечали они, — мы венецианцы»*.

Мы двинулись за «Бучинторо», и, сидя рядом с дамой, я решился на кое-какие вольности, но не встретил понимания: она пересела на другое место. После окончания торжества мы возвратились в Венецию, и офицер сказал мне, что если я соглашусь отобедать в Соваджо, они мне будут весьма обязаны. Я согласился, мне было любопытно узнать поближе эту женщину — желание вполне естественное, если вспомнить, что открылось моему взору при падении из экипажа. Офицер поспешил вперед распорядиться насчет обеда, и мы остались вдвоем.

Я сразу же признался красавице, что влюблен в нее, что у меня есть в Опере ложа и она в полном ее распоряжении и, если мне будет позволено надеяться, что я не потеряю время напрасно, я буду верным ее слугой до окончания карнавала.

— Если вы намерены быть суровой со мной, прошу вас не стесняться и сказать об этом без обиняков.

— А я прошу вас также откровенно сказать, за кого вы меня принимаете?

— За совершенно очаровательную женщину, будь вы княгиня или окажись из более низкого сословия. Итак, я осмелюсь надеяться, что вы будете ко мне милостивы, в противном случае позвольте сразу же после обеда откланяться.

— Вы вольны поступить как вам будет угодно, но я надеюсь, что после обеда вы перемените тон; тот, что вы избрали сейчас, мало располагает к себе. Мне кажется, что прежде чем приступать к подобным объяснениям, надобно познакомиться. Вы этого не чувствуете?

— О! Разумеется, чувствую, но я так боюсь быть обманутым!

— И этот страх подсказал вам сразу начать с конца? Странно...

— Я прошу только одного ободряющего слова. Произнесите его, и я тут же стану смиренным, скромным и покорным.

— Утихомирьтесь!..

Офицер ждал нас у дверей. Как только мы поднялись в комнату, она сняла маску и оказалась еще привлекательней, чем накануне. Мне оставалось только узнать теперь, был ли офицер ее мужем, любовником, родственником или надзирателем, так как, начиная авантюру, я хотел знать, какого именно сорта мне предстоит приключение. Итак, я предложил ей ложу, и она согласилась. Но ложи у меня не было. И после обеда я, под предлогом неотложного дела, оставил их на некоторое время. Мне удалось снять ложу в Опера-буффо, где блистали Пертичи и Ласки. После спектакля я пригласил их поужинать, а затем отвез домой на моей гондоле. Под покровом ночи я добился от красавицы всех милостей, каких можно добиться в присутствии третьего, наряженного ее сторожить. При прощаньи он сказал мне:

— Ждите завтра от меня новостей. — Где и каким образом? — Не беспокойтесь, я вас найду.

На следующее утро мне доложили, что меня спрашивает какой-то офицер, это был он. После обычных любезностей я поблагодарил его за честь, оказанную мне вчера, и спросил, с кем имею удовольствие говорить. Вот что он мне ответил, излагая все очень складно, но не глядя мне в глаза: «Мое имя П. К. Мой отец богатый и уважаемый финансист, но мы с ним

не ладим. Я живу на набережной Сан-Марко. Дама, которую вы видели со мной, урожденная О., жена биржевого маклера К., а ее сестра супруга патриция П. М. Г-жа К. в ссоре со своим мужем, и я причина этой ссоры, так же как она — причина моей ссоры с отцом.

Эта униформа на мне потому, что я имею патенту на звание капитана австрийской армии, но я никогда там не служил. У меня подряд на поставку Венеции говядины из Штирии и Венгрии; это дает мне десять тысяч флоринов в год. Однако сейчас возникли неожиданные трудности: злостное банкротство и сверхординарные затраты поставили меня в крайне тяжелое положение. И вот я, будучи наслышан о вас уже четыре года, страстно хотел познакомиться с вами. Я уверен, что само небо устроило позавчера нашу встречу. Надеюсь, что нас свяжут узы самой верной дружбы, и потому я предлагаю вам дело, в котором вы ничем не рискуете, а мне окажете столь нужную мне сейчас поддержку».

Далее он говорил о переводных векселях, которые я должен был акцептировать, о говядине, задержанной в Триесте и служащей гарантией погашения долга, о секвестре, который я могу на нее наложить, и т. д. и т. п.

Крайне удивленный и этим разговором, и этим совершенно химерическим проектом, я отказался от его предложений. С удвоенным красноречием принялся он снова убеждать меня, но я резко охладил его пыл, сказав, что не могу понять, почему он решился обратиться, имея многочисленные связи и знакомства, к человеку, которого только что узнал.

В конце концов он отклонялся со многими извинениями, сказав на прощанье, что надеется увидеть меня вечером на площади Сан-Марко, где он будет с г-жой К. Он оставил мне и свой адрес, прибавив, что в отсутствие отца он по-прежнему живет в его доме. Это означало, что я должен был отдать ему визит; будь я поумней, я бы этого не сделал, но назавтра, побуждаемый моим злым гением и рассудив, что это всего лишь простая, ни к чему не обязывающая вежливость, я отправился к нему.

Накануне вечером я избежал встречи с ним и его дамой, справедливо решив, что эта пара намерена меня одурачить, и я лишь потеряю время, ухаживая за его возлюбленной. Поэтому среди радостных восклицаний, которыми он встретил меня, как только слуга ввел меня в его комнату, прозвучали и сожаления, что мы не встретились вечером. Затем он снова заговорил о своем деле и стал совать мне в нос кучу каких-то бумаг; это мне наскучило, и я собрался уходить, как вдруг он остановил меня, сказав, что он должен представить мне свою мать и сестру.

Выйдя из комнаты, он вернулся через две минуты с ними. Мать была женщиной средних лет весьма респектабельной внешности, но дочь оказалась образцом красоты*. Я был поражен. Вскоре чересчур доверчивая мать попросила позволения вернуться к себе, но дочь осталась. Уже через полчаса я был совершенно покорен ею. Я был восхищен всем: и ее умом, живым, наивным и неожиданно новым для меня, ее скромностью, ее свежестью, проявлениями ее чувств и непосредственными и утонченными, ее искренней веселостью, словом, всем, что составляло ее очарование, всем этим ансамблем качеств, которые всегда действовали на меня безотказно и превращали меня в раба женщины, превосходящей все, что можно было себе представить.

Мадемуазель К. К.* выходила из дому только в сопровождении матери, которая хотя была и набожна, но снисходительна. Читала она только те книги, которые давал ей ее батюшка, человек нравов строгих, поэтому ей не довелось прочитать еще ни одного романа, и она горела желанием прочитать их. Она совсем не знала Венеции, их дом никто из ее посещал и некому было сказать юной девице, что она истинное чудо.

Брат ее писал что-то за столом, а я беседовал с нею, вернее отвечал на ее многочисленные вопросы. Удовлетворяя ее любопытство, я был вынужден добавить к тем представлениям, которые в нее уже сложились, новые мысли и идеи, чрезвычайно ее удивлявшие: ведь в душе ее царил еще полный хаос. Единственное, чего я не сказал ей, так это то, что она прекрасна и что я без ума от нее.

В глубокой задумчивости покинул я этот дом: душа моя была тронута всем тем, что открыл я в его восхитительной обитательнице. Первой моей мыслью было никогда не видеть

ее больше: ведь я не чувствовал себя человеком, способным пожертвовать своей свободой, прося руки этого неповторимого создания, хотя и считал, что только так можно составить мое счастье.

Прошло два дня со времени моего визита к П. К. Он рассказал мне, что сестра только и говорит обо мне, вспоминает все те вещи, которых наслушалась от меня, а ее матушка также очень довольна новым знакомством.

«Она была бы вам хорошей партией, — добавил он, — у нее десять тысяч дукатов приданого. Если б вы завтра навестили нас, мы бы выпили кофе и поговорили с матушкой и сестрой».

Я поклялся себе, что ноги моей у них не будет, и нарушил эту клятву. В подобных случаях человек легко становится клятвопреступником.

Я провел три часа в разговорах с этой прелестной особой и покинул ее совершенно влюбленным. Уходя я сказал, что завидую тому, кто станет ее мужем, и этот комплимент, первый такого рода с моей стороны, заставил ее очаровательно покраснеть.

Дома я тщательно проэкзаменовал себя, свое чувство к К. К., и пришел в замешательство: я не мог с нею поступить ни как порядочный человек, ни как распутник. Мне необходимо стало рассеяться, и я отправился играть. Игра часто помогает забыть о любви. В этот раз я играл удачно и хорошо наполнил свой кошелек...

И вот П. К. снова у меня на следующий день. С довольным видом он сообщил, что мать позволила сестре пойти в Оперу с ним, что малютка в восторге, так как она еще ни разу не была в Опере, и что я могу к ним присоединиться.

— А ваша сестра знает, что вы хотите пригласить меня?

— Это для нее праздник!

— А ваша матушка знает?

— Нет, но когда она узнает, это ее ничуть не огорчит: вы пользуетесь у нее полнейшим доверием.

— Так я постараюсь достать ложу.

— Отлично, вы подождите нас в обычном месте.

Хитрец не проронил ни слова о векселях; в его мозгу родился новый замысел: видя, что я не волочусь за его дамой и влюблен в его сестру, он надумал продать ее мне подороже. Я понравился и матери, и дочери, и они, по-видимому, не станут противиться его плану. Я решил не отвергать этого предложения: откажись я, он, чего доброго, подыщет нового, менее щепетильного претендента. — Эта мысль казалась мне непереносимой, во всяком случае, мне казалось, что со мной девушка будет в большей безопасности.

Я нанял ложу в Сан-Самуэле и прибыл на условленное место задолго до назначенного час. Они появились: как прелестно выглядела моя юная приятельница! На ней была чудесная элегантная маска, он был в обычной своей униформе. Чтобы не нарушить ее инкогнито, я поспешил посадить их в свою гондолу. Он попросил высадить его возле дома его дамы, он навестит больную и присоединится к нам позже, придет прямо к нам в ложу. Меня удивило, что К. К. совершенно спокойно и естественно отнеслась к тому, что мы остались в ней вдвоем в гондоле: очевидно, брат предупредил ее о своих намерениях.

Не зная, о чем говорить с ней, ибо ни о чем, кроме любви, я не мог говорить, я молча любовался ею. В ожидании начала спектакля мы не спеша совершали прогулку по Большому Каналу.

— Скажите же мне что-нибудь, — сказала она. — Вы только смотрите на меня и молчите. Наверное, вы огорчены, что пожертвовали для меня временем: ведь брат собирался повести вас к своей подруге, а она, говорят, редкая красавица.

— Я видел эту даму. — Она к тому же и очень умна?

— Возможно, но я не мог этого заметить, я ведь никогда не был у нее, да, признаться, и не испытываю никакого желания. Так что не думайте, милая К. К., что я принес сегодня большую жертву.

— А я все-таки думаю, что это так, потому что вы молчите и у вас грустный вид.

— Мое молчание объясняется тем, что я смущен тем доверием, какое вы мне оказываете.

— Мне очень приятно, но почему же я не должна вам доверять? Я с вами чувствую себя гораздо свободнее и увереннее, чем с братом. И матушка сказала, что по вам сразу видно, что вы человек порядочный и благородный. Да вы и неженаты: это первое, что я узнала о вас у брата. Вы помните, как вы сказали мне, что завидуете тому, кто станет моим мужем? Я в ту же секунду подумала о том, что женщина, на которой вы женитесь, будет счастливейшей женщиной Венеции.

Невозможно описать действие, какое произвели на меня эти наивные, искренние, простодушные слова. Как жаль, что я не мог тут же запечатлеть на этих свежих невинных устах пламенный поцелуй! И в то же время эта невозможность придавала особую сладость моему чувству.

— Если наши чувства так совпадают, — сказал я, — разве мы не могли, дорогая К. К., быть счастливыми и неразлучными? Но я гоюсь вам в отцы.

— В отцы? Что за вздор! Да знаете ли вы, что мне уже четырнадцать лет!

— А вы знаете, что мне уже двадцать восемь?

— Ну, вот! Разве у мужчины в этом возрасте может быть такая взрослая дочка? Мне смешно даже подумать, что вы можете быть моим отцом!

Время спектакля наступило, мы вышли из гондолы и вскоре уже сидели в ложе. Спектакль поглотил К. К. полностью. Ее брат появился только к концу оперы, это, видимо, входило в его расчеты. Я предложил им поужинать, и удовольствие видеть отменный аппетит этой очаровательной особы заставило меня забыть, что я сам сегодня ничего не ел с утра...

После ужина брат ее сказал, что я влюблен в нее и поэтому страдаю и уменьшить мои страдания можно, если он позволит мне поцеловать ее. Вместо ответа она повернулась ко мне и приблизила свои улыбающиеся, так и зовущие к лобзаниям губы. Желание испепеляло меня, но еще больше я не хотел искушать эту чистоту и невинность. Поэтому я лишь чуть тронул губами ее щеку.

— Что это за поцелуй! — закричал П. К. — Ну-и, по-настоящему! Поцелуй любви!

Я не шевельнулся: несносный подстрекатель уже порядком надоел мне, но сестра повернулась к нему и сказала:

— Не настаивай! Ты же видишь, что я не нравлюсь ему. Этот ответ решил все: я не мог больше владеть собой. Со всем своим пылом я воскликнул: «Как! Дорогая К. К., вы приписываете отсутствию чувства мою сдержанность? Вы считаете, что вы мне не нравитесь? Если поцелуй может разубедить вас, то вот он, и вы сейчас узнаете, какие чувства я питаю к вам!» Я умирал от жажды поцеловать ее. И вот, сжав ее в объятьях, я припал к ее губам жарким и долгим поцелуем. Она почувствовала себя, наверное, голубкой в когтях хищника; потрясенная моей страстью, она высвободилась из объятий и, чтобы скрыть свое смущение, снова спрятала лицо под маской. Брат ее был в восторге.

Я спросил, по-прежнему ли она думает, что не нравится мне.

— Вы меня разубедили, — ответила она. — Но не надо так меня наказывать за недоверчивость.

Это было сказано так мягко и искренне, но брат ее назвал этот ответ глупостью.

Мы расстались. Сомнений не было, я любил ее, но какая-то неясная тревога не покидала меня.

Читатель увидит в дальнейшем, как будет развиваться моя любовь и в какие события она меня вовлечет.

Назавтра П. К. вошел ко мне с видом триумфатора и сообщил, что сестра рассказала матери, что мы любим друг друга и что если ей придется выходить замуж, она будет счастлива только со мною.

— Я боготворю вашу сестру, — сказал я, — но уверены ли вы, что ваш отец отдаст ее мне?

— Не думаю, но он уже стар. Подождите, а пока любите друг друга. Моя мать позволила ей идти сегодня в Оперу с нами.

— Так мы идем, мой друг!

— Я должен попросить вас о маленькой услуге.

— Располагайте мною.

— Тут продается, и очень недорого, великолепное кипрское вино. Я могу приобрести бочку под заемное письмо на шесть месяцев. Я уверен, что с выгодой перепродам его. Но торговец просит ручательства, а вас он знает; если бы вы могли поручиться за меня...

— С удовольствием!

Я произнес эти слова, конечно, не от чистого сердца, но я был смертельно влюблен, а какой влюбленный рискнет отказать в услуго тому, кто может легко разрушить его счастье? Мы условились о вечернем свидании и расстались довольные друг другом.

Я поспешил за покупками. Я купил дюжину пар перчаток, столько же пар шелковых чулок и пару вышитых подвязок с золотыми пряжками. Так я устроил себе праздник первых покупок для новой возлюбленной.

Нечего и говорить, что я был на месте встречи точно в назначенный час. Однако меня уже ожидали. Такое внимание могло польстить, если бы мне не были ясны планы П. К. Он тут же сказал, что дела заставляют его нас покинуть и что мы увидимся только в театре. Он ушел, и я предложил К. К. прокатиться пока что в гондоле.

— Нет, — ответила она. — Пойдемте лучше в сады Джудекка*.

— С удовольствием.

Гондола доставила нас к знакомому мне саду, полным хозяином которого на весь день я мог стать всего за один цехин. Распорядившись о приготовлении обеда, я привел ее в комнаты, где мы сняли маски и спустились в сад. Моя юная подруга, почувствовав себя на свободе, принялась резвиться и скакать, как молодая лань. Остановившись, чтобы перевести дыхание, она взглянула на меня и залилась смехом: так рассмешил ее вид погруженного в молчаливое восторженное созерцание человека. И тут она предложила мне бежать наперегонки; это мне понравилось, я согласился, но спросил, а каким будет приз победителя.

— Проигравший, — предложил я, — выполнит любое желание победителя.

— Идет!

Мы определили конечную точку и побежали. Я не сомневался в победе, но решил проиграть, чтобы посмотреть, что она от меня потребует. Я берег свои силы, она бежала всерьез, победила и задумалась, не зная, какой штраф наложить на побежденного. Наконец она выбрала: я должен был найти спрятанное ею кольцо; она спрятала его на себе, следовательно, в мое распоряжение предоставлялась вся ее персона. Очаровательная выдумка, обязывающая меня, однако, к сугубой осторожности: я не должен был вспугнуть эту простодушную невинность и не злоупотребить ею. Мы уселись на траву, и я приступил к поискам: обшарил ее карманы, складки корсета и юбки, туфли и, наконец, подвязки, которые она носила гораздо выше колен. Все было напрасно. Но кольцо было на ней, и я обязан был его найти. Читатель уже догадался, что я с самого начала подозревал, куда запрятала его моя милая, но разве откажешь себе в удовольствии продлить эту сладостную игру! Наконец кольцо обнаружилось в ложине между двумя самыми прекрасными холмами, которые когда-либо создавала природа. Она не могла не заметить моего волнения в момент, когда я извлекал бесценный предмет моих поисков.

— Почему вы так дрожите? — спросила она.

— Я дрожу от радости, что смог найти так хорошо спрятанную вещь. Но я требую реванша, и на этот раз вы не победите!

— Посмотрим!

Мы снова начали состязание: на этот раз она бежала не с таким старанием, и я надеялся легко одержать победу. Я обманулся: она просто берегла до времени силы и, когда мы миновали две трети пути, она прибавила, и я понял, что проигрываю. Тогда я применил военную хитрость, как нельзя более удавшуюся: шлепнулся с размаху наземь и растянулся

на земле издавая жалобные стоны. Она кинулась ко мне и чуть ли не со слезами попыталась меня поднять на ноги. Тогда я вскочил и стремительно бросился вперед. Конечно, я пришел первым, оставив ее далеко позади себя. Запыхавшись, она сказала:

— Так вы совсем не ушиблись при падении?

— Да нет, я же упал понарошку.

— Понарошку? Чтобы меня обмануть! Вот уж не думала, что вы способны на это. Тогда ваш выигрыш не считается, нельзя побеждать обманом.

— Можно, и вы проиграли, потому что:

Он победитель так или иначе, Благодаря уловке иль удаче.

— Такие вещи мне часто говорит брат, но я никогда не слышала их от батюшки. Ладно, я проиграла. Приказывайте, я все исполню.

— Подождите, дайте мне подумать... Вот! Я приказываю, чтобы мы обменялись подвязками.

— Подвязками? Но вы же видели мои подвязки: они совсем некрасивые и ничего не стоят.

— Неважно, зато дважды в день я буду вспоминать о той, кого я люблю, а вы в это же время будете думать обо мне.

— Ой, какая славная мысль! Мне это очень нравится. Я прощаю ваше жульничество. Вот мои жалкие подвязки.

— А вот мои.

— Ой, дорогой обманщик, какие они красивые! Какой подарок, как они понравятся матушке! Но вы приобрели этот подарок только что: они же совсем новехоньки!

— Нет, это не подарок. Я купил их для вас и ломал себе голову, как заставить вас принять их. И любовь подсказала мне сделать их призом в нашем беге. Представьте теперь, каково мне было увидеть, что вы побеждаете? Вот и пришлось пуститься на обман: я понимал, что вы с вашим добрым сердцем непременно кинетесь мне на помощь.

— А я уверена, что если б вы знали, как я испугаюсь, вы бы не схитрили таким образом.

— Значит, я вам не безразличен, вы в самом деле принимаете во мне участие?

— Я сделаю все, чтобы вас убедить в этом! Обожаю мои чудесные подвязки и уж постараюсь, чтобы брат не украл их.

— А он на это способен?

— О, конечно, ведь пряжки-то золотые.

— Золотые, но вы скажите ему, что это позолоченная кожа.

— А вы не покажете мне, как они застегиваются?

— Ну, разумеется.

Так хотелось ей поскорее примерить подвязки, и она просила меня помочь ей совершенно искренне, без малейшей примеси лукавства и кокетничанья. Милое дитя, едва достигнув своей пятнадцатой весны, она еще не любила ни разу и не подозревала, какой огонь разжигает наши желания. Никакой опасности не видела она в нашем тет-а-тет: у нее не было опытных подруг, она не читала романов. И когда она полюбит впервые, она безоглядно доверится предмету своего чувства и отдастся ему вся, без остатка.

Чулки ее оказались коротки для новых подвязок, она сказала, что придется подождать, завтра она наденет другие чулки. Я тут же извлек из кармана еще одну мою покупку и вручил ей. В полном восторге, она прыгнула ко мне на колени и наградила меня теми поцелуями, какими был бы награжден ее отец за подобный подарок. Я вернул ей поцелуй, продолжая сдерживать свои желания, и ограничился лишь тем, что сказал ей, что единственный ее поцелуй дороже для меня целого королевства.

Милая К. К. разулась и натянула новые чулки, доходившие ей до половины бедер. Чем более открывалась передо мной ее безмятежная невинность, тем более приходилось мне напрягать все силы, чтобы не накинуться на эту восхитительную добычу.

В театр мы пришли в масках: нельзя было допустить, чтобы ее узнали и до отца дошло

бы известие, что его дочь посещает Оперу: строжайший запрет был наложен бы сразу.

Мы были удивлены, не встретив там ее брата. Слева от нашей ложи находился маркиз де Монталегре, испанский посол, с маД?муазель Бола, признанной его любовницей. Справа две маски, которые все время поглядывали на нас, чего моя юная спутница не замечала. Во время первого балета мужчина справа протянул свою руку и положил ее на руку К. К., и та сразу же узнала своего брата; зная номер нашей ложи, он занял соседнюю; под женской маской несомненно была его любовница. Я догадывался, что он непременно потащит нас ужинать, чтобы познакомить сестру с этой женщиной. Мне это не нравилось, но я не мог показывать свое неудовольствие явно. Действительно, после второго балета они появились в нашей ложе, знакомство состоялось, и мы отправились ужинать в его казино. Как только дамы сняли маски, они нежно облобызались, и любовница П. К. принялась на все лады расхваливать мою подружку. За столом приветливость ее возросла до чрезвычайности, и К. К., не зная светских нравов, принимала все это за чистую монету. Я-то видел, что К. прячет в душе досаду при виде девушки, явно превосходящей ее красотой. Разошедшийся П. К. сыпал пошлыми шутками, которым смеялась лишь его красotka. Я, будучи в дурном настроении, только пожимал плечами, а К. К., ничего не понимая, совсем не реагировала на них. Словом, наша квадрига скакала кое-как. За десертом П. К., разгоряченный донельзя вином, принялся обнимать и целовать свою подругу и призывал меня заняться тем же с его сестрой. Я ответил, что, любя и глубоко почитая мадемуазель К. К., я смогу позволить себе такую свободу лишь после того, как у меня будут на это все права. П. К. стал насмехаться над моей строгостью, но К. велела ему замолчать. Благодарность за это я просил ее принять от меня в подарок полдюжины пар перчаток, а вторую половину вручил моей юной подруге. Все так же зубоскаля, П. К. встал и, схватив свою любовницу, тоже уже довольно захмелевшую, повалился с него на диван. Сцена становилась малопристойной, и я поспешил увлечь К. К. от этого нескромного зрелища в нишу окна. Но все же помешать ей видеть в оконном стекле все*, что происходило между двумя бесстыдниками, мне не удалось. Лицо К. К. покрылось краской, и она в смущении начала говорить со мной о красоте своих новых перчаток. Удовлетворив свою животную похоть, П. К. двинулся ко мне с объятиями, а его наглая сообщница последовала его примеру и, целуя мою девочку, приговаривала, что уверена в том, что та ничего не видела. К. К. смиренно отвечала, что ей непонятно, что она могла увидеть, но быстрый взгляд, брошенный ею на меня, красноречиво говорил о том, что она испытывает. О моих чувствах я предоставляю догадываться читателю, знающему, что такое сердце мужчины. Как перенести эту сцену в присутствии обожаемого мною невинного существа! Как справиться со своими собственными желаниями! Я был точно на раскаленных углях! Господа изобретатели адских мучений, знай они подобное, непременно включили бы в свой страшный арсенал и такую пытку. Гнусный П. К. хотел таким скотским поступком дать мне вернейшее доказательство своей дружбы, не щадя ни чести своей приятельницы, ни целомудрия своей сестры, которую он словно готовил для проституции. Я еле удержался, чтобы не задушить его.

Когда назавтра он пришел ко мне, я набросился на него с упреками. Защищаясь, он говорил мне, что был убежден, что я, оставшись наедине с его сестрой, обращался с ней подобно тому, как он обращался со своей любовницей у нас на глазах. Много еще чего наговорил он мне в тот день. Он рассказал мне, что он по уши в долгах, что он обанкротился в Вене, что он женат, что у него есть дети; что в Венеции он скомпрометировал своего отца так, что тот выгнал его из дому и поэтому он не знает, где ему жить, когда отец вернется из поездок по делам. Он говорил, что, соблазнив свою любовницу, которую отказался содержать ее муж, он готов теперь торговать ею, чтобы как-то поддержать их существование. Его бедная мать боготворит его и ничего для него не жалеет, продавая даже свои наряды. Он просил меня не отказывать ему в помощи, но я твердо решил не делать этого. Я не мог примириться с мыслью, что К. К. станет невольной причиной моего разорения и сообщницей брата в его распутстве.

Движимый тем могучим чувством, которое зовется подлинной любовью, назавтра я

пришел к П. К. и сказал ему, что я питаю к его сестре чистейшие чувства и имею самые благородные намерения и просил его понять, каково мне забыть о его поведении, которое порядочный человек не может себе позволить.

— Должный отказаться, — сказал я ему, — от счастья видеть вашу ангельскую сестру, я не могу больше и быть знакомым с вами. Но я предупреждаю вас, что смогу помешать сделать ее предметом ваших постыдных сделок.

Он начал извиняться, приводить различные объяснения, но я уже шагнул к дверям, когда в комнату вошли его мать и сестра. Они благодарили меня за дивные, по их словам, подарки. Тогда я сказал матери, что я люблю ее дочь только в надежде, что она станет моей супругой.

— С этой надеждой, мадам, — продолжал я, — я буду иметь честь говорить с вашим супругом, как только буду в состоянии предоставить ему необходимые доказательства, что смогу обеспечить его дочери достойную жизнь.

Произнеся эти слова, я поцеловал ее руку, и слезы невольно навернулись мне на глаза и потекли по щекам. Мои слезы подействовали симпатически добрая женщина тоже заплакала и вышла из комнаты, оставив меня со своей дочерью и сыном, который являл собой застывшую статую. То, что я сказал ее матери, удивило К. К., но ее удивление возросло, когда она узнала о том, что я сказал ее братцу. Немного подумав, она отчитала его: она никогда не простила бы ему, если бы с ней обошлись так, как он обошелся со своей дамой; окажись на моем месте непорядочный человек, ее честь погибла бы непременно, и, наконец, его поведение позорит и ее и его. Братец прослезился, но у негодеев слезы появляются по команде. Был Троицын день, когда в театрах не дают представления. Он предложил мне завтра снова привести сестру на свиданье со мной, а так как он обязан провести время возле К., он оставит нас одних. «Я дам вам ключ от моего казино», — сказал он. Я не нашел в себе сил отказать ему, и с тем мы расстались. Я сказал моей подруге, что завтра мы отправимся с ней в Джудекку. На следующий день я был, как всегда, точен. Сгорая от любви, я предчувствовал, что может произойти сегодня. Конечно, я нанял на вечер ложу в Опере, а пока предложил ей отправиться в наш сад. В этот праздничный день там было множество народу, и, не желая смешиваться с толпой, мы уединились в наших апартаментах, куда нам подали обед. В Оперу можно было попасть и к концу спектакля, мы располагали целыми семью часами вдвоем. Моя прелестная подружка сказала мне, что мы не будем скучать. Она сняла маску и уселась ко мне на колени, сказав, что я окончательно покорила ее своим обхождением с нею после того ужасного ужина. Все эти рассуждения сопровождалось поцелуями, разжигавшими нас все более и более.

— Ты видел, — просила она, — что делал мой брат со своей дамой, когда посадил ее верхом на себя? Я видела все только в зеркале, но я хорошо разобралась в этом.

— А ты не боишься, что я поступлю с тобой так же?

— Нет, уверяю тебя, не боюсь. Я ведь знаю, как ты меня любишь. Ты бы меня только обидел этим, и я не могла бы больше тебя любить. Мы будем это делать, когда станем мужем и женой, не правда ли, мой милый? Если б ты знал, как радовалась я, слушая твой разговор с матушкой! Мы всегда будем любить друг друга. Да, кстати, объясни мне, что вышито на моих подвязках?

— А там что-то вышито? Я и не заметил.

— Да, по-французски. Будь так добр, прочти мне.

По-прежнему сидя на моих коленях, она сняла одну подвязку, в то время как я избавил ее от другой. Вот те два стиха, которые я должен был бы прочитать, делая свой подарок:

Вы, видя каждый день моей подруги клад, Скажите, что Амур ждет лишь таких наград.

Эти стихи, несомненно, весьма вольные, были изящны и остроумны. Я рассмеялся и объяснил ей смысл французских стихов итальянской прозой. Новизна мысли вынудила меня разъяснить ей и все детали. Она покраснела.

— Я больше не осмелюсь, — сказала она, — показать кому-нибудь эти чудесные подвязки. Как жаль! — И так как я принял задумчивый вид, она спросила: «О чем ты

думаешь?»

— Я думаю о том, что эти подвязки — счастливицы. Они пользуются привилегиями, которых у меня, может быть, не будет никогда. Как бы я хотел оказаться на их месте! Я могу умереть от этого желания и умру, так и не узнав счастья!

— Нет, любимый мой друг, мы будем жить! Да ведь мы можем поторопить нашу женитьбу. Что касается меня, я готова хоть завтра, если ты захочешь. Мы же свободные люди, и отец должен будет согласиться.

— Ты очень умно рассудила, он будет вынужден к этому. Но я хочу, когда буду просить твоей руки, знать, что у нас уже есть свой дом. А это будет через неделю-две.

— Так скоро? Ты увидишь, он ответит, что я еще слишком молода.

— Но это так и есть...

— Нет, я молода, но не слишком; я знаю, что уже могу стать женщиной.

Я весь горел и понял, что сопротивляться сжигавшему меня пламени больше не в силах.

— Любимая моя, — сказал я, — ты веришь в то, что я тебя люблю? Думаешь ли ты, что я способен тебя обмануть? Уверена, что никогда не раскаешься, что стала моей женою?

— Более чем уверена, душа моя. Я знаю, ты никогда не принесешь мне несчастья.

— Ну так станем супругами сейчас же! Только Бог будет нашим единственным свидетелем, а кто еще нам нужен, ведь ему-то ведома вся чистота наших чувств. Дадим же друг другу слово любви, соединим наши судьбы и будем счастливы! Мы засвидетельствуем нашу нежную любовь перед твоим батюшкой и обвенчаемся, как только это станет возможным: а пока — ты моя, я — твой.

— Я твоя, друг мой. Клянусь перед Богом и перед тобой быть с этой минуты и до конца жизни твоей верной супругой: я повторю это и отцу и священнику, который будет нас венчать, и всем, всем на свете.

— И я повторю это за тобой слово в слово сейчас и ручаюсь тебе, что это будет настоящее венчание. Приди же в мои объятия и завершим наше счастье.

— О, мой Боже! Я не думала, что счастье так близко.

Нежно поцеловав ее, я вышел и предупредил хозяйку, чтобы обед принесли нам, только когда мы попросим, и никого не пускать к нам. А моя прелестная подружка за это время успела, не раздеваясь, вытянуться на постели. Я сказал ей, что одеяния могут вспугнуть любовь, и через минуту... Вот она передо мной, новая Ева, такая же прекрасная и такая же обнаженная, как в тот миг, когда она вышла из рук Создателя. Ее шелковая кожа сияла белизной, еще более подчеркивающей смоль ее распущенных по плечам волос. Ее гибкий стан, округлые бедра, точеная грудь, дышащие свежестью губы, живой румянец лица, широко раскрытые глаза, в которых светилась покорность и вспыхивали искорки желания, — все было в ней совершенной красотой и представляло моим жадным взорам все, что может дать страстная любовь, прикрытая легким флером стыдливости.

И несмотря на это, я начинал подозревать, что счастье мое не будет полным и наслаждение истинное я испытаю еще не сейчас: лукавый Амур вздумал в столь серьезный момент попытаться рассмешить меня.

— А полагается, — сказала моя богиня, — чтобы супруг оставался одетым?

В мгновение ока сбросил я с себя все свои одежды, и моя возлюбленная замерла от неожиданности: все во мне было для нее новым! Наконец, насытившись созерцанием, она крепко прижала меня к своей груди и воскликнула: «О, любимый, как ты не похож на мою подушку!»

— На твою подушку? Сердце мое, что ты говоришь? Объясни мне.

— Это мое ребячество... Но ты не рассердишься на меня?

— Рассержусь? Как я могу сердиться в самый прекрасный момент моей жизни!

— Ну хорошо, я расскажу. Вот уже много дней, я не засыпаю без того, чтобы не прижать мою подушку к груди. Я обнимаю ее, ласкаю, называю своим милым муженьком, и представляю, что это ты. Потом мной овладевает какая-то сладкая истома и только тогда я

засыпаю, а утром просыпаюсь все еще держа ее в объятьях.

Милая К. К. стала моей женой, героически вытерпев боль первого наслаждения. Ее любовь сделала само страдание сладостным. После трех часов, проведенных в нежных шалостях, я встал и крикнул хозяйке, чтобы нам подали ужин. Ужин был скромным, но восхитительным. Мы только переглядывались, не произнося ни слова, ибо какими словами можно было выразить то, что мы испытывали?

Хозяйка поднялась к нам спросить, не нужно ли нам еще что-нибудь и не забыли ли мы, что собирались в Оперу, где, как говорят, чудесно.

— А вы там никогда не бывали?

— Никогда, сударь; для таких людей, как я, это слишком дорого. А моей дочери так хочется побывать там, что я боюсь, что она, прости меня Боже, готова даже отдаться тому, кто поведет ее туда.

— Она заплатит слишком дорого, — сказала моя милая женушка. — Друг мой, мы можем осчастливить эту девушку, не заставляя ее платить такую высокую плату.

— Я тоже так думаю. Возьми ключ, ты можешь сделать им хороший подарок.

— Вот, — сказала она хозяйке, — возьмите этот ключ, он от нашей ложи в театре Сан-Моизе. Она стоит два цехина. Ступайте туда вместо нас и скажите вашей дочке, что она может отдать свой цветок за что-нибудь более дорогое.

— И чтоб вы могли развлечься и развлечь вашу дочь, — добавил я, — вот вам два цехина.

Хозяйка вышла и привела свою дочь, весьма аппетитную блондиночку, которая кланялась и хотела во что бы то ни стало поцеловать руку своим благодетелям.

— Она собиралась пойти со своим парнем. Но я не пушу их одних, очень уж он продувной малый. Я пойду с ними.

— Прекрасно, милочка, но когда будете возвращаться, велите гондоле, которая вас привезет, подождать. Мы на ней вернемся в Венецию.

— Как, вы хотите остаться до нашего возвращения? — Да, ведь мы сегодня поженились. — Сегодня! Ну, Господь вас благослови!

Подойдя к постели, чтобы прибрать ее, она увидела почетные знаки целомудрия моей супруги и, не сдержав радости, нежно поцеловала ее. Затем прочитала целую проповедь дочери, указав ей на то, что должно непременно, по ее мнению, сопровождать каждый брачный союз. Она сказала, что такие признаки добродетели редко можно встретить у нынешних невест. Потупив взор, девица отвечала, что уверена в том, что и она после своего брака предоставит такие же доказательства. «Еще бы! — подхватила мать. — Я ведь с тебя глаз не спускаю. Поди принеси воды, нашей славной новобрачной надо умыться».

Дочка принесла воду, и как только обе женщины удалились, мы снова оказались в постели, и четыре часа невероятных восторгов и исступлений пролетели в один миг. Наша последняя схватка могла бы быть самой продолжительной, если бы моей возлюбленной не пришла в голову очаровательная мысль занять мое место, и мы поменялись ролями. Утомленные наслаждением мы дремали, когда хозяйка пришла объявить нам, что гондола дожидается. Я быстро вскочил и открыл ей дверь, заранее предвкушая, как забавно будет нам слушать ее рассказ об Опере. Она, однако, предоставила эту честь дочери, а сама отправилась готовить нам кофе. Блондиночка стала помогать моей подруге одеваться, причем иногда бросала на меня взгляды, давшие мне понять, что она гораздо опытнее, чем это представляется ее матери.

Небо уже начинало розоветь, когда мы высадились у площади Санта-София, чтобы сбить с толку возможное любопытство гондольера. Мы расставались счастливые, довольные друг другом и в полном убеждении, что наше истинное венчание состоялось. Я отправился домой, обдумывая, что должен сказать мой оракул г-ну Брагадину, чтобы убедить его просить отца К. К. от моего имени руки его дочери. Я провел в постели время до полудня, а остаток дня посвятил игре. Играл я крайне неудачно, словно Фортуна хотела меня предупредить, что она не одобряет мою любовь.

Чувство радости, которое принесла мне любовь, сделало меня мало восприимчивым к денежным утратам, мой разум, занятый всецело размышлениями о моей возлюбленной, был наглухо закрыт для других забот. Все, что не было связано с ней, меня не интересовало.

Именно в таком состоянии застал меня ее брат. Он вошел ко мне с сияющим видом и объявил:

— Я знаю, что вы спали с сестрой и очень этому рад. Она ничего мне не сказала, но ее признания мне и не требуется. Сегодня я приду с нею к вам.

— Вы очень меня обрадуете, я люблю страстно вашу сестру и буду просить ее руки у вашего батюшки. Думаю, что я нашел способ убедить его.

— Сомневаюсь в этом, но от души желаю вам успеха. А пока я вынужден просить вас о новой услуге. Я могу получить по заемному письму на шесть месяцев кольцо ценою в двести цехинов. Я уверен, что тут же смогу перепродать его за такую же сумму. Именно столько мне крайне необходимо иметь. Ювелир не уступит мне его без вашей подписи, он вас хорошо знает. Вы, мне известно, много проиграли вчера. Я могу вам ссудить сто цехинов, вы вернете мне их в обмен на письмо через шесть месяцев.

Как можно было отказать ему? Я видел ясно, что стану его жертвой. Но я любил его сестру!

После полудня П. К. привел ко мне свою сестру. Как обычно, мы отправились в Джудекку. Хозяйка, зная мою щедрость, подала нам дичь и рыбу, и ее дочь обслуживала наш стол. Она же, как только мы поднялись наверх, пришла помочь раздеться моей подруге.

На этот раз мы наслаждались друг другом более основательно: мы предавались страсти с большей изысканностью и, если можно так сказать, с большей обдуманностью. «Мой дорогой, — попросила она меня, — сделай все, что в твоих силах, чтобы я стала матерью. Уж тогда у моего отца не будет повода говорить, что я еще не созрела для брака».

Мне стоило немалых трудов объяснить ей, что выполнение ее желания, которое было и моим, зависит не только от нашей воли. Но рано или поздно это произойдет, если мы останемся такими же, какими были в этот момент.

Поработав как следует, чтобы выполнить этот великий замысел, мы заснули глубоким и счастливым сном. Проснувшись, я попросил принести свечи и кофе, и затем мы снова принялись за дело в надежде, что наше взаимное желание будет выполнено и мы достойно увенчаем наше общее счастье. В самый разгар наших сладчайших трудов мы увидели, что небо уже посветлело, и поспешили вернуться в Венецию, чтобы не привлекать при свете дня любопытные взоры.

Мы возобновили наши игры в пятницу. Но несмотря на радостное волнение, которое я испытываю и сейчас, вспоминая столь счастливые минуты, я избавляю моих читателей от описания наших дальнейших удовольствий: я буду повторяться, и это может наскучить. Скажу только, что, расставаясь, мы условились, что наша последняя встреча в саду состоится в понедельник. Только смерть могла помешать мне прийти на свиданье, ведь этот день мог оказаться последним днем наших взаимных радостей.

Итак, утром в понедельник, увидев П. К. и договорившись с ним о встрече в обычном месте и в обычный час, я не замедлил туда явиться. Первый час ожидания прошел, несмотря на нетерпение, быстро, но уже второй тянулся ужасно долго. Но я ждал и третий и четвертый, надеясь вот-вот увидеть долгожданную пару. Я думал о самых страшных вещах. Если К. К. не могла выйти из дому, то где же ее брат? Я не мог решиться пойти к их дому, так как боялся разминуться по пути. Наконец, когда колокола начали «Ангелус», из причалившей гондолы выскочила К. К., одна, в маске.

— Я была уверена, — сказала она, — что ты стоишь здесь, и сказала об этом матушке. И вот я пришла. Ты, должно быть, умираешь с голоду. Брата весь день не было дома. Поехали скорее в наш сад, я тоже страшно проголодалась, а потом любовь поможет нам забыть все волнения, выпавшие сегодня на нашу долю.

Она говорила без умолку, и я не мог вставить ни единого слова. Мы сели в гондолу и двинулись к нашему саду.

Шесть часов провели мы в нашем казино, шесть часов, отмеченных множеством любовных подвигов. На этот раз времени для сна не оставалось: кончалось время ношения масок *, и мы не знали, когда еще нам представится возможность подобной встречи. Мы условились, что в среду утром я нанесу визит к ее брату и она появится в его комнате как обычно...

Безумно влюбленный, я не мог больше откладывать дело, от которого, как я понимал, зависело мое счастье. Итак, после обеда, когда все наше маленькое общество было в сборе... я без всякого вступления объявил г-ну Брагадину и двум его друзьям, что я люблю мадемуазель К. К. и намерен похитить ее, если они не подыщут средство уговорить ее отца согласиться на законный брак своей дочери со мною. «Дело заключается в том, — сказал я Брагадину, — чтобы доставить мне состояние, которое обеспечит меня на всю жизнь, так как у этой юной особы десять тысяч дукатов приданого».

Их ответ был таков: если Паралис даст им все необходимые указания, они с радостью выполнят их. Мне ничего больше и не было нужно. Два часа я составлял свои пирамиды, и, наконец, оракул изрек, что г-н Брагадин лично должен просить руки дочери у ее отца от моего имени. Отец моей подруги был в своем имении, я сказал им, что извещу о дне его возвращения и что они должны быть все вместе, когда один из них отправится к отцу К. К.

Весьма довольный этим решением я отправился на завтра к П. К. Старая служанка встретила меня, сказав, что синьора нет, но синьора сейчас придет поговорить со мной. Она действительно появилась вместе с дочерью: обе они выглядели крайне удрученными. Дурные предчувствия мои оправдались: К. К. сказала мне, что ее брат посажен в тюрьму за долги и выручить его оттуда невозможно — слишком велика сумма, которую надо выплатить... После этой, весьма мало ободряющей сцены я все же решил изложить дело, которое привело меня в их дом; я сообщил, что намерен просить руки ее дочери. Меня поблагодарили, просьбой моей весьма польщены, но надеяться мне не на что. Мадам сообщила мне, что ее муж, которого переубедить трудно, не намерен выдавать дочь замуж до восемнадцати лет и выдать непременно за негоцианта. Муж должен возвратиться как раз сегодня.

Вернувшись к себе, я объявил г-ну Брагадину о возвращении отца моей обожаемой К. К., и тут же в моем присутствии этот благородный старик сел писать письмо. Он просил почтенного негоцианта назначить час, когда они могли бы встретиться, чтобы поговорить о важном неотложном деле.

...Назавтра после обеда г-н Ч. К. появился в нашем доме, но я не показывался ему на глаза. Два часа провел он с моими тремя друзьями, и, как только он ушел, я узнал, что он говорил в точном соответствии с тем, что я уже слышал от его жены. Правда, он добавил и новое, совершенно сокрушившее меня сообщение: он сказал, что отправит свою дочь на четыре года в монастырь и все это время она и думать не посмеет о замужестве. Закончил он, несколько смягчив свой отказ согласием на брак при условии, что я за эти четыре года смогу добиться какого-либо прочного положения.

...Полумертвым пришел я в свою комнату. Двадцать четыре часа горестных раздумий не помогли мне найти верное решение. Я думал о побеге, но тысячи препятствий представляли предо мной. Брат сидел в тюрьме, и некому было передать мне хотя бы малейшее известие о моей дорогой жене: да, я почитал К. К. своей законной супругой, хотя ни благословение священника, ни свидетельство нотариуса не скрепило наш союз. Перебрав в уме разные возможности, я набрел на мысль добиться свидания с П. К. в тюрьме. Но и этот шаг оказался бесплодным: он наговорил кучу всяких небылиц, которые я вынужден был принимать за чистую монету. Но он ничего не мог сказать о сестре, и я простился с ним, дав ему на прощанье два цехина и пожелав скорого освобождения. На третий день г-н Брагадин и два его друга отправились провести месяц в Падуе. Я не смог заставить себя поехать с ними и остался один в огромном палаццо. Чтобы как-то заглушить тоску, я принялся за игру, но играл так нерасчетливо и безрассудно, что проигрался в пух и прах: пришлось продать все, что имело сносную цену, и повсюду задолжать. Только мои благодетели могли меня

выручить, но мне было стыдно открыть перед ними мое состояние. Такие положения легко толкают к самоубийству, и я думал об этом, бреясь как-то перед зеркалом, когда слуга ввел ко мне некую женщину. Она подошла ко мне, держа в руках письмо. «Тот ли вы, кому это писано?» Я взглянул и чуть не упал замертво: на конверте я увидел оттиск печатки, которую некогда подарил К. К. Чтобы успокоиться, я попросил женщину подождать, пока я кончу бриться, но рука не слушалась меня. Отложив бритву, я взял письмо и распечатал его. Вот что оно содержало:

«Прежде чем написать подробнее, я должна убедиться в надежности этой женщины. Я помещена в монастырь, со мной обходятся очень хорошо, я здорова, хотя мозг мой в смятении. Настоятельницей мне строжайше запрещены свидания и переписка с кем бы то ни было. Но я уже убедилась, что смогу писать, невзирая на запрет. Я не сомневаюсь в твоей верности, дорогой мой муженек, и уверена, что и ты не сомневаешься в верности сердца, безраздельно тебе преданного. Рассчитывай на мою готовность выполнить любое твое приказание: ведь я твоя и только твоя. Пока мы еще не проверили посланца, напиши мне всего несколько слов. Мурано, 12 июня».

— Умеете ли вы читать? — спросил я женщину.

— Ах, сударь, если бы я не умела, мне было бы плохо. Нас семь женщин, назначенных служить святым сестрам в Мурано. Каждая из нас раз в неделю должна бывать в Венеции: я езжу сюда по средам, и сегодня в восемь я могла бы привезти вам ответ на ваше письмо, если вы пожелаете написать его сейчас.

— Значит, вы можете передавать письма монахинь?

— Это не входит в наши обязанности, но некоторым поручают такие вещи: правда, лишь тем, кто умеет прочесть имя на конверте. Монахини же должны быть уверены, что письмо, отправленное к Паоло, не попадет к Пьетро. Хочу заверить вас, сударь, раз уж вы имеете дело со мной, можете рассчитывать на полную тайну. Если б я не умела держать язык за зубами, я бы лишилась верного куска хлеба, а я ведь вдова с четырьмя детьми: три девочки и мальчик. Синьорина, не знаю еще как ее зовут, она ведь у нас всего неделю, так ловко передала мне письмо! Бедное дитя! Ответьте ей, сударь, напишите, что она может полностью на меня рассчитывать. Я не хочу осуждать других прислужниц, они все достойные женщины, упаси меня Бог дурно отзываться о ближних. Но видите ли, сударь, они все очень уж темные и непременно проболтаются на исповеди. А я, сударь, всегда, конечно, исповедуюсь в своих грехах, но ведь я и знаю, что передать весточку от христианина к христианину — это не грех. А кроме того, сударь, мой духовник, такой старичок и к тому же совсем глухой, он часто и не слышит, что я ему говорю. Но это ведь его дело, а не мое...

Я не мог вставить ни слова в монолог этой женщины, но зато я узнал, не расспрашивая, все, что мне нужно было узнать, и принялся тотчас же отвечать моей дорогой узнице. Как она просила, я хотел написать всего несколько слов, но у меня было слишком мало времени, чтобы писать коротко. Поэтому мое письмо превратилось в болтовню на четырех страницах, и, конечно же, я сказал в нем меньше, чем она ухитрилась сказать мне на одной. Я написал ей, что ее письмо вернуло меня к жизни, и спрашивал, могу ли я надеяться увидеть ее. Я сообщил ей, что дал один цехин посланнице, а второй спрятал под печаткой и буду посылать ей столько денег, сколько ей потребуется. Я просил ее не пропускать ни одной среды и не бояться, что ее письма окажутся слишком длинными: пусть пишет мне все, не только о том, что с ней происходит, как с ней обращаются, но и обо всех планах, которые могли помочь сбросить цепи и соединить нас для вечного счастья. Я внушал ей, что она должна сделать все, что в ее силах, чтобы ее полюбили все монахини и воспитанницы и, однако, никому не доверять полностью и, главное, не показывать, что она тяготится жизнью в монастыре. Похвалив находчивость, сумевшую помочь ей написать мне, я заклинал не допустить, чтобы кто бы то ни было видел ее пишущей, тогда в ее комнате сделают обыск и все пропадет. «Сжигай все мои письма, — писал я в конце, — и ходи регулярно на исповедь, чтобы тебя ни в чем не заподозрили. И пиши, пиши мне обо всем, твои тяготы меня интересуют не меньше,

чем твои радости».

Запечатав письмо таким образом, что цехин, помещенный в него, никак нельзя было увидеть, я расплатился с почтальоншей, дав ей цехин в свою очередь и прибавив, что такая же плата ждет ее за каждое письмо.

..Любовь безоглядна в стремлении к наслаждениям, но когда надо вернуть утраченное из-за какого-нибудь случая счастье, любовь делается расчетливой и предусмотрительной. Письмо из монастыря преисполнило меня радостью, и в одно мгновение от величайшей скорби не осталось и следа. Я почувствовал уверенность в том, что смогу вызволить мою любовь из неволи, даже если монастырь будет защищать артиллерия. Первой же моей мыслью после ухода посланницы было, как мне наилучшим образом использовать неделю, оставшуюся до получения следующего письма. Игра мне не помогла бы, все мои были в Падуге; я собрал свои чемоданы и уже через три часа стучался в двери дома, который занимал мой благодетель. Он как раз собирался обедать и сердечно обнял меня.

— Я надеюсь, — сказал он, — что ты никуда не спешишь?

— Нет, — ответил я, — но я умираю с голоду.

..Я вернулся в Венецию за четверть часа до появления вестницы из Мурано. На этот раз письмо представляло собою целый дневник на семи страницах. Точное его воспроизведение, боюсь, утомило бы читателя, поэтому ограничусь выдержками из него.

Рассказав во всех подробностях о том, что предпринял ее отец после визита к г-ну Брагадину, К. К. писала, что она довольна и своей комнатой и монахиней, которая к ней приставлена и от которой она зависит. Эта монахиня сообщила ей о запрещении писем и визитов под страхом отлучения от церкви, вечных мучений и прочих благоглупостей. Однако та же самая монахиня доставила ей бумагу, чернила, книги, и благодаря ей она может писать мне по ночам.

Далее К. К. в довольно игривой манере писала, что самая красивая обительница монастыря безумно полюбила ее, дважды в день дает ей уроки французского языка и дружески предостерегает от близкого знакомства с прочими воспитанницами. Этой монахине всего двадцать два года: она красива, богата и щедра, все другие относятся к ней с почтением. «Когда мы остаемся одни, — писала моя подруга, — она так нежно целует меня, что не будь она женщиной, ты бы обязательно приревновал меня». О планах побега она писала, что, кажется, выполнить их будет не так уж трудно, но осторожность требует сначала как следует изучить окрестности монастыря, которые пока ей совсем незнакомы. Заканчивала она просьбой прислать ей мой портрет, который можно так искусно спрятать в кольцо, что никто его не отыщет. Кольцо надобно передать с ее матерью: я могу ее встретить каждое утро на мессе в их приходской церкви. «Она тебя любит и исполнит любую твою просьбу».

Я заканчивал мой ответ, когда Лаура — так звали нашу вестницу — явилась за ним. Я передал с ней пакет, в который вложил сургуч, бумагу, перья и огниво. К. К. сказала Лауре, что я ее кузен, и та, кажется, ей поверила.

..Я заказал свой миниатюрный портрет одному искусному пьемонтцу, с которым я познакомился на ярмарке в Падуге, он потом хорошо зарабатывал в Венеции. Он сделал также и изображение Св. Катарины в ту же величину, и один венецианец, прекрасный ювелир, изготовил мне красивое кольцо. Кольцо было украшено миниатюрным изображением Святой Катарины, но нажатие маленькой голубой, почти невидимой на белой эмали, точки приводило в действие пружинку, и вместо святой появлялось мое изображение.

Ранним утром я занял место возле церкви, как следовало из инструкций К. К., и вскоре вошел вслед за ее матерью в храм. Опустившись рядом с ней на колени, я шепнул, что мне надо с ней говорить. Мы отошли в боковой придел и там, утешив ее и заверив, что мои чувства к ее дочери нерушимы, я спросил, собирается ли она увидеть ее.

— Я надеюсь навестить мое дорогое дитя в воскресенье и обрадую ее, рассказав о вас. Я в отчаянье, что не могу вам сообщить, где она находится.

— Я не прошу вас об этом, но позвольте просить вас о другом: передать ей это кольцо.

Это образ ее небесной покровительницы, и вы должны убедить ее никогда не снимать кольцо с пальца. Пусть она ежедневно обращает к ней свои молитвы, ибо без помощи этого образа она не сможет стать моей женой. Передайте ей, что я со своей стороны буду постоянно читать Святому Джакомо «Кредо» (Верую (лат.) — начало молитвы).

Обрадованная моей набожностью и стремлением внушать такое же похвальное чувство ее дочери, добрая женщина обещала в точности выполнить мою просьбу. Я просил ее еще принять десять цехинов для ее дочери. Она сказала, что та ни в чем не нуждается, но деньги все-таки взяла.

Письмо, полученное мною в следующую среду, было переполнено самыми нежными и самыми пылкими чувствами. Моя милая писала, что едва она осталась одна, как сразу же нашла заветное место и бросилась осыпать жадными поцелуями изображение того, кто составлял для нее все на свете.

«Я продолжала тебя целовать, — писала она, — даже когда появились монахини. Но как только они приблизились ко мне, пружинка щелкнула, и моя добрая святая скрыла все». Еще она поведала мне, что монахиня, обучающая ее французскому языку, предложила за кольцо пятьдесят цехинов, но не из любви к святой, над житием которой она частенько посмеивалась, а из любви к моей подруге, ибо святая очень напоминала ее чертами лица.

Следующие пять или шесть недель в письмах только и было рассказов, что о Святой Катарине, которая заставляла милую узницу по многу раз дрожать от испуга. Дело заключалось в том, что одна старая и слабая зрением монахиня брала кольцо в руки, приближала к глазам и даже ощупывала эмаль пальцами. «Я так боялась, что она случайно нажмет пружинку и вместо моей святой предстанет изображение еще более прекрасное, но совершенно лишенное святости».

...Мало-помалу я вернулся к своим прежним привычкам, но как могла моя натура смириться с отсутствием удовлетворенной любви! Единственным моим удовольствием были еженедельные письма, в которых моя возлюбленная призывала меня к терпеливому ожиданию, вместо того чтобы призывать к немедленному похищению ее из монастыря. Я знал от Лауры, что она очень похорошела за это время, и умирал от желания увидеть ее. Случай представился, и упустить его было невозможно. В монастыре приближался день пострижения; этот обряд всегда привлекает множество народу. Визиты к монахиням учащаются, и воспитанницы могут также появляться в приемной. В такой день я ничем не рисковал, так как легко мог смешаться с толпой. Итак, я отправился туда, ничего не сказав Лауре и не предупредив мою дорогую женушку. И когда в четырех шагах от себя я увидел ее, смотревшую на меня с немым обожанием, я чуть было не лишился чувств. Она подросла, сформировалась и стала еще прекрасней. Я не сводил глаз с нее, она с меня, и я был последним, кто покинул зал приемной, казавшейся мне тогда Храмом Блаженства.

Через три дня я получил от нее письмо. Она так ярко изобразила то наслаждение, которое получила, увидев меня, что я решил радовать ее как можно чаще. Я написал, что она будет видеть меня на мессе в их церкви во все праздничные дни. Это мне ничего не стоило, и я ничем не рисковал: узнать меня не могли, церковь эта посещалась только обитателями Мурано, и хотя, слушая мессы, я ее не видел, но я знал, что она меня видит, и ее радость становилась моей радостью.

Всякий раз я брал наемную гондолу и разных гондольеров. Я держался осторожно: мне было известно намерение ее отца заставить ее забыть меня и, имея он хоть малейший намек на мою осведомленность о месте ее заточения, он тут же отправил бы ее Бог знает куда...

Эти мои маневры продолжались уже месяц с лишним, когда я получил довольно занятное письмо от моей милой. Она сообщала, что я превратился в загадку для всего монастыря как для воспитанниц, так и для всех монахинь, не исключая самых старых. Весь клир ожидает меня: всех оповещают, когда я появляюсь, когда беру святую воду. Замечено, что я никогда не смотрю за решетку, где находятся во время службы святые затворницы, и вообще не поднимаю глаз ни на одну женщину в церкви. Старые монахини говорят, что у меня, наверное, великое горе, в котором меня утешает их Святая Дева, молодые же считают

меня просто меланхоликом или мизантропом. Моя более всех осведомленная женушка очень потешается, слушая эти рассуждения, и ей забавно пересказывать их мне. Я написал ей, что раз существует опасность моего разоблачения, я могу прекратить свои визиты в монастырь. Она ответила, что худшего наказания я не мог для нее придумать.

Все осталось по-прежнему, но такая, иссушающая меня, жизнь не могла длиться долго. Ведь я был создан для того, чтобы наслаждаться с любовницей и быть с ней счастливым. Не зная, что предпринять, я окунулся в игру и почти всегда выигрывал; несмотря на это, тоска буквально пожирала меня, я худел на глазах.

В День Всех Святых 1753 года, когда, отслушав мессу, я собирался сесть в гондолу, проходившая мимо меня женщина, схожая с Лаурой и обликом и, очевидно, родом занятий, взглянула на меня и обронила к моим ногам письмо. Увидев, что я его поднял, она спокойно проследовала своим путем. Письмо было без адреса и запечатано... Как только я сел в гондолу, я сломал печать и прочел следующее:

«Монахиня, которая уже два месяца с лишним наблюдает Вас на праздниках в нашей церкви, хотела бы познакомиться с Вами. Брошюра, оброненная Вами, случайно попала к ней в руки и дала понять, что Вы знаете французский язык, но, если пожелаете, можете отвечать по-итальянски, так как необходимы прежде всего ясность и точность выражения. Она не приглашает Вас вызвать ее в приемную, ей хочется, чтобы до первого разговора между Вами, Вы могли бы увидеть ее. Поэтому она назовет Вам даму, которую Вы сможете сопровождать во время визита в монастырь. Эта дама Вас не знает, и ей не надо будет представлять Вас, если Вы захотите остаться неузнанным.

Если Вы считаете, что такая манера знакомства не годится, монахиня приглашает Вас в казино в Мурано, где Вы найдете ее одну в первом часу ночи того дня, какой Вам угодно будет назначить. Вы можете остаться с ней ужинать или покинуть ее через четверть часа, если Вас ждут другие дела.

Может быть, Вы предпочитаете поужинать с нею в Венеции? Назначьте тогда день, час и место, куда она могла бы явиться. Она прибудет туда в гондоле и под маской. Будьте только на набережной один, надев маску и держа в руке фонарь.

Я знаю, что Вы ответите мне и Вы догадываетесь, с каким нетерпением я жду ответа. Прошу Вас вручить его завтра той же, что передала Вам мое письмо. Вы найдете ее за час до полудня в левом приделе церкви Сан-Канчиано.

Поверьте, что, не предполагая я в Вас благородное сердце и изысканный ум, я никогда не решилась бы на такой рискованный шаг, который может внушить Вам превратное представление обо мне».

Стиль письма, которое я переписал здесь слово в слово, поразил меня больше, даже чем само письмо. Отбросив все свои неотложные дела, я заперся и принялся за обдумывание ответа.

Поступок этот несомненно изобличал сумасбродку, но я увидел в нем и достоинство и какую-то чрезвычайно симпатичную мне странность. Я подумал, что это могла быть монахиня, обучавшая мою подругу французскому языку. Та изображала ее красивой, богатой, галантной и щедрой; моя дорогая женушка могла быть с ней не слишком скрытной... Сотни мыслей путались в моей голове, но я отбрасывал все, которые не согласовывались с почти уже принятым мною приглашением. Впрочем, моя подруга говорила, что есть в монастыре и другие знающие французский... Словом, мне могла написать не только приятельница моей женушки, но и любая другая монахиня — вот, что меня смущало. Поэтому я решил отвечать так, чтобы ничем себя не скомпрометировать.

«Я отвечаю Вам по-французски, мадам, дабы последовать тому примеру ясности и точности, какой явили Вы в своем письме.

Прежде чем отвечать неизвестному кому, нужно, и Вы согласитесь со мною, мадам, подумать о возможной мистификации; поэтому честь обязывает меня быть осторожным.

Итак, если перо, писавшее ко мне, принадлежит достойной уважения особе, которая подозревает во мне свойственные и ей чувства, она согласится, надеюсь, что мое письмо не

могло быть иным, чем то, что я имею честь передать Вам.

Хотя Вы судите, мадам, обо мне только по внешности, но если Вы полагаете, что я достоин чести познакомиться с Вами лично, я почитаю своей обязанностью подчиниться Вам.

Из трех способов нашего знакомства, которые Вы сооблаговолили предложить, я осмелюсь остановиться на первом с оговоркой, подсказанной мне Вашим проницательным умом. Я буду сопровождать в приемную даму, с которой я не знаком, и ей не надобно будет представлять меня.

Не судите строго, мадам, те особые соображения, которые обязывают меня не открывать своего имени. Единственным мотивом, побудившим меня отказаться от двух других предложенных Вами путей, которые кажутся мне предпочтительнее первого и делают мне гораздо больше чести, есть, повторяю, опасение мистификации. Но мы вполне можем пойти и этими путями, как только состоится наше знакомство и я увижу Вас.

Прошу Вас верить в мою полнейшую искренность, а также тому, что мое нетерпение никак не меньше Вашего. Завтра в том же месте и в тот же час я буду ждать Вашего ответа».

Я отправился затем на указанное мне место, где и вручил Меркурию женского пола мое послание, сказав, что завтра буду ждать здесь ответа... Назавтра мне отдали письмо... Вот его копия:

«Я вижу, месье, что ни в чем не обманулась... Из трех моих предложений Вы выбрали то, которое делает честь Вашему уму. Уважая Ваши соображения, я пишу графине С. и прошу Вас прочитать прилагаемую записку. Запечатайте ее и отнесите графине. Она уже предупреждена о Вашем визите, и Вы можете пойти к ней, как только сочтете это удобным: она назначит время, когда Вы отправитесь вместе с нею ко мне. Графиня не задаст Вам ни одного вопроса, и Вам нет нужды объясняться с нею. Разумеется, она не сможет и представить Вас. Узнав мое имя, Вы, когда захотите, вызовете меня к решетке или попросите графиню об этом. При всем том Вы можете оставаться в маске. Такого рода знакомство, я думаю, наименее стеснительно для Вас и оставляет Вам полную свободу действий. Я попросила служанку подождать Вашего ответа на тот случай, если Вам не подходит мой выбор: Вы можете оказаться знакомы с графиней С. Если же Вы его одобряете, скажите девушке, что ответа не будет...»

С графиней С. я не был знаком и отпустил служанку без ответа...

Вот записка, которую мне предстояло передать графине:

«Прошу тебя, моя дорогая, если найдешь время, приехать повидаться со мною и взять с собой того, кто вручит тебе эту записку. Назначь ему время, он будет пунктуален. Этим ты очень обяжешь свою верную подругу. До свиданья».

Ум, диктовавший эту записку, предстал передо мною великолепным мастером интриги, было здесь что-то возвышенное, необычайно захватившее мое воображение, хотя я чувствовал, что мне хотят представить особу, которая словно бы нисходит до меня.

В последнем письме моя монахиня, делая вид, что ее совершенно не интересует знать кто я, одобряла мой выбор и выказывала равнодушие к ночным рандеву. В то же время она казалась уверенной в том, что после того, как я увижу ее, я захочу вызвать ее в приемную. Однако ее безопасность, вернее меры по обеспечению этой безопасности, разжигали мое любопытство; она была права, если она молода и красива. Я уже знал, как мне держаться с нею, ибо чем еще может окончиться подобная интрига, как не любовным свиданьем? Я мог бы помедлить несколько дней и вывести у К. К., кто же была моя мона-г хиня, но помимо того, что это отдавало коварством, такой поступок мог прикончить приключение, в чем я, конечно бы, раскаивался.

Она сказала, что я могу отправиться к графине тогда, когда сочту это удобным для себя; видно было, что достоинство не позволяло ей выказывать нетерпение, тем более что она не знала, готов ли я торопить события. Но судя по всему, мне предстояло иметь дело с весьма сведущей в науке любви особой, так что напрасная трата времени мне не грозила. Но как смешно выглядели бы все мои труды, если бы мне предстала какая-нибудь перезрелая

матрона! Известно, что во всех моих поступках мною прежде всего руководила любознательность, но все же мне хотелось бы быть более уверенным в той, которую я намеревался пригласить поужинать со мной в Венеции. Еще я был крайне удивлен свободой, которой пользовались святые сестры, и поражаюсь легкости, с которой они преступали монастырскую ограду.

В три часа я явился к графине, и она, получив из моих рук записку, сказала, что будет счастлива видеть меня завтра в этот же час. Мы обменялись почтительными поклонами и расстались до завтра. Графиня эта была решительной женщиной, немного на закате, но все еще красивой.

Следующий день был воскресным, и я не пропустил своей обычной мессы, уже в мечтах изменяя моей К. К. и желая быть увиденным не столько ею, сколько загадочной монахиней.

После полудня, облачившись в маскарадное платье, я в назначенный час отправился к ожидавшей меня графине. Мы сели в двухвесельную гондолу и прибыли в монастырь, не обменявшись по дороге ничем, кроме замечаний о прекрасной погоде. Подойдя к решетке, она попросила вызвать М. М.* Это имя меня удивило, оно было знаменито. Нас ввели в маленькую приемную, и через несколько минут я увидел монахиню, которая подошла к решетке, нажала ручку и подняла вверх четыре прута; открылось широкое отверстие, так что обе подруги могли свободно обняться и расцеловать друг дружку. Это отверстие было по крайней мере восемнадцати дюймов, и мужчина моего сложения с легкостью прошел бы в него. Графиня села напротив монахини, я несколько в стороне, но так, что мог вволю любоваться одной из самых прекрасных женщин, какую мне приходилось видеть. Я не сомневался, что эта была та, о которой мне писала моя дорогая К. К. Восхищение помешало мне слышать, о чем говорили они между собой, но моя прекрасная монахиня не то что словом, даже и взглядом не удостоила меня.

Ей могло быть года 22–23. Очерк ее лица был великолепного рисунка. Ростом она была чуть выше среднего, с несколько бледной кожей, чудесного разреза глазами небесно-голубого цвета; ее прелестные влажные губы говорили о пленительном сладострастии, зубы представляли собой два ряда жемчугов. Ее убор не позволял видеть ее волос, однако судя по бровям, они были светло-русыми. Но более всего меня восхитили руки, которые я мог видеть обнаженными до локтя.

Никогда резец Праксителя не создавал таких округлостей, таких законченных и изящных форм! Но несмотря на все то, что я видел, и все то, что я угадывал, я не упрекал себя за отказ от двух рандеву, предложенных мне этим совершенством. Я был уверен, что через несколько дней я буду обладать ею и смогу воздать все полагающиеся ей почести. Мне не терпелось остаться с нею одному у этой решетки и... хотя она в продолжении всей беседы ни разу так и не взглянула на меня, сама эта сдержанность очаровывала меня все более...

На обратном пути в Венецию графиня, устав, быть может, от моего молчания, сказала мне с улыбкой:

— М. М. не только красива, но и умна очень.

— Я видел одно и догадываюсь о другом.

— Она не сказала вам ни слова...

— Я не хотел быть ей представленным, и она наказала меня, совершенно не заметив моего присутствия.

Графиня ничего не ответила, и мы расстались перед дверями ее дома, не обменявшись более ни одним словом... Я отправился домой, размышляя об этом приключении, развязку которого мне не терпелось увидеть.

Я был даже доволен, что красавица-монахиня не заговорила со мной: в том состоянии, в которое повергла мои чувства ее красота, я мог бы так отвечать на ее вопросы, что внушил бы превратное представление о моем уме. Она, конечно, должна была убедиться — я это понимал — в том, что унижение отказа ей не угрожает, и все-таки я восхищался смелостью, с какою она шла на риск. Мне было трудно полностью объяснить себе ее смелость, и я не

совсем понимал, почему она могла пользоваться такой свободой. Казино в Мурано! Возможность поужинать с молодым человеком в Венеции! Я терялся в догадках, пока мне в голову не пришла одна мысль: у нее должен быть любовник, которому доставляет удовольствие исполнять все ее прихоти. Это открытие, по правде говоря, задело мою гордость, но авантюра была слишком пикантной, героиня слишком привлекательной, чтобы я прошел мимо. Да, я был на полпути к измене моей дорогой К. К., вернее я уже изменил ей, но мысленно. Однако несмотря на всю свою любовь к этому милому ребенку, я не испытывал никаких угрызений совести. Мне казалось, что неверность такого рода, если она откроется ей, не содержала в себе ничего, что могло бы ей решительно не понравиться: ведь это всего лишь была попытка как-то поддержать меня, так или иначе я просто умер бы от тоски.

Когда-то одна монахиня, родственница г-на Дандоло, представила меня графине Коронини. Эта графиня, бывшая очень красивой и имевшая обширный ум, наскучив светом, уединилась в монастыре Сан-Джустино, и поскольку вес ее в обществе был весьма высок, у решетки приемной этого монастыря она принимала многих достойных особ: тут были и иностранные посланники, и высокие чины правительства Республики, и просто интересные собеседники. Так что в стенах монастыря она узнавала все, что происходит за его стенами, а иногда даже и то, что скрывалось под поверхностью событий. Я полюбился этой почтенной даме, и она нередко давала мне мудрые уроки жизни, беседуя о том, о сем. Через нее-то я и решил выведать что-либо о М. М., отправившись к графине на следующий день после свиданья с прекрасной монахиней.

Мне удалось повернуть разговор на обсуждение жизни в венецианских монастырях. Мы поговорили об уме и влиянии на общество монахини Кельей, которая, несмотря на то, что была чрезвычайно уродлива, могла добиться всего, чего ни пожелает. Мы обсудили молодую и красивую сестру Микелли, которая приняла пострижение для того лишь, чтобы доказать своей матери, что умнее ее. После нее и нескольких других, известных своими галантными приключениями, я как бы ненароком упомянул М. М., сказав, что она, наверное, такая же, но это пока загадка для всех. Графиня, улыбаясь, возразила мне, что нельзя всех мазать одним миром, но пообщее-то я, может быть, и прав.

— Я никак не могу понять, — добавила графиня, — что толкнуло ее на пострижение: она красива, богата, независима, обладает острым умом, изысканна и к тому же, я твердо знаю, большая вольнодумка. Она постриглась без всякой причины: это просто причуда, каприз.

— Вы полагаете, она счастлива?

— Да, если только она не раскаивается или не раскаивалась. Но если даже это и произойдет, у нее достаточно ума, чтобы никто об этом не узнал.

Убеденный таинственным видом графини в правильности моей догадки о любовнике М. М., я решил пренебречь этим и в послеобеденный час отправился в Мурано. С учащенно бьющимся сердцем позвонил я у ворот монастыря и от имени графини С. попросил вызвать в приемную М. М. Маленькая приемная была закрыта, привратница провела меня в Другую. Я вошел, снял маску, опустил на стул и стал ждать мое божество.

Первый час прошел довольно быстро, но вот я начал подумывать, что ожидание затягивается. Может быть, привратница не поняла меня? Я подошел к двери, позвонил и спросил, предупреждена ли сестра М. М. Чей-то голос ответил мне, что предупреждена. Но через несколько минут в приемную вошла старуха, приблизилась ко мне, прощаясь беззубым ртом: «Мать Мария занята на весь день». Сказала, повернулась и ушла.

Вот ужасная минута, какая случается и в жизни самого удачливого человека! Такие минуты унижительны, оскорбительны, убийственны.

Первым моим чувством было почти доходящее до бешенства ужасающее презрение к самому себе. Затем презрительное отвращение к обманщице несколько поумерило мою скорбь. Так поступить могла только самая бесстыдная из женщин, к тому же еще и лишенная здравого смысла. Ведь тех двух ее писем, которые сохранились у меня, было достаточно,

чтобы погубить ее репутацию, захоти я отомстить ей. А она должна была ожидать моей мести. Чтобы пренебречь всем этим, надо быть совершенно безумной. Но то, что я слышал от графини Коронини, говорило мне, что безумной М. М. не назовешь.

Говорят, «время дает советы»; оно дает также успокоение, а размышление проясняет мысли. Поразмыслив, я нашел, что, по сути, ничего особенного в этом происшествии нет и что, не будь я ослеплен чарами монахини и собственным самолюбием, я бы это понял сначала.

Но эти благоразумные размышления не отвратили все же меня от мысли о мщении. Однако ничего низкого я не мог допустить., И я решил играть полнейшее безразличие. «Конечно, — говорил я себе, — в следующий раз она не будет занята, но больше я в ловушку не попадусь. Я докажу ей, что меня ее выходка не задела, и просто отошлю ей ее письма с холодной сопроводительной запиской, чтобы не дать ей ни малейшего удовлетворения». Но больше всего меня беспокоила обязанность бывать на мессах в их церкви: не зная о моей связи с К. К., она, чего доброго, решит, что я прихожу туда только для того, чтобы дать ей возможность назначить мне новое свиданье... Я принялся составлять письмо, но, желая, чтобы ни малейшего следа моей досады в нем не чувствовалось, я оставил его на моем бюро, чтобы назавтра перечитать с холодной головой. Предосторожность оказалась не лишней: утром я разорвал письмо на мелкие кусочки: столько в нем было слабости, любви обиды, что она вдоволь бы посмеялась надо мной.

В среду я написал К. К., что самые серьезные причины вынуждают меня прекратить посещение служб в их церкви. В тот же день я приготовил другое письмо для моей монахини, а в четверг его постигла та же участь, что и первое. В нем были те же недостатки. Я увидел, что я потерял легкость письма. Через десять дней я убедился, что влюблен без памяти и не могу написать ничего, кроме того, что лежит на сердце.

В этом глупейшем положении я порывался десятки раз объяснить с графиней С., но, благодарение Богу, удержался от такого малодушия. Наконец, представив себе, в какой постоянной тревоге живет эта ветреница, помня о своих письмах в моих руках, я решил их отправить, сопроводив следующим посланием:

«Прошу Вас поверить, мадам, что только несносная забывчивость помешала мне вовремя вернуть Вам два прилагаемых здесь письма. Всякая мысль о мести противна моей натуре, и мне нетрудно простить Ваши шалости, совершенные Вами по легкомыслию, а возможно и из желания посмеяться надо мной. Однако, послушайте мой добрый совет и никогда не поступайте так с каким-нибудь другим человеком, ибо он может оказаться менее снисходительным, чем я. Я знаю Ваше имя, я знаю, кто Вы, но будьте спокойны — это не имеет никакого значения, все это я уже забыл. Возможно, Вы не придадите никакой цены моей скромности, что ж, в таком случае мне Вас жаль.

Вы, должно быть, задумаетесь, мадам, когда больше не увидите меня на службах в Вашей церкви; не большая жертва, скажете Вы, молиться он ходит в другое место. Но я, однако, скажу Вам, по каким причинам я перестану бывать в Вашем монастыре. Я думаю, что к тем забавам, которыми Вы себя потешили, Вы прибавите еще одну, не менее веселую: Вы станете хвастаться своими подвигами перед Вашими подругами, а я не хочу быть предметом пересудов в Вашей келье или Вашем будуаре. Пусть не покажется Вам смешным, что, несмотря на то что я на пять или шесть лет старше Вас, я все еще окончательно не избавился от чувства стыда и не отказался от некоторых благородных условностей или, если Вам угодно, предрассудков...»

Я посчитал это письмо вполне отвечающим обстоятельствам дела, запечатал его и отправился поискать какого-нибудь незнакомого со мной фурлана*, которого я мог бы отправить в Мурано. Найдя такого, я дал ему все необходимые инструкции, заплатил полцехина, обещав вторую половину после возвращения, и строго-настрого приказал не дожидаться ответа, даже если привратница попросит его подождать. Надо сказать, что в Венеции фурланы выполняли ту же работу, что савояры в Париже: их всегда можно было направить с каким-либо конфиденциальным и срочным поручением.

Я уже начал забывать об этом происшествии, решив, что между мною и монахиней возведена непреодолимая стена, как вдруг дней через десять, выходя из театра, я увидел того самого фурлана. Я окликнул его, и так как был в маске, спросил, не узнает ли он меня. Он оглядел меня с ног до головы и сказал, что нет.

— Хорошо ли ты выполнил дело в Мурано?

— Ох, сударь! Слава Богу! Раз я вас разыскал, я расскажу вам очень важные вещи. Как только- я передал письмо в руки привратницы, я сразу же, как вы мне приказали, повернулся и ушел, хотя меня и попросили подождать. Вас я не нашел, но дело не в этом. На следующий день один из моих товарищей, который видел, как вы вручали мне письмо, разбудил меня и сказал, что мне надо ехать в Мурано, потому что меня там разыскивают: привратница хочет обязательно поговорить со мной. Я туда отправился, и привратница ввела меня в приемную, а немного спустя туда пришла монахиня, прекрасная как день, и забросала меня сотнями вопросов о том, где я вас могу найти. Вы сами понимаете, что я ничего толком не мог ей сказать, тогда она велела мне подождать и часа через два вышла ко мне снова с письмом. Она сказала, что если я смогу вас разыскать, то я должен передать вам ее письмо, а потом принести ей ответ. Она даст мне два цехина. А пока я вас не найду, мне надо каждый день являться в монастырь и показывать ей неврученное письмо, за что она будет мне платить по сорок су. Я уже получил двадцать ливров, но, боюсь, ей скоро это надоест, и теперь зависит только от вас, получу ли я свои два цехина. Ответьте хоть двумя словами на ее письмо.

— А где это письмо?

— Оно у меня заперто, я тотчас же вам его принесу...

Я не мог справиться со своим любопытством и предпочел отправиться к нему, чем поджидать, пока он пробежится туда и обратно. Мне достаточно было написать только ему фразу: «Я получил письмо», и мой фурлан заработает два своих цехина, а на следующий день я перемену парик и маску, и никто меня не сможет разыскать.

Письмо представляло собой объемистый пакет, и первое, что бросилось мне в глаза, были те два ее письма, которые я возвратил для ее успокоения.

От волнения я вынужден был опуститься на стул: это был верный знак моей ошибки. Кроме этих двух писем, я увидел еще одно письмецо, подписанное С. Оно было адресовано М. М. Я прочел его. Вот оно:

«Сопровождавший меня г-н в маске вообще, я думаю, не раскрыл бы рта, если бы я не вызвала его на это, сказав, что твой ум еще очаровательнее твоей внешности. Он мне ответил: „Я видел одно и догадываюсь о другом“. Я добавила, что не понимаю, почему ты не сказала ему ни одного слова. Он ответил, что ты наказала его за нежелание быть тебе представленным. Вот весь наш диалог. Я хотела отправить тебе эту записку с утра, но не сумела. До свидания».

Прочитав это письмо, выглядевшее как отрывок точнейшего протокола, я успокоился и нашел в себе силы приступить к чтению письма М. М.

«По вполне извинительной слабости, я любопытствовала узнать, что скажете Вы обо мне на обратном пути из монастыря. Поэтому я шепнула графине, чтобы она сообщила мне об этом на следующий день как можно раньше; я предвидела, что днем Вы приедете ко мне с официальным визитом. Ее записка, которую умоляю прочитать, была передана мне через полчаса после того, как Вы ушли.

Первая роковая случайность.

Не получив еще этой записки в тот момент, когда Вы меня вызвали, я не нашла в себе силы принять Вас. Страшное малодушие и вторая случайность: я попросила послушницу передать, что я „больна весь день“. Вполне законный предлог, истинный или ложный, но эту официальную ложь смягчают слова „весь день“. Вы же ушли, и я не могла кинуться Вам вдогонку, когда старая дура пришла мне сказать, что она передала Вам, что я „занята весь день“.

Это была третья случайность.

Вы не можете себе представить, что мне хотелось сказать и сделать с этой глупейшей

старухой; но нельзя было ни говорить, ни действовать, здесь надо набраться терпения и благодарить Бога, что все это совершилось по глупости, а не по злобе, что чаще всего случается в монастырях. Что произойдет дальше, я предвидела с самого начала, по крайней мере отчасти, ибо человеческий ум бессилён предугадать все в точности. Я догадывалась о том, как Вы возмущаетесь, считая себя обманутым и осмеянным, и терзалась невозможностью до первого праздника все Вам объяснить. Как торопило мое сердце наступление этого дня! Но могла ли я предугадать, что Вы решите больше не показываться у нас! Я терпеливо переносила боль, но когда в воскресенье я увидела, что Надежда рухнула, мое горе сделалось нестерпимым, и оно убьет меня, если Вы откажетесь принять мои оправдания. Ваше письмо повергло меня в такую бездну отчаянья, что я не смогу справиться с ним, если Вы не откажетесь от своего ужасного решения. Вы почитаете себя жертвой обмана, но неужели это письмо не говорит Вам, что Вы ошибаетесь? И, даже считая себя обманутым, согласитесь, что, направляя мне такое письмо, какое Вы направили, Вы должны были считать меня мерзким чудовищем, а разве такой может быть женщина благородная по рождению и по воспитанию? Я возвращаю Вам мои письма, я не такая, какой Вы меня представили себе. Я больше физиономистка, чем Вы, и то, что я сделала, не было ни легкомысленной шалостью, ни ловкой интригой, потому что я видела, что Вы не способны не то что на злодейство, а даже на малейшее коварство...

Я надеюсь, что даже если Вас совсем не интересует, останусь ли я жить или нет, Ваше представление о чести прикажет Вам прийти ко мне и объясниться. Если Вы не понимаете, какой страшный удар нанесли Вы своим письмом женщине ни в чем не виновной и глубоко чувствующей, то мне Вас жаль: значит Вы не имеете ли малейшего представления о человеческом сердце.

Но я убеждена, что Вы придете, лишь бы только это письмо разыскало Вас. Прощайте, я жду от Вас решения своей судьбы».

Мне не было нужды перечитывать это письмо. Правота М. М. была очевидна, мое смущение переходило в отчаянье. Я спросил фурлана, говорил ли он с ней сегодня утром и выглядела ли она больной. Он сказал, что каждый день он находил ее все более удрученной и глаза у нее были воспаленными.

— Подожди меня, — сказал я ему.

В ближайшей гостинице я нанял ему комнату на ночь, а сам до утра писал свой ответ прекрасной женщине, которую по своему неведению так оскорбил.

«Я виноват, мадам, и мне нет оправдания. В Вашей же невинности я совершенно убежден. Если я не получу прощенья, ничто не сможет меня утешить, но Вы простите меня, поймите, что толкнуло меня на преступление.

Я увидел Вас, я был очарован Вами, я не мог поверить в свое счастье, мне казалось оно грезой, которая исчезает при пробуждении. Кто может понять, как провел я двадцать четыре часа в ожидании мига, когда я вновь смогу увидеть Вас и говорить с Вами. И вот настал этот миг, но именно тогда, когда я был весь в предвкушении, когда я ждал, что вот-вот снова увижу Ваши дорогие черты, появилась отвратительнейшая личность и объявила мне сухим и безразличным тоном, что Вы заняты на весь день. Не дав мне времени опомниться, она исчезла, а я... Я был ошеломлен, я был обескуражен, я был поражен... Если бы Вы прислали мне хотя бы одну строчку, одно слово! Но в том положении, о котором я теперь знаю, Вы забыли об этом. Вот четвертая роковая случайность!

Я считал себя осмеянным, мне казалось, что все видят на моем лице печать неудачливого любовника и т. д. Мой разум помутился, и за две недели я потерял остатки своей рассудительности...

Теперь, надеюсь, все это позади. Сегодня в одиннадцать часов я, покорный, любящий и нежный, готов припасть к Вашим ногам. Вы простите меня, дивная женщина, иначе я сам найду возможность рассчитаться с собой. Умоляю Вас о единственной милости: сожгите мое письмо, посланное Вам в отчаянии и помутнении моего разума, отправленное Вам только после того, как я разорвал четыре других: судите же о тогдашнем моем состоянии.

Я посылаю своего человека в монастырь сразу же, чтобы мое письмо было вручено Вам, как только Вы пробудитесь. Мой посланец Никогда не нашел бы меня, если бы мой добрый гений не привел его к театральному подъезду, когда я выходил оттуда. Он мне больше не понадобится, не отвечайте мне и примите все те чувства, которые Вы внушили обожающему Вас сердцу».

Читатель легко догадается, что ровно в одиннадцать я уже был в монастыре. Меня, как и в первый раз, ввели в маленькую приемную, и М. М. не замедлила появиться. Как только я увидел ее возле решетки, я опустился на колени, но она попросила меня тут же подняться — нас могли увидеть. Ее лицо горело, но взгляд был лучист и светел, как небеса. Мы сели друг напротив друга и молча обменивались любящими взглядами. Первым нарушил молчание я, спросив ее прерывающимся голосом, простит ли она меня. Вместо ответа она протянула мне сквозь решетку руку, которую я покрыл бесчисленными поцелуями и оросил слезами.

— Наше знакомство, — произнесла она, — началось ужасной бурей. Будем надеяться, что оно продолжится под безоблачным небом. Мы разговариваем впервые, но то, что произошло между нами, связало нас крепче, чем долгие годы общения. Будем надеяться, что наш союз будет и нежным и искренним, и простим друг другу наши прегрешения.

— Такой ангел, как вы, может ли быть грешен?

— Ах, мой друг, кто из нас без греха!

— Когда я смогу изъяснить вам мои чувства без стеснения и во всей их полноте?

— Мы поужинаем в моем казино в Мурано, когда вы пожелаете. Только предупредите меня за два дня до этого. Или же, коли хотите, я могу прийти к вам в Венеции, если это вас никак не стеснит.

— Это будет для меня еще большим счастьем. Я должен вам сказать в таком случае, что я живу в полном достатке и не только не боюсь расходов, но и люблю их. И все, что принадлежит мне, принадлежит той, кого я люблю.

— Благодарю, мой друг, за такое доверие, но должна в свою очередь сказать вам, что я богата и не могу ни в чем отказать своему любовнику.

— А у вас есть любовник?

— Да, и это он сделал меня богатой, и я совершенно предана ему. Я ничего не скрываю от него. Послезавтра, когда мы будем с вами наедине, вы узнаете о нем больше.

— Но я надеюсь, что ваш любовник...

— Не беспокойтесь, его там не будет. А у вас есть любовница?

— Есть, но — увы — уже полгода, как нас разлучили силой, и все это время я провел в строжайшем воздержании.

— Но вы ее еще любите?

— Я не могу вспомнить о ней без нежного чувства. Она так же очаровательна, как вы, но я предвижу, что вы заставите меня забыть о ней.

— Если вы были с ней счастливы, я искренне сожалею о вашей с нею разлуке. Но если случится так, что я займу ее место в вашем сердце, никто, мой друг, не сможет меня оторвать от вас.

— Но что скажет ваш любовник?

— Он будет только рад видеть меня счастливой с таким возлюбленным, как вы. Я знаю его характер.

— Восхитительный характер. Такой героизм превышает мои силы.

— Чем занимаетесь вы в Венеции?

— Театрами, вечерами в хорошем обществе, игорными домами, где я сражаюсь с Фортуной с переменным успехом.

— Бываете ли вы у иностранных посланников?

— Нет, так как я слишком тесно связан с патрициями; но я их всех знаю.

— Как вы можете их знать, если не бываете у них?

— Я познакомился с ними за границей. В Парме я знал герцога Монталегре, испанского посланника в Вене графа Розенберга, в Париже, за два года до этого, посланника Франции.

— Бьет полдень, милый мой друг, пора расставаться. Приходите послезавтра в этот же час, и я дам все необходимые указания, чтобы вы смогли поужинать со мной.

— Тет-а-тет?

— Мы же условились.

— Осмелюсь ли я просить у вас залог. Счастье, которое мне обещано, так велико...

— О каком залоге вы говорите?

— Встаньте у решетки и откройте ее, как это было с графиней С.

Она улыбнулась, нажала пружину, и после долгого страстного поцелуя я покинул ее. Радостное нетерпение, в котором я провел следующие два дня, мешало мне как следует есть и спать. Мне казалось, что никогда я не испытывал более счастливой любви и даже что я люблю впервые в жизни.

Благородство происхождения, красота и ум моей новой победы были достоинствами подлинными, действительными. Но еще одно ее достоинство, обусловленное, правда, предрассудком, привлекало меня: ведь она была монахиня, весталка, запретный плод. А разве со времен Евы именно запретный плод не кажется нам самым сладким? Я покушался на права самого могущественного супруга, и потому в моих глазах М. М. была выше всех коронованных особ в мире.

Если бы мое существо не было так опьянено счастьем, я бы видел, что эта монахиня такая же женщина, как все прекрасные женщины, которых я любил за тринадцать лет подвигов на поприще любви. Но какому влюбленному мужчине придет в голову подобная мысль? Нет, М. М. была высшим существом и превосходила всех красавиц подлунной.

Природа животного, то, что химики зовут органическим миром, требует удовлетворения трех потребностей, необходимых для поддержания существования.

Первая потребность заключается в необходимости питания, и для того, чтобы эта потребность не была столь тяжелой и мучительной, живому существу дано чувство аппетита и удовольствие от удовлетворения его. Вторая потребность — стремление к продолжению рода, к воспроизведению себе подобных. Здесь проявилась вся мудрость Создателя, ибо без удовлетворения этой потребности мир разрушится и исчезнет, и потому наслаждение от удовлетворения этой потребности — высочайшее наслаждение, которое может испытать любой живой организм. Третья необходимая потребность — защита от врагов.

Но все эти общие потребности удовлетворяются каждым видом по-своему. Эти три чувства: голода, влечения, ненависти — знакомы любому животному, но только человек может их предвкушать, представлять их в своем воображении, готовиться к их удовлетворению и сохранять их в памяти.

Прошу тебя, мой дорогой читатель, не посчитать утомительными мои рассуждения, ибо теперь, когда я только тень, только воспоминание о том пылком и страстном Казанове, я люблю порассуждать.

Человек становится животным, когда он предается трем главным страстям, не прибегая к помощи разума и здравого смысла. Но как только мозг приводит в равновесие его чувства, удовлетворение этих трех потребностей превращается в наслаждение и наслаждение высочайшее.

Стремящийся к истинному наслаждению человек пренебрежет обжорством, с презрением отвергнет похотливость и сластолюбие, откажется от свирепого мщения, к чему толкает его первая вспышка гнева. Но он лакомка, и он может насытить себя только тем, что ему по вкусу; он страстно влюблен, но он получает наслаждение только тогда, когда он убежден, что это наслаждение разделяет с ним и предмет его страсти; он оскорблен, но он расплачивается за оскорбление только тогда, когда кровь его успокоится и он обдумает в тиши планы мести. И пусть она не будет так жестока, но его утешает сознание того, что она была хорошо обдумана, и порой сам отказ от мести удовлетворяет его еще больше. Все эти три действия должны управляться рассудком, ибо он первый министр чувств.

Мы иногда сознательно терпим голод, чтобы более изысканно удовлетворить его; мы не торопим миг утоления любовной страсти, чтобы он был более острым и волнующим, и мы

откладываем мщение, чтобы быть уверенным в его действенности. Разумеется, правда и то, что можно умереть от несварения желудка, что мы убиваем любовь рассуждениями и софизмами, а тот, кого мы хотели уничтожить, скрывается от нашей карающей руки. Но в мире нет ничего совершенного, и мы все-таки идем на такой риск.

— Скажи мне, любовь моя, где же ты намерен завтра ждать меня?

— В два часа на площади Сан-Джованни-э-Паоло, как раз позади статуи Бартоломее ди Бергамо.

— Я видела эти места только на эстампах, но этого достаточно: я тебя не обману. Только если ужасная непогода помешает мне...

— И если это все же случится?

— Что ж, мой друг, ничего не потеряно. Мы возместим наши убытки: на следующий день мы снова встретимся и условимся о другом randevu.

Мне надлежало не терять времени, ибо у меня еще не было казино. Я нанял второго гребца и уже через четверть часа прибыл на площадь Сан-Марко, где сразу же принялся за дело, разыскивая то, что мне нужно было найти. Когда смертный отмечен милостью Плутоса, да к тому же еще неглуп и расторопен, можно быть уверенным в успехе. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти подходящее казино.

Это было лучшее, что можно обнаружить в Венеции и ее окрестностях, но, разумеется, стоило это немало. Английский посланник, возвращаясь в Англию, уступил его по сходной цене своему повару. Новый владелец сдал мне казино до Пасхи за сто цехинов, которые я тут же ему и отсчитал, условившись, что он будет заботиться о моих обедах и ужинах так же, как и при прежнем хозяине.

Итак, у меня есть пять превосходных комнат, где все казалось создано для любви, наслаждения и беззаботной жизни. Кушанья можно было подавать через глухое окно, проделанное в стене таким образом, что и хозяин и слуга оставались друг для друга невидимыми. Салон был украшен роскошными зеркалами, люстрами из горного хрусталя, бронзовыми жирандолями. Подставкой для великолепного трюмо служил камин из белого мрамора, покрытый плитками китайского фарфора, изображенные на них обнаженные любовные пары воспламеняли воображение смелостью и разнообразием поз; два удобных изящных дивана разместились слева и справа от камина. Рядом же находилась восьмиугольная комната, чьи стены, пол и потолок были сплошь покрыты великолепными венецианскими зеркалами, предназначенными многократно умножать те положения, которые заблагорассудится принять оказавшимся в этом чудесном уголке любовникам. Далее следовал красивый альков, две потайных дверцы вели оттуда — одна в туалетную комнату, другая — в будуар, приготовленный, казалось, для матери всех наслаждений; ванна из мрамора Каррары располагалась тут же.

Распорядившись приготовить свечи для всех люстр, постелить повсюду тончайшее белье, я приказал подать к вечеру самый роскошный и самый изысканный ужин и особенно позаботиться, не обращая внимания на издержки, о тончайших винах. Беря ключ, я предупредил хозяина, что и входить в дом и выходить оттуда я предпочитаю незамеченным.

Обрадован я был и тем, что заметил в алькове часы с репетиром: я начинал уже, наперекор любви, становиться подданным и царства сна.

Обеспечив таким образом все для удовлетворения своих желаний, я отправился покупать самые красивые, какие только можно было найти, пантуфли и ночной колпак из алансонских кружев.

Надеюсь, читателю не покажутся слишком дотошными мои приготовления к этой встрече, пусть он подумает о том, что я собирался ужинать с самой совершенной из султанш Повелителя Вселенной и что я уже поведал этой четвертой грации о моем роскошном казино. Можно ли было с самого начала внушить ей превратные представления о моей правдивости! В урочное время, в два часа после заката, я возвратился к своему дворцу; затрудняюсь описать изумление повара-француза, увидевшего, что я вернулся в одиночестве. Я жестоко разбил его, обнаружив, что, вопреки моему распоряжению, не все светильники

в доме были зажжены. Я объявил ему, что не люблю повторять дважды одно и то же.

— В следующий раз я неукоснительно исполню приказания господина.

— Подавайте ужин.

— Господин распорядился о двух персонах.

— Подавайте на двоих и останьтесь на этот раз со мной за ужином. Вы узнаете мое мнение о том, что хорошо вами сделано, а что плохо.

Ужин подкатили к столу быстро и в полнейшем порядке. Я сделал несколько замечаний, но, по правде говоря, все нашел отменным: дичь, осетрина, устрицы, трюфеля, вина, десерт были поданы на посуде из саксонского фарфора и серебра.

Я попенял ему, что он пренебрег крутыми яйцами, анчоусами и уксусами для составления салата, и QH возвел очи к небу, как бы прося прощения за столь тяжкий грех.

Закончив ужин, который длился два часа, понадобившиеся мне, чтобы заслужить полнейшее уважение хозяина, я спросил счет. Он принес его через пятнадцать минут, и я нашел счет вполне пристойным.

Отпустив хозяина восвояси, я отправился к алькову, чтобы расположиться на великолепной кровати. Мысли о том, что завтра в этом же самом месте меня ждет обладание богиней, могли бы прогнать от меня сон, если бы не превосходный УЖИН, подкрепленный бургундским и шампанским. Проснулся я уже за полночь и, распорядившись доставить к вечеру самые сладкие фрукты и мороженое, вышел в город. Чтоб скоротать время, которое моему нетерпению казалось слишком долгим, я отправился играть и с радостью убедился, что Фортуна отличает меня так же хорошо, как и Амур. Отдавшись на волю случая, я знал, что мной руководствует добрый гений моей монахини.

За час до условленного времени я оказался на месте свидания. Точно в назначенный час я увидел гондолу с двух веслах и человека в маске, выпрыгнувшего из лодки, едва она коснулась берега. Маска что-то говорит переднему гребцу и движется к статуе. По мере того как она приближается, сердце мое трепещет все радостнее, как вдруг я замечаю, что это мужчина. Я замираю, я готов уже вытащить мои пистолеты, но, обогнув статую, маска подходит ко мне, берет меня за руку, и я чувствую нежное дружеское пожатие: я узнаю моего ангела!

Она радуется моему удивлению, принимает ко мне, и, не говоря ни слова, мы пускаемся в путь и вскоре оказываемся у казино, расположенного в какой-нибудь сотне шагов от театра Сан-Марко.

Все там я нахожу устроенным сообразно моим желаниям. Войдя, я поспешно сбрасываю с себя домино, но М. М. нравится еще прогуляться туда-сюда, заглянуть во все закоулки этого очаровательного местечка, которое, она видит, вполне достойно принять ее. Восхищенная увиденным, она хотела, чтобы и я мог насладиться зрелищем всех ее нарядов, дара ее возлюбленного. Многочисленные зеркала, по-разному отражавшие ее грациозную фигуру, заставлявшую ее, даже неподвижную, постоянно изменяться, привели ее в неописуемый восторг, и она не могла оторвать своих взоров от этих зеркал. Я же, сидя на табурете, созерцал в упоении все изящество и прелесть моей подруги. Как была она элегантна! Расшитый золотыми блестками кафтан из розового бархата, камзол, соответственно отмеченный красотой и богатством, черные атласные штаны с бриллиантовыми пряжками; на мизинце крупный солитер, на другой руке перстень. Черные блонды ее бауты были также верхом искусства и роскоши. Подойдя ко мне вплотную, чтобы я мог еще лучше ее разглядеть, она остановилась и замерла. Наведавшись в ее карманы, я обнаружил там золотую табакерку, платки тончайшего батиста, пару великолепных часов с золотыми цепочками и изумительной работы английский пистолет.

— Все, что я вижу, божество мое, переполняет меня счастьем, но я не могу удержаться и не выразить своего восторга перед тем удивительным, нет, скажу больше, восхитительным существом, которое все еще не убедило тебя стать его любовницей полнейшим образом.

— Ты знаешь, что он мне сказал, когда я попросила его проводить меня в Венецию и позволить там остаться: «Потешь себя, как тебе хочется, только бы тот, кого тебе предстоит

сделать счастливым, оказался бы достойным этого счастья».

— Удивительный человек, повторю я, скроенный по единственной мерке. Влюбленный такого характера вряд ли встретится еще где-нибудь. Я чувствую, что мне не удастся быть похожим на него, так же как я боюсь не суметь заслужить того счастья, сияние которого слепит меня.

— Позволь мне удалиться, чтобы привести себя в порядок.

— Как тебе угодно, любовь моя.

Она вернулась через четверть часа. Она причесалась по-мужски: букли обрамляли щеки, волосы были стянуты сзади черным бантом. Это был истинный Антиной, и только несносный французский наряд мешал полному сходству. Восхищение мое и счастье не знали меры.

— О нет, дивная женщина! — воскликнул я. — Предчувствую, что ты никогда не станешь моей, ты не для смертного человека. Какое-то чудо даже в самый момент обладания погасит мой пыл. Это твой божественный супруг, ревнуя к жалкому смертному, разрушит все мои надежды. Может быть, уже скоро меня и не будет на этом свете.

— Друг мой, ты сошел с ума! Я буду твоей в ту же минуту, как только ты пожелаешь.

— Ах, когда я пожелаю! Да меня и поддерживают лишь любовь и надежда на счастье!

Ей было холодно, и мы присели возле камина. В нетерпении я расстегнул бриллиантовый аграф, стягивавший ее жабо. Ах, читатель, есть впечатления, столь живые, столь сладостные, что они годами не могут поблекнуть в памяти и время бессильно перед ними. Мои губы уже покрывают бесчисленными поцелуями восхитительную грудь, но несносный корсет мешает мне насладиться ею во всем ее совершенстве. И наконец, вот она, освобожденная от всех преград, от всех докучливых пут, передо мною. Никогда я не видел подобного, никогда не прикасался к столь волнующей красоте. Если бы прометеев огонь оживил бы два волшебных полушария Венеры Медицейской, то и тогда она проиграла бы в сравнении с моей божественной монахиней. Я сгорал от желаний и уже приготовился было их удовлетворить, когда эта очаровательная женщина утишила мой пыл двумя словами: «Сначала поужинаем».

Я позвонил, она вздрогнула.

— Не бойся, моя дорогая, — и я показал ей секретное окошко. — Ты можешь смело сказать своему другу, что здесь тебя никто не увидит.

— Он, несомненно, восхитится этой предосторожностью и догадается, что ты не новичок в искусстве наслаждений. Но я вижу также, что я не единственная женщина, которая вкушает с тобой все прелести этого очаровательного местечка.

— О как ты ошибаешься! Верь моему слову, ты именно первая женщина, которую я здесь увидел. Ты, любимая, не первая моя страсть, но ты будешь последней страстью.

— Я была бы счастлива сделать тебя счастливым. Мой друг любезен, снисходителен, нежен, но при нем мое сердце молчит.

— Должно быть, и его тоже: окажись его любовь сродни моей, ты никогда не вздумала бы дарить меня блаженством.

— Он любит меня так же, как я люблю тебя. А ты веришь, что я тебя люблю?

— Я хотел бы верить, но ты позволишь ли...

— Молчи! Я чувствую, что позволю все, и если только ты ни в чем не оставишь меня в неведении, я тебе все прощу. Я так волнуюсь сейчас потому, что надеюсь провести с тобой дивную, упоительную ночь. Таких ночей в моей жизни еще не было!

— Как! А разве ты не проводила ночей с твоим любовником?

— Множество, и в них было все: и нежность, и предупредительность, и доброта, и дружество, но не было главного — любви. Несмотря на это, вы похожи с моим другом: у него такой же живой ум, что касается внешности, то он вполне хорош, хотя до тебя ему и далеко. Думаю также, что он состоятельней тебя, впрочем, твой домик заставил меня предположить обратное. Но что для любви богатство! И не спеши вообразить себе, что я нахожу в тебе меньше достоинств, чем в нем, из-за того, что ты неспособен на его

самоотверженность и не мог бы позволить мне такое приключение. Напротив, я бы подумала, что ты любишь меня совсем не так уж самозабвенно, если бы ты проявил к моим фантазиям подобную уступчивость.

— А он будет тебя расспрашивать о подробностях нашего свидания?

— Он подумает, что мне будет приятно вспоминать о нашей ночи, и я расскажу все-все, кроме, разумеется, каких-то обидных для него подробностей.

Мы поужинали. Она нашла стол восхитительным и попросила пунш. Но я был не в силах скрыть все возраставшего нетерпения и заметил ей:

— Подумай, что нам осталось всего семь часов. Глупцы же мы будем, если проведем их здесь.

— Ты рассуждаешь убедительней Сократа, — ответила она. — Я побеждена твоим красноречием. Пошли!

И она привела меня в очаровательную уборную, где я сделал ей подарок: красивый чепчик, который она приняла с радостью. Я попросил ее сменить наряд и предстать женщиной. Она отправила меня в салон раздеваться, обещав позвать меня, как только будет готова. Мне не пришлось ждать долго: когда за дело берется сладострастие, работа спорится. Я упал в ее объятия, пьяный от любви и вожделения, и целых семь часов я предоставлял ей самые веские доказательства моего пыла и того чувства, которое она мне внушила. Правда, я не узнал ничего нового в плотском смысле, но бесчисленные вздохи, стоны, исступленные возгласы, все эти знаки натуры естественной, раскрывали передо мной душу чувствительную и бесхитростную. Зато я изощрялся на тысячу манер, и она, к собственному своему удивлению, оказалась более восприимчивой к ухищрениям сладострастия, чем предполагала. Наконец, пробил роковой вестник, объявив, что пришла пора прервать наши восторги. Но прежде чем высвободиться из моих объятий, она возвела взор к эмпиреям, словно благодаря своего божественного властелина за то, что он даровал ей силу не побояться объявить мне о своей страсти. Мы облачились в наши одежды, и она, увидев, что я положил ей в карман кружевной чепчик, обещала мне хранить его всю жизнь как свидетеля того потока счастья, которым она была только что затоплена. Выпив по чашке кофе, мы вышли, и я проводил ее до Площади Сан-Джованни-э-Паоло, условившись увидаться на третий день. Убедившись, что она благополучно села в свою гон-Долу, я отправился домой, и десять часов непробудного сна вернули мне мое обычное расположение духа. На третий день, как было условлено, я отправился к ней; но едва появившись в монастырской приемной, она сказала мне, что с минуты на минуту ждет своего любовника, известившего ее о своем приезде, и что она надеется свидеться со мною завтра. Мне пришлось уйти. Вышедши из монастыря, я увидел небрежно замаскированного человека, только что покинувшего гондолу. В лодочнике я без труда узнал служащего французского посла. «Это он»*, — сказал я себе и, стараясь остаться незамеченным, проследил за замаскированным мужчиной до того момента, пока он вошел в монастырь. Я отправился домой, как нельзя более обрадованный этим открытием, о котором, однако, я решил ничего не говорить моей возлюбленной.

Я увидел ее наавтра, и вот разговор, случившийся между нами:

— Мой друг, — сказала она, — приходил вчера, чтобы проститься до Рождества. Он отправился в Падую, но его казино к нашим услугам, ничто не может помешать нам поужинать вместе, когда нам заблагорассудится.

— Там? А почему не в Венеции?

— Он просил меня не бывать в Венеции во время его отъезда. Он человек мудрый и осмотрительный, и я не могу его послушаться.

— Что ж, в добрый час! Когда же ужин?

— Завтра, если хочешь.

— О, если я хочу! Это не то слово — я хочу всегда! Итак, завтра я туда прихожу и подожду тебя за чтением. А ты рассказала своему другу, что тебе было совсем неплохо в моем маленьком домишке?

— Он знает все. Но, душа моя, его тревожит одно обстоятельство: он боится, как бы я

нечаянно не поправилась.

— Да я сам умираю от страха при такой мысли. Но разве с ним ты не рискуешь тем же?

— Ни в коем случае.

— Понимаю. Что ж, впредь придется быть благоразумней. Я сейчас подумал, что за неделю до Рождества перестают носить маски; мне придется добираться в твоё казино по воде, иначе меня обнаружит тот самый шпион, который уже следит за мной.

— Да, ты прав, я встречу тебя на берегу и легко узнаю. Надеюсь, ты сможешь приезжать и в Пост, хотя говорят, что в эти дни Бог хочет, чтобы мы умерщвляли плоть. Забавно, не правда ли, что в одно время Господу хочется, чтобы мы развлекались как безумные, а в другое мы должны, чтоб угодить Ему, жить в воздержании? Что общего у календаря с Божьей благодатью и каким образом поступки создания могут задевать Создателя, которого я не могу помыслить иначе, как совершенно ни от кого не зависящего? И потом, мне кажется, раз Господь дал человеку способность оскорблять Его, то человек волен творить все, что ему запрещено, потому что эта ошибка допущена при самом акте творения. Можно ли себе представить Бога, скорбящего во время Поста?

— Прелестница, ты рассуждаешь чудесно; но, скажи мне, где же ты научилась так великолепно рассуждать и как ты сумела не угодить в монастырские силки?

— О, друг мой, мне давали хорошие книги, и я читала их с прилежанием. И свет истины рассеял тучи, застилавшие мое зрение. Уверяю тебя, что когда я размышляю о себе самой, я нахожу, что гораздо счастливее с тех пор, как просветили мой разум и я поняла, что не стоит отчаиваться, став монахиней; ибо самое большое счастье это жить и суметь умереть совершенно спокойно, а на это вряд ли можно надеяться, если будешь верить всем тем бредням, какими святые отцы забивают наши головы.

Эта беседа открыла мне, что моя красавица была, как говорится, вольнодумка. Я не был этим ничуть удивлен: ведь она нуждалась в успокоении совести не менее, чем в утолении страстей.

В намеченный час я явился в храм и в ожидании богини развлекался, рассматривая небольшую библиотеку, размещенную в будуаре. Книг было немного, но подобраны они были со вкусом и соответственно месту. Здесь можно было найти все, что писалось против религии, и все, что самые сладострастные перья сотворили во славу искусства наслаждения, соблазнительные тома, чьи пламенные страницы звали читателя осуществить на деле то, что совершалось на бумаге. Многие «ин-фолио» были целиком заполнены похотливыми гравюрами. Однако привлекали они не только нескромностью положений, но и чистотой линий и мастерством рисунка. Здесь были «Шартрезский привратник», изданный в Англии, Мерсиус, Алоизия Сигея Толедская и другие, все исполненные превосходно. Кроме того, куча гравюрок того же жанра украшала стены этой обители.

Целый час был я занят рассматриванием этих сокровищ. Немудрено, что я был охвачен нестерпимым волнением, когда увидел входящей мою красотку в монашеском одеянии. Это зрелище не было успокаивающим, и потому я не стал терять времени на комплименты.

— Ты застала меня, — сказал я, — в решительную минуту. От всех этих сладострастных образов в моих жилах бушует всепожирающий огонь, и только ты в этом светлом облачении можешь дать моей любви лекарство, которого она жаждет.

— Но позволь мне одеть обычное платье, через пять минут я буду вся твоя.

— Пяти минут мне вполне хватит для счастья, а потом ты можешь переодеться.

— Но дай мне хотя бы сбросить эту ненавистную дерюгу.

— Нет, ты должна воздать почести моей любви в той же одежде, в какой заставила ее родиться.

Самым смиренным тоном произнесла она «Да будет воля твоя», и, упав на диван, мы забыли в ту же минуту обо всем на свете.

После отменного ужина мы обсудили наше положение. Следующая встреча была назначена на первый день девяти. Она дала мне ключ от прибрежной дверцы и сказала, что условным знаком будет голубая лента, привязанная к окну. Увиденная днем, она поможет

мне не обмануться вечером. Я сказал, что проживу в ее казино до возвращения ее друга. Я оставался там десять дней, за это время мы виделись четыре раза, и я жил только для нее.

В канун Рождества она сказала, что любовник возвращается и что в день Святого Этьена они идут в Оперу, а потом проведут ночь вместе. «Я тебя жду, нежный мой друг, в последний день Старого года, и вот тебе письмо, которое ты прочтешь, только когда вернешься к себе».

И вот на рассвете я сложил свои вещи и покинул убежище, в котором провел десять сладостных дней, чтобы освободить место для другого. Вернувшись в палаццо Брагадин, я прочитал ее письмо. Вот оно:

«Меня немного задела, мой нежный друг, твои слова во время разговора о тайне моего любовника, которую я обязана хранить. Ты сказал, что, довольный тем, что обладаешь моим сердцем, легко позволяешь мне оставаться хозяйкой своего рассудка. Это разделение ума и сердца кажется мне чистейшей софистикой, и если ты не согласен со мною, ты должен приять что не любишь меня всю целиком. Ведь невозможно, чтобы я могла существовать без рассудка и что ты мог бы нежно любить мое сердце, если бы оно не было в полном согласии — разумом. Если же твоя любовь удовольствуется противным, она не отличается деликатностью и тонкостью. Но может произойти такое, когда ты докажешь мне всю ту искренность, какую может внушить только истинная любовь. Я решаюсь открыть тебе секрет, касающийся моего друга, хотя знаю, он полностью рассчитывает на мою скромность.

Я совершаю предательство, но ты не должен из-за этого любить меня меньше. Необходимость выбора между двумя умаляет любовь, вынужденная обманывать того или другого, любовь испаряется. Но ты не накажешь меня за это, ибо я совершаю мой поступок не в ослеплении, ты оценишь мотивы, по которым чаша весов качнулась в твою пользу.

Как только я почувствовала, что не в силах сопротивляться жгучему желанию узнать тебя поближе, я решила облегчить душу, признавшись во всем моему другу. В его доброжелательности и снисходительности я не сомневалась. Прочитав твое письмо, он составил самое выгодное представление о твоём нраве, во-первых, потому, что ты выбрал монастырскую приемную для нашей первой встречи, а потом предпочел его казино в Мурано своему. Но он попросил меня об ответной любезности позволить ему быть свидетелем нашего первого randevu. Для этого предназначался маленький кабинет, настоящий тайник, где можно, оставаясь невидимым, все видеть и слышать все, что говорят в салоне. Ты еще не видел этот хитроумный кабинет, но увидишь его в последний день Старого года. Скажи мне, душа моя, могла ли я отказать в такой необычной просьбе человеку, бывшему со мной таким добрым? Я согласилась, и, вполне естественно, не стала посвящать тебя в эту тайну. Теперь ты узнал, что мой друг был свидетелем всего, что мы делали и говорили в нашу первую ночь, проведенную вместе. Но пусть тебя это не огорчает, так как ты очаровал его совершенно: и своими действиями и твоими шутками, которыми ты веселил не только меня. Я было испугалась, когда наш разговор свернул на него, что ты скажешь что-нибудь ему малоприятное, но, к счастью, он услышал только лестные слова о себе. Вот, сердце мое, откровенная исповедь в моем предательстве, но ты простишь мне его тем легче, что тебе не причинено этим никакого вреда. Моему другу очень уж хотелось лучше узнать тебя.

Но послушай: в ту ночь ты вел себя совершенно естественно и непринужденно, сумеешь ли ты остаться таким, зная о присутствии свидетеля? Это мало вероятно, и, предлагая тебе это, я вполне допускаю, что ты не согласишься и, может быть, будешь прав.

Теперь, когда между нами нет больше тайн и ты, надеюсь, не сомневаешься в моей нежной любви, я хочу успокоить себя и поставить все на последнюю карту. Итак, знай, что в последний день Старого года мой друг будет в казино и уйдет оттуда лишь на следующее утро. Ты не увидишь его, а он увидит все. Сколько ума придется тебе приложить, чтобы он не заподозрил моего вероломства! И я должна тебя предупредить об особой осторожности в разговорах. У моего друга есть все добродетели, кроме одной веротерпимости. В вопросах веры он необычайно щепетилен. В разговорах на эту тему будь внимателен, а в остальном у тебя полная воля — ты можешь рассуждать о литературе, политике, путешествиях, не

стесняться ничего и, уверена, ты заслужишь его полное одобрение.

Остается сказать последнее. Не претит ли тебе, что в минуты высочайшего наслаждения, в минуты самые нежные, с мые интимные, ты будешь под бдительным оком другого ч ловека? Вот что мучает меня сейчас, и я умоляю тебя о решительном „да“ или „нет“. Понимаешь ли ты, как тяжела мне неизвестность? Понимаешь ли, как трудно было мне решиться на этот шаг? Я не смогу уснуть, пока не дождусь от тебя ответа. Если же для тебя невозможно проявлять нежность и пылкость в присутствии третьего, да к тому же незнакомца, я приму решение, которое подскажет любовь.

И все же я надеюсь, что ты согласишься. И если ты даже не сможешь сыграть роль любовника во всем блеске своего дара, это не будет иметь тяжелых последствий. Я просто дам понять, что твоя любовь уже миновала свой апогей».

Это письмо меня ошеломило. Но поразмыслив и найдя свою роль куда привлекательней той, что выбрал себе мой соперник, я от души рассмеялся. Признаться, мне было бы не до смеху, не знай я склада характера того, кто предназначался мне в свидетели. Понимая тревогу моей подруги и желая ее поскорее успокоить, я тут же набросал ей следующие строки:

«Ты бесподобна, любовь моя! Ты хочешь, чтобы я ответил „да“ или „нет“, я спешу ответить, чтобы ты получила мое письмо не позднее полудня и села бы за стол со спокойным сердцем. Да, да, да, я буду с тобой в нашу ночь, и, поверь мне, твой друг увидит спектакль, достойный Пафоса и Амафонты, и ничто не позволит ему заподозрить, что мне известен его секрет. И знай, что я, полный любви к тебе, сыграю свою роль не как любитель, а как великий актер.

Если долг мужчины в том, чтобы всегда повиноваться рассудку, если он согласился не ступать ни шагу без этого поводыря, то как же можно предположить, что мужчина постыдится показать себя своему другу в самые славные свои минуты, когда любовь и природа состязаются в покровительстве ему.

Признаюсь тебе, однако, что ты поступила бы плохо, посвятив меня в тайну с первого раза. Я несомненно отказал бы тебе в этом знаке доверия. И не потому, что любил тебя меньше, чем сейчас. Но в природе встречаются такие причудливые склонности, что я мог бы вообразить себе, что твоему любовнику только всего и надо насладиться зрелищем пылких утех, жарких сплетений и необузданных ласк любовной пары. Что это его преимущественный вкус. Тогда я мог составить и о тебе превратное представление, и досада помешала бы моей любви разгореться так ярко, как пылает она сейчас.

Сегодня же, милая подруга, дело обстоит совсем иначе: ты столько рассказывала мне о своем друге, что я узнал его, оценил и считаю и своим другом. Если стыдливость не мешает тебе показать ему, как ты нежна, пылка и ласкова со мной, то что же постыдного здесь для меня? Напротив, я должен гордиться этим. Разве мне приходится стыдиться победы над тобой? Или щедрости природы, наделившей меня могучими формами и неутомимостью в наслаждениях с любимой женщиной? Я знаю, что большинство мужчин, из чувства, которое они называют естественным, а по мне так это продукт цивилизации или предрассудок юности, не позволят, чтобы их видели в подобные минуты. Но что-то я не слышал других веских доводов в пользу такого отвращения. Я от всего сердца извиняю и тех, кто говорит, что им просто жалко бедного зрителя. Но мы-то с тобой не испытываем этого чувства, мы знаем, что нашему другу будет так же хорошо, как и нам.

Но знаешь ли, что может случиться? Жар нашего огня воспламенит и его, и мне досадно за этого достойного человека, если он не вытерпит и бросится к моим ногам, умоляя уступить ему единственное, что может утолить его пламя. Как быть тогда? Отдать тебя? Вряд ли я смогу отказать ему в подобной милости, но мне самому придется уйти, мне невозможно будет оставаться смиренным наблюдателем.

Прощай же, мой ангел, все будет хорошо! Готовься к битве и положишься во всем на счастливца, который тебя обожает!»

В назначенный день я пришел в обычное время. Моя подруга встретила меня у дверей

кабинета, одетая с редкой изысканностью.

— Наш друг еще не занял свой пост. Как только это произойдет, я подмигну тебе.

— А где же этот таинственный приют?

— А вот. Видишь стенку, которая составляет как бы спинку канапе? В середине каждого из этих рельефных цветов есть маленькое отверстие, через эти отверстия и смотрит наблюдатель. Он там за стеной. Там у него кровать, стол, кресла, словом, все, чтобы провести беззаботную ночь, развлекаясь увиденным сквозь цветы.

— Это твой любовник так все устроил?

— Нет, разумеется. Он же не мог предвидеть, что произойдет.

— Я понимаю, что спектакль доставит ему громадное удовольствие, но не имея возможности обладать тобой, когда желание станет нестерпимым, что же ему предпринять?

— Это уж его заботы. Он, впрочем, волен уйти, если ему наскучит, или заснуть, если захочется. Но если ты будешь играть как следует, он не соскучится.

— Я буду таким, как всегда, только немножко учтивее.

— Только не учтивость, я тебя умоляю! Ты становишься учтивым и прощай, естественность! Ты где-нибудь видел двух пылких любовников, соблюдающих учтивость в разгаре объятий?

— Ты права, душа моя. Но проявить деликатность...

— Отлично! Деликатность не повредит, но только точно так же, как и в прежние разы. Ты понимаешь меня, я по твоему письму убедилась, что ты рассуждаешь о деле как знаток.

Я уже сказал, что моя подруга одета была с замечательной элегантностью, но должен добавить, что эта элегантность не содержала ничего кричащего или вызывающего, все было на редкость просто. Необычным выглядело лишь, что она употребила румяна, причем наложила их по моде, принятой у дам Версаля. Они накладывают румяна не тонким ровным слоем, а небрежно, пятнами. Им не нужно, чтобы румяненные лица выглядели естественно, напротив, они должны радовать глаз яркостью, напоминая о легком опьянении и обещая тем самым пьянящие восторги и в недалеком будущем. Она сказала, что такой грим нравится ее другу и она решила сделать ему приятное.

— По этому его пристрастию, — тут же заметил я, — сейчас видно, что он француз.

И в это мгновение она мне подмигнула. Места были заняты. Комедия началась.

— Чем больше я тебя вижу, мой ангел, — сказал я, — тем больше обожаю.

— А ты уверен, что влюбился не в жестокое божество?

— Потому я приношу жертвы не для того, чтобы тебя умиловить, а именно для того, чтобы разжечь. Пыл моего поклонения так велик, что ты будешь его ощущать сегодня всю ночь.

— А ты увидишь, как я ценю такие жертвы.

— Я готов приступить хоть сейчас, но думаю, чтобы жертвы оказались действеннее, нам надо бы поужинать. Я с утра выпил лишь чашку шоколада да съел салат из белков, приправленный уксусом четырех разбойников*.

— Милый мой, что за безумие! Четыре разбойника! Так же можно заболеть.

— А я сейчас болен. И выздоравливаю, только когда перелью их всех прямо тебе.

— Не думала, что тебе требуется возбуждающее.

— С тобой — кому оно может понадобиться! Но все же мои опасения не напрасны: если запал зажжен, а выстрела нет, то пистолет разорвет.

— Бедный мой брюнетик, не надо отчаиваться, это тебе не грозит.

Пока мы забавлялись таким поучительным диалогом, УЖИН был сервирован, и мы перешли к столу. Великолепные блюда разожгли наш аппетит, она кушала за двоих, я за четверых. Заметив, что я залюбовался необычайной красоты серебряными четырехсвечниками, она сказала:

— Это подарок моего друга.

— Великолепный подарок, — оценил я. — Он и щипцы подарил?

— Нет.

— Сразу видно, что твой друг знатный синьор!

— Почему же?

— Потому что знатные синьоры не умеют снимать нагар со свечи.

— У наших свечей такие фитили, что они не дают нагара.

— Скажи мне, — продолжал я в том же направлении, — а кто научил тебя французскому?

— Старый Лафоре. Я была его ученицей шесть лет, и он же научил меня стихосложению. Но я слышала от тебя кучу французских слов, которых никогда раньше не слыхала, например: «дурачина», «надувала», «дать маху», «нянчиться». Где ты им научился?

— В светском обществе Парижа, преимущественно у женщин.

После пунша мы отведали устриц, причем лакомились ими самым приятным для любовников способом: каждый брал устрицу с языка другого. Испытай это, сластолюбивый читатель, и ты убедишься, что такое яство подобно нектару богов.

Однако время шуток кончалось, пробил час более основательных удовольствий, и я напомнил ей об этом.

— Подожди немного, — отвечала она. — Я переменю платье и через миг буду вся твоя.

Оставшись один и не зная чем заняться, я начал рыться в ящичках ее бюро. Не заинтересовавшись письмами, которых там было множество, я обратил внимание на шкатулку с известного рода футлярами, предохраняющими от нежеланной беременности. Тут же я похитил эти предметы, а на их место положил следующие стихи:

Предосторожность, прочь, здесь для нее нет места!

Монахиня — Господняя невеста.

Стать матерью зачем страшиться ей?

Ведь будет Бог отцом ее детей.

Но я, друг мой, честь Вашу не сгублю.

Велите — сам себя я оскоплю.

Моя возлюбленная не замедлила вернуться, преобразившись в нимфу. Платье из индийского муслина, отделанное золотистыми лилиями, дивно обрисовывало ее волнующие формы а кружевной чепец был воистину королевским. Бросившись к ее ногам, я взмолился не томить меня дольше.

— Сдержи свой пыл еще немного, — ответила она. — Вот алтарь, и через две минуты жертва будет твоих руках.

И, приблизившись к упомянутому бюро, она добавила:

— Сейчас ты увидишь, как велики заботливость и предусмотрительность моего друга.

Она извлекает из бюро заветную шкатулку, раскрывает ее, но вместо того, что искала, обнаруживает мои стихи. Читает и перечитывает их, сначала про себя, потом вслух, называет меня воришкой, осыпает Множеством поцелуев и требует вернуть покражу. Я притворяюсь непонимающим. Тогда она снова перечитывает мои стихи и выходит будто бы в поисках хорошо очинённого пера, сказав мне на прощанье: «Я отплачу тебе той же монетой».

Вернувшись спустя недолгое время, она предлагает мне следующую секстину:

Всем сладостям любви не повредив ничуть, Похищенный предмет благой сулит нам путь. Страсть, спрятавшись за этот нежный щит, Бесстрашнее и яростней кипит. Коль хочешь насладиться ты вполне, Сей знак внимания верни сейчас же мне.

Конечно, после этого я не мог сопротивляться и возвратил ей предмет, столь необходимый монахине, приносящей жертву Венере.

Пробило полночь, и я указал ей на томящегося в ожидании выхода актера. Она принялась готовить нам ложе на софе, говоря, что в алькове слишком холодно. Конечно, новое место было выбрано с расчетом, чтобы мы наилучшим образом оказались в поле зрения любознательного любовника.

Чтобы изобразить, читатель, все сцены, разыгранные нами с полуночи до разгара дня,

даже на роскошной палитре Аретино не хватило бы красок. Я был пылок и могуч, но имел дело со стойким противником. После последнего подвига, завершенного нами уже при свете дня, мы были так изнурены схваткой, что моя прелестная монашка даже испугалась за меня. Кровь, пролитая мною на ее грудь, заставила ее, не ведав об этой моей особенности, побледнеть от страха. Шутками я успокоил ее, и вскоре она уже смеялась от всего сердца. Розовой водой я смыл с ее роскошной груди кровь, оросившую ее впервые в жизни. Ее тревожило, не проглотила ли она несколько капель, но я легко убедил ее, что даже если так и случилось, не следует ждать каких-то дурных последствий. И вот она уже снова облачена в монашеское одеяние и, взяв с меня слово тотчас же лечь спать и обязательно известить ее перед отъездом в Венецию, исчезает.

Мне было легко сдержать слово, ибо я очень нуждался в отдыхе: я проспал до вечера. Проснувшись, я поспешил написать ей, что я чувствую себя прекрасно и готов к возобновлению нашей сладостной борьбы. Закончив письмо вопросом об ее здоровье, я вернулся в Венецию.

Под Пломбами

Некий Мануцци, шпион, совершенно мне неизвестный, нашел средство познакомиться со мной, предлагая мне купить у него в кредит алмазы. Это обстоятельство было причиной того, что я пригласил его к себе. Рассматривая книги, разбросанные в моей комнате, он обратил внимание на рукописи, трактовавшие о магии. Желая пошутить над ним, я указал ему на те из них, которые учили, как познакомиться с низшими духами. Читатели, конечно, не подумают, что я хоть сколько-нибудь придавал веры всем этим глупостям, но книги эти у меня были, и я забавлялся ими, как забавляются бесконечными глупостями, выходящими из мозгов пустых философов. Спустя несколько дней этот господин опять явился ко мне и сообщил, что один любитель, фамилии которого он не может мне сказать, готов заплатить мне тысячу цехинов за мои пять книг, но прежде он желал бы их видеть, чтобы убедиться, действительно ли они настоящие. Я позволил ему унести книги. На другой день он возвратил их мне, говоря, что любитель считает их подложными. Через несколько лет я узнал, что этот господин показывал их секретарю инквизиции, который таким образом узнал, что я — маг и волшебник.

Все соединилось тогда против меня. Г-жа Меммо, мать Андреа, Бернардо и Лоренцо Меммо, вбив себе в голову, что я совращаю ее сына в атеизм, обратилась за советом к кавалеру Антонио Мочениго, дяди Брагадина, который был взбешен против меня за то, говорил он, что я опутал его племянника моим колдовством. Дело было серьезно, и аутодафе был возможен, ибо оно касалось святой инквизиции, представляющейся чем-то вроде дикого зверя, с которым неудобно встречаться. Тем не менее меня трудно было засадить в духовную тюрьму святой инквизиции, поэтому решено было поднять дело в государственной инквизиции, бравшейся предварительно расследовать о моем поведении.

Антонио Кондульмер, мой враг в качестве друга аббата Киари*, был тогда государственным инквизитором; он воспользовался этим обстоятельством, чтобы обвинить меня в нарушении общественного спокойствия. Один секретарь посольства, с которым я был знаком прежде, утверждал, что подкупленный доносчик с двумя свидетелями, бывшими также, вероятно, на жалованьи у инквизиции, обвиняли меня в том, что я верю лишь в одного дьявола. Эти честные люди уверяли под присягой, что когда я проигрывал деньги, — минута, когда все набожные люди раздражаются проклятиями, — я никогда не возмущался против дьявола. Кроме того, меня обвиняли в том, что я ем скоромное ежедневно и что я — франкмасон. Ко всему этому прибавляли, что я посещаю иностранных посланников и что, живя с тремя патрициями, я раскрываю за большие деньги, проигрываемые мною в карты, все государственные тайны, узнаваемые мною от них.

Все эти обвинения, не имевшие никакого основания, служили предлогом страшному трибуналу считать меня врагом отечества и важным заговорщиком. С некоторых пор лица, к

которым я питал доверие, советовали мне отправиться путешествовать за границу, так как трибунал обратил на меня свое милостивое внимание. Этого было достаточно, ибо в Венеции единственные люди, могущие жить спокойно, те, о существовании которых неизвестно трибуналу; но я презирал все эти указания. Если бы я обращал внимание на все эти советы, я беспокоился бы, а между тем я был враг всякого беспокойства. Я говорил себе: у меня нет угрызений совести, я невинен, а если я невинен, то мне нечего бояться. Конечно, рассуждая так, я был глуп, ибо я рассуждал как человек свободный. Не могу отрицать и того, что я не имел времени думать о возможном несчастье, находясь в несчастье действительном, удручавшем меня постоянно. Я проигрывал ежедневно, везде задолжал; Я заложил все мои золотые вещи, даже ящики с портретами, которые, впрочем, я имел благоразумие выпнуть и отдать на сохранение г-же Манцони; у ней же хранились и более важные бумаги, так же как и моя любовная переписка. Я заметил, что меня избегают. Один старый сенатор сказал мне однажды, что молодая графиня Бонафедо сошла с ума вследствие снадобий, которые я заставлял ее пить, чтобы она влюбилась в меня. Она находилась еще в больнице и в припадках сумасшествия постоянно произносила мое имя и проклинала меня...

В июле месяце 1755 года безобразный трибунал приказал схватить меня живым или мертвым: такова обычная формула всех декретов об арестах, исходящих от этого грозного триумвирата.

За три или за четыре дня до праздника Св. Якова моя патронша М. М. подарила мне несколько аршин серебряных кружев на обшивку кафтана из тафты, который я должен был надеть накануне моих именин. Я отправился к ней в новом моем платье и предупредил ее, что заверну к ней завтра с целью занять у нее денег, потому что я был без копейки и не знал, откуда достать. У нее было еще пятьсот цехинов, припрятанных ею после продажи ее алмазов.

Уверенный, что завтра у меня будут деньги, я целую ночь играл и проиграл пятьсот цехинов на честное слово. На рассвете, чувствуя потребность освежиться, я отправился в Эрбергию, место на набережной Большого Канала, пересекающего город. Тут находится овощной, фруктовый и цветочный рынок. Лица хорошего общества, гуляющие в Эрбергии рано утром, имеют обыкновение говорить, что эту прогулку они совершают из удовольствия видеть проходящие барки с овощами, плодами и цветами с ближайших островов, но со всем тем не менее известно, что молодые люди и молодые женщины отправляются туда подышать свежим воздухом и успокоить свои расхолодившиеся нервы после ночи, проведенной в наслаждениях, в излишествах или в игре в карты. Этот обычай доказывает, до какой степени характер народа может изменяться. Прежние венецианцы, столь же таинственные в своих любовных похождениях, как и в политике, принуждены отступить перед нынешними, предпочитающими ни в чем не скрываться. Мужчины, отправляющиеся туда с дамами, имеют целью возбудить ревность в своих ближних, афишируя свои победы. Гуляющие в одиночку надеются на какую-нибудь находку или встречу. Женщины бывают там с целью показать себя. Впрочем, о кокетстве не может быть и речи, вследствие изношенных нарядов. Они точно нарочно одеваются самым скверным образом, чтобы показать гуляющим мужчинам, что они не прочь завести знакомства. Что же касается мужчин, гуляющих с ними под ручку, то их свободные манеры и фамильярность показывают, что им надоело любезничать. Одним словом, на этой утренней прогулке вошло в моду ходить с опущенным носом, с заспанным видом.

Это описание, совершенно справедливое, не дает особенно высокого понятия о нравах моих дорогих соотечественников, но почему мне не быть справедливым в мои годы? К тому же Венеция — не на краю света; это — город, хорошо известный иностранцам, привлекаемым в Италию любопытством, и каждый может проверить, правду ли я говорю.

Погулявши с полчаса, удаляюсь и, полагая, что все спят, вынимаю из кармана ключ с тем, чтобы отворить дверь; но, к моему удивлению, эта предосторожность оказалась излишней: дверь я нашел открытою и даже больше замок был сломан. Я подымаюсь, вхожу и нахожу всех на ногах, а мою хозяйку горько жалующейся.

— Мессер-гранде, — сказала она мне, — в сопровождении целой толпы сбиров, вошел насильно в дом. Он все перевернул верх дном, говоря, что ищет чемодан, наполненный солью, — предмет самой преступной контрабанды. Он знал, что чемодан был привезен накануне, — и это была правда, — но чемодан принадлежал графу С. и содержал только белье и платье. Мессер-гранде освидетельствовал его и унес, ничего не сказав. Он освидетельствовал также и мою комнату. Хозяйка заявила мне, что непременно требует удовлетворения, и, считая, что она права, я обещал ей в тот же день поговорить об этом с Брагадином. Чрезвычайно устав, я ложусь спать, но мне не спалось; эту бессонницу я приписывал раздражению, причиненному проигрышем. Спустя несколько часов я встал и отправился к Брагадину, которому я рассказал все дело, прося его потребовать вознаграждения. Я представил ему в живых красках причины, на основании которых моя честная хозяйка требовала удовлетворения, соответствующего оскорблению, тем более, что закон обеспечивает спокойствие всякой семьи, поведение которой было безупречно.

Моя речь глубоко опечалила трех друзей, и мудрый старик, с спокойным и задумчивым видом, сообщил мне, что ответит после обеда.

Моя дружба с этими тремя людьми всегда была предметом удивления всего города, и, решив, что это не могло быть естественным, все пришли к заключению, что тут припуталось колдовство. Все трое были добродетельны и набожны чрезмерно, я же вовсе не был набожен, и в целой Венеции не было более решительного распутника. Добродетель, говорят, может относиться снисходительно к пороку, но в союз с ним она не может войти. После обеда Брагадин повел меня в свой кабинет, с двумя друзьями. Тут он мне сказал, что вместо того, чтобы мстить мессеру-гранде, я должен подумать о том, как бы самому улизнуть.

— Чемодан, милейший друг, наполненный солью или золотом, — один лишь предлог; нет никакого сомнения, что искали тебя. Уж если ты на первый раз спасся, то беги: завтра, может быть, будет поздно. Я в течение восьми месяцев был государственным инквизитором и знаю, как совершаются аресты. Не взламывают дверь из-за какого-нибудь ящика с солью. Может быть даже, отправляясь к тебе, когда было известно, что тебя нет дома, тебе хотели дать время бежать. Поверь мне, сын мой, отправляйся немедленно в Фузино, а оттуда беги во Флоренцию, где ты останешься до тех пор, пока я не напишу тебе, что ты безопасно можешь вернуться. Если у тебя нет денег, я дам тебе сотню цехинов. Подумай только: благоразумие требует твоего отъезда.

Слепец, я отвечаю ему, что, не считая себя виновным, я не могу бояться трибунала и что, следовательно, хотя его совет и очень благоразумен, я не могу им воспользоваться.

— Грозный трибунал, — отвечал он, — может признать тебя виновным в преступлениях действительных или предполагаемых, не делая между ними никакого различия. Спроси своего оракула: должен ли ты или нет последовать моему совету?

Я, разумеется, не сделал этого, потому что знал, как это смешно, но желая как-нибудь объяснить мой отказ, я ответил, что уже обращался к моему оракулу, когда находился в сомнении. Наконец, как последнее объяснение, я прибавил, что, уезжая, я признаю себя сам виновным, потому что человек невинный, не зная за собой никакой вины, не мог страшиться последствий.

— Если, — сказал я, — молчание есть душа этого грозного трибунала, то после моего побега вам нельзя будет узнать, хорошо или дурно я поступил, убежав. То же благоразумие, которое, по вашему мнению, заставляет меня бежать, помешает мне возвратиться. Должен ли я, поэтому, проститься на вечные времена с моей родиной и со всем, что мне дорого?

Тогда в виде последней меры он предложил мне провести следующий день и ночь в его дворце. Я до сих пор стыжусь того, что отказал этому достойному старику в этом удовольствии, ибо дворец патриция — святилище для сбиров, которые не смеют переступить через его порог без особенного приказания трибунала, — приказание, которое никогда не дается; сделав это, я бы избежал великого несчастья и избавил бы этого достойного старца от самых чувствительных огорчений.

Я был тронут, когда увидел, что Брагадин заплакал.

— Ради Бога, — сказал я, — избавьте меня от раздирающего вида ваших слез.

Опомнившись, он сделал несколько замечаний; потом с доброй улыбкой обнял меня, говоря:

— Может быть, мой друг, мне не суждено увидаться больше с вами, но *fata viam inveniunt* (рок знает, куда ведет нас).

Я горячо обнял его и ушел, но его пророчество исполнилось: я не увидел его больше: он умер спустя одиннадцать лет. Я был без всякой боязни, но испытывал много огорчений по поводу моих долгов. У меня не достало духу отправиться к М. М. за ее последними пятьюстами цехинами, которые я должен был немедленно отдать тому, кто выиграл их у меня прошлой ночью. Я предпочел отправиться к нему и просить его подождать уплаты долга еще неделю, и я сделал хорошо. После этого я возвратился к себе, и, успокоив хозяйку всякими резонами, пришедшими мне в голову, я поцеловал ее дочь и отправился спать. Это было в самом начале ночи 25 июля 1755 года.

На другое утро, на рассвете, опять появился в моей комнате грозный мессер-гранде. Проснувшись, увидеть его, услышать, как он спрашивает: не я ли Джакомо Казанова? — все это случилось в одну секунду. На мой ответ: «Да, я Казанова!» — он приказал мне встать, одеться, передать ему все бумаги и следовать за ним.

— Кто приказал вам арестовать меня?

— Трибунал.

Как велико влияние некоторых слов на душу и кто может определить источник этого влияния? Еще накануне я гордился своей храбростью и моей невинностью, но слово «трибунал» привело меня в ужас и оставило во мне одну лишь способность повиноваться беспрекословно. Мое бюро было открыто, все бумаги лежали на столе.

— Берите, — сказал я посланному грозного трибунала, указывая ему рукой на бумаги, покрывавшие стол. Он наполнил ими целый мешок, который отдал сбиру, и сказал, что я должен вручить ему рукописи в переплете, находящиеся у меня. Я указал ему на место, где они находились, но это открыло мне глаза. Я ясно увидел, что был предан недостойным Манцони, который, как я уже заметил, проник ко мне под предлогом покупки этих книг. Это были: «Ключица Соломона», «Зекор-бен», «Picatrix», обширное «Введение о планетных часах» и необходимые наставления, как переговариваться с демонами всех сортов. Те, которые знали, что у меня находятся эти книги, считали меня великим волшебником, и это мне льстило. Мессер-гранде захватил также и книги, находившиеся на моем ночном столике: Петрарку, Ариосто, Горация, Военного философа, рукопись, данную мне Матильдой, «Монастырского привратника»*, Аретино*, о котором донес Мануцци, потому что мессер-гранде просил также и эту книгу. Этот шпион имел вид честного человека — необходимое качество для его ремесла. Его сын сделал карьеру в Польше, женившись на одной даме по имени Опеска, которую он уморил, как уверяют; доказательств этого я никогда не имел и довожу христианское милосердие даже до того, что не верю этому, хотя он был весьма способен на такое дело. В то время как мессер-гранде прибирал к рукам мои бумаги, книги и письма, я одевался машинально; побрился, причесался, надел рубашку с кружевами и мое праздничное платье, и все это я делал как-то бессознательно, не говоря ни слова, и мессер-гранде, не теряя меня из виду ни на одну секунду, не имел ничего против того, что я оделся так, как если б отправился на свадьбу. Выходя, я был очень удивлен, увидев человек сорок солдат в моей прихожей: мне сделали честь, думал я, полагая, что они необходимы для моего ареста, между тем как, следуя аксиоме: *Ne Hercules quidem contra duos*, — нужно было всего два человека. Странно, что в Лондоне, где все храбры, употребляется только один человек для ареста другого, между тем как в моей дорогой отчизне, где все трусы, употребляют целых тридцать! Может быть, это объясняется тем, что трус, превращенный в атакующего, боится гораздо больше, чем трус защищающийся, и таким образом становится храбрым при случае. Несомненно также одно: в Венеции часто можно видеть одного человека, защищающегося против двадцати сбиров и в конце концов убегающего от них. Я помню, что помог одному из моих друзей в Париже улизнуть от рук сорока мерзавцев, которых мы и

обратили в бегство.

Мессер-гранде посадил меня в гондолу и сел рядом со мною, вместе с четырьмя сбирами. Когда мы приехали к нему, он предложил мне кофе, от которого я отказался, после чего он меня запер в комнате. Там я проспал целых четыре часа. Наконец явился начальник сборов и объявил мне, что имеет приказ отвести меня под Пломбы. Не говоря ни слова, я последовал за ним. Мы взяли гондолу и, после тысячи поворотов по маленьким каналам, вошли в Большой Канал и вышли на набережную тюрем. Пройдя несколько лестниц, мы прошли по мосту, соединяющему тюрьмы с Дворцом дождей через канал, названный *Rio di Palazzo*. За мостом находится галерея, которую мы прошли; затем, пройдя одну комнату, мессер-гранде представил меня какой-то личности, в одежде патриция, который, осмотрев меня с ног до головы, сказал: «*E quello, mettetelo in deposito*» (Отправьте его в депо).

Этот господин был секретарем инквизиции, благоразумный Доменико Кавалли, который, как бы стесняясь говорить при мне по-венедиански, сказал эту фразу на тосканском диалекте.

Тогда мессер-гранде передал меня тюремщику Пломб, который находился тут же, держа в руках огромную связку ключей; он повел меня в сопровождении двух солдат наверх; там мы прошли галерею, затем другую, запертую на ключ, наконец третью, в конце которой он отпер дверь, ведущую в отвратительный чердак, длиной в шесть, шириной в две сажени, отвратительно освещенный окном, находящимся у самого потолка. Я думал, что здесь меня и засадят, но я ошибся; взяв огромный ключ, тюремщик отворил большую дверь, окованную железом, и приказал мне войти в ту самую минуту, как мое внимание было обращено на какую-то железную машину. Эта машина имела форму подковы, в дюйм толщины и в диаметре до пяти дюймов. Я спрашивал себя: к чему может служить эта машина, — но тюремщик сказал мне, улыбаясь:

— Я вижу, что вам желательно знать, что это такое; я могу удовлетворить ваше любопытство. Когда их милости приказывают задушить кого-нибудь, то осужденного сажают на табурет задом к этому ошейнику так, чтоб ошейник охватил половину шеи. Ошейник сообщается с воротом, и один человек вертит колесо до тех пор, пока осужденный не отдаст душу Господу Богу, потому что духовник, слава Богу, не оставляет его до тех пор, пока он не умрет.

— Это очень остроумно: я думаю, что вы имеете честь вертеть ворот?

Он не отвечал мне и, заставив меня войти, — чтобы я принужден был сделать сильно нагибаясь, — он запер меня; потом, через решетчатое отверстие, он спросил меня, что я хочу поесть?

— Я еще не подумал об этом, — отвечал я. И он ушел, заперев тщательно все двери. Подавленный, я облокотился на подоконник. Окно имело по крайней мере по два фута длины как в одном, так и в другом направлении, с крепкой железной решеткой. Это окно давало бы довольно света, если б наружный деревянный навес не мешал этому. Обойдя мое печальное жилище, сгибаясь в три погибели, так как каземат был очень низок, я нашел, почти ощупью, что он состоит из трех четвертей квадрата в две сажени; четвертая четверть образовывала нечто вроде алькова, в котором можно было поместить кровать, но я не нашел ни кровати, ни стола, ни стула, ни какой бы то ни было мебели, за исключением сосуда, об употреблении которого читатель, конечно, догадывается, и доски, приделанной к стене, шириной в один фут и отстоящей от пола на четыре фута. На эту доску я положил мой плащ, мое новое, красивое платье и шляпу, украшенную испанскими кружевами и красивым белым пером. Жара была ужасная, и я невольно направился к решетке единственному месту, где я мог облокотиться. Я не видел двора, зато увидел множество крыс страшной величины, прохаживающихся там; эти животные, один вид которых внушает мне отвращение, подходили к самой решетке без всякого страха. При этом неприятном виде я поспешил спустить внутреннюю занавеску. Впав в глубокую задумчивость, по-прежнему облокотясь на подоконник, я в этом состоянии провел целых восемь часов в безмолвии и без движения.

При звуке часов, пробивших двадцать один час (Итальянцы еще сравнительно недавно

делили день не на половины по 12 часов, а на все 24 часа, начиная с 6 часов вечера, так что 7 часов утра приходилось на 13 часов, полдень — 18 часов, 6 часов вечера — 24 часа.), я начал просыпаться и почувствовал некоторое беспокойство, не видя никого, кто бы мог принести пищу и необходимые вещи. Казалось бы, что меня могли, по крайней мере, снабдить стулом, хлебом и водой. У меня не было аппетита, но разве это обстоятельство могло быть известно тюремщикам? И никогда еще в жизни я не ощущал во рту такой сухости и горечи. Я тем не менее был уверен, что к концу дня кто-нибудь да явится; но услышав бой часов, бивших двадцать четыре часа, я пришел в бешенство, стучал, ругался, кричал, делая всевозможный шум, какой я только мог делать в моем странном положении. После целого часа такого беснования, не видя никого, не заметив ни малейшего признака, что кто-либо меня услышал, охваченный тьмой, я закрываю решетку из боязни, чтобы крысы не проникли в мой каземат, и бросаюсь на пол. Беспомощное положение, в котором меня оставили, казалось мне неестественным, и я пришел к мысли, что изверги-инквизиторы решили мою смерть. Обозрение того, что я мог сделать, чтобы заслужить такое наказание, не могло быть продолжительным, ибо, вспоминая все самые ничтожные подробности моих поступков, я не нашел никакого преступления. Я был распутник, игрок, смелый краснбай и думал только о том, чтоб наслаждаться настоящей жизнью, но во всем этом я не видел еще государственного преступления. Тем не менее, видя, что со мной обращаются, как с преступником, я с бешенством и отчаянием стал ругать ужасный деспотизм в таких выражениях, которых я здесь не могу повторить. Однако возбуждение ума, голод, дававший себя чувствовать, жажда, причинявшая мне мучения, и твердость пола, на котором я лежал, не помешали природе заявить своих прав, и я заснул.

Мой крепкий организм нуждался во сне, а у молодого здорового человека эта потребность заставляла молчать все другие, и в этом-то именно смысле сон можно назвать благодетелем человечества.

Часы, пробившие полночь, разбудили меня. Какое ужасное пробуждение, когда приходится сожалеть об иллюзии бессознательного состояния! Я не мог вообразить, что провел три часа не ощущая никакого страдания. Лежа на левом боку, не повернувшись ни разу, я протягиваю мою правую руку, чтобы взять платок, но каково же было мое удивление, когда моя рука натолкнулась на другую руку, холодную как лед! Ужас наэлектризовал меня с головы до ног, и мои волосы встали дыбом на голове. Никогда еще в жизни моя душа не ощущала такого ужаса, я и не подозревал, чтоб был способен на что-либо подобное. В течение трех или четырех минут я находился в каком-то оцепенении, не только без движения, но и без всякой мысли. Придя несколько в себя, я подумал, что рука, которую, как мне казалось, я тронул, вероятно, не более, как обман воображения, и в этой надежде я снова протягиваю правую руку и снова встречаю холодную руку. В ужасе я вскрикиваю, отталкивая от себя руку, которую держал. Вскоре, успокоившись и считая себя способным рассуждать, я решаю, что во время моего сна положили возле меня труп: я был уверен, что когда я лег, его тут не было. «Это, вероятно, — говорил я себе, — тело какого-нибудь несчастного, которого задушили, и теперь хотят предупредить, что и меня ожидает такая же участь». Эта мысль приводит меня в бешенство, я делаюсь свиреп, и в этом состоянии я в третий раз протягиваю руку к холодной руке, я ее схватываю с целью увериться в бесчеловечности факта, но желая встать, облокачиваюсь на локоть левой руки и тут только замечаю, что держу мою другую руку. Притупленная тяжестью моего тела и твердостью пола, служившего моей постелью, она потеряла свою теплоту, движение и чувствительность! Это приключение, несмотря на весь свой комизм, нисколько не развеселило меня; напротив, оно привело меня к самым горьким размышлениям. Я догадался, что нахожусь в таком месте, где если обманчивое казалось истинным, то истина должна была казаться лживой, где ум должен был терять половину своих преимуществ и где искаженная фантазия должна была сделать ум жертвой или химерических надежд, или же ужасного отчаяния. Я решил обеспечить себя от этого и в первый раз в жизни, будучи уже тридцати лет, я сделал призыв к философии, зародыши которой были в моей душе, но в употреблении которой я до сих пор

не нуждался.

Я думаю, что большинство людей умирают, не имея понятия о том, что такое значит мыслить и что это вовсе не по недостатку ума или мыслительных способностей, а потому что толчок, необходимый для мысли, никогда не возникал вследствие чрезвычайных обстоятельств, находящихся в противоречии с обыденными привычками.

После волнений, испытанных мною, не могло быть и речи о продолжении сна. Да и зачем мне вставать, когда я не мог стоять? Я потому благоразумно остался в сидячем положении. В таком положении я находился до восьми часов: сумерки другого дня начали показываться, солнце должно было взойти в девять часов, и я с нетерпением ждал этого дня, потому что предчувствие, которое казалось мне непреложным, предсказывало мне, что в этот день я буду освобожден. Я сгорал мщением: я не обманывался насчет этого. Я уже видел себя во главе народа, готового уничтожить власть, которая меня преследовала, я немилосердно умерщвлял всех аристократов. Все должно было быть уничтожено. Я ощущал лихорадку бреда; мне были известны авторы моих несчастий. Одним словом, я строил воздушные замки. Таков человек, оставленный во власти сильной страсти: он и не подозревает, что то, что его так двигает, не есть разум, а его величайший враг: гнев.

Я прождал меньше, чем был расположен ждать: это была первая причина моего успокоения. В восемь с половиною часов глубокое безмолвие этих мест ад человеческий — было потревожено шумом открывшихся замков.

— Надумались ли вы наконец, чего хотите поесть? — закричал мой тюремщик сиплым голосом, сквозь решетку.

Я отвечал, что хочу суп из риса, вареной говядины, жаркое, хлеб, вина и воды. Я заметил, что тюремщик был удивлен тем, что не слышал с моей стороны никаких жалоб. Спустя четверть часа он возвратился и сказал мне, что удивляется, что я не хочу кровати и мебели, или, прибавил он, если вы льстите себя надеждой, что вас посадили сюда на одну лишь ночь, то вы сильно ошибаетесь.

— Ну так принесите мне все, в чем я нуждаюсь.

— Куда же мне отправиться? Вот карандаш и бумага: напишите все.

Я ему надписал адрес места, куда должен был он отправиться — за рубашками, чулками, различной одеждой, кроватью, столом, стулом; затем за книгами, которые были взяты мессером-гранде, бумагой и перьями и проч. При чтении всего этого тюремщик сказал:

— Вычеркните-ка книги, бумагу, перья, зеркало, бритвы, потому что все это — запрещенный плод; а потом дайте денег, чтобы купить вам обед.

У меня было всего три цехина; я ему отдал один, и он отправился. Он целый час провозился в коридорах, занятый, как я впоследствии узнал, прислуживанием семи другим пленникам, заключенным здесь.

К полудню тюремщик появился в сопровождении пяти солдат. Он открыл каземат, чтобы можно было внести вещи, которые я потребовал, и мой обед. Кровать поставил в альков, обед — на маленький стол с костяной ножкой, которую он купил на мои деньги; вилки, ножи и все подобные орудия были запрещены.

— Скажите, — сказал он мне, — какой вы хотите завтра обед, потому что я могу входить сюда всего один раз в день, при восходе солнца. Господин секретарь приказал вам сказать, что он пришлет вам приличные книги, а те, о которых вы просили, запрещены.

— Поблагодарите его за то, что он посадил меня в отдельный каземат.

— Я исполню ваше желание, но вы напрасно хотите посмеяться над ним.

— Я вовсе не смеюсь, потому что лучше быть одному, чем вместе с разбойниками, которые должны быть здесь.

— Как разбойниками?! Здесь находятся только порядочные люди, которых, однако же, нужно отделить от общества, вследствие причин, известных одной лишь инквизиции. Вас посадили одного, чтоб наказать вас сильнее, и вы хотите, чтобы я поблагодарил его за это от вашего имени?

— Я этого не знал.

Тюремщик был прав, в чем я вскоре и убедился. Я увидел, что человек, находящийся в одиночестве, не способен ничем заняться; что будучи одиноким, в темном месте, где он видит только раз в день того, кто ему приносит пищу, где он двигается только согнувшись, он — самое несчастное существо. Я желал бы быть в аду, — если бы только мог верить в ад, — лишь бы не быть одному. Это чувство так сильно, что я в конце концов желал иметь товарищем хоть убийцу, хоть заразительного больного, хоть медведя. Одиночество в заключении — ужасно, но чтобы убедиться в этом, нужно испытать его, а подобного испытания я не желаю даже злейшим моим врагам. Если писатель в моем положении, будет иметь чернила и бумагу, его несчастье уменьшится на девять десятых, но палачи, преследовавшие меня, вовсе и не думали об облегчении моей участи.

После ухода тюремщика я поставил стул около окна, чтобы было больше света, и сел обедать, но мог проглотить только несколько ложек супа. Не евши более сорока восьми часов, неудивительно, что я был болен. Я провел день, сидя в моем кресле, спокойно раздумывая о чтении книг, которые были мне обещаны. Я не спал целую ночь вследствие возни крыс и шума, производимого часами Св. Марка, которые, казалось, находились в моем каземате. Это двойное несчастье не было, однако, так ужасно, как другое, о котором мои читатели едва ли имеют какое-нибудь понятие: я говорю о миллионах блох, которые с каким-то ожесточением кусали мое тело. Эти насекомые сосали мою кровь с ожесточением и жадностью невыразимыми: их постоянные уколы вызывали в моем теле конвульсии, спазматические сокращения, отравляли всю мою кровь.

На заре Лоренцо (так звали тюремщика) пришел сделать постель, прибрать комнату, а один из сборов принес мне воды умыться. Тюремщик принес мне также две большие книги, которые, однако же, я не открыл, боясь как-нибудь обнаружить негодование, которое они во мне могли возбудить, — что шпион, конечно, поспешил бы сообщить своим господам. Он ушел, оставив еду и два разрезанных лимона.

Оставшись один, я поспешил съесть мой суп, пока он был горяч, затем подошел к окну с книгой и увидел с удовольствием, что тут мне можно читать. Я смотрю на титул и вижу: «Мистический град сестры Марии, называемый Аграда». Я не имел никакого понятия об этой книге. Вторая книга была написана иезуитом по имени Каравита. Этот ханжа написал целый трактат о поклонении сердцу Господа нашего Иисуса Христа. Эта книга с первых же страниц возмутила меня, так как этот иезуит, как и все ему подобные, под предлогом благочестия, проповедовал самые возмутительные вещи, не подозревая, что богохульствует. Мистический град заинтересовал меня немного.

Я читал все, что может возникнуть в болезненном воображении испанской девицы, странно набожной, меланхолической, монашествующей, имеющей невежественных духовников все эти химерические, фантастические видения назывались откровением. Потребность быть занятым чем-нибудь заставила меня провести целую неделю за изучением этого плода болезненной, свихнувшейся фантазии. Я, конечно, ничего не говорил об этом произведении моему тюремщику, но в голове моей мысли, видимо, начали путаться. Как только овладевал мною сон, я видел ясно язву, которую сестра Аграда сообщала моему наболевшему уму, — благодаря упадку духа, скверной жизни, недостатку воздуха и движений и вследствие полной неизвестности, что меня ожидает. Мои нелепые грезы заставляли меня хохотать, как только я приходил в сознание. Если бы у меня были бумаги и чернила, я бы их описал, и вероятно, написал бы в моей тюрьме книгу еще более нелепую, чем та, которую мне выбрал так остроумно синьор Кавалли. Это навело меня на мысль о том, как ошибаются те, которые приписывают уму человека известную положительную силу: она — только относительна, и человек, изучающий себя внимательно, найдет лишь слабость в себе самом. Я убедился, что хотя человек редко делается сумасшедшим, это, однако же, возможно, ибо наш разум подобен пороху, который, хотя и медленно, но воспламеняется в соприкосновении с искрой. Книга этой испанки имеет все свойства испортить человека, но этот яд действует только при полном обособлении, под Пломбами, когда человек лишен

всяких других занятий. В ноябре 1767 года, во время моего путешествия из Пампелуны в Мадрид, мой извозчик, Андреа Капелло, остановился на обед в каком-то городе Старой Кастилии. Этот город был так печален и так стар, что мне захотелось узнать его название. И как же я посмеялся, когда мне сказали, что это — Аграда! Здесь, значит, подумал я, мозг этой блаженной помешанной произвел на свет свою книгу, о существовании которой я бы никогда не узнал без Кавалли! Старый патер, составивший себе самое высокое понятие обо мне, как только я его стал расспрашивать об авторе этой книги, показал мне место, где она была написана, и уверял меня, что отец, мать, сестра и все члены ее семьи были великими святыми. Он мне сказал, — и это была правда, — что Испания хлопотала в Риме об ее канонизации вместе с канонизацией Палафокса.

К концу девяти или десяти дней я оказался без денег. Лоренцо спросил их у меня.

— У меня нет денег.

— Куда же мне отправиться за ними?

— Никуда.

На этого невежественного, жадного болтуна мое молчание действовало особенно неприятно.

На другой день он мне объявил, что трибунал назначает мне пятьдесят су в день, но что он должен быть моим кассиром; он, однако, будет мне давать отчеты ежемесячно, а из остатков сделает такое употребление, какое я захочу.

— Приноси мне два раза в неделю «Лейденскую Газету».

— Это запрещено.

Деньги, назначенные мне, были слишком чем достаточны на мое пропитание: чрезвычайная жара и истощение, вследствие недостатка в пище, ослабили меня. Дело было во время каникул: сила лучей солнца, падавших прямо на мою тюрьму, держала меня как бы в бане до такой степени, что пот, исходивший из моего тела, делал влажным пол по правую и по левую сторону кресла, на котором я принужден был сидеть голым.

В тот же день со мной случилась лихорадка и я остался в постели. Лоренцо я ничего не сказал, но на другой день, заметив, что я и не дотронулся до моей пищи, он меня спросил: здоров ли я?

— Совершенно здоров.

— Но это невозможно: вы ничего не кушаете. Вы больны и вы убедитесь в щедрости трибунала, который доставит вам доктора и лекарство.

Он ушел и спустя три часа вернулся со свечкой в руке и в сопровождении важного господина: это был доктор. Меня мучила лихорадка безостановочно в течение трех дней. Доктор подошел ко мне, стал меня расспрашивать: я отвечал, что не имею привычки разговаривать в присутствии свидетелей с моим доктором и моим духовником. Доктор приказал Лоренцо уйти, но тюремщик отказался выйти, и доктор ушел, сказав, что я нахожусь в большой опасности. Только этого я и желал, потому что жизнь, которую я вел, не была особенным счастьем. К тому же я чувствовал некоторое удовольствие, думая, что моя смерть заставит моих врагов подумать о бесчеловечности мер, принимаемых против меня.

Спустя несколько часов я снова услышал шум отворявшихся замков и доктор вошел, держа в руке свечку: Лоренцо не вошел в комнату. Я был так слаб, что самая эта слабость доставляла мне удовольствие. Благотворительная природа лишает скуки человека действительно больного. Я был рад, что мой подлый тюремщик не показывался мне на глаза, потому что с тех пор, как он объяснил мне значение железного ошейника, я не мог его выносить. В несколько минут я объяснил доктору, чем я страдаю. «Если вы хотите выздороветь, — сказал он Мне, — постарайтесь быть веселее».

— Напишите мне рецепт от печали и отнесите его единственному аптекарю, который может составить лекарство. Г-н Кавалли — тот плохой доктор, который мне дал «Сердце Иисуса» и «Мистический град».

— Очень вероятно, что эти два снадобья вызвали лихорадку: я не оставлю вас.

Он ушел, сделав мне питье, которое велел пить часто. Я провел ночь в каком-то бреду.

На другой день он возвратился с Лоренцо и фельдшером, который пустил мне кровь. Он также принес мне лекарство, которое я должен был принимать по вечерам, и, кроме того, бутылку бульона. «Я получил позволение, — прибавил он, — перевести вас на чердак, где не так жарко и где воздух чище».

— Я отказываюсь от этой милости, потому что я не выношу крыс, которых там множество.

— Какая беда! Я сказал г-ну Кавалли, что он чуть не убил вас своими книгами. Он мне поручил отнять их у вас и дать вам Боэция. Вот он.

— Очень вам благодарен; он лучше Сенеки и доставит мне удовольствие.

— Я вам оставлю ячменную воду и необходимый инструмент. Старайтесь поправиться.

Он посетил меня раза четыре и поправил меня: мой темперамент сделал остальное, и аппетит вернулся ко мне. В начале сентября я себя чувствовал вполне хорошо и страдал только от чрезвычайной жары, от насекомых и от мух, потому, что я не мог постоянно читать Боэция. Однажды Лоренцо сказал мне, что мне позволено выходить из моего каземата, чтобы мыться, в то время как в моей комнате будут убирать. Я пользовался этой милостью и гулял в течение десяти минут, и я ходил так быстро, что крысы не осмеливались высовываться из своих дыр. В этот же день Лоренцо отдал мне отчет об употреблении денег: у него оставалось лишних тридцать ливров, которые я, однако же, не мог положить в свой карман. Я их ему оставил, сказав, чтобы на эти деньги он заказал несколько молебнов, уверенный, что он совершенно иначе распорядится этими деньгами; он поблагодарил меня с таким удовольствием, что я не усомнился, что священником он будет сам. Ежемесячно я делал такое же точно употребление лишних денег и никогда не видал расписок от патера.

Я жил со дня на день, надеясь, что следующий день будет днем моего освобождения, но, обманываемый всякий раз в моих ожиданиях, я решил, что меня освободят на этот раз уже несомненно первого октября, день, когда начинается царство новых инквизиторов. По этому расчету, мое заключение должно было продолжиться так же долго, как и существование настоящих инквизиторов; вот причина, почему я до сих пор не видел секретаря, который в противном случае непременно пришел бы снять с меня допрос, уличить меня в моих преступлениях и наконец объявить мне приговор. Все это казалось мне неопровержимым, потому что было естественно, но такая логика была нелепа под Пломбами, где ничего не делается естественным образом. Мне казалось, что инквизиторы должны признать мою невинность и их несправедливость и что они меня держат в тюрьме лишь для виду, чтобы избежать упрека в несправедливости; из этого я заключил, что они меня освободят вместе с оставлением своих должностей. Я был так спокоен на этот счет, что был способен простить им и забыть оскорбление, нанесенное мне. Каким образом, говорил я себе, эти господа могут оставить меня здесь во власти своих преемников, не будучи в состоянии указать, за что они меня держат? Я считал невозможным, чтобы они могли произнести мой приговор, не заявив мне об этом. Мое право казалось мне неопровержимым; на основании этого я и рассуждал, но не на основании разума должен был рассуждать по отношению к трибуналу, отличающемуся от всех других трибуналов своим произволом. Довольно простого подозрения инквизиторов, и вина доказана. При таком порядке вещей, зачем объявлять приговор виновному? Его согласие не нужно, и они думают, что несчастному лучше оставить чувство надежды, ибо хотя бы ему и объявлено было обо всем, он просидит в тюрьме не меньше. Мудрец не дает никому отчета о своих поступках, а дело венецианских трибуналов заключается только в суде и в приговоре. Виновный — орудие, которому не нужно мешаться в дело. Отчасти мне были известны привычки колосса, под ногами которого я находился, но в мире есть такие вещи, которые нельзя хорошо узнать без личного опыта. Если между читателями найдутся такие, которым эти правила покажутся несправедливыми, я им прощаю, потому что знаю, что эти правила кажутся именно такими, но прибавлю, что, находясь в основе целого учреждения, они необходимы, ибо без них и все учреждение не могло бы существовать. Ночь перед первым октября я не спал и нетерпеливо ждал появления дня. Царство негодяев, отнявших у меня свободу, кончилось. Но день

явился, Лоренцо пришел по своему обыкновению и не объявил мне ничего нового. В течение пяти или шести дней я находился как бы в бешенстве и вообразил себе, что, вследствие причин совершенно неизвестных, меня решили держать в заключении целую жизнь. Эта мысль заставила меня улыбнуться, потому что я был уверен, что освобожусь от заключения, как только, с опасностью для жизни, решусь на это. Я знал, что я убегу или буду убит, *deliberate morte feracior* (сделавшись более грозным вследствие решения умереть). В начале ноября я серьезно стал обдумывать проект освободиться силой из места, где меня держат, и эта мысль сделалась моей единственной мыслью. Я начал изыскивать средства привести в исполнение мой проект и находил сотни различных средств, но всегда последнее средство казалось мне самым лучшим. Во время этой работы моего воображения случилось странное событие, которое заставило меня обратить внимание на печальное состояние моего духа. Я стоял, смотря в окно; вдруг я вижу, как бревно, на которое я смотрел, начало колебаться. В то же время я ощутил дрожание пола и догадался, что это землетрясение. Лоренцо и сбирь, которые в эту минуту вышли из моей тюрьмы, сказали, что и они ощущали дрожание пола. Мое состояние духа было таково, что это событие обрадовало меня, но радость эту я постарался скрыть. Спустя четыре или пять секунд дрожание возобновилось, и я не мог не воскликнуть: *Un'altra, un'altra, Gran dio! ma piu forte!* (Еще, еще раз, великий Боже, но сильнее!) Сбирь, в ужасе от этих слов, которые им показались нечестивыми, убежали.

После их ухода, раздумывая об этом, я пришел к заключению, что я рассчитывал, что вследствие землетрясения разрушение Дворца дождей совпадет с моим освобождением: это огромное здание, разрушаясь, должно было бросить меня в полном здравии на площадь Св. Марка, где, в крайнем случае, я мог бы быть раздавлен громадной массой этих обломков. В состоянии духа, в котором я находился, свободу желаешь во что бы то ни стало, а жизнь считаешь ничем, в действительности же мои мысли начали путаться.

Это землетрясение было продолжением того землетрясения, которое около того же времени уничтожило Лиссабон.

Для того, чтобы читатель мог понять мой побег из такого места как Пломбы, мне необходимо коснуться некоторых подробностей.

Пломбы- тюрьмы, в которых содержатся государственные преступники, помещаются в чердаках Дворца дождей, а название их заимствовано от широких полос свинца (*piombo*), которым покрыта его крыша, проникнуть туда можно или через вход дворца, или через здание тюрем, или же через мост, о котором я говорил и который называется Мостом Вздохов (*Ponte dei Sospiri*). В казематы можно войти, только пройдя через залу, где собираются государственные инквизиторы; секретарь имеет ключ от этих казематов, который доверяет тюремщику лишь на то время, которое ему необходимо для услужения заключенным; это услужение производится на рассвете, потому что позднее солдаты, проходя туда и сюда, могут быть видимы всеми теми, которые имеют дела с Советом Десяти, а этот Совет ежедневно собирается в зале, называющейся Буссола, и солдаты принуждены проходить через нее всякий раз, когда отправляются под Пломбы.

Эти тюрьмы расположены по двум фасадам дворца: три — на запад (тюрьма, где я находился, принадлежала к этому числу) и четыре на восток. Кровельный желоб западной стороны выходит на двор дворца, восточный — перпендикулярно на канал *Rio di Palazzo*. С этой стороны тюрьмы очень светлы и довольно высоки, чего нет в темнице, где я находился. Пол моего каземата находился как раз над плафонами залы инквизиторов, где они собираются обыкновенно ночью, после ежедневных собраний Совета Десяти, к числу членов которого принадлежат и три инквизитора. Зная превосходно местность и привычки инквизиторов, я решил, что единственное средство бежать заключалось в том, чтобы пробить пол моей тюрьмы; а это было трудно в таком месте, где всякие сношения с внешним миром строго воспрещены, где не позволяются ни посещения, ни переписка с кем бы то ни было. Для подкупа солдат нужно было много денег, а у меня их не было. Я предполагал, что я буду в состоянии убить тюремщика и двух солдат, — третий солдат находился на часах постоянно у дверей галереи, которую он запирает на ключ и которую открывал только тогда,

когда его товарищ хотел выйти и подавал ему пароль. Несмотря на все затруднения, единственная мысль, занимавшая меня, была мысль о побеге, а так как у Бозция я не находил к этому никакого средства, то перестал его читать: тем не менее, убежденный, что средство к спасению я найду только в размышлении об этом, я не переставал размышлять. Я всегда думал, что если человек твердо решил достичь чего-либо и поглощен только достижением цели, — то поставит на своем, несмотря на все затруднения; он делается великим визирем, папой, произведет государственный переворот, если только он примется за дело заблаговременно и будет обладать необходимым умом и настойчивостью, ибо человек состарившийся, гонимый судьбой ничего не достигает, а без помощи судьбы нельзя на что-либо подвигнуться, для достижения цели необходимо рассчитывать на счастливые обстоятельства и пренебрегать препятствиями, но это такой политический расчет, который не многим удастся. Около половины ноября Лоренцо сообщил мне, что мессер-гранде захватил нового преступника, что новый секретарь, по имени Бузинелло, приказал ему поместить его в самую скверную тюрьму и что, следовательно, он поместит его вместе со мною. Он уверил меня, что сообщил ему о том, что я считаю особенной милостью одиночное заключение, но секретарь отвечал, что я несомненно стал благоразумнее в течение моего четырехмесячного заключения. Эти новости не огорчали меня, и я находил даже некоторое удовольствие в этой перемене. Этот Бузинелло был хороший человек, которого я знал в Париже, когда он отправился в Лондон в качестве резидента Республики. После полудня я услышал отворявшиеся замки, и Лоренцо, в сопровождении двух солдат, привел молодого человека всего в слезах и, сняв с него кандалы, запер его со мной и удалился, не сказав ни слова. Я лежал на кровати, и он мог меня видеть. Его удивление забавляло меня. Имея счастье быть несколько меньше меня, он мог стоять не сгибаясь; он стал рассматривать мое кресло, которое, вероятно, считал предназначенным для собственного употребления. Увидав на полке Бозция, он берет его, открывает и бросает с досадой, вероятно потому, что латинский язык для него недоступен. Затем он продолжает осмотр тюрьмы, отправляется налево ощупью и удивлен, найдя разные вещи, потом направляется в альков и, протягивая руку, трогает меня и почтительно просит извинения. Я приглашаю его присесть, и наше знакомство сделано.

— Кто вы? — спрашиваю его.

— Я — Маджиорино из Веченци. Отец мой, кучер в доме Поджиана, держал меня в школе до одиннадцати лет, и там я выучился читать и писать; затем он меня отдал к парикмахеру, где я был пять лет и где хорошо выучился ремеслу. Выйдя оттуда, я поступил лакеем к графу Х. Я служил у него в течение двух лет, когда его единственная дочь вышла из монастыря. Мне поручили убирать ее волосы и мало-помалу я влюбился в нее и внушил ей любовь к себе. Мы поклялись никогда не расставаться, мы постоянно оказывали друг другу знаки нежности, из чего произошло то, что молодая графиня не могла уже скрывать наших отношений. Старая служанка, ханжа, первая открыла нашу связь и состояние моей любовницы, и сказала ей, что обязана предупредить обо всем ее отца; однако моя молодая подруга успела уговорить ее молчать, уверив ее, что в течение недели она и сама откроет своему отцу все через посредство своего духовника. Она обо всем предупредила меня, и вместо того, чтобы отправиться на исповедь, мы устроили все к побегу. Она захватила порядочную сумму денег и несколько алмазов своей покойной матери, и мы должны были бежать ночью в Милан. Но вчера после обеда граф позвал меня и, давая мне письмо, сказал, что я должен немедленно отправиться и передать его лицу, которому оно адресовано в Венеции. Он говорил со мной с такой добротой и так спокойно, что мне и в голову не пришло, что мне готовится. Я отправился за своим плащом и мимоходом попрощался с моей подругой, сказав, что скоро вернусь. Более проницательная, чем я, а может быть, видя несчастье, готовящееся мне, она сильно огорчилась, приехав сюда, я поспешил передать роковое письмо. Мне приказали ждать ответа, и как только я его получил, я отправился в трактир, чтобы закусить чем-нибудь, желая сейчас же после этого отправиться в обратный путь. Но в то время как я выходил из трактира, меня арестовали и повели под стражу, где я

содержался до того момента, как меня отправили сюда. Надеюсь, сударь, что имею право считать молодую графиню моей женой?

— Вы ошибаетесь. — Но природа?

— Природа, если одну ее только слушаешь, заставляет человека делать глупости до тех пор, пока его не посадят под Пломбы.

— Значит, я под Пломбами? — Да, как и я.

Бедный молодой человек снова принялся проливать горькие слезы. Это был очень хорошенький мальчик, искренний, честный и влюбленный до безумия. Я внутренне простил графиню и осудил отца за то, что он подверг свою дочь обольщению молодого, красивого и впечатлительного человека. Пастух, помещающий волка в стадо, не должен жаловаться на опустошения, производимые им в стаде. Его слезы и жалобы не относились к нему, а лишь к его молодой подруге. Он полагал, что тюремщик возвратится и принесет ему кровать и что-нибудь поесть, но я разуверил его и предложил ему свою провизию. Он был слишком опечален и не мог ничего есть. Вечером я дал ему мой соломенный тюфяк, на котором он и провел ночь, потому что хотя он, по-видимому, был опрятен, мне не хотелось спать с ним вместе, боясь результатов грез влюбленного. Он не чувствовал ни своего проступка, ни потребности графа наказать его публично и тем оберечь честь дочери и всей семьи. На другой день ему принесли тюфяк и плохой обед, жертвуемый ему трибуналом из жалости, ибо слово справедливость, кажется, чуждо организации этого ужасного учреждения. Я сказал тюремщику, что мой обед достаточен для двоих и что деньги, ассигнованные на этого молодого человека, он может употребить на молебны. Он взял на себя это дело весьма охотно и, поздравив его с тем, что он находится со мною, сказал, что в течение получаса мы можем гулять по галерее. Я нашел эту прогулку очень полезной для здоровья и для моего проекта побега, который я мог выполнить только одиннадцать месяцев спустя. В галерее я нашел множество старой мебели разбросанной в беспорядке по левую и по правую сторону двух больших ящиков и перед большой кучей бумаг, сшитых в тетради. Я взял несколько таких тетрадей, чтобы позабавиться, и увидел, что это уголовные дела, чтение которых меня очень заинтересовало, ибо это позволило мне читать то, что в свое время держалось в большом секрете. Я увидел тут странные ответы на вопросы об обольщении молодых девушек, об ухаживаниях, слишком далеко подвинутых людьми, приставленными к консерваториям девиц, о фактах, совершаемых исповедниками, об учителях с преступными наклонностями, об опекунах, обольщавших опекаемых девиц. Тут были дела, бывшие два или три столетия тому назад, которых язык и нравы очень заинтересовали меня. Между мебелью, находившейся тут, я нашел грелку, котел, каминную лопатку, щипцы, старые шандалы, горшки и даже ручной насос. Это убедило меня, что какой-либо высокопоставленный пленник был уполномочен запастись всем этим. Но больше всего заинтересовал меня громадный запор длиной в полтора фута. Я ни до чего не дотронулся, потому что еще не наступило время начать действия.

Однажды утром, к концу месяца, от меня увели моего товарища, и Лоренцо сказал мне, что он будет посажен в тюрьму, называемую «Кватро». Эта тюрьма находится в здании обыкновенных тюрем и принадлежит государственной инквизиции. Заключенные там имеют право призывать тюремщика, когда им вздумается. Они очень темные, но существуют лампы, с помощью которых тюрьмы освещаются: пожара не боятся, потому что все мраморное. Впоследствии я узнал, что бедный Маджиорино провел там пять лет и был отправлен оттуда в Черигу на десять. Не знаю, вышел ли он из этого заточения или нет. Его общество меня развлекало, и я убедился в том, как только его увели, потому что опять впал в угнетенное состояние. Меня, однако, не лишили привилегии прогулок по галерее. Я стал внимательнее присматриваться ко всему, что там было. В одном из ящиков была прекрасная бумага, картоны, перья, тесемки; другой ящик был заделан. Кусок мрамора — черного, полированного, толщиной в дюйм, длиной в шесть и шириной в три дюйма — обратил мое внимание; я взял его, не зная еще, что я с ним стану делать, и спрятал его в моей тюрьме, скрыв его между рубашками.

Спустя неделю после исчезновения Маджиорино, Лоренцо объявил мне, что, по всей вероятности, у меня опять будет товарищ. Этот человек, в сущности не больше как болтун, стал беситься, что я не делаю ему никаких вопросов. По долгу службы ему бы не следовало быть болтуном, но где же взять совершенных существ? Конечно, они бывают, но мало и в не в низших классах следует их искать. Итак, мой тюремщик, не будучи в состоянии обнаружить своей скромности, воображал, что если я его не спрашиваю, то потому только, что думаю, что он ничего не знает, и это подстрекнуло его самолюбие. Желая доказать, что я ошибаюсь, он начал болтать без всякого вызова с моей стороны. «Я думаю, что у вас будут частые визиты, потому что в других пяти тюрьмах содержатся заключенные, которых не отправят в Кватро». — Я не отвечал ему и, помолчав немного, он продолжал: «В Кватро сажают как попало всякого рода людей, которых приговор, неизвестный им, уже состоялся. Заключенные же, которые, подобно вам, отданы на мое попечение под Пломбами, все самого высшего сорта и преступники в таких вещах, о которых не могут знать любопытные. Если бы вы знали, кто товарищи вашего несчастья, вы были бы удивлены, ибо справедливо, как говорят, что вы умный человек: но вы извините меня... Вы знаете, что недостаточно быть умным, чтобы попасть сюда... Вы меня понимаете. Пятьдесят су в день не безделица. Простому гражданину дается три ливра, дворянину — четыре, а восемь — иностранному графу. Мне ли этого не знать? Ведь все это проходит через мои руки». Тут он начал восхвалять себя, но как-то все отрицательно. «Я — не вор, не изменник, не лгун, не скуп, не злой, не груб, подобно всем другим тюремщикам; а когда и выпью лишку, то становлюсь еще лучше. Если бы мой отец позаботился о моем воспитании, то теперь я бы умел читать и писать и, может быть, был бы мессером-гранде, но не моя вина, что я получил плохое воспитание. Г-н Диедо уважает меня, моя жена, которой только двадцать четыре года и которая готовит вам кушанье, отправляется к нему когда захочет; и он пускает ее без всякого затруднения, даже тогда, когда находится в постели: милость, которую он не оказывает ни одному сенатору. Обе-Щаю вам, что здесь вы будете иметь всех новых заключенных, но всегда ненадолго, ибо как только секретарь узнал от них, что ему нужно знать, он отправляет их по назначению, в Кватро ли, в форт ли какой, или же на Восток; если это иностранцы, то их отправляют за границу. Умеренность, сударь, трибунала беспримерна, и нет такого трибунала, который бы поступал так милостиво. Находят жестоким, что он не позволяет ни писать, ни принимать знакомых, но это безумие, ибо писать и видаться с знакомыми — значит терять время. Вы мне скажете, что вам и без того делать нечего, но мы-то этого не можем сказать».

Такова была, приблизительно, первая беседа, которою меня угостил этот палач, и я должен сознаться, что он меня заинтересовал. Я догадался, что этот человек, если бы не был так глуп, был бы гораздо злее. Я решил воспользоваться его глупостью.

На другой день ко мне привели нового заключенного, с которым обращались в первый день так же, как обращались с Маджиорино, — это заставило меня подумать о приобретении другой костяной ложки, потому что в первый день новый заключенный ничего не получил, и я принужден был уступить ему свою ложку.

Мой новый товарищ поклонился мне с большим почтением, потому что моя борода, успевшая вырасти уже почти на четыре дюйма, была еще внушительнее, чем мой рост. Лоренцо часто давал мне ножницы стричь ногти, но ему было запрещено под угрозой самого жестокого наказания прикасаться к моей бороде. Причину этого я не знаю, но я привык к своей бороде, как привыкают ко всему.

Новый заключенный был человек лет пятидесяти, приблизительно моего роста, несколько сгорбленный, худощавый, с большим ртом и отвратительными зубами. Он имел маленькие, серенькие глаза с большими рыжими бровями, что ему придавало вид совы; и все это было украшено маленьким черным париком, который издавал пренеприятный запах масла, и платьем из грубого сукна. Он принял мой обед, но держался вдалеке и в течение целого дня не сказал со мной ни одного слова; я последовал его примеру, убежденный, что вскоре он бросит свою тактику, что действительно и случилось на другой день.

Рано утром ему принесли кровать, принадлежавшую ему, я мешок с бельем. Тюремщик спросил его, как он это сделал и со мной, чего он хочет на обед, а также денег на него.

— У меня нет денег. — Как! Такой богач, как вы, и не имеете денег. — У меня нет ни одного гроша. — Хорошо; в таком случае я вам принесу казенного хлеба и воды. Таков порядок.

Он вышел и через минуту вернулся с хлебом и водой, передав все это заключенному, и, заперев дверь, ушел. Оставшись наедине с этим призраком, я услышал, как он вздохнул; жалость овладела мной, и я прервал молчание.

— Не вздыхайте, милостивый государь, вы будете обедать со мной, но мне кажется, вы поступили очень опрометчиво, являясь сюда без денег.

— У меня есть деньги, но этого нечего обнаруживать этим мерзавцам.

— Но ведь это присуждает вас к хлебу и воде. Знаете ли вы причины вашего заключения?

— Да, я знаю их и в двух словах расскажу вам, в чем дело. Меня зовут Скальдо-Нобили. Мой отец был крестьянин, выучивший меня читать и писать и оставивший мне после своей смерти маленький домик с клочком земли. Я из Фриуля. Поток, по прозванию Корно, сильно портил мою землю, я поэтому решил продать ее и поселиться в Венеции, что я и сделал лет десять тому. Я получал за землю восемь тысяч ливров хорошими цехинами и, зная, что в этой счастливой республике все пользуются свободой, я убедил себя, что могу достичь некоторого довольства, употребляя в дело мой капитал, и вот я начал отдавать займы под залог. Уверенный в моей экономности, в моем здравом смысле и в знании жизни, я решил заняться этим делом предпочтительно перед всяким другим. Я нанял маленький домик в квартале Королевского канала, меблировал его и, живя один, спокойно в течение двух лет я нажил десять тысяч ливров, кроме моего капитала, хотя, желая жить хорошо, я издерживал на себя две тысячи ливров. Продолжая таким образом, я был убежден, что наживу упорядочное состояние со временем, но однажды, дав займы какому-то еврею два цехина под залог нескрльких книг, я отыскал между ними одну, озаглавленную «Мудрость Шарона». Тогда-то именно я и увидел, как важно уметь читать, ибо эта книга, милостивый государь, которую вы, может быть, и не знаете, стоит всех книг, потому что в ней заключается все, что нужно знать человеку. Она очищает его от всех предрассудков, приобретенных в детстве. С Шароном прощай ад и все ужасы будущей жизни: открываешь глаза, узнаешь дорогу к счастью, делаешься мудрецом. Приобретите это сокровище и смейтесь над всеми дураками, которые будут вам говорить, что это сокровище запрещено.

Из этих слов я узнал, с кем имею дело. Что же касается Шарона, то я читал эту книгу, но не знал, что она переведена по-итальянски. Шарон, большой поклонник Монтеня, думал, что пошел дальше своего учителя, но он работал напрасно. Он классифицировал методически многие идеи Монтеня, его сюжеты, которые у этого великого философа находятся разбросанными в беспорядке; но будучи священником и богословом, Шарон заслужил наказание. К тому же его не много читали, несмотря на запрещение, которое должно было бы сделать модным его книгу. Глупый итальянец, который ее перевел, не знал даже, что слово «мудрость» означало по-итальянски sapienza. Шарон имел дерзость дать титул своей книге, подобный титулу книги Соломона, и это не доказывает его скромности. Мой товарищ продолжал следующим образом:

«Освобожденный Шароном от сомнений, которые у меня были, и от лживых впечатлений, от которых так трудно отделаться, я повел свое дело так, чтобы заработать в течение шести лет десять тысяч цехинов. Этому вам нечего удивляться, ибо в этом богатом городе игры, развраты и лень делают всех беспорядочными, постоянно нуждающимися в деньгах: мудрые пользуются тем, что разбрасывают помешанные.

Года три тому назад некий граф Сериман явился ко мне и просил меня взять у него пятьсот цехинов, пустить их в оборот и давать ему половину прибыли, которую я получу на эти деньги. Он требовал от меня простой лишь расписки, которой я обязывался возратить ему эту сумму по его требованию. К концу года я передал ему семьдесят пять цехинов, что

составило пятнадцать процентов на всю сумму: он расписался в получении денег, но высказал неудовольствие. Он был неправ, ибо, не нуждаясь в деньгах, я и не воспользовался его деньгами. На второй год я сделал то же самое из простой любезности, но мы поговорили крупно и он потребовал возврата своих пятисот цехинов.

— Охотно, — отвечал я, — но я исключу из этой суммы сто пятьдесят цехинов, которые вы уже получили.

Это привело его в бешенство, и он потребовал у меня легальным путем уплаты всей суммы. Ловкий адвокат взялся меня защищать и сумел отсрочить решение дела на два года. Месяца три тому назад разговор зашел о полюбовной сделке, но я отказался; однако, боясь какого — нибудь насилия, я обратился к аббату Джустиниани, управляющему маркиза Монталлегро, испанского посланника, и за небольшие деньги он отдал мне внаймы маленький дом, где я мог быть обеспечен от всякой неожиданности. Я не отказывался возратить деньги графу Сериману, но я считал справедливым исключить из них сто пятьдесят цехинов, которые издержал. Неделью тому назад адвокат графа и мой сошлись у меня: я показал им в кошельке двести пятьдесят цехинов и сказал им, что я готов отдать их, но без одного лишнего гроша. Они оставили меня без возражений, но очень недовольные. Я не обратил на это внимания. Дня три тому назад аббат Джустиниани приказал сказать мне, что он счел нужным позволить государственным инквизиторам отправить солдат сделать у меня обыск. Я думал, что это невозможно, находясь под покровительством иностранного посланника, и вместо того, чтобы принять нужные предосторожности, не припрятав даже денег в надежное место, я храбро ждал их визита. На рассвете явился ко мне мессер-гранде и потребовал от меня триста пятьдесят цехинов, и на мой ответ, что у меня нет ни гроша, он меня арестовал, и вот я — здесь».

Я негодовал не только на то, что товарищем заключения имею такого негодяя, но также и на то, что он считает меня себе равным, потому что если б он был другого мнения обо мне, то, конечно, не подарил бы меня своим длинным рассказом в надежде, что я его похвалю. Из разговоров, которые он вел со мной в течение трех дней, говоря мне постоянно о Шароне, подтверждалась итальянская поговорка: *Guardati da colui che non ha letto che un libro solo* (Остерегайся того, кто читал лишь одну книгу). Чтение сочинения этого развращенного священника сделало его атеистом, и этим он хвастал при всяком удобном случае. После полудня Лоренцо пришел позвать его к секретарю. Он наскоро оделся и, вместо своих башмаков, надел мои. Спустя полчаса он возвратился, рыдая, и вынул из своих башмаков два кошелька с тремястами пятьюдесятью цехинами и в сопровождении тюремщика отнес их секретарю. Вскоре он снова возвратился и, взяв свой плащ, ушел. Лоренцо объяснил мне, что его выпустили. Я подумал, и не без основания, что, с целью заставить его заплатить долг, секретарь пригрозил ему пыткой; и если б она употреблялась только для достижения таких результатов, то я, который ненавижу пытку ц ее создателя, я первый бы провозгласил ее полезность.

В первый день 1756 года я получил подарок. Лоренцо принес мне халат, подбитый лисьим мехом, шелковое одеяло на вате и мешок медвежьего меха для согревания ног; все это я принял с большим удовольствием, потому что холод был большой и его также трудно было переносить теперь, как и жар в августе. Он сказал мне также, что секретарь извещает меня, что я могу располагать шестью цехинами в месяц, что могу покупать какие угодно книги и получать газету. Всем этим я был обязан Брагадину. Я спросил у Лоренцо карандаш и написал на клочке бумаги: «Я благодарен за щедрость трибунала и добродетели г-на Брагадина».

Нужно быть в моем положении, чтобы чувствовать, как взволновало меня все это. В первые минуты я простил моим притеснителям и был готов оставить проект побега, до такой степени человек бывает уступчив в несчастье. Лоренцо сказал мне, что Брагадин явился к трем инквизиторам, со слезами на глазах и коленопреклоненный он умолял их доставить мне этот знак его любви, если я еще нахожусь в числе живых, и что тронутые инквизиторы не могли ему отказать.

Я сейчас же написал заглавия книг, которые мне хотелось иметь.

Однажды утром, гуляя по галерее, я остановил взгляд на засове, о котором я уже говорил, и я увидел, что этот засов может быть прекрасным оборонительным и наступательным оружием. Я его схватил и, спрятав под халат, унес в свою комнату. Как только я остался один, я взял кусок черного мрамора, о котором уже говорил, и убедился, что мрамор прекрасный пробный камень, потому что, потеряв об него засов, я получил хорошо полированную плоскость.

Заинтересовавшись этой работой, с помощью которой я надеялся получить вещь, совершенно запрещенную под Пломбами, подстрекаемый, может быть, желанием сделать предмет без всякого необходимого инструмента и возбуждаемый трудностями, так как мне приходилось тереть засов почти в темноте, держа мрамор в левой руке и без одной капли масла, я решил, однако, попробовать достигнуть цели. Вместо масла я употреблял мою собственную слюну и употребил целую неделю на то, что отделал восемь пирамидальных сторон, которых конец оказался прекрасно заостренным. Таким образом заостренный засов образовал восьмигранный стилет, пропорциональный настолько, насколько это можно было ожидать от такого плохого мастера, каким был я. Трудно представить себе утомление и труд, которые я принужден был вынести, и терпение, необходимое, чтобы исполнить эту неприятную работу без всякого инструмента: это было для меня нечто вроде пытки, неизвестной никаким тиранам. Моя правая рука так одеревенела, что мне трудно было двигать ею. Кисть руки покрылась широкой язвой, образовавшейся вследствие множества пузырей, вскочивших от трудности и продолжительности работы. Трудно представить себе все страдания, которые я вынес.

Гордый своим произведением, хотя я и не знал еще, как мне придется его употребить, я его спрятал так, чтобы его нельзя было отыскать даже при самом тщательном обыске. Сообразив все, я остановился на моем кресле и так спрятал там мой кинжал, что устранил всякое подозрение. Таким-то образом Провидение помогало мне приступить к побегу, который должен был быть удивительным, если не чудесным. Сознаюсь, что горжусь им, но моя гордость объясняется не успехом, потому что случай играл в нем большую роль: он объясняется тем, что я счел это дело возможным и имел смелость приступить к нему, несмотря на все благоприятные шансы, которые, в случае неуспеха, чрезвычайно ухудшили бы мое положение и, может быть, сделали бы невозможным мое освобождение.

После несколькихдневного размышления о том, как я могу воспользоваться моим инструментом, я решил, что самое простое средство было сделать дыру в полу под кроватью.

Я был уверен, что комната, находившаяся непосредственно под моей тюрьмой, была та, где я видел Кавалли; я знал, что эта комната открывалась всякое утро, и я не сомневался, что, как только отверстие будет сделано, я легко буду в состоянии спуститься туда посредством моих простынь, которые я превращу в веревки и привяжу к кровати. Там я решил спрятаться под большой стол и утром, как только дверь будет открыта, выйти; так что, прежде чем спохватятся меня, я уже буду далеко. Мне пришло в голову, что, может быть, там будет поставлен часовой, но мой кинжал должен был освободить меня от него. Пол мог быть двойным, тройным даже; большое затруднение, ибо как помешать служащим выметать пол в течение двух месяцев, в продолжение которых будет длиться моя работа? Запрещая им это, я бы только возбудил подозрение, тем более, что, желая освободиться от блох, я требовал, чтобы они мели пол ежедневно. Приходилось найти средство избежать этого затруднения.

Я начал с того, что воспротивился выметанию, не говоря почему. Спустя неделю Лоренцо спросил меня, почему я не хочу, чтобы выметали пол. Я сослался на пыль, которая вызывала кашель.

— Я прикажу поливать пол, — сказал он.

— Это будет еще хуже, потому что вследствие сырости у меня разболится грудь.

Таким образом я себе выгадал целую неделю, но к концу этого времени тюремщик приказал мести пол. Он приказал вынести кровать в галерею и под предлогом уборки зажег свечку. Я догадался, что тюремщик кое-что подозревает, но я сумел остаться равнодушным к

такому подозрению и не только не отказался от моего проекта, но даже стал думать о том, чтобы усовершенствовать его. На другое утро, сделав порез на пальце, я запятнал кровью весь мой платок и ожидал Лоренцо в постели. Как только он пришел, я ему сказал, что со мной случился страшный кашель и что, вероятно, лопнула какая-нибудь вена, потому что у меня пошла кровь горлом, и я потребовал доктора. Доктор пришел, прописал мне кровопускание и написал рецепт. Я ему сказал, что Лоренцо был причиной моей болезни, настояв на том, чтобы выметали комнату. Он сделал ему выговор и кстати рассказал, как по той же причине умер один молодой человек, ибо, сказал он, нет ничего опаснее, как вдыхать пыль. Лоренцо клялся всеми святыми, что приказал мести, чтобы мне услужить, и обещал, что больше этого не будет. Я внутренне смеялся, потому что доктор поступал лучше, чем я мог желать. Присутствовавшие при этом солдаты были этому рады и обещались хорошо выметать тюрьму только у тех, кто с ними обращался дурно.

Когда доктор ушел, Лоренцо попросил у меня прощения и уверял меня, что все другие заключенные находились в полном здоровье, хотя у них выметали ежедневно.

— Но дело важно, — прибавил он, — и я их предупрежу, потому что смотрю на них как на собственных детей.

Кровопускание оказалось мне полезно, потому что возвратило мне сон и прекратило припадки, начавшие меня беспокоить. У меня увеличился аппетит, и с каждым днем я чувствовал себя сильнее; но время приступить к работе еще не наступило, холод был слишком велик, и мои руки не могли долго держать инструмент. Мое предприятие требовало большой осторожности. Необходимо было избегать всего, что могло быть легко замечено. Необходимо было много храбрости, чтобы приступить ко всему, что могло быть замечено и что могло случиться. Положение человека, который должен действовать в таких же условиях, в каких был я, — очень несчастно, но он наполовину уменьшает труд и ужас, рискуя всем. Длинные зимние ночи приводили меня в отчаяние, потому что я принужден был проводить в темноте целые девятнадцать часов, а в пасмурные дни, которые в Венеции нередки, свет, проходивший через окно, был ничтожен для того, чтобы читать. Не интересуясь ничем посторонним, мой ум постоянно возвращался к мысли о побеге, а мозг, постоянно занятый одними и теми же предметами, легко может помешаться. Имей я хоть самую простую кухонную лампу, — я был бы счастлив, но как достать ее? О великое преимущество мысли! Как я был счастлив, когда мне показалось, что я нашел средство приобрести это сокровище! Чтобы соорудить лампу, мне нужны были различные предметы: сосуд, фитиль, масло, кремь, трут, спички. Сосудом могла быть чашка, в которой мне готовили яйца с маслом. Под предлогом, что простое масло мне вредно, я приказал покупать луккское масло для салата. Мое стеганое одеяло могло мне доставить фитили. Сделав вид, что у меня болят зубы, я сказал Лоренцо, что мне нужно немного пемзы, но так как он не знает, что мне нужно, я прибавил, что пемзу заменить может кремь, если его положить на день в уксус, что, приложенный затем к зубу, он уничтожит боль. Лоренцо отвечал, что мой уксус очень хорош, что я могу и сам помочить кремь в нем, и тут же бросил мне несколько кусков кремня, которые нашлись у него в портмоне. Большая стальная пряжка должна была служить мне вместо железки. Оставалось добыть серы и трут — но я ничего не мог придумать, пока, наконец, случай не выручил меня. У меня было нечто вроде кори, которая, высыхая, оставила на руках красные пятна, беспокоившие меня. Я велел Лоренцо спросить у доктора лекарства, и на другой день он принес мне записку, прочитанную предварительно секретарем; в записке значилось: «День диеты и четыре унции сладкого миндаля и кожа исправится; или же намазать серным цветом; но это лекарство довольно опасно».

— Я не боюсь опасности, — сказал я Лоренцо, — купите мне этого вещества или лучше принесите мне серы: у миш есть масло, и я сам себе устрою лекарство. Есть у вас спички? Дайте мне несколько.

Спички нашлись у него в кармане, и он мне дал.

Как мало нужно, чтобы обрадовать человека, находящегося в несчастье! Но в моем положении эти спички были весьма важны; они были настоящим сокровищем.

Я долго ломал себе голову, как добыть трут — единственное вещество, недостававшее мне; я не знал, под каким предлогом его спросить, но вспомнил, что приказал моему портному поместить трут под мышки кафтана, боясь, чтобы пот не испортил материи. Это платье, совсем новое, находилось передо мною; сердце волновалось, но портной мог и не исполнить приказания: я переходил от надежды к боязни. Мне стоило сделать лишь шаг, чтобы увериться, но шаг был решительный, и я не смел его сделать. Наконец я приближаюсь и, чувствуя себя недостойным этой милости, падаю на колени и молю Бога, чтобы портной не забыл моего приказа. После этой горячей молитвы я беру платье, распарываю материю и нахожу трут! Моя радость превратилась почти в бред! Было естественно поблагодарить Бога, потому что я имел смелость поискать трут только вследствие доверия к нему, и я это сделал самым гор. чим образом.

Несколько позднее, размышляя об этом, я радовался, что последовал импульсу моего сердца, но я посмеялся, думая о глупости, когда я умолял Бога дать мне власть отыскать трут. Этого я бы не сделал до моего пребывания под Пломбами, я бы не сделал этого и теперь, но отсутствие свободы искажает умственные способности...

Имея все нужное, я вскоре соорудил себе лампу. Представьте себе удовольствие, — ощущаемое мною, вследствие сознания, что я обошел приказы моих презренных притеснителей! Мрака теперь не было для меня, но не было также и салата, ибо, хотя я очень его любил, необходимость сохранить масло для лампы заставила меня пожертвовать им. Тогда я назначил первый понедельник Поста, чтобы приняться за трудное дело разрушения пола, потому что при беспорядке карнавала я боялся посещения, и моя осторожность оказалась благоразумной.

В воскресенье на Масленице Лоренцо явился ко мне в сопровождении какого-то толстяка, которого я узнал; это был хасид Габриель Шалон, известный своей ловкостью снабжать молодых людей деньгами, заставляя их делать скверные дела.

Мы знали друг друга и поздоровались. Его общество не могло быть мне приятно, но об этом меня не спрашивали. Он сказал Лоренцо, чтоб он отправился к нему на квартиру и принес ему обед, кровать и все необходимое, но тюремщик ответил ему, что об этом будет время поговорить и завтра.

Этот еврей был болтун, легкомыслен, невежа и дурак, только не в своем деле. Он начал с того, что поздравил меня, что я удостоился чести иметь общество. Вместо ответа я предложил ему половину моего обеда. Он отказался, говоря, что ест только чистую пищу и что он подождет лучшего ужина у себя.

— Когда?

— Сегодня вечером. Вы слышали, что, когда я потребовал своей кровати, он отвечал мне, что лучше подождать до завтра. Очевидно, это значит, что я не нуждаюсь в кровати. Правдоподобно ли, чтобы оставили без пищи такого человека, как я?

— Да ведь со мной сделали же это.

— Положим, но между нами есть некоторая разница; и наконец, инквизиторы попали впросак, арестовав меня: они теперь сконфужены и ищут предлога освободить меня.

— Может быть, они вам назначат за это пенсию, потому что с человеком вашего положения нужно обходиться осторожно.

— Вы правы; на бирже нет маклера более полезного, и пять мудрецов много бы выиграли, последовав моим советам. Мое заключение есть странное явление, которое мимоходом осчастливило вас.

— Каким образом?

— Не пройдет и месяца, как я освобожу вас отсюда. Я знаю, с кем и как поговорить об этом.

— Рассчитываю на вашу любезность.

— Рассчитывайте.

Этот глупый плут считал себя очень важным господином. Он хотел рассказать мне, что говорилось обо мне в городе, но передавал лишь глупые мнения невеж его же рода; он мне

надоел, и я взял книгу. Дуралей имел дерзость просить меня не читать, потому что он очень любит говорить, но продолжал говорить лишь о себе.

Я не смел зажечь лампу в присутствии этого животного; так как приближалась ночь, он решился принять от меня хлеба и красного вина, потом он принужден был удовольствоваться моим тюфяком, который служил всем новым пришельцам.

На другой день он получил кровать и пищу. Я имел общество этого несчастного в течение целых двух месяцев, потому что, прежде чем приговорить его к Кватро, секретарь несколько раз принужден был допрашивать его, чтобы выяснить различные плутни и заставить его отказаться от многих незаконных контрактов. Он сам сознался мне, что купил от Доменико Микелц ренту, которая не могла принадлежать покупателю раньше смерти отца продавца. Правда, прибавил он, он согласился потерять на этой продаже пятьдесят процентов, но необходимо принять в соображение и то, что если бы продавец умер раньше своего отца, то покупатель потерял бы все. Видя, что этот проклятый товарищ не оставляет меня, я решился, наконец, зажечь мою лампу, заставив его обещать сохранить тайну. Он сдержал свое обещание, пока был со мной. Потому что Лоренцо знал о лампе; к счастью, он не придавал этому никакого значения.

Этот грубиян решительно мне надоел, потому что мешал мне читать. Он был требователен, невежествен, суеверен, хвастун, робок и подчас нагл. Он требовал, чтобы я приходил в отчаяние, как только страх заставлял его плакать, и не переставал повторять, что его заключение решительно губит его репутацию. На этот счет я его разуверял с иронией, которую он не понял, уверяя его, что его репутация слишком хорошо установлена и не боится ничего: он это принимал за комплимент. Он не хотел согласиться с тем, что был скуп, но я заставил его сознаться в этом, и он сказал, что если б инквизиторы давали ему по пяти цехинов в день, то он был бы согласен провести всю жизнь под Пломбами.

Он был талмудист, как все евреи, и старался убедить меня, что был очень сведущ в своей религии и что сильно был привязан к ней, но я сумел заставить его улыбнуться, с удовольствием сказав, что он отрекся бы от Моисея, если б папа сделал его кардиналом. Сын раввина, он действительно был сведущ в обрядности, но, как и все люди, он полагал, что сущность религии заключается в неукоснительном соблюдении обрядов.

Чрезвычайно толстый, этот еврей половину своей жизни проводил в постели, и так как он спал часто днем, то жаловался что не может спать ночью, тем более что видел, как хорошо я спал. Однажды он разбудил меня.

— Что вам нужно? — спросил я, проснувшись.

— Дорогой друг, я не могу спать, будьте так добры, побеседуйте со мною.

— И вы называете меня вашим другом? Я думаю, что ваша бессонница — настоящая пытка, но если в другой раз вам вздумается отнять у меня единственное счастье, которое у меня осталось, я вас задушу.

Я произнес эти слова с бешенством.

— Извините меня и будьте уверены, что на будущее время этого не случится.

Весьма вероятно, что я бы не задушил его, но несомненно, что охота задушить его у меня была. Пленник, который имеет счастье хорошо спать, не чувствует себя рабом все это время. Поэтому заключенный имеет право смотреть на того, кто его будит, как на тюремщика, который лишает его свободы, так как пробуждение возвращает ему сознание его несчастья. Прибавим к этому, что обыкновенно заключенному снится, что он на свободе, подобно тому как несчастному, умирающему с голоду, снится самый роскошный обед.

Я очень был рад тому, что не приступал к моему предприятию до его появления, тем более, что он требовал, чтобы комнату убирали. В первый раз, когда он этого потребовал, служащие заставили меня улыбнуться, сказав ему, что это убьет меня. Он все-таки требовал, и я принужден был сделать вид, что болен, и благоразумие требовало, чтобы я не настаивал на своем.

В среду на Святой Лоренцо, предупредив нас, что секретарь явится к нам после полудня, чтобы сделать нам визит по поводу Пасхи, с целью водворить покой в душу тех,

кто пожелает причаститься, и также с тем, чтобы узнать, не имеем ли мы чего против тюремщика. — «Итак, господа, — прибавил Лоренцо, жалуйтесь на меня, если имеете что-либо против меня. Оденьтесь получше — таково правило». Я велел Лоренцо привести мне духовника на другой день.

Я оделся парадно, и еврей последовал моему примеру, простившись предварительно со мною, до такой степени он был Убежден, что секретарь освободит его, как только с ним поговорит.

— Мои предчувствия, — прибавил он, — никогда не обманывают меня.

— Поздравляю вас.

Секретарь действительно явился, и как только тюрьма открылась, еврей вышел и бросился на колени перед ним. Я слышал только рыдания и вздохи в течение нескольких минут, потому что секретарь не сказал с ним ни слова. Он вышел, и Лоренцо сказал мне выйти. С восьмьюмесячной бородой, в летнем платье при таком холоде — я должен был иметь очень смешной вид. Я дрожал от холода, что мне очень не нравилось, так как мне пришло в голову, что секретарь подумает, будто я дрожу со страху. Принужденный сильно наклониться, чтобы выйти из моей дыры, — что можно было счесть за поклон, я выпрямился и спокойно посмотрел на него, не обнаруживая нелепой гордости; я ждал, чтобы он заговорил со мною. Секретарь тоже молчал, так что мы оба имели вид двух статуй. Спустя минуты две и видя, что я ничего не говорю, секретарь слег-ка поклонился и вышел. Я вошел к себе и, наскоро раздевшись, лег в постель, чтобы согреться. Еврей удивлялся, что я ничего не сказал секретарю, а между тем мое молчание было гораздо выразительнее всех его рыданий. Заключение моего сорта должен открыть рот перед своим судьей только с тем, чтобы отвечать на вопросы.

В четверг на Святой иезуит пришел исповедать меня, а на другой день священник церкви Св. Марка явился причастить меня. Моя исповедь показалась слишком лаконической сыну Св. Игнатия. Он счел необходимым сделать мне кое-какие увещания, прежде чем отпустить грехи.

— Молитесь ли вы Богу? — спросил он.

— С утра до вечера и с вечера до утра, ибо в моем положении все, что происходит во мне, — мои волнения, беспокойство, все, даже заблуждение моего ума, все это — молитва в словах высшей мудрости, знающей мое сердце.

Иезуит улыбнулся и отвечал мне речью более метафизической, чем нравственной, которая не согласовалась с моими словами. Я бы опроверг его по всем пунктам, если бы он не удивил меня предсказанием. — «Если, — сказал он, — от нас вы получили веру, то веруйте, как мы веруем, молитесь, как мы молимся, и знайте, что вы выйдете отсюда в день святого, которого имя вы носите». — После этих слов он отпустил мне грехи и ушел. Впечатление, которое этот человек произвел на меня, невероятно: что я ни делал, я не мог забыть его.

Иезуит был духовником Корнера, старого сенатора и тогда государственного инквизитора. Этот государственный человек был известным писателем, великим политиком, человеком весьма набожным и автором многих мистических книг, написанных по-латыни. Его репутация была безупречна. Извещенный о том, что я выйду из моей тюрьмы в день моего патрона, и убежденный, что иезуит знал это наверное, я был в восхищении, что у меня есть патрон. Но кто этот патрон? — спрашивал я себя. Это не мог быть Св. Яков Компостелла, которого имя я носил, так как именно в день, посвященный его памяти, мессер-гранде забрал меня. Я взял альманах и, отыскав самого близкого святого, наткнулся на Св. Георгия, о котором я не думал. Потом я пристал к Св. Марку, которого день был 25 того месяца и которого я мог считать своим патроном в качестве венецианца. Я стал обращать к нему свои мольбы, но напрасно, ибо день прошел, а я все находился в тюрьме. Тогда я обратил внимание на день Св. Якова, брата Спасителя, которого день раньше дня Св. Филиппа, но сильно ошибся и тогда пристал к Св. Антонию, который совершает, как уверяют в Падуе, до тринадцати чудес в день, но для меня он чуда не совершил. Таким

образом я переходил от одного святого к другому и нечувствительно привык надеяться на покровительство всех святых так же, как верят во все, что желают, но не придавал этому ни малейшей важности и кончил тем, что действительную надежду положил на мой святой кинжал и на силу моих рук. И тем не менее, предсказание иезуита исполнилось, потому что я вышел из тюрьмы в день Всех Святых и несомненно, что если у меня был какой-либо святой, то он находился в числе тех, которых празднуют в этот день, ибо тогда празднуют их всех. Спустя две недели после Пасхи меня освободили от моего неудобного еврея; его присудили к заключению на два месяца в Кватро: когда он оттуда вышел, он поселился в Триесте и там кончил свои дни. Оставшись один, я деятельно принялся за дело. Приходилось спешить в виду того, что мог явиться новый неудобный товарищ, который, подобно еврею, мог быть помешан на опрятности. Я начал с того, что выдвинул кровать и, зажегши лампу, сел на пол и, взяв свой инструмент в руки, приготовил салфетку для собирания сору, по мере того как я буду работать.

Дело было в том, чтобы уничтожить доску, вводя в нее кончик моего инструмента. Сначала куски, добываемые мною таким образом, были не больше зерна пшеницы, но вскоре они стали значительно увеличиваться.

Доска была из лиственницы, шириной в шестнадцать дюймов. Я принялся за нее в том месте, где она соприкасалась с другой доской, и так как не было ни гвоздя, ни какой-либо связи, то моя работа подвигалась довольно быстро. После шести часов труда я завязал салфетку и отложил ее в сторону, чтобы высыпать сор на другое утро в кучу бумаг, находившуюся в галерее. Эти остатки были по своему объему в четыре или в пять раз больше дыры, сделанной мною. Я поставил кровать на прежнее место и на другой день, высыпав сор из салфетки, убедился, что он не будет замечен.

Справившись с первой доской, оказавшейся толщиной в два дюйма, я был остановлен второй, которая мне показалась похожей на первую. Боясь новых посещений, я удвоил усилия и в три недели справился с тремя досками, составлявшими пол; но тут я пришел в ужас, потому что увидел слой маленьких кусков мрамора, известного в Венеции под названием *terrazzo marmogin*. Это обыкновенная настилка комнат всех венецианских домов, за исключением домов бедных, потому что даже богатые люди предпочитают *terrazzo* всем самым красивым паркетам. Я пришел в уныние, убедившись, что мой инструмент не трогает этой настилки. Это обстоятельство сильно меня огорчило и обескуражило. Тогда я вспомнил, как Аннибал, по рассказу Тита Ливия, открыл себе проход через Альпы, разбивая скалы ударами топоров, сделав их мягкими с помощью уксуса. Я полагал, что Аннибал достиг этого не при помощи *aceto*, но при помощи *aceta*, что, на падуанской латыни, могло означать *oscia*: к тому же можно ли быть уверенным в верности копииста? Во всяком случае я вылил в углубление целую бутылку сильного уксуса, и на другой день вследствие ли влияния уксуса, или вследствие того, что, отдохнувши, я принялся за дело с большей энергией, я увидел, что восторжествовать и над этой трудностью, так как дело касалось не того, чтобы разбивать мрамор, а лишь превратить в порошок цемент, соединяющий куски мрамора. Вскоре, впрочем, я увидел с радостью, что самая большая трудность находилась лишь на поверхности. В четыре дня вся эта мозаика была уничтожена, не притупив нисколько моего кинжала.

Под мраморной настилкой я нашел опять доски, как, впрочем я и ожидал. Я решил, что это должен быть последний слой, то есть первый, считая снизу, которого балки держивают потолок. Я принялся за этот слой с большим трудом, потому что моя дыра имела десять дюймов глубины и управлять инструментом было трудно. Я сотню раз обращался к милосердию Бога. Умники, утверждающие, что молитва ни на что не годится, не знают, что говорят; я знаю по опыту, что после молитвы я всякий раз ощущал в себе больше силы, а этого достаточно, чтобы доказать ее пользу, потому ли, что увеличение энергии исходит непосредственно от Бога, или же от доверия, которое имеешь к нему.

25 июня, день, когда венецианская Республика празднует чудесное появление Св. Марка в эмблематической форме крылатого льва в Церкви дождей, появление, которое, по

преданию, имело место в XI столетии; в этот день, говорю я, около трех часов пополудни, в ту минуту, когда, раздевшись и весь в поту, я работал над окончанием моей дыры при зажженной лампе, я вдруг услышал с ужасом звон ключей и шум отворяющихся дверей в галерее! Какая ужасная минута! Я тушу лампу и, оставив кинжал в дыре, бросаю туда же салфетку с сором, ставлю на место кровать и ложусь на нее ни жив ни мертв в ту минуту, когда открылась дверь в мою тюрьму. Двумя минутами раньше, и Лоренцо застал бы меня на месте преступления. Он чуть не наступил на меня, но я предостерег его.

— Господи! Жалко вас; здесь так же жарко, как в печке. Встаньте и поблагодарите Бога, посылающего вам прекрасное общество. Войдите, войдите, Ваша Милость, — прибавил он, обращаясь к несчастному, следовавшему за ним.

И этот грубиян, несмотря на беспорядок моего платья, вводит господина, который, видя меня в таком положении, старается не смотреть на меня, в то время как я искал моей рубашку.

Этот новый пришелец подумал, что его привели в ад, и воскликнул:

— Где я? Куда меня привели? Какая жара! Какая вонь! С кем я?

Лоренцо вывел (его и попросил меня надеть рубашку и выйти в галерею. Он прибавил, обращаясь к новому заключенному, что, получив приказание отправиться за его кроватью и всеми необходимыми вещами, он оставляет нас в галерее до своего возвращения; что в это время тюрьма проветрится от скверного запаха, который происходит от масла. Я был чрезвычайно удивлен, услышав эти слова. Дело в том, что я забыл впопыхах снять копоть. Лоренцо не сделал мне никакого вопроса по этому поводу, и я решил, что он все знает через еврея.

Напялив на себя рубашку и халат, я вышел и увидал моего нового товарища, записывавшего карандашом то, что тюремщик должен был принести ему. Как только он взглянул на меня, он воскликнул:

— Э! Да это — Казанова!

Я узнал аббата графа Фенароло, из Брешии, человека лет пятидесяти, любезного, богатого и любимого в хорошем обществе. Он обнял меня, и когда я ему сказал, что скорее ожидал бы видеть здесь всю Венецию, прежде чем его, он не мог удержать своих слез; это и меня очень взволновало.

Как только мы остались одни, я ему сказал, что когда его кровать будет принесена, я предложу ему альков, но прошу не принимать моего предложения. Я просил его также не требовать выметания пола, обещая ему объяснить это впоследствии. Обещав мне держать все это в тайне, он сказал мне, что считает себя счастливым, что его посадили вместе со мною. Он мне сказал, что так как никто не знал, за что я посажен под Пломбы, то всякий желал угадать это. Одни утверждали, что я был главой новой секты, другие говорили, будто г-жа Меммо уверяла инквизиторов, что я совращаю ее сыновей в атеизм, третьи — что Кондильмер, государственный инквизитор, посадил меня под Пломбы как возмутителя общественного спокойствия, так как я освистывал комедию аббата Киари и вознамерился отправиться в Падую нарочно, чтобы убить его.

Все эти обвинения были не вполне безосновательны, вследствие чего казались правдоподобными, но в действительности все они были совершенно ложны. Я не настолько интересовался религиозными вопросами, чтобы основывать новую секту. Сыновья г-жи Меммо, люди умные, были гораздо способнее сами соблазнять, чем быть соблазненными, а что касается Кондильмера, то ему было бы слишком много труда засаживать всех, кто освистывал пьесы аббата Киари; относительно же этого аббата, экс-иезуита, я ему простил, потому что известный отец Ориго, тоже бывший иезуитом, научил меня отомстить Киари тем, чтобы говорить всюду об нем одно хорошее, что подзадоривало шутников подсмеиваться над ним: таким образом, я был отомщен без всякого труда со своей сто

К вечеру принесли хорошую кровать, хорошее белье, духи, прекрасный ужин и вкусное вино. Аббат заплатил обыкновенную дань, то есть ничего не ел: я поужинал с большим аппетитом за двоих.

Как только Лоренцо пожелал нам покойной ночи и удалился до завтра, я вытащил мою лампу, которую, однако, нашел пустой, потому что масло вылилось. Я много смеялся по этому поводу, потому что увидел, что огонь мог зажечь салфетку и таким образом произвести пожар. Я сообщил это моему товарищу, который посмеялся вместе со мною; потом, зажегши снова лампу, мы провели ночь, приятно болтая. Вот история его ареста.

«Вчера, часа в три после полудня, я, г-жа Алессандри и граф Мартиненго сели в гондолу. Мы приехали в Падую побывать в Опере, с тем, чтобы после театра возвратиться сюда. Во втором акте мой злой гений заставил меня отправиться на минуту в залу карточной игры, где я имел несчастье увидеть графа Розенберга, венского посланника, с приподнятой маской, а в десяти шагах от него — г-жу Руццини, которой муж должен на днях отправиться в Вену в качестве посланника Республики. Я поклонился им и уже собирался уйти, как вдруг посланник сказал мне громким голосом: „Вы очень счастливы, что можете приветствовать такую любезную даму. В эту минуту, вследствие лица, которое я представляю здесь, самая прелестная в мире страна становится для меня тюрьмой. Скажите ей, что законы, мешающие мне говорить с ней здесь, бессильны в Вене, где я ее увижу в будущем году, и тогда я объявлю ей войну“. Г-жа Руццини, догадавшись, что говорят о ней, спросила меня, что говорит граф, и я передал слова графа. „Ответьте ему, — отвечала она, — что я принимаю объявление войны и что мы увидим, кто лучше поведет ее“. Я не полагал сделать преступление, передавая ему этот ответ, который, в сущности, был простым комплиментом. После Оперы, закусив слегка, мы отправились в обратный путь и приехали сюда в полночь. Я собирался лечь спать, как вдруг мне вручили записку, заключающую в себе приказ отправиться в Буссоло в час, так как синьор Бузинелло, секретарь Совета Десяти, желает со мной поговорить. Удивленный таким приказом, всегда неприятным, и принужденный исполнить его, я отправился в час в назначенное место, и г-н секретарь, не удостоив меня ни одним словом, приказал меня Посадить сюда».

Конечно, ничего не было преступного в поступке графа Фенароло, но существуют законы, которые можно преступать невинно, но которые наказывают тем не менее виновных. Я поздравил его в том, что ему известно его преступление, и выразил уверенность, что после недели заключения его освободят, пригласив отправиться на шесть месяцев в Брешию. Я не думаю, отвечал он, что меня оставят здесь на неделю. С этой мыслью я его оставил. Я решил развеселить его, чтобы хотя несколько смягчить горечь заключения, и так отождествился с его положением, что забыл свое.

На другое утро Лоренцо принес кофе и корзину, наполненную всем, что нужно для хорошего обеда. Аббат был очень удивлен, потому что никак не мог понять, каким образом можно есть в такой час. Нам позволили погулять в галерее целый час, после чего нас снова заперли и все было кончено на целый день. Блохи, мучившие нас, были причиной того, что он меня спросил, почему я не позволяю выметать пол. Было невозможно уверить его, что мне могла нравиться подобная неопрятность или что моя кожа была нечувствительнее, чем его. Я все ему рассказал и все показал. Он раскаивался, что заставил меня сделать это признание, но советовал продолжать дело энергично и, если возможно, окончить отверстие в течение дня, желая помочь мне спуститься и затем вытянуть веревку, не желая, что касается лично его, ухудшить свое положение побегом. Я показал ему модель машины, с помощью которой я был намерен притянуть к себе простыню, которая заменит мне веревку: это была небольшая палочка, к одному концу которой была привязана тесемка. Простыня должна была быть прикреплена к кровати только этой палочкой, а тесемка должна была спускаться до самого паркета залы инквизиторов, так что, как только я попаду в залу, я потяну за тесемку и простыня упадет. Он убедился в правильности моего расчета и поздравил меня, тем более что эта предосторожность была необходима, так как если бы простыня осталась висющей, то это послужило бы первым указанием моего побега. Мой товарищ был того мнения, что я должен приостановить свою работу, потому что должен был бояться какой-нибудь случайности, имея нужду в нескольких днях, чтобы окончить отверстие, которое должно стоить жизни Лоренцо. Мысль выкупить мою свободу ценой жизни такого существа

могла ли меня остановить. Я бы поступил точно так же, если бы мой побег стоил жизни всем солдатам Республики и, конечно, всем инквизиторам. Мое веселое расположение духа не мешало моему товарищу задумываться от времени до времени. Он был влюблен в г-жу Алессандри, которая была певицей и любовницей или женой Мартиненго, и он должен был быть счастлив; но чем более любовник счастлив, тем он несчастнее, как только его удаляют от предмета его любви. Он вздыхал, проливал слезы и говорил, что любит женщину, которая заключала в себе все добродетели. Я жалел его, но остерегался сказать ему, в виде утешения, что любовь пустяки, — утешение самое мрачное, которое дураки дают влюбленным. К тому же несправедливо, чтобы любовь была пустяком.

Неделя прошла быстро. Я потерял этого милого товарища, но не жалел его: он возвращался к свободе, и этого было достаточно, чтобы я был доволен. Я, конечно, и не подумал просить его о сохранении тайны: малейшее сомнение в этом отношении могло оскорбить его прекрасную душу. В течение недели, которую он провел со мной, он питался лишь супом, плодами и Канарским вином: я уплетал его обеды вместо него, и он был доволен этим. Прощаясь, мы поклялись друг другу в вечной дружбе.

На другой день Лоренцо принес счет моим деньгам: оказалось, что в остатке было четыре цехина, которые я и подарил его жене, за что он чувствительно меня поблагодарил.

Принявшись снова за работу и продолжая ее без перерыва, я вполне окончил ее 23 августа. Такая задержка произошла вследствие очень простого обстоятельства. Продырявливая последнюю доску, по-прежнему с большой осторожностью, я приложил глаз к маленькому отверстию, через которое должен был увидеть залу инквизиторов. Я ее действительно и увидел, но тут же сбоку я увидел перпендикулярное пространство приблизительно в восемь дюймов. Это была — чего я всегда боялся — одна из балок, поддерживавшая потолок. Это заставило меня увеличить отверстие в противоположную сторону, ибо балка сделала бы отверстие таким узким, что я не пролез бы сквозь него. Я поэтому увеличил его на четверть, волнуемый постоянно надеждой и страхом. После этого я убедился, что Бог благословил мою работу. Я закупорил тщательно маленькие дырки, чтобы ничего не упало в залу или чтобы никакой луч моей лампы не проник туда, — что несомненно привело бы к открытию моего намерения.

Я определил момент моего побега в ночь накануне дня Св. Августина, потому что знал, что вследствие этого праздника совет собирается и что, следовательно, никого не будет в Буссоло, соприкасающуюся с комнатой, через которую я должен был непременно пройти. Это должно было быть 27-го, но 25-го в полдень со мной случилось несчастье, о котором я и теперь еще вспоминаю с содроганием, хотя столько лет разделяет это событие от настоящего времени.

В полдень я услышал отворяющиеся двери и чуть не упал в обморок. В ужасе я бросился в кресло и ожидаю. Лоренцо, войдя в галерею, приставил лицо к решетке и сказал мне весело «Поздравляю вас с доброй новостью, которую приношу вам» Предположив, что дело касается моего освобождения, вздрогнул, потому что чувствовал, что открытие моего намерения приведет меня опять к заключению.

Лоренцо входит и говорит, чтобы я следовал за ним.

— Подождите, я сейчас оденусь.

— Зачем? Ведь вам приходится только перейти из одной тюрьмы в другую, светлую и новую, с двумя окнами, из которых вы будете видеть половину Венеции; и вам можно будете там стоять, не сгибаясь.

Больше я не мог вынести; я чувствовал, что падаю.

— Дайте мне уксусу и ступайте сказать господину секретарю, что я приношу ему благодарность за эту милость и прошу его оставить меня здесь.

— Вы смеетесь! Уж не помешались ли вы? Как! Вас хотят освободить от этого хлева и посадить в рай, а вы отказываетесь? Нечего шутки шутить, — слушайте без разговоров, встаньте. Я вам помогу встать и перенесу ваши вещи и книги...

Видя, что всякое сопротивление бесполезно, я встаю и чувствую большое облегчение,

услышав, как он приказывает солдату перенести мое кресло, ибо вместе с ним за мной последует инструмент, а с инструментом и надежда. Я бы хотел перенести с собой и сделанное мною отверстие — предмет стольких трудов и стольких погибших надежд. Я могу сказать, что, уходя из этого ужасного места страдания, я оставил там всю свою душу.

Поддерживаемый Лоренцо, который своими глупыми шутками хотел меня развеселить, я прошел через два узкие копора и, спустившись на несколько ступеней, вошел в очень светлую залу; через нее мы прошли налево в маленькую дверь в другом коридоре шириной в два фута и длиной приблизительно в двенадцать; в конце этого коридора находилась моя новая тюрьма. Там было окно с решеткой; это окно выходило в коридор, имевший два окна тоже с решеткой; и оттуда можно было созерцать прекрасный вид до самого Лидо. Я не был расположен воспользоваться этим в эту печальную минуту. Однако я убедился впоследствии, что через это окно, когда оно было открыто, врывался мягкий приятный воздух, который умерял ужасный жар комнаты.

Читатель легко поймет, что все эти наблюдения были сделаны лишь впоследствии. Как только я вошел в мою новую тюрьму, Лоренцо поставил там мое кресло и ушел, сказав, что принесет мне мои остальные вещи.

Стоицизм Зенона*, атаксия пирронианцев* представляют образы самые необыкновенные. Я думаю, что всякий человек, принужденный высказаться о нравственной возможности или невозможности, имеет право говорить лишь о самом себе, ибо, будучи искренним, нельзя признать внутреннюю силу, которой бы зародыш он не чувствовал в самом себе. По отношению к этому нахожу в себе следующее: человек, благодаря приобретенной силе, благодаря изучению, может достичь того, что не будет кричать в страдании и будет силен против импульса первых движений. Но и только. *Abstine* и *sustine* характеризуют хорошего философа; но физические страдания, которые мучат стоика, не меньше тех, которые мучат эпикурейца, и огорчения сильнее действуют на того, кто их скрывает, чем на того, который находит действительное облегчение в жалобе. Тот, кто хочет показать свое равнодушие к событию, решающему его судьбу, только играет комедию, если он не идиот или не безумец; а тот, который хвастает своим полным спокойствием, лжет, что бы там ни говорил Сократ. Я могу верить Зенону, когда он мне говорит, что отыскал тайну помешать природе бледнеть, краснеть, плакать и смеяться.

Я сидел в своем кресле, без движения, подобно статуе, в ожидании бури, но без боязни. Мое отупение происходило от ужасной мысли, что все мои труды, все комбинации, устроенные мною, погибли; однако я сожалел об этом, но не раскаивался.

Вознося мои мысли к Богу, я не мог не рассматривать моего нового несчастья как наказания, исходящего от Бога, за то что я не совершил побега, как только все было готово.

Тем не менее, полагая, что я мог его совершить тремя днями раньше, я этого в сущности не мог сделать, тем более что отложил минуту освобождения вследствие благоразумия. Ускорить свой побег я мог только вследствие своего рода откровения, а учение Марии Аграды не сделало меня еще настолько безумным.

Я находился в этом состоянии беспокойства и отчаяния, когда два сбира принесли мою кровать. Они сейчас же вышли за другими вещами, но прошло более двух часов, прежде чем я увидел кого-либо, хотя двери моей новой тюрьмы были открыты. Это обстоятельство весьма меня озабочивало, но я никак не мог себе его объяснить. Я знал только, что должен был бояться всего, и это заставляло меня прибегать к усилиям успокоиться, чтобы перенести все несчастья, угрожавшие мне.

Кроме Пломб и Кватро, государственные инквизиторы имели в своем распоряжении еще девятнадцать других ужасных тюрем под землею, в том же Дворце дождей — тюрем ужасных, предназначенных для несчастных, которых не хотят казнить, хотя их преступления считались достойными казни.

Все судьи всегда считали особенной милостью дарование жизни тем преступникам, которых действия заслуживали смерти, но часто это мгновенное страдание заменяется самым ужасным положением, и часто таким, что каждая минута этого страдания, вечно

возобновляемого, гораздо хуже смерти. Рассматривая дело с точки зрения религиозной и философской, такая замена наказания может считаться милостью только в том случае, когда сам преступник смотрит так; но редко обращают внимание на желания преступника, и тогда эта будто бы милость становится настоящей несправедливостью.

Эти подземные тюрьмы вполне похожи на могилы, но их называют «Колодцами», потому что там всегда находится два фута воды, проникающей туда с моря через то же отверстие, через которое они получают немного света; это отверстие имеет не более одного квадратного фута. Если только несчастный, ий в этих отвратительных клоаках, не намеревается выдаться в морской воде, он принужден сидеть целый день на остках, где находится соломенный тюфяк, который и служит ему'столом. Утром ему дают кружку воды, немного от-(ратительного супу и порцию солдатского хлеба, и все это он оинужден съедать немедленно, если не желает, чтобы эта пища сделалась добычей громадных морских крыс, населяющих эти ужасные подвалы. В большинстве случаев несчастные, заключенные в Колодцах, кончают там свою жизнь, хотя между ними есть люди, достигающие глубокой старости. Один преступник, умерший там в то время, когда я находился под Пломбами, провел там целых тридцать семь лет, и ему было семьдесят четыре года, когда его туда заключили. Убежденный, что он заслужил смерть, — весьма вероятно, что замена казни заключением в Колодцах показалась ему милостью, потому что есть существа, боящиеся лишь одной смерти. Его звали Бегелен. Будучи французом, он служил капитаном в войсках Республики во время последней войны с турками в 1716 году. Он находился под командой маршала графа Шуленбурга, принудившего великого визиря снять осаду Корфу. Этот Бегелен был шпионом маршала: он переодевался в турка и в. таком виде отправлялся в лагерь мусульман; но будучи шпионом великого визиря, он был уличен в этом; понятно, что для него было милостью то, что его заключили в Колодцы. Там он только скучал и был вечно голоден; но имея такой подлый характер, он, вероятно, часто повторял: «*Dum vita saperest bene est*» (Пока остается жизнь — все хорошо).

Мне случилось видеть в Шпильберге, в Моравии, и тюрьмы еще ужаснее: в знак особой милости там заключали преступников, приговоренных к смерти, но ни один из них не мог вынести этой милости больше одного года.

В течение этих двух часов, под влиянием самых мрачных раздумий, я, понятно, боялся, чтобы меня не заключили в эти ужасные Колодцы, где несчастный питается химерическими надеждами, где его поражает панический ужас. Трибунал способен был отправить в ад всякого, кто попробовал бы сбежать из чистилища.

Наконец я услышал быстрые шаги и увидел перед собой Лоренцо с лицом, искаженным от злобы, задыхавшимся от бешенства и с проклятием на устах. Он начал с того, что приказал мне передать ему топор и инструменты, служившие мне для произведения отверстия, и объявить ему, кто из сбиров доставил их мне. Я отвечал ему, не трогаясь с места и совершенно хладнокровно, что не знаю, о чем он меня спрашивает. При этом ответе он приказывает обыскать меня, но, встав с угрожающим видом, и не допуская мерзавцев и, раздевшись донага, говорю: «Делайте ваше дело, но не прикасайтесь ко мне». Обыскивают тюфяк, опорожняют матрас, мнут подушки и ничего не находят.

— Вы не хотите мне сказать, где спрятан инструмент, которым вы сделали отверстие, но найдутся средства заставить вас говорить.

— Если действительно я где-либо сделал дыру, то я скажу, что вы мне доставили средства к этому и что я вам все отдал.

При этой угрозе, которая заставила улыбнуться людей, стоявших тут, и которых он, вероятно, рассердил как-нибудь, он затопал ногами, стал рвать на себе волосы и выбежал точно бешеный. Его прислужники возвратились и принесли мне все остальные мои вещи, за исключением куска мрамора и лампы. Прежде чем оставить коридор и запереть меня на ключ, он закрыл оба окошка, посредством которых я получал немного воздуха. Я очутился в узком пространстве, почти совершенно лишенном воздуха. Однако мое положение не особенно меня огорчило, потому что я принужден был согласиться, что отделался довольно

легко. Лоренцо не пришло в голову опрокинуть кресло, и, имея еще в своем владении кинжал, я горячо поблагодарил Провидение и был уверен, что мне еще позволено считать его счастливым орудием, благодаря которому я могу рано или поздно освободиться.

Я провел ночь не спавши как по причине жары, так и по причине испытанных мною перемен. На заре Лоренцо возвратился и принес мне отвратительного вина и такой воды, какую нельзя было пить. Все остальное было в том же роде, сухой салат, вонючее мясо и твердый, как камень, хлеб. Он не приказал убрать тюрьму, и когда я попросил его открыть окно, он сделал вид, что не слышит меня; но один служитель принялся постукивать по стенам и по полу железной палкой и в особенности под моей кроватью. Я смотрел на это равнодушно, но заметил, что он не постукивал по потолку. Через потолок, сказал я себе, я выйду из этого ада. Однако чтобы этот проект мог быть приведен в исполнение, нужны были условия, не зависящие от меня, ибо я ничего не мог сделать, что не было бы заметно.

Тюрьма была новая, малейшая царапина была бы замечена моими сторожами.

Я провел ужасный день, потому что жар был невыносимый и, кроме того, не было никакой возможности съесть пищу, принесенную мне. Пот и недостаток в пище причинили мне такую слабость, что к не мог ни читать, ни ходить. На другой день мой обед был точно такой же: вонь, исходящая от куска телятины, которую тюремщик мне принес, заставила меня отступить. Уж не получил ли он приказания уморить меня голодом и жарой? Он запер мою тюрьму и не отвечал мне. На третий день то же самое. Я требую карандаш и бумагу, чтобы написать секретарю: никакого ответа.

В отчаянии я съедаю суп и, обмакнув кусок хлеба в кипрское вино, решаюсь придать себе силы, чтобы на другое утро отомстить Лоренцо, вонзив ему в горло мой кинжал. Подстрекаемый бешенством, я был уверен, что мне не остается ничего другого. Ночь успокоила меня, и на другой день, как только мой палач явился, я ему сказал, что убью его, как только буду освобожден. Он расхохотался от моей угрозы и вышел, не сказав ни слова.

Я начал думать, что он действует по приказанию секретаря, которому он, вероятно, все открыл. Я не знал, что делать, во мне боролись терпение и отчаяние, мое положение было ужасно, я умирал с голоду. Наконец на восьмой день дрожащим голосом, с бешенством в сердце и в присутствии сторожей, я требую отчета в моих деньгах. Он сухо отвечал мне, что принесет счет завтра. Тогда, в то время как он приготовился выйти, я беру ведро и приступаю выбросить содержимое в коридор. Предупреждая мое намерение, он приказывает одному сторожу взять его у меня, и чтобы изгнать ужасную вонь при этой операции, он открывает одно окно, которое закрывает, как только дело было сделано, несмотря на мои крики, и я остался среди этой вони. Полагая, что этим я обязан брани, которую себе позволил относительно него, я приготовился третировать его еще хуже на другой день, но как только он появился, мое бешенство прекратилось, ибо, прежде чем представить мне счет, он передал мне корзину с лимонами, присланную мне Брагадином, так же как бутылку хорошей воды и славно зажаренную курицу, имевшую очень аппетитный вид; кроме того, один из сторожей открыл окно. Когда он представил мне счет, я посмотрел только на сумму и сказал, чтобы он отдал остальное своей жене, за исключением одного цехина, который я приказал ему отдать сторожам, прислуживавшим мне. Эта любезность привлекла на мою сторону этих несчастных, которые поблагодарили меня самым горячим образом.

Лоренцо, нарочно оставшись со мной один, сказал мне следующее:

— Вы уже мне сказали, что от меня получили предметы, необходимые, чтобы сделать отверстие: мне этого довольно; но не будете ли вы так добры сказать мне, откуда вы получили вещи, необходимые для лампы?

— От вас.

— Признаться, вы меня удивляете, я не думал, что ум заключается в нахальстве.

— Я не лгу. Вы сами, своими собственными руками, дали мне все необходимое: масло, кремь, спички: остальное у меня было.

— Вы правы; но не можете ли вы так же легко убедить меня, что и инструменты, с

помощью которых вы сделали отверстие, были даны мною?

— Конечно.

— Господи! Что я слышу! Каким это образом я мог дать вам топор?

— Я вам скажу и скажу правду, но это я сделаю только в присутствии секретаря.

— Хорошо, я больше ничего не хочу знать, я вам верю. Я прошу вас только молчать: подумайте только, что я человек бедный и что у меня дети.

Он ушел, схватившись руками за голову.

Я был очень рад, что нашел средство держать в руках этого негодяя, которому все-таки судьбой было решено умереть по моей милости. Я увидел, что его личный интерес заставлял его умалчивать о том, что произошло.

Я приказал Лоренцо купить мне произведения Маффеи: этот расход не нравился ему, но он мне не смел об этом сказать. Он меня спросил только, на какого рожна мне нужны книги, которых и без того у меня столько.

— Я уже все перечитал; мне нужно новое.

— Я вам добуду книг одного здешнего заключенного, если вы захотите дать по прочтении ваши. Таким образом, вы сэкономите ваши деньги.

— Но, может быть, это романы, а романы я не люблю.

— Нет, это книги ученые; если вы полагаете, что вы единственная умная голова здесь, то вы сильно ошибаетесь.

— Хорошо, мы увидим. Вот книга, которую я даю на прочтение умной голове; принесите мне от него взамен другую.

Я дал ему «Rationarium» Пето; через несколько минут он мне принес первый том Вольфа. Весьма довольный этим, я сказал ему, что обойдусь без Маффеи, что весьма его обрадовало. Не столько восхищенный перспективой этого ученого чтения, как случаем попробовать войти в сношения с кем-либо из заключенных, могущих помочь мне в моем проекте бежать, проекте, который начал уже возникать в моей голове, я открыл книгу, как только Лоренцо ушел, и с радостью увидел на одной странице перифраз следующих слов Сенеки: «Calamitosus est animus futuri anxius» (Человек, занимающийся будущим несчастьем, очень несчастлив) — перифраз, написанный очень хорошими стихами. Я сейчас же написал несколько стихов в ответ, и вот что я предпринял, чтобы написать их. Я откусил ноготь моего мизинца; ноготь был очень длинен: я очинил его вроде того, как чинят перья. У меня не было чернил, и я уже думал уколоться и писать кровью, но догадался, что сок тутовых ягод легко заменит мне чернила, а они у меня были. Кроме стихов, я написал каталог моих книг и поместил его на спинке той же книги. Нужно знать, что в Италии книги обыкновенно переплетаются в пергамент и так, что с внутренней стороны переплет имеет карман. На самом месте заглавия я написал «latet» (спрятано). Я с нетерпением желал получить ответ; поэтому, когда на другое утро Лоренцо вошел, я ему сейчас же сказал, что книгу я прочитал и что прошу прислать мне другую. Через несколько минут у меня был уже другой том. Как только я остался один, я открыл книгу и нашел отдельный листок, исписанный по-латыни и заключающий в себе следующие слова: «Нас двое в этой тюрьме, и мы очень рады, что невежество жадного тюремщика доставляет нам преимущество, беспримерное в этих местах. Я, пишущий Вам, называюсь Мартино Бальби, я благородный венецианец и монах, а мой товарищ- граф Андреа Аскино д'Удинэ, из Фриуля. Он поручает мне сказать Вам, что все книги, имеющиеся у него, и книги, список которых Вы найдете здесь, — к Вашим услугам, Во считаем нужным предупредить Вас, что необходимы всевозможные предосторожности, чтобы скрыть наши сношения».

В положении, в котором мы находились, немудрено, что нам пришла в голову одна и та же мысль — мысль отправить друг другу каталог наших крошечных библиотек и воспользоваться для этого переплетом книг: это дело было результатом простого здравого смысла; но я нашел странным рекомендацию осторожности, сделанную на листке. Казалось невозможным, чтоб Лоренцо не открыл книги; в этом случае он бы непременно заметил листок и заставил бы кого-нибудь прочитать написанное: и все бы погибло в самом начале.

Это обстоятельство заставило меня предположить, что мой корреспондент был порядочный ветреник.

Прочитав каталог, я написал, кто я, каким образом был арестован, сообщил, что не знаю, в чем меня обвиняют, и высказал надежду, что скоро буду освобожден. В ответ на это Бальби написал мне письмо в шестнадцать страниц. Граф Ас-кино ничего не написал. Вот уже четыре года, как он находился в заключении за то, что был связан с тремя девицами, от которых имел троих детей, окрещенных им под его именем. В первый раз он отделался выговором своего настоятеля, во второй раз ему пригрозили наказанием; в третий — посадили в тюрьму. Настоятель ежедневно посылал ему из монастыря обед. В своем письме он мне говорил, что настоятель и трибунал — тираны, ибо они не имеют никакой власти над его совестью, что будучи уверенным, что трое детей действительно были его собственными детьми, он считал своей обязанностью дать им свое имя. Он заключал, говоря, что не мог не признать публично своих детей, чтобы клевета не заклемила трех порядочных женщин, от которых он их имел, и что, к тому же, он не мог подавить в себе голоса природы, говорившей ему в пользу этих невинных существ. Он кончил следующими словами: «Нечего бояться, чтобы настоятель совершил подобное же преступление, ибо он чувствует нежность только к своим ученикам».

Этого было достаточно, чтобы я себе составил понятие об этом человеке. Оригинальный, чувственный, плохой логик, злой, глупый, неблагоразумный, невежественный — все это находилось в его письме, потому что, сообщив мне, что он был очень несчастлив без графа Аскино, которому было семьдесят лет, он употребил затем целых две страницы, клеветая на него и описывая его недостатки и смешные привычки. Будучи на свободе, я бы не ответил человеку такого характера, но под гнетом мне приходилось пользоваться всяким. В кармане переплета я нашел карандаш, бумагу, перья, что позволило мне писать сколько угодно.

Он точно так же сообщил мне историю всех заключенных, которые находятся под Пломбами, и тех, которые там находились в течение четырех лет его пребывания там. Он мне сказал, что тот сторож, который тайком покупал ему все, что ему было нужно, и который сообщал ему имена всех заключенных и то, что он знал о них, был Николо; в доказательство он сообщил мне то, что знал о моей дыре. Он мне сказал, что меня перевели в другое помещение, чтобы посадить в мою прежнюю тюрьму патриция Приули, и что Лоренцо употребил два часа на то, чтобы заделать дыру, что он потребовал держать все в секрете от плотника, от слесаря и от всех служителей под угрозой смерти. Еще один день, прибавлял сторож, и Казанова убежал бы очень остроумным образом, а Лоренцо повесили бы, ибо хотя тюремщик и очень был удивлен при виде дыры, но несомненно, что он доставал мне необходимые инструменты для такой трудной работы. «Николо мне сказал, — прибавлял корреспондент, — что Брагадин обещал дать ему тысячу цехинов, если он облегчит вам возможность побега, но Лоренцо, зная это, надеется сам получить награду, ничем не рискуя, выхлопотавши через свою жену ваше освобождение от синьора Диедо. Никто из сторожей не смеет говорить о том, что произошло, из боязни, что Лоренцо, если сумеет оправдаться, прогонит его». Он просил меня рассказать ему в подробности все дело, сообщив ему, как я добыл себе инструмент, и рассчитывать на его молчание.

Я вполне был уверен в его любопытстве, но нисколько в его молчании, тем более, что самая его просьба доказывала, что он самый болтливый из людей. Я находил, однако, что мне необходимо сохранить его, потому что он мне казался способным предпринять все, что я захочу, лишь бы достичь свободы. Я принялся за ответ, но в голову мне закралось подозрение, заставившее меня приостановить посылку того, что я написал. Я вообразил себе, что вся эта переписка есть не более как уловка Лоренцо с целью вывести: кто мне доставил инструмент. Желая удовлетворить его любопытство, не компрометируя себя, я отвечал ему, что сделал отверстие при помощи ножа, имеющегося у меня, и что этот нож я спрятал на подоконнике. Не более как через три дня это ложное признание вполне меня успокоило, потому что Лоренцо и не подумал рассматривать подоконник, что, конечно, он бы сделал,

если б мое письмо было перехвачено. К тому же Бальби написал мне, что он знал о существовании ножа, потому что Лоренцо сказал ему, что меня не обыскали, когда привели. Лоренцо не получал на это приказа, и это обстоятельство, может быть, спасло бы его, если б я действительно убежал, потому что он утверждал, что, получая арестованного из рук начальника сборов, он должен был предполагать, что его обыскали. С своей стороны, мессер-гранде, вероятно, сказал бы, что так как он меня взял с кровати, он был уверен, что у меня не было никакого оружия, и это препирательство, может быть, спасло бы как одного, так и другого. Монах кончил тем, что просил меня прислать ему нож через Николо, которому я мог довериться.

Легкомыслие этого монаха решительно ставило меня в тупик. Я ему отвечал, что не чувствую никакого желания довериться Николо и что мой секрет такого рода, что я не могу доверить его бумаге. Его письма, однако, забавляли меня. В одном из них он сообщал мне причину заключения графа Аскино, несмотря на его беспомощное положение, потому что он был чрезвычайно толст и, вывихнув себе ногу, он почти не был в состоянии двигаться. Монах писал мне, что граф, не будучи богатым, занимался адвокатством в Удине и в качестве адвоката защищал крестьян в городском совете против дворянства, которое намеревалось лишить крестьян права голоса в провинциальных собраниях. Требование крестьян волновало общество, и, желая усмирить их правом сильнейшего, дворяне адресовались к государственным инквизиторам, приказавшим графу-адвокату отказаться от защиты крестьян. Граф отвечал, что городской устав уполномочивает его защищать конституцию, и на этом основании не послушался: инквизиторы заключили его, несмотря на конституцию, и вот целых пять лет он вдыхает полезный для здоровья воздух Пломб. У него было, как и у меня, пятьдесят су в день, но кроме того, он сам располагал этими деньгами. Монах, у которого никогда не было ни копейки, очень скверно отзывался о своем товарище, в особенности о его скупости. Он уведомил меня также, что в тюрьме по ту сторону залы находились еще два дворянина Семи Общин, посаженные точно так же за непослушание, что один из них помешался и его держат на привязи; наконец, еще в другой тюрьме содержатся два нотариуса.

Все мои подозрения совершенно рассеялись; вот каким образом я рассуждал.

Я во что бы то ни стало хочу выйти на свободу. Кинжал, имеющийся у меня, превосходен, но пользоваться им я не могу, потому что каждое утро мою тюрьму осматривают, за исключением потолка. Если поэтому я хочу выйти отсюда, то должен выйти через потолок, но для этого мне необходимо проделать в потолке отверстие, а приняться за это мне невозможно снизу, тем более, что это не дело одного дня. Мне необходим был помощник: он может бежать вместе со мною. Выбора у меня не было: я мог рассчитывать только на монаха. Ему было тридцать восемь лет, и хотя он не был богат здравым смыслом, я думал, что любовь к свободе, эта первейшая потребность человека, придаст ему достаточно решимости, чтоб исполнять указания, даваемые мною. Нужно было начать с того, чтобы вполне довериться ему, а затем приискать средство доставить ему инструмент. Оба пункта нелегко было выполнить.

Я начал с того, что спросил его: желает ли он выйти на свободу и расположен ли он предпринять все, чтобы бежать вместе со мною? Он отвечал мне, что его товарищ и он готовы были на все, чтобы освободиться из неволи, но прибавлял, что бесполезно ломать себе голову над невыполнимыми проектами. Он исписал четыре страницы разными глупостями, занимавшими его бедный мозг: несчастный не видел ничего, что давало бы какой-либо шанс на успех. Я ему ответил, что общие трудности нисколько не занимали меня, что, составляя план побега, я останавливался лишь на частных трудностях, а эти последние будут побеждены, и я кончил мое письмо, давая ему честное слово, что он будет свободен, если обещает выполнить буквально все, что я ему предпишу. Он обещал.

Я сообщил ему, что у меня есть кинжал двадцати дюймов Длины, что с помощью этого инструмента он проделает отверстие в потолке своей тюрьмы, чтобы выйти оттуда; затем он проламывает стену, разделяющую нас, через это отверстие проникает ко мне, проламывает

потолок и, сделав это, поможет мне выйти через отверстие. «Когда это будет сделано, ваша задача будет кончена, а моя начнется: я освобожу вас и графа Аскино».

Он мне отвечал, что когда он выпустит меня из своей комнаты, то я все-таки останусь в тюрьме и что тогдашнее наше положение будет розниться от настоящего только пространством.

— Мне это известно, святой отец, — отвечал я ему, — но мы убежим не через двери. Мой план обдуман во всех подробностях, и я уверен в успехе. Я требую от вас только точности в исполнении. Подумайте о лучшем средстве, как доставить вам инструмент нашего освобождения, так, чтобы никто не подозревал этого. В ожидании, прикажите тюремщику купить картинок с изображением святых столько, сколько нужно, чтобы закрыть все стены вашей тюрьмы. Эти картинки не внушат никакого подозрения Лоренцо, а между тем они позволят вам покрыть отверстие, которое вы сделаете в потолке. Вам понадобится несколько дней на это, и Лоренцо утром не будет видеть того, что вы сделаете вечером, так как все это вы покроете картинками. Если вы меня спросите, почему я сам этого не делаю, я отвечу вам, что не могу, потому что за мной зорко смотрит тюремщик, и этот ответ, надеюсь, покажется вам достаточным.

Хотя я рекомендовал ему позаботиться о средстве доставить ему инструмент, я тем не менее и сам искал его постоянно и в конце концов мне пришла в голову счастливая идея, которою я воспользовался. Я поручил Лоренцо купить мне Библию *in folio*, которая только что появилась. Я надеялся спрятать мой инструмент в корешок переплета этого громадного тома и таким образом отправить его монаху; но получив книгу, я увидел, что мой инструмент на два дюйма длиннее книги.

Мой корреспондент тем временем известил меня, что его тюрьма уже оклеена картинками, а я сообщил ему о Библии и о трудности, представляемой ее величиной. Желая показать свое остроумие, он подсмеивался над бедностью моего воображения, говоря, что мне стоит только послать инструмент, завернутый в мою лисью шубу. Он прибавлял, что Лоренцо говорил им об этой прекрасной шубе и что граф Аскино не возбудит ни малейшего подозрения, попросив посмотреть ее, чтобы заказать себе подобную.

— Вам стоит только, — писал он, — прислать мне ее завернутою; Лоренцо не развернет ее.

Я был убежден в противном, во-первых, потому, что шубу завернутую труднее нести; тем не менее, не желая его обескураживать и доказать ему в то же время, что я не так ветрен, как я я ему ответил, чтоб он прислал за нею. На другой день Лоренцо попросил ее у меня, и я дал ее свернутою, но без инструмента; через четверть часа он возвратил мне ее, говоря, что эти господа нашли ее превосходной.

Монах написал мне отчаянное письмо, в котором признавал себя виновным в плохом совете, но прибавлял, что я напрасно последовал ему. Инструмент, по его мнению, погиб, потому что Лоренцо принес шубу развернутой. Таким образом, все казалось погибшим. Я утешил его, рассказав все дело, и просил его на будущее быть менее смелым в своих советах. Нужно было кончать дело, и я твердо решился отправить мой инструмент под покровительством Библии, прибегая к побочному средству. Вот что я сделал.

Я сказал Лоренцо, что хочу отпраздновать день Св. Михаила блюдом макарон с сыром, но желая в то же время сделать любезность лицу, которое мне присылало книги, я хотел бы приготовить эти макароны сам. Лоренцо в свою очередь сообщил мне, что эти господа хотели почитать большую книгу, которая стоила три цехина. Дело было в шляпе.

— Очень хорошо, — сказав я, — я отправлю книгу вместе с макаронами: принесите мне только самое большое блюдо, имеющееся у вас: я хочу отправить много макарон.

Он обещал исполнить мое желание. Я завернул свой кинжал в бумагу и всунул его в корешок Библии так, что инструмент как с одной стороны, так и с другой высывался одинаково. Помещая на Библии большое блюдо макарон, доверху наполненное растопленным маслом, я был уверен, что Лоренцо не будет осматривать корешка книги, потому что его взгляд будет поглощен краями блюда, чтобы не пролить масла на Библию. Я

предупредил отца Бальби обо всем, предостерегая его быть ловким при приеме блюда и в особенности стараться взять оба предмета вместе.

В назначенный день Лоренцо явился раньше обыкновенного с кастрюлей горячих макарон и со всеми ингредиентами, нужными для приправы. Я приказал растопить порядочное количество масла и, положив макароны на блюдо, полил их маслом в таком количестве, что оно доходило до самых краев. Блюдо было громадное и значительно больше книги, на которую я его поставил. Все это происходило у дверей моей тюрьмы.

Когда все было готово, я приподнял осторожно Библию и блюдо, стараясь поместить корешок книги к стороне тюремщика, и велел Лоренцо протянуть руки, чтобы не разлить масло на книгу, и отнести все это по назначению. Отдавая ему эту важную посылку, я пристально смотрел ему в лицо и с удовольствием видел, что он не отводит глаз от масла, боясь разлить его. Он мне сказал, что было бы лучше понести сначала блюдо, а потом вернуться за книгой, но я ему ответил, что подарок потеряет свое значение и что нужно все снести разом. Тогда он стал жаловаться на то, что я положил слишком много масла, и прибавил в шутку, что если он разольет его, то грех падет на меня.

Как только я увидел Библию в руках тюремщика, я уверился в успехе, потому что конец инструмента был незаметен, если только не сделать порядочного движения в сторону, а я не видел причины, которая бы заставила его отвести взгляд от блюда, которое он должен был держать горизонтально. Я следил глазами за ним до тех пор, пока он вошел в комнату перед тюрьмой монаха, который, сморкаясь три раза, дал мне условный знак, что все хорошо; это подтвердил мне и Лоренцо через несколько минут.

Отец Бальби сейчас же принялся за дело, и в неделю он сделал в потолке отверстие достаточной величины, закрываемое им картинками, которые он приклеивал хлебным мякишем. Восьмого октября он написал мне, что провел целую ночь, проламывая стену, разделявшую нас, но что пока он мог только отнять лишь один кирпич. Он преувеличивал трудность разъединения кирпичей, соединенных цементом, но обещал тем не менее продолжать, утверждая, что мы достигнем только того, что наше положение ухудшится. Я отвечал ему, что уверен в противном, что он должен верить мне и продолжать начатое дело.

Увы! Я не был уверен ни в чем, но приходилось действовать так, или же все бросить. Я хотел выйти из плена куда попало — вот все, что я знал; я думал только о том, чтобы продолжать дело, решившись добиться успеха, или же остановиться только тогда, когда встречу невозможность. Я читал и узнал в книге опыта, что относительно великих предприятий нечего советоваться; что следует их выполнять, не оспаривая у случая той власти, которую он имеет над всеми человеческими предприятиями. Если бы я сообщил отцу Бальби эти тайны нравственной философии, он бы счел меня помешанным. Его работа была трудна только в первую ночь; чем больше он работал, тем легче она становилась, и, в конце концов, он вынул тридцать шесть кирпичей. Шестнадцатого октября, в десять часов утра, в то время как я был занят переводом одной оды Горация, я услышал над головой топанье ногами и три едва заметных удара. Это был условный знак, чтобы убедиться, что мы не ошиблись. Он работал до вечера, а на другой день написал мне, что если мой потолок не имеет больше двух рядов досок, то работа будет кончена в тот же день. Он уверял меня, что сделал отверстие круглым, как я ему поручил, и не проломает пола. Это в особенности было необходимо, потому что малейшая царапина погубила бы все.

— Выем, — говорил он, — будет такой, что в четверть часа его можно будет окончить.

Это дело я назначил на послезавтра, чтобы выйти из моей тюрьмы в течение ночи и не возвращаться уже более; с товарищем я был уверен сделать в три или четыре часа отверстие в крыше Дворца дождей, поместиться там и тогда употребить все средства, которые случай мне представит, чтобы спуститься на землю. Но до этого было еще далеко: моя злая судьба готовила мне еще не одно затруднение. В этот день (понедельник) около двух часов пополудни, в то время как отец Бальби работал, я услышал шум отворявшихся дверей в залу, смежную с моей тюрьмой. Я сильно взволновался, но имел настолько присутствия духа, что постучал два раза, — знак опасности, условленный вперед, при котором отец Бальби должен

немедленно ретироваться, войти в свою тюрьму и привести все в порядок. Спустя минуту Лоренцо отворяет мою тюрьму и извиняется, что принужден дать мне общество весьма неприличного господина. Это был человек от сорока до пятидесяти лет от роду, маленький, худощавый, безобразный, скверно одетый, с черным, круглым париком на голове; два сторожа связывали его в то время, как я его рассматривал. Я не мог сомневаться в том, что это негодяй, так как Лоренцо рекомендовал его таким образом в его же присутствии, и эти слова не произвели на него никакого впечатления.

— Трибунал, — отвечал я, — может делать, что ему угодно.

Лоренцо принес ему тюфяк и сказал, что трибунал назначает ему десять су в день; затем он запер нас.

Опечаленный этим обстоятельством, я рассматривал плута. Я собирался расспрашивать его, но он начал говорить сам благодаря меня за тюфяк. Желая сманить его на свою сторону] я ему сказал, что он будет обедать вместе со мною; он поцеловал у меня руку, спрашивая: будет ли он иметь право сохранять десять су. Я отвечал, что да. При этих словах он стал на колени и, вытащив из кармана громадные четки, стал водить глазами по комнате.

— Что вы ищете?

— Извините меня, сударь, я ищу образ Пресвятой Девы, ибо я христианин; если бы по крайней мере здесь было хотя маленькое Распятие; никогда я еще не чувствовал такой потребности помолиться Св. Франциску Ассизскому, как в настоящее время.

Я с трудом удержался от улыбки, не из-за его христианской набожности, потому что совесть и вера суть предметы, которых мы не имеем права оспаривать, но по причине его манер; я предположил, что он принимает меня за еврея, и поспешил дать ему образок Пресвятой Девы, который он поцеловал, говоря мне, что его отец, альгвасил, не выучил его грамоте.

— Я весьма пристрастен, — прибавил он, — к четкам.

И он начал рассказывать мне множество чудес, которые я выслушивал с терпением ангела. Он просил меня позволить ему читать свои молитвы, глядя на образок. Как только он окончил, я спросил его: обедал ли он? Он отвечал, что умирает от голода. Я дал ему все, что у меня было; он скорее пожирал, чем ел, выпил все вино, бывшее у меня, и когда вино подействовало, начал плакать, затем говорить какую-то чепуху. Я спросил его о причине его несчастья, и вот что он рассказал мне:

«Моей единственной страстью всегда были слава Божья и этой святой Республики, а также точное послушание законам. Всегда внимательно следя за происками плутов, которых ремесло заключается в обмане, я всегда старался раскрывать их секреты и всегда точно передавал мессеру-гранде все, что открывал. Правда, что за это мне платили, но деньги, получаемые мною, никогда не доставляли мне такого удовольствия, какое доставляло мне сознание пользы. Я всегда смеялся над предрассудком тех которые считают чем-то позорным ремесло шпионов. Эти слова нехорошо звучат только в ушах тех, которые не любят правительства, ибо шпион есть друг государства страшилище преступника и верный слуга принца. Когда дело касалось доказательства моего рвения, чувство дружбы, могущее влиять на ДРУТМ*» никогда не действовало на меня и еще менее то, что называют благодарностью. Я всегда готов был поклясться молчать, лишь бы только узнать важную тайну, которую я и открывал немедленно. Я мог это делать с спокойной совестью, ибо мой духовник, святой иезуит, уверил меня, что я могу открыть тайну не только потому, что я не имел намерения сохранить ее, но также и потому, что тут дело касается общественной пользы. Я чувствую, что, будучи рабом моего рвения, я готов был изменить моему отцу. Недели три тому назад я заметил в Изола — на маленьком острове, где я жил, — особенную дружбу между четырьмя или пятью известными лицами в городе. Я знал, что эти лица недовольны правительством по причине захваченной контрабанды, за что некоторые попали в тюрьму. Первый каноник, подданный Австрии, принадлежал к этому заговору. Они собирались в отдельной комнате кабачка, где была кровать; там они пьянствовали, разговаривали и затем расходились. Решившись раскрыть заговор, я имел смелость

спрятаться под кровать, где я был уверен, что меня никто не увидит. К вечеру они явились и начали говорить; они между прочим сказали, что город Изола не принадлежит к юрисдикции Св. Марка, но в юрисдикции герцогства Триестского, потому что он ни в каком случае не мог быть рассматриваем как часть венецианской Кстрии. Каноник сказал тогда главарю заговора, некоему Пьетро Паоло, что если он и его товарищи подпишут петицию, то он самолично отправится к императорскому посланнику и что императрица не только захватит город, но и отблагодарит их. Все отвечали, что согласны, и каноник обязался отнести петицию на другой день.

Я решил разрушить этот мерзкий план, хотя один из заговорщиков был мой кум и это духовное родство давало ему больше прав, как если бы он был моим родным братом.

После их ухода я имел время скрыться и не считал нужным подслушивать их второй раз: я достаточно знал. Я отправился ночью в лодке и на другой день к полудню был здесь. Я записал имена шести заговорщиков и принес их секретарю трибунала, рассказав ему все, что я услышал. Он приказал мне отправиться на другой день рано утром к мессеру-гранде, который даст мне человека; с ним я вернусь в Изола и покажу ему каноника, который, вероятно, будет еще там находиться. Сделав это, прибавил секретарь, вы не будете вмешиваться ни во что больше. Я исполнил этот приказ и, показав человеку мессера-гранде каноника, вернулся к своим личным делам.

После обеда мой кум позвал меня, чтобы побрить его, потому что я цирюльник, после чего он угостил меня рюмкой доброго refosco и несколькими сосисками, да и сам закусил со мной в самом дружеском расположении. Тогда моя любовь к куму проснулась в моей душе, я его взял за руку и со слезами на глазах советовал ему бросить знакомство с каноником и в особенности ни за что не подписывать известную ему бумагу. Он мне отвечал, что лишь из-за своей чувствительности сделал такую ошибку. На другой день я не видал ни его, ни каноника, а через неделю, приехав в Венецию, я отправился к мессеру-гранде, который, не говоря дурного слова, приказал меня засадить. И вот я с вами. Благодарю Создателя, что нахожусь в обществе с добрым христианином, сидящим здесь по причинам, которых знать я не желаю, ибо я не любопытен. Мое имя Сорадачи, жена моя — из рода Легренци, дочь секретаря Совета Десяти, она, не обращая внимания на предрассудки, вышла за меня замуж. Она будет в отчаянии, не зная, куда я девался, но я надеюсь, что останусь здесь недолго, так как сюда я попал, вероятно, только из политики секретаря, который желает ближе присмотреться ко мне.

Я пришел в ужас, видя, с каким чудовищем имею дело, но чувствуя трудность моего положения и необходимость щадить его, я намеренно выказал большую к нему симпатию, жалел его, и, хваля его патриотизм, я предвещал ему освобождение через несколько дней. Спустя несколько минут он заснул, и я воспользовался его сном, чтобы все рассказать отцу Бальби, указывая ему на необходимость прекратить наши работы на время. На другой день я приказал Лоренцо купить мне деревянное Распятие, образ Пресвятой Богородицы, портрет Св. Франциска и две бутылки освященной воды. Сорадачи спросил у него свои десять су, и Лоренцо с пренебрежением дал ему двадцать. Я приказал ему купить мне вчетверо больше вина, чесноку и соли — пища, которую особенно любил мой товарищ. После ухода тюремщика я ловко вытащил из книги письмо, посланное мне отцом Бальби, в котором он описывал мне свой ужас. Он думал, что все потеряно, и благодарил Бога за то, что Лоренцо посадил Сорадачи в мою комнату, ибо, говорил он, если б он явился в наше помещение, то не нашел бы лены и Колодцы, может быть, стали бы нашим жилищем за нашу попытку. Рассказ Сорадачи убедил меня, что его будут допрашивать, потому что мне казалось очевидным, что секретарь, засадив его в тюрьму, подозревал с его стороны клевету. Я решил доверить ему два письма, которые, отданные по адресу, не могли мне повредить, но принесут несомненную пользу, если, как я полагал, он передаст их секретарю, с целью доказать свое рвение. Я два часа писал эти письма карандашом. На другой день Лоренцо принес мне Распятие, два образка, святую воду и, накормив хорошенько моего негодяя, я сказал ему, что имею к нему просьбу, от которой зависит мое счастье.

— Рассчитываю, — прибавил я, — на вашу дружбу и на вашу храбрость: вот два письма, которые я прошу вас передать по адресу, как только вы будете выпущены. Мое счастье зависит от вашей верности, но необходимо хорошенько спрятать эти письма, ибо если их найдут у вас, то и вы, и я погибнем. Нужно, чтобы вы присягнули на этом Распятии и образах, что не измените мне.

— Я готов поклясться на чем хотите, — я слишком много вам обязан, чтоб изменить вам.

Затем он начал плакать, жаловаться, говорить, как он несчастлив тем, что его считают изменником по отношению к человеку, за которого он готов отдать всю свою жизнь. Я знал, насколько можно доверять всем этим уверениям, но делал вид, что верю. Потом, дав ему рубашку и колпак, я остался с покрытой головой, полил пол святой водой и заставил его поклясться среди восклицаний, не имевших смысла, но именно вследствие этого долженствовавших поселить в нем страх. После всего этого я вручил ему письма. Он сам вызвался зашить их в полу своего кафтана, между ворсом и подкладкой. Я был убежден, что он передаст мои письма секретарю при первой возможности; поэтому я пустил в ход все свое искусство, чтобы стиль этих писем не обнаруживал уловки; эти письма могли только внушить ко мне доверие трибунала, а может быть, и вызвать с его стороны благоволение ко мне. Одно было адресовано Брагадину, а другое аббату Гримани; я просил их не беспокоиться обо мне, ибо я надеялся вскоре быть свободным, что когда я выйду, то они убедятся, что мое заключение послужило мне на пользу, так как в целой Венеции не было человека, который бы больше нуждался в исправлении, чем я.

Я просил Брагадина прислать мне сапоги на меху, так как моя тюрьма настолько высока, что я могу стоять и прогуливаться. Я и виду не подал Сорадачи, что мои письма так невинны, потому что если б я это сделал, то ему, пожалуй, пришла бы охота сделать честный поступок, отнести их по адресу, а этого-то я и не желал. В следующей главе вы увидите, мой дорогой читатель, имела ли клятва какую-либо власть над этим подлецом и верно ли я доказал пословицу: *in vino veritas*.

Прошло еще несколько дней, прежде чем явился Лоренцо взять Сорадачи и отвести его к секретарю. Так как он долго не возвращался, то я был убежден, что не увижу его больше; но к величайшему моему удивлению к вечеру его снова привели. Как только Лоренцо ушел, плут сказал мне, что секретарь подозревает его в том, что он предупредил каноника, ибо каноник никогда не являлся к посланнику и у него не было найдено никаких бумаг. Он прибавил, что после очень долгого допроса его засадили в узкий чулан, где он просидел несколько часов; что затем его снова связали и в таком виде опять привели к секретарю, требовавшему, чтобы он сознался в том, что кому-то сказал, чтобы каноник не возвращался в Изола; но этого он не мог сделать, ибо солгал бы. Устав допрашивать его, секретарь приказал его водворить снова в тюрьму.

Этот рассказ опечалил меня, так как из него я заключил, что этот несчастный еще долго будет жить со мною. Мне необходимо было известить отца Бальбй об этом, и я писал ему ночью, а так как я принужден был делать это часто, то и усвоил себе привычку писать в темноте.

На другой день, желая убедиться в том, что я не ошибся в своих подозрениях, я сказал шпиону, чтоб он возвратил мне письмо, адресованное к Брагадину, так как я хочу еще кое-что прибавить.

— Вы можете потом опять зашить его, — сказал я.

— Это опасно, — отвечал он, — тюремщик может прийти сюда в течение дня, и мы погибнем.

— Это ничего, отдайте мне мои письма. Тогда этот плут бросился передо мной на колени и рассказал мне, что при вторичном своем появлении перед секретарем он так перепугался, что не мог скрыть от него истины; тогда секретарь позвал Лоренцо, приказал добыть письма, прочитал их и запер в ящик. «Секретарь сказал мне, — прибавил этот негодяй, — что если бы я снес эти письма по адресу, то об этом узнали бы и я бы поплатился

за это головою».

Я сделал вид, что мне дурно, и, покрыв лицо руками, упал на колени перед образом Пресвятой Девы и торжественным голосом молил, чтобы Она отомстила за меня изменнику. После этого я бросился на кровать, повернувшись лицом к стене, и имел терпение оставаться в таком положении в течение целого дня, делая вид, что не слышу рыданий, криков и раскаяний негодяя. Я отличался, играя эту роль в комедии, которой весь план я вперед составил себе в голове. Ночью я написал отцу Бальби явиться ровно в девятнадцатом часу, не раньше и не позже, чтобы окончить работу и работать не больше четырех часов. Наше освобождение, прибавлял я ему, зависит от этой точности, и вам нечего бояться.

Дело происходило 25 октября; время, когда я должен был привести в исполнение мой проект или оставить его, приближалось. Государственные инквизиторы, так же как и секретарь, всякий год проводили первые три дня ноября в какой-нибудь деревне на континенте. Лоренцо, пользуясь отсутствием начальства, каждый вечер напивался пьян и под Пломбами появлялся гораздо позднее.

Зная это, благоразумие говорило, что именно этим временем следует воспользоваться для осуществления побега. Другая причина, заставившая меня предпринять решение в то время именно, когда я не мог сомневаться в измене моего товарища по заключению, кажется мне настолько важною, что я принужден сказать несколько слов о ней.

Самым большим утешением человека, находящегося в несчастье, служит уверенность, что он вскоре освободится от него. Он мечтает о моменте, когда кончатся его несчастья; он полагает, что может ускорить его своими пожеланиями и отдал бы все на свете, лишь бы только знать час, когда прекратятся его мучения; но никто не может знать, в какую минуту произойдет событие, зависящее от воли кого-нибудь, если, конечно, этот кто-нибудь сам не скажет. Тем не менее страдающий человек, становясь слабым и нетерпеливым, делается невольно суеверным. Бог, говорит он себе, должен знать тот момент, который избавит меня от мучений; Бог может позволить, чтоб этот момент был и мне открыт — каким угодно средством. Как только человек пришел к такому убеждению, он готов прибегнуть к гаданию. Эта склонность немногим отличается от пристрастия большей части тех, которые советовались с пифией или с дубом леса Дидоны, которые в наши дни прибегают к колдовству, которые ищут указаний в том или другом стихе Библии или Вергилия, которые ищут этого в случайных комбинациях карт.

Я находился в подобном же состоянии духа, но, не зная, как мне приняться, чтобы из Библии узнать ожидавшую меня судьбу, я решился обратиться к поэме «Неистовый Роланд» Ариосто, которую я читал сотни раз, которую я знал наизусть и которую любил. Я преклонялся перед гением этого великого поэта и считал его более пригодным, чем Вергилия, для раскрытия мне моей судьбы.

В этой мысли я написал вопрос, обращенный к предполагаемой судьбе, спрашивая ее, в какой песне Ариосто находится предсказание о моем освобождении. После этого я образовал пирамиду, перевернутую вниз верхушкой и составленную из чисел, извлеченных из слов вопроса; через вычитание числа девяти из каждой пары цифр я получил в окончательном выводе цифру девять. Из этого я заключил, что предсказание находится в девятой песне. Таким же точно образом я нашел и строфу об интересующем меня вопросе и получил число семь для строфы и единицу для стиха.

Я беру поэму, в волнении открываю ее и нахожу:

Fra il fin d'ottobre e il capo di novembre.

То есть между концом октября и началом ноября. Точность этого стиха мне показалась столь удивительной, что не скажу, чтоб я ему вполне поверил, но читатель извинит меня, если я прибегнул ко всем усилиям, чтобы проверить предсказание. В особенности странно то, что между концом октября и началом ноября есть один только момент полночи, и именно при звуке боя часов в полночь 31 октября я вышел из моей тюрьмы, как читатель увидит вскоре.

Несмотря на это объяснение, я прошу его, однако, не считать меня суеверным; я

рассказываю факт, потому что действительно он имел место, потому что он удивителен и потому что если бы я не обратил на него внимания, то, вероятно, не привел бы в исполнение моего побега. Для того, чтобы поразить воображение моего негодного товарища, я поступил следующим образом. Как только Лоренцо покинул нас, я пригласил Сорадачи есть суп. Мерзавец лежал и сказал Лоренцо, что болен. Он бы не осмелился подойти ко мне, если бы я его не позвал. Он встал, бросился к моим ногам, поцеловал их и с рыданиями сказал мне, что если я не прошу ему, то он умрет в течение дня, ибо уже чувствует последствия проклятия. Он ощущал боль в животе, а рот его был покрыт язвами. Он мне их показал. Не знаю, были ли эти язвы у него накануне. Я не интересовался тем, говорит ли он правду или нет, но сделал вид, что верю ему и надеюсь, что Бог ему простит. Нужно было заставить его есть и пить. Мерзавец, может быть, имел намерение обмануть меня, но, решившись сам обмануть его, я призвал на помощь всю мою ловкость. Я подготовился к нападению, против которого ему трудно было защищаться. Приняв торжественный вид, я сказал ему:

— Садись и ешь этот суп, после чего я тебе открою твоё счастье, ибо знай, что Пресвятая Дева явилась мне на рассвете и повелела простить тебя. Ты не умрешь и выйдешь отсюда со мною вместе.

Совершенно ошеломленный, стоя на коленях за неимением стула, он ел суп вместе со мною, потом сел на тюфяк и приготовился меня слушать. Вот приблизительно моя речь:

— Огорчение, причиненное мне твоей страшной изменой, лишило меня сна в течение целой ночи, потому что в наказание за письма я буду в заключении до конца моих дней. Моим единственным утешением, сознаюсь, была уверенность, что ты умрешь здесь, на моих глазах, в течение трех дней. С душой, охваченной этим чувством, недостойным христианина, ибо Бог повелевает нам прощать, я лег, и Бог ниспослал на меня сон; во время этого счастливого сна у меня было истинное видение. Я увидел Пресвятую Деву, эту Богоматерь, которой изображение ты видишь здесь; я ее увидел собственными глазами, и она сказала мне: «Сорадачи набожен, я покровительствую ему, хочу, чтобы ты ему простил, и тогда проклятие, которое он заслужил, перестанет действовать. В награду за это я прикажу одному из моих ангелов принять вид человеческого, спуститься с небес, чтобы открыть крышу твоей тюрьмы и вывести тебя оттуда в течение пяти или шести дней. Этот ангел начнет свое дело сегодня ровно в девятнадцать часов и проработает ровно до двадцати трех (за полчаса До захода солнца), ибо он должен вернуться на небо днем. Выходя отсюда в сопровождении моего ангела, ты возьмешь с собою Сорадачи и будешь заботиться о нем с условием, что он откажется от ремесла шпиона. Ты все ему скажешь». При этих словах Пресвятая Дева исчезла, и я проснулся.

Сохраняя по-прежнему серьезный вид и вдохновенный тон, я наблюдал за физиономией шпиона, пораженного удивлением. Тогда я взял мой молитвенник, окропил святой водой тюрьму и сделал вид, что молюсь Богу, прикладываясь от времени до времени к образку. Спустя час шпион, не раскрывавший до тех пор рта, спросил меня, в каком часу ангел сойдет с небес и услышим ли мы шум, когда ему придется разламывать крышу тюрьмы?

— Я уверен, что он сойдет в девятнадцать часов, что мы услышим, как он будет работать, и что он уйдет в час, указанный Пресвятой Девой.

— Вам, может быть, все это приснилось.

— Я уверен, что нет. Чувствуешь ли ты себя в силах поклясться, что отказываешься от ремесла шпиона?

Вместо ответа он заснул и, проснувшись через два часа, спросил меня: может ли он отложить на некоторое время клятву, требуемую мною? *Можешь отложить, — сказал я ему, — до тех пор, пока придет ангел, чтобы взять меня, но если тогда ты не откажешься клятвой от подлого ремесла, по причине которого находишься здесь и которое сделает то, что ты окончишь жизнь на виселице, то я заявляю тебе, что оставлю тебя здесь: такова воля Божья.

Я заметил, что при этих словах на его лице появилось выражение удовольствия, ибо он

был уверен, что ангел не явится. Он, казалось, с сожалением смотрел на меня. Я же с нетерпением ожидал назначенного часа: эта комедия чрезвычайно меня занимала, потому что я был уверен, что приход ангела поразит, как громом, воображение шпиона. Я был уверен, что все произойдет, как я задумал, если только Лоренцо не забыл передать книгу, что было мало вероятно.

За час до этого времени я захотел пообедать; я пил одну лишь воду, а Сорадачи выпил все вино и на десерт съел весь чеснок, бывший у меня: для него это было самое лучшее кушанье, и оно еще более увеличило его возбуждение. В ту минуту, как я услышал первый удар девятнадцати часов, я бросился на колена и приказал ему грозным голосом последовать моему примеру. Он послушался меня, удивленно поглядывая на меня. Когда я услышал шум в коридоре, я сказал: «Ангел идет» — и, упав ниц, я дал ему ногой порядочного пинка, чтобы заставить его сделать то же самое. Шум продолжался все громче и громче, прошло уже четверть часа, как я имел терпение находиться в таком неудобном положении, и если бы я был в других обстоятельствах, то смеялся бы над пораженным шпионом, но я не смеялся, ибо помнил свое намерение сделать этого негодяя совершенно помешанным. Его порочная душа могла быть исправлена только ужасом. Приподнявшись, я снова встал на колена, приказал ему сделать то же самое и заставил его молиться по четкам три с половиною часа. Он засыпал от времени до времени, утомленный своим неудобным положением и однообразием молитвы, но не прерывал меня. По временам он с любопытством посматривал на потолок и, с ужасом в лице, делал какие-то гримасы: все это было очень комично. Услышав двадцать три с половиною часа, я воскликнул: «Пади ниц, ангел сейчас появится». Бальби пошел в свою тюрьму, и всякий шум прекратился. Встав и заметив на лице шпиона ужас, я был в восторге. Я несколько минут говорил с ним, желая позабавиться. Очи обильно лили слезы, и его слова были совершенно нелепы. Он говорил о своих грехах, о своей набожности, о своей преданности Святому Марку, о своих обязанностях по отношению к Республике, и милость, оказанную Пресвятой Девой, он приписывал своим заслугам. Мне пришлось выслушать с серьезным видом длинный рассказ о чудесах, которые рассказывала ему жена, духовником которой был молодой доминиканец. Он спрашивал меня, что я могу сделать с таким невежей, как он?

— Ты будешь у меня в услужении, будешь иметь все необходимое и не будешь обязан исполнять опасное ремесло шпиона.

— Но нам нельзя будет оставаться в Венеции?

— Конечно, нельзя будет; ангел поведет нас в государство, не зависящее от Святого Марка. Готов ли ты поклясться, что бросишь свое подлое ремесло? А если обещаешь, то не изменишь ли ты второй раз?

— Если я поклянусь, то, конечно, буду верен своей клятве: будьте покойны, но сознайтесь, что, не измени я вам, Пресвятая Дева не оказала бы вам милости. Моя измена есть причина вашего счастья, поэтому вы должны меня любить и быть довольны моей изменой.

— А любишь ли ты Иуду, изменившего Иисусу Христу? — Нет.

— То-то вот и есть: изменники ненавидят, и в то же время они поклоняются Провидению, которое извлекает добро из зла. До сих пор ты был негодяем, ты оскорблял Бога, Пресвятую Деву, и я приму твое обещание только в том случае, если ты покаешься в своих грехах.

— В каких грехах?

— Ты грешил гордостью, Сорадачи, думая, что я должен благодарить тебя за то, что ты изменил мне, передавая мои письма секретарю.

— А как же я могу покаяться в таких грехах?

— Вот как. Завтра, когда Лоренцо явится, ты будешь лежать на своем тюфяке, без всякого движения, не глядя на него. Если он заговорит с тобою, ты ответишь ему, не оборачиваясь к нему, что ты не мог ночью спать и что чувствуешь потребность отдохнуть. Обещаешь ли ты все это выполнить?

— Обещаю.

— Поклянись перед образом Пресвятой Девы.

— Обещаю Вам, Пресвятая Богородица, что, при появлении Лоренцо, я не буду на него смотреть и буду лежать на тюфяке.

— А я, Пресвятая Богородица, обещаю, что если Сорадачи будет смотреть на Лоренцо и будет двигаться, я брошусь на него и задушу его без всякого сожаления.

Я столько же рассчитывал на эту угрозу, как на его обещание. Желая, однако, получить полную уверенность, я спросил его: не имеет ли он чего-нибудь против клятвы? После некоторого размышления он отвечал, что нет и что он вполне ею доволен. На этом я успокоился, дал ему поесть, затем приказал ему лечь, потому что и сам нуждался во сне.

Как только он уснул, я принялся писать в течение целых двух часов. Я рассказал Бальби всю историю и прибавил, что если работа достаточно подвинута, то ему остается только поийти, уничтожить доску потолка и войти ко мне. Я повторил ему, что мы должны выйти ночью 31 октября и что нас будет четыре человека, считая его товарища и моего. Это было 28-го числа.

На другой день монах написал мне, что проход сделан и что ему остается только разломать доску потолка, что можно сделать в несколько минут. Сорадачи остался верен своему обещанию, делая вид, что спит, и Лоренцо даже и не заговорил с ним. Я ни на секунду не потерял его из виду и действительно думаю, что задушил бы его, если бы он сделал хоть малейшее движение, ибо, чтобы изменить мне, достаточно было одного кивка головы.

Весь остальной день был посвящен мистическому разговору и вдохновенным речам, произносимым мною с торжественностью, на которую я только был способен, и я радовался, что он все больше и больше верил моим фантазиям. Кроме этого я прибегал к помощи вина и время от времени наливал ему порядочно этой жидкости в стакан и перестал только тогда, когда увидал, что он не может держаться на ногах.

Хотя его голова была не способна ни на какое отвлечение и хотя все свои способности он направлял только на выдумку шпионских хитростей, этот негодяй затруднил меня на одну минуту, говоря, что не понимает, почему ангелу потребовалось так много работ, чтобы отворить тюрьму. Я, однако ж, нашелся. Пути Божьи, ответил я, неизвестны смертным и к тому же посланник Бога не работает в качестве ангела, ибо тогда ему было бы достаточно одного дуновения; он работает в качестве человека, форму которого он, конечно, принял, ибо мы не достойны лицезреть его небесный вид. К тому же я — предвижу, сказал я, как истый иезуит, пользующийся случаем, что ангел, чтобы наказать тебя за твое неверие, не придет сегодня. Несчастный! Ты по-прежнему думаешь не как честный человек, набожный и покорный, но как хитрый грешник, полагающий, что имеет дело с мессером-гранде и со сбирами.

Я хотел привести его в отчаяние и успел в этом. Он принялся проливать слезы, и его рыдания раздавались, когда он услышал бой девятнадцати часов. Я не только не имел намерения его успокоить, но хотел увеличить его отчаяние, горько жалуясь на него. На другой день он опять выполнил свое обещание. Потому что когда Лоренцо обратился к нему с вопросом, он отвечал, не повертывая головы. То же самое сделал он на следующий день, когда Лоренцо явился в последний раз, 31 октября утром. Я ему дал книгу для Бальби, где я предупреждал монаха явиться в семнадцать часов (то есть в полдень) разломать потолок. На этот раз я не боялся никаких неожиданностей, услышав от Лоренцо, что инквизиторы и секретарь уже уехали в деревню. Мне нечего было бояться появления новых товарищей и мне незачем было оберегаться моего негодяя.

Я только и думал, что об освобождении. Приходилось поставить шпиона в нравственную невозможность вредить мне. Что мне нужно было для этого делать? У меня было только два средства: или сделать то, что я сделал, поражая ужасом душу этого негодяя, или же задушить его, что сделал бы всякий смелый человек, более жестокий, чем я. Это последнее было гораздо легче и не представляло никакой опасности: я мог во всяком случае

сказать, что он умер своей естественной смертью, а под Пломбами слишком мало заботились о жизни человека, подобного ему, чтобы проверить, говорю ли я правду или нет. Найдется ли читатель, который подумает, что я бы сделал лучше, если бы задушил его? Если найдется такой, хотя бы он был даже иезуит и иезуит искренний, что мало вероятно, то я прошу Бога просветить его: его вера никогда не будет моей верой. Я думаю, что исполнил свой долг, и успех, увенчавший мои усилия, может служить доказательством, что Провидение одобрило средства, употребленные мною. Что же касается до клятвы, которую заставил я его дать, то она не имеет никакой важности, потому что это было сделано в состоянии невменяемости, а что касается до обещания моего всегда заботиться о нем, то от этого обещания он сам меня избавит, потому что если бы я и хотел его удержать, то у него недостало бы храбрости убежать вместе со мною. Испорченный человек редко бывает храбрым. К тому же я мог быть уверен, что возбуждение его воображения будет длиться только до появления отца Бальби, который, вовсе не имея физиономии ангела, докажет ему, что я надул его. Наконец, я прибавлю, что у всякого человека гораздо больше причин жертвовать всем для своего самосохранения, чем имеют монархи жертвовать государством для своей выгоды.

После ухода Лоренцо я сказал Сорадачи, что ангел откроет потолок в семнадцать часов. Он принесет нам ножницы, прибавил я, которыми ты острижешь нам бороды — мне и ангелу.

— А разве у ангела есть борода?

— Да, ты увидишь. После этого мы выйдем и отправимся проломать крышу дворца; и спустимся на площадь Св. Марка, откуда направимся в Германию.

Он не отвечал. Он поел один, потому что я был слишком озабочен, чтобы есть. Я даже не мог спать.

Настал час: вот ангел! Сорадачи хотел упасть ниц, но я сказал что это не нужно. В три минуты проход был сломан: кусок доски упал к моим ногам, и Бальби бросился в мои объятия. «Итак, — сказал я ему, — ваша работа окончена; теперь начинается моя». Мы обнялись, и он вручил мне кинжал и ножницы. Я приказал Сорадачи остричь нас, но не мог не засмеяться, посмотрев на этого негодяя, с открытым ртом, совершенно ошалевшего. Но все-таки он остриг нам бороды.

Желая поскорее увидеть местность, я сказал монаху, чтобы он остался с Сорадачи, потому что не хотел оставлять его одного, и вышел. Я был на крыше тюрьмы графа и, войдя туда, сердечно обнял этого почтенного старика. Я увидел человека такого роста, который был не способен идти против трудностей, подвергаясь подобному побегу по крутой крыше, покрытой полосами свинца. Он спросил меня, в чем заключается мой проект, прибавив, что считает меня человеком несколько легкомысленным. «Я желаю, — ответил я, — идти вперед до тех пор, пока обрету свободу или смерть». — «Если вы думаете, отвечал он, пожимая мне руку, — разломать крышу и искать дороги на Пломбах, откуда нужно будет сойти вниз, то не вижу, как вы в этом успеете, если, впрочем, у вас нет крыльев, и у меня не достает духу следовать за вами: я останусь здесь и буду за вас молить Бога».

Я вышел, чтобы посмотреть на крышу, приближаясь на-?сколько было возможно к краям чердака. Достигнув этого, я уселся среди мусора, которым наполнены все чердаки дворцов. Я ощупал крышу концом моего кинжала и имел счастье заметить, что крыша наполовину сгнила. При каждом ударе кинжала отваливались куски. Уверившись, что могу сделать достаточное отверстие в какой-нибудь час, я возвратился в свою тюрьму и употребил четыре часа, разрезывая простыни, одеяла, тюфяки и делая из всего этого веревки. Узлы я делал сам и уверился в крепости веревок, ибо один узел, плохо сделанный, мог бы все погубить. Таким образом я наделал более ста саженей веревок.

В каждом большом предприятии есть вещи, от которых зависит все и относительно которых ни на кого нельзя положиться. Когда веревки были готовы, я завернул в узел мои вещи, и мы отправились в тюрьму графа. Этот почтенный человек прежде всего поздравил Сорадачи с тем, что он имеет счастье быть посаженным со мной. Глупый вид Сорадачи заставил меня улыбнуться. Я более не стеснялся в этом, потому что сбросил маску

лицемерия, которая сильно меня стесняла. Он убедился, кто его надувал, но ничего не понимал, потому что никак не мог догадаться, каким путем я мог переписываться с монахом. Он глумительно слушал графа, который говорил, что мы погубили себя, и как истинный трус он уже придумывал средство избавиться от необходимости следовать за нами. Я велел монаху завязать в узел свои вещи и отправился ломать крышу.

В два часа ночи, без всякой другой помощи, мое отверстие было готово: я уничтожил доски — отверстие оказалось вдвое больше, чем требовалось. Я прикоснулся к целой полосе свинца и не мог приподнять ее один, потому что она была приколочена; монах помог мне, и мы приподняли ее; затем мы ее свернули так, чтобы отверстие, нужное нам, образовалось. Высунув тогда голову из-за отверстия, я с горечью увидел месяц, бывший в своей первой четверти. Это было затруднение, которое нужно было переждать терпеливо и дожидаться полуночи, когда он исчезнет с горизонта. Во время такой прекрасной ночи все хорошее общество, вероятно, прогуливалось на площади Св. Марка, и в это время нельзя было показаться на крыше; наша тень, достигая площади, обратит на нас внимание; и зрелище, которое таким образом мы представим, возбудит общее любопытство, и в особенности любопытство мессера-гранде и его шайки сбиров, составляющих единственную полицию в Венеции, и наш проект будет уничтожен их мерами. Итак, я решил, что мы выберемся через крышу только после захода луны. Я испросил помощь Божию, но на чудеса не надеялся. Предоставленный капризам судьбы, я должен был устроить дело так, чтобы случайности были устранены по возможности, и если мое предприятие должно было не осуществиться, то я должен был оберечь себя от мелочного упрека в неосторожности. Луна должна была зайти в пять часов, а солнце взойти в тринадцать с половиною часов, так что нам осталось семь часов темноты, в течение которых мы могли действовать. Хотя работы оставалось много, но в семь часов ее можно и должно было окончить.

Я сказал отцу Бальби, что три часа мы можем употребить на разговор с графом Аскино, и прежде всего нужно было предупредить его, что я нуждаюсь в пятнадцати цехинах, которые могли мне быть так же необходимы, как был мне необходим мой кинжал. Он отправился за деньгами, но через четыре минуты вернулся и сказал, что я сам должен был отправиться к графу, потому что граф хотел поговорить со мною без свидетелей. Этот несчастный старец начал с того, что для побега я не нуждаюсь в деньгах, что у него их нет, что у него — многочисленное семейство, что если я погибну, то погибнут и деньги, которые он мне даст; наконец, он прибавил множество подобных же глупостей такого же рода, лишь бы только как-нибудь скрыть свою скупость. Мой ответ продолжался полчаса. Я высказал множество самых превосходных резонов, которые, однако, не имеют силы с тех пор, как существует мир, ибо все ораторские фигуры пасуют против этой непобедимой, страсти. Это был случай прибегнуть к *polenti baculus* (непослушному — палка), но я не был настолько жесток, чтобы употребить против несчастного старца такое средство. Я кончил тем, что сказал ему, что если он хочет бежать со мной, то я буду нести его на своей спине, как Эней нес Анхиза, но если он намерен остаться и молить Бога об успехе нашего предприятия, то я предупреждаю его, что его молитва будет непоследовательна, ибо он будет молить Бога об успехе, споспешествовать которому он не захотел даже самым обыкновенным образом.

Он отвечал мне, проливая слезы, которыми я был тронут. Он спросил меня: будет ли мне достаточно двух цехинов? Я отвечал, что для меня все будет достаточно. Он мне их дал, прося меня возвратить их ему, если я, прогулявшись по крыше, приду к убеждению, что самым благоразумным будет вернуться в тюрьму. Я обещал это, хотя и удивился несколько предположению, что мне может прийти в голову мысль вернуться. Он не знал меня, я же со своей стороны был уверен, что скорее умру, чем вернусь в место, из которого я только что освободился.

Я позвал моих товарищей, и мы поместили все наше снаряжение у отверстия; веревки, приготовленные мною, я разделил на два свертка; остальные два часа мы провели не без удовольствия в воспоминаниях о событиях, сопровождавших наше предприятие. Первым доказательством благородства характера со стороны отца Бальби было то, что он стал

выговаривать мне неисполнение моего обещания; я, видите ли, уверял его, что мой план готов, что он был непогрешим, между тем как в действительности ничего этого не было. Он, нахально прибавил, что если бы предвидел это, то не выпустил бы меня из моей тюрьмы. Граф, с важностью семидесятилетнего старика, говорил в свою очередь, что было бы благоразумнее всего не настаивать на окончании безумного предприятия, которого успех был невозможен и которое очевидно может кончиться только нашей смертью. Так как он был адвокат, то вот спич, сказанный им: я легко догадался, что его возбуждала надежда получить назад свои два цехина, которые я принужден был бы ему возвратить, если бы он успел убедить меня остаться.

— Наклонность крыши, — говорил он, — обшитой свинцом, не позволит вам двигаться по ней, вам и стоять-то на крыше будет трудно. На крышу выходят семь или восемь слуховых окон, но все они снабжены железными решетками и добраться до них невозможно, так как они находятся на большом расстоянии от краев крыши. Веревки, имеющиеся у вас, не послужат вам ни к чему, потому что вы не найдете места, где бы их прикрепить, но даже если бы вы и нашли такое место, то человек, спускающийся с такой громадной высоты, не в состоянии удержаться на них и спуститься до самого низа. Таким образом, один из вас троих принужден будет обвязать другого посередине тела и спускать его вниз, как обыкновенно спускают ведро или тюк; то же будет сделано и со вторым, а третий, который спустит таким образом двух первых, принужден будет остаться и возвратиться в тюрьму. Кто из вас троих чувствует себя способным на такое самопожертвование? И если даже предположить, что один из вас готов на подобный героический поступок, то спрашивается, с какой стороны вы будете спущены? Конечно, не со стороны колонн, на площадь, потому что там вас увидят; со стороны церкви невозможно, потому что там вы будете в западне; наконец было бы нелепо спускаться со стороны двора, потому что вы попадете в руки стражи, находящейся там. Значит, вам остается спускаться только со стороны канала, а есть ли у вас там гондола или лодка, которая бы ждала вас? Нет; итак, вам остается только броситься в воду и плыть до Св. Аполлония, где вы очутитесь в самом печальном положении, не зная, что дальше с собой делать. Подумайте же что на свинцовой крыше легко поскользнуться; если вследствие этого вы упадете в канал, то, даже предположив, что вы плаваете так же хорошо, как акулы, вы не избежите смерти, если принять во внимание высоту падения и незначительную глубину воды. Вы будете раздавлены, ибо три или четыре фута воды представляют недостаточно упорную массу, которая могла бы уничтожить следствия падения тела с такой высоты. Самым благополучным исходом всего этого будет то, что, упав, вы раздробите себе руки и ноги.

Эта речь, очень неосторожная в данном случае, приводила меня в бешенство; у меня достало, однако, храбрости выслушать ее с терпением, которого я не знал за собой. Упреки монаха, которые он мне делал без всякого стеснения, возбуждали во мне негодование; я отвечал на них резко, но чувствовал, что мое положение весьма деликатно, что мне очень легко испортить все дело, ибо я имел дело с подлецом, который готов отвечать мне, что он не настолько дурак, чтобы бравировать смертью, и что я могу отправляться на крышу один, без него; я поэтому воздержался от ссоры и спокойным тоном сказал им, что уверен в успехе, хотя мне и невозможно рассказать им все подробности дела. «Ваши благоразумные соображения, сказал я графу Аскино, — заставят меня действовать осторожно, но надежда на собственные силы и на Бога победит все препятствия».

От времени до времени я протягивал руку с целью убедиться, тут ли Сорадачи, так как он все время молчал. Я от души хохотал, соображая, что могло произойти в его голове, когда он убедился, что я надуваю его. В четыре с половиною часа (в десять с половиною) я велел ему пойти посмотреть, в какой стороне неба находится луна. Он послушался и, возвратившись, сказал, что часа через полтора ее не будет вовсе видно и что густой туман сделает пломбы (то есть свинцовые полосы) чрезвычайно опасными.

— Для меня достаточно, — отвечал я, — и того, что туман — не масло. Заверните ваш плащ вместе с частью наших веревок, которые тоже приходится разделить на две части.

При этих словах я чрезвычайно удивился, почувствовав, как этот человек, став передо мною на колени, схватил мои руки, стал целовать их и принялся, рыдая, умолять меня избавить его от смерти.

— Я уверен, — говорил он, — что упаду в канал; я не могу быть вам ни в чем полезен. Оставьте меня здесь, и я целую ночь буду молить Св. Франциска за вас. Вы можете убить меня но я никогда не решусь следовать за вами.

Болван и не предполагал, как его просьба отвечала моим желаниям. «Вы правы, — сказал я, — оставайтесь, но с условием молиться Св. Франциску, а сначала ступайте и принесите все мои книги: я их оставлю графу». Он повиновался беспрекословно и, вероятно, с большим удовольствием. Мои книги стоили, по крайней мере, сто экю. Граф сказал мне, что отдаст их мне при моем возвращении. «Вы меня не увидите больше здесь, — отвечал я ему, рассчитывайте на это. Они с лихвой покроют ваши два цехина. Что же касается до этого труса, то я очень рад, что он не хочет следовать за мною: он бы стеснял меня; к тому же этот негодяй недостойн чести разделять со мной и с отцом Бальби такой подвиг». — «Правда, — отвечал граф, — лишь бы только завтра у него не было причин радоваться своему решению».

Я попросил у графа бумаги, чернил и перо, которые у него были, несмотря на запрещение; на тюремные законы Лоренцо не обращал никакого внимания: за один экю он готов был продать хотя бы самого Св. Марка. Тогда я написал письмо, которое я передал Сорадачи и которое не мог перечитать, так как писал в потемках. Я начал, письмо с латинского эпиграфа:

«Я не умру, я буду жить и воспевать славу Господа!»

«Наши господа инквизиторы должны прибегать ко всем средствам, чтобы держать насильно заключенных под Пломбами: виновный, счастливый тем, что он не скован честным словом, в свою очередь должен сделать все от него зависящее, чтобы освободиться. Их право имеет в своем основании справедливость; право виновного есть природа; и подобно тому как инквизиторы не нуждаются в его согласии быть заключенным, точно так же и он не нуждается в их согласии, стремясь к освобождению.

Джакомо Казанова, пишущий эти строки с горечью сердца, знает, что может иметь несчастье быть пойманным прежде, чем он перейдет границу и найдет убежище в гостеприимной стране; и тогда он будет под властью тех, от которых теперь бежит; но если это несчастье случится, он, призывая гуманность своих судей, умоляет их не ухудшать жестокою судьбу, от которой он бежал, наказывая его за то, что он уступил требованию природы. Он умоляет, в случае если он будет схвачен, чтоб ему было возвращено все то, что он оставляет в своей тюрьме, но если он будет настолько счастлив, что успеет в своем предприятии, — он дарит все это Франческо Сорадачи, который остается в тюрьме, потому что не имеет храбрости бежать и не предпочитает, подобно мне, свободу — жизни. Казанова умоляет гг. инквизиторов согласиться на дар, делаемый этому несчастному. Написано за час до полуночи, впотьмах, в тюрьме графа Аскино, 31 октября 1756 года».

Я предупредил Сорадачи, чтобы он передал это письмо не Лоренцо, а самому секретарю, потому что я был уверен, что секретарь или немедленно позовет его к себе, или сам появится в тюрьме, что было еще более вероятно. Граф прибавил, что письмо произведет свое действие, но что Сорадачи должен будет все возратить мне, если я снова появлюсь. Плут отвечал, что желал бы моего возвращения, чтобы доказать, как свято он сдержит свое обещание.

Но пора отправляться. Луна скрылась. Я привязал к шее отца Бальби половшгу веревок с одной стороны и сверток с его вещами с другой. То же самое я сделал и себе; и, оставшись в одних жилетах, со шляпами на головах мы направились к отверстию.

Ei quindi uscimmo a riveder le stelle, то есть «и мы вышли созерцать звезды», как говорит Данте.

Я вышел первый, отец Бальби последовал за мною. Сорадачи, который шел с нами до самого отверстия крыши, получил приказ положить на прежнее место полосу свинца и затем отправиться молиться Св. Франциску. Став на четвереньки, я взял в одну руку кинжал,

продел его между полос и, приподняв таким образом одну из них, я приподнялся до самой верхушки крыши. Монах засунул свою руку за мой пояс, и таким образом я оказался связанным этим животным, принужденный тащить его за собой по крутой крыше, сделавшейся скользкой вследствие густого тумана.

На полпути этого опасного восхождения монах потребовал, чтобы я остановился, так как один из его свертков оказался потерянным и он надеялся его найти. Мне пришлось в голову дать ему хорошую затрещину и таким образом избавиться от него, но, к счастью, я воздержался: наказание было бы слишком тяжело как для него, так и для меня, потому что, оставшись один, я бы ничего не мог поделать. Я ему отвечал только что теперь не время искать свертка; монах вздохнул и продолжал карабкаться за мною, по-прежнему держась за мой пояс. Наконец мы достигли высшего ребра, на котором я удобно уселся верхом; то же сделал и отец Бальби. Позади нас виднелся маленький островок Сан-Джорджо, а перед нами многочисленные куполы Св. Марка, составляющего часть Дворца дождей, ибо церковь Св. Марка есть, в сущности, не более как капелла дожа. Нет в мире монарха, у которого была бы более красивая капелла. Оглядевшись, я сказал монаху, чтобы он ждал моего возвращения, а сам я стал подвигаться по ребру без всякого затруднения. Почти целый час-я предавался этому упражнению, но без всякого успеха; ни у одного из краев крыши я не заметил никакого выступа, к которому мог бы привязать веревку. Положение было затруднительное; нечего было думать ни о канале, ни о дворе, а верхушки церквей образовали между куполами только пропасть. Чтобы пройти за церковь, мне пришлось бы карабкаться по таким крутизнам, что страшно было подумать.

Однако нужно же было чем-нибудь кончить: или выйти оттуда, или вернуться в тюрьму, чтобы, может быть, никогда из нее не выходить, или же просто броситься в канал. Я видел ясно, что меня может выручить только случай, но надо же было начать с чего-нибудь. Я остановил мой взор на слуховом окне, находившемся со стороны канала. Оно было настолько далеко от места, где я находился, что я мог наверное полагать, что оно не принадлежит к тюрьмам; оно могло освещать только какой-либо чердак, обитаемый или нет, над комнатами дворца, где на рассвете я был уверен найти двери открытыми. В глубине души я был убежден, что слуга дворца, даже слуга самого дожа облегчил бы наш побег, если б заметил нас. Но прежде всего приходилось осмотреть переднюю часть слухового окна. Спустившись полегоньку по прямой линии, я вскоре очутился на маленькой крыше окна и уселся на ней верхом. Так, придерживаясь одной рукой, я наклонил голову вперед и увидел, а затем и тронул небольшую решетку, за которой было окно со стеклами, вставленными в раму из тонких пластинок свинца. Окно не представляло для меня затруднений, но решетка казалась мне непобедимой: мне казалось, что без подпилки я не правлюсь с нею, а у меня был только кинжал.

Я терялся в мыслях и стал отчаиваться в успехе, но в это время я услышал бой часов на колокольне Св. Марка, бивших полночь. Этот бой напомнил мне, что начинающийся день есть день Всех Святых, что этот день есть праздник моего патрона и что, следовательно, в этот день совершится мое освобождение, следуя пророчеству иезуита. Но еще более поддерживало меня в этом убеждении предсказание, которое я почерпнул из Ариосто: «Между концом октября и началом ноября». Бой часов показался мне говорящим талисманом, повелевающим мне действовать и обещавшим мне победу. Легши на живот, с головой, наклоненной к решетке, я пропускаю мой кинжал между стеной и решеткой, с намерением снять решетку целиком. В какие-нибудь четверть часа я достиг этого; решетка осталась в моих руках; я положил ее близ себя на крышу и без всякого затруднения разбил окно, хотя и поранил левую руку.

С помощью кинжала, следуя моей прежней системе, я возвратился на верхнее ребро крыши и направился к месту, где я оставил монаха. Нашел я его в отчаянии; он был взбешен, стал ругать меня за то, что я на такое продолжительное время оставил его одного. Он прибавил, что ждет только семи часов, чтобы возвратиться в тюрьму.

— Что же вы думали обо мне?

- Я думал, что вы упали с крыши.
- А теперь, увидав меня целым и невредимым, вы ругаете меня?
- А зачем вы так долго отсутствовали?
- Идите за мной, вы увидите.

Захватив свертки, я направился к слуховому окну. Когда мы подползли к нему, я подробно рассказал Бальби, что сделал, советуясь с ним относительно того, как нам проникнуть на чердак. Для одного из нас дело не представляло особенных затруднений: с помощью веревки его мог спустить другой, но я не знал, как оставшийся мог быть спущен после этого, так как веревку невозможно было прикрепить у входа в слуховое окно. Входя в окно и прыгая с него, я мог сломать себе руку или ногу, потому что мне было неизвестно расстояние слухового окна от пола. Выслушав меня, монах сказал:

— Во всяком случае спускайте меня первого, когда я там буду, вы что-нибудь придумаете.

Сознаюсь, что в первую минуту раздражения я готов был вонзить кинжал в его грудь. Мой добрый гений удержал меня от этого, я ничего не сказал. Напротив того, я привязал веревку посередине его тела и, заставив его лечь на живот, спустил его на крышу слухового окна. Тогда я велел ему войти в окно до половины тела, придерживаясь руками. Когда это было сделано, я подполз на карачках к крыше окна и, легши на живот и держа крепко веревку, сказал монаху, чтобы он спускался без боязни. Достигнув пола чердака, он отвязал веревку, по веревке я мог заключить, что пол отстоял от окна футов на пятьдесят. Этого было слишком много для простого прыжка. Что же касается монаха, то, успокоившись, ибо он более двух часов был терзаем страхом на крыше, — он просил меня бросить ему веревки: разумеется, этого я не сделал.

Не зная, что делать, и ожидая вдохновения, я снова вскарабкался на верхушку крыши и тут-то впервые заметил небольшой купол; я направился туда. Я увидел порядочную террасу, покрытую свинцом, у большого слухового окна, закрытого ставнями. Тут же стоял большой чан с гипсом в жидком виде, лопата и рядом с нею лестница, достаточно большая; с ее помощью я мог спуститься в чердак. Ничего другого мне не нужно было. Привязав веревку к первой перекладине, я потащил лестницу к слуховому окну. Теперь нужно было просунуть в окно эту тяжесть; трудности, которые я испытал при этом, заставили меня пожалеть, что я был лишен помощи монаха.

Один конец лестницы прикасался к окну, другой выступал за водосточную трубу. Я влез на крышу окна, потянул лестницу в сторону и приблизил ее к себе, привязав веревку к ее восьмой перекладине, и стал спускать ее снова параллельно к окну, но мне невозможно было ввести ее более, чем до пятой перекладины, потому что ее конец упирался во внутреннюю крышу окна; не было другого средства, как приподнять ее с другого конца, — тогда наклон, уничтожая препятствие, увлек бы ее вниз собственной тяжестью. Я мог бы поместить лестницу поперек окна, привязать к ней веревку и по веревке спуститься на чердак без малейшей опасности, но тогда лестница осталась бы тут и утром она бы указала сбирам место, где, может быть, мы будем находиться.

Я не хотел таким образом потерять плоды всех моих усилий. Не имея никого, кто бы мне помог, я решился подползти к водосточной трубе, чтобы приподнять ее и таким образом остичь задуманной мною цели. Этого я достиг, но с такой громадной опасностью, что без чуда поплатился бы жизнью. Я осмелился оставить лестницу, освободя веревку, не боясь, что она упадет с крыши, потому что она как бы зацепилась одной перекладиной о трубу. Тогда, держа в руке кинжал, я подполз к трубе. Затем я приподнял лестницу, толкая ее вперед, и с удовольствием увидел, что она более чем на фут проникла в окно; читатель легко поймет, что это значительно уменьшило ее вес. Нужно было спустить ее еще на два фута, приподымая ее настолько же; я был уверен, что после этого, взобравшись на крышу окна, я спущу ее окончательно при помощи веревки. Чтобы приподнять ее, я встал на колени, но усилие, употребленное мною, заставило меня поскользнуться, так что я вдруг оказался за краями крыши по грудь и от окончательного падения удержался только руками. Момент

страшный, который приводит меня в ужас еще и теперь. Инстинкт самосохранения заставил меня, почти бессознательно, употребить все усилия, чтобы удержаться от падения, и я готов сказать, что успел в этом почти чудом. Относительно лестницы у меня не было никакой боязни, так как при несчастном усилии, которое чуть не стоило мне жизни, я ее вдвинул более чем на три фута и она была неподвижна. Находясь на водосточной трубе положительно на одних лишь руках, я заметил, что, приподняв мое правое бедро, чтобы ступить сначала одним коленом, а потом другим на трубу, — я буду в безопасности, но мои мучения не кончились еще этим. Вследствие усилий, употребленных мною, я ощутил сильную нервную судорогу и корчи в руках. Не теряя головы, я остался неподвижным до тех пор, пока это не пройдет: я по опыту знал, что неподвижность — лучшее средство против корчи. Но как этот момент был ужасен! Спустя две минуты, возобновив постепенно усилие, я достиг того, что мои колена очутились на трубе. Как только я несколько отдохнул, я осторожно приподнял лестницу и поставил ее параллельно слуховому окну. Зная законы равновесия и рычага, я опять воспользовался моим кинжалом, вскарабкался до окна и уже без всякого затруднения окончательно спустил лестницу, которой нижний конец очутился в руках моего товарища. Я бросил тогда на чердак свертки и веревки и спустился туда по лестнице; монах принял меня в свои объятия и снял лестницу. Мы ошупью произвели обзор темного места, в котором находились: оно имело шагов тридцать в длину и двадцать в ширину.

В одном конце мы нашли двери, окованные в железо: это обстоятельство представлялось печальным предзнаменованием, но нажав ручку, мы растворили дверь. Мы сначала обошли это новое помещение и натолкнулись на большой стол, окруженный табуретками и креслами. Мы возвратились к месту, где, как нам казалось, были окна и, открыв одно из них, увидели, при бледном свете звезд, куполы. Я и не думал уходить; я хотел знать, куда иду, а я не знал, в каком месте нахожусь. Я закрыл окно, мы возвратились в первое помещение; бросившись на пол, подложив под голову пучок веревок, я уснул мертвым сном. Я с таким наслаждением отдался ему, что если бы даже знал, что смерть будет последствием этого сна, я бы не прервал его.

Я спал три с половиною часа. Крик и толчки монаха разбудили меня. Он сказал, что пробило двенадцать часов (пять часов утра) и что мой сон кажется ему непонятным в положении, в котором мы находились. Может быть, это было непонятно для него, но не для меня; мой сон был только следствием чрезвычайных усилий, сделанных мною.

Как только я осмотрел место, где находились, я вскричал: это место не тюрьма, тут должен быть удобный выход. Мы направились в сторону, противоположную от железной двери, и тут я заметил другую дверь. Я ошупываю ее, и мой палец натывается на отверстие замка. Я ввожу туда кончик моего кинжала и без малейшего усилия отворяю замок; мы входим в маленькую кзмнату, и на столе я нахожу ключ. Я пробую его ввести в замок другой двери и нахожу ее открытой. Я велел монаху принести наши пожитки, и, положив ключ на прежнее место, мы выходим, попадаем в галерею с нишами, наполненными бумагами. Это был архив. Я нахожу маленькую каменную лестницу, спускаюсь по ней, в конце нахожу стеклянную дверь, которую открываю и попадаю в знакомую мне залу — канцелярию дожа. Я открываю окно; через него мне легко было бы спуститься, но я бы попал в целый лабиринт небольших двориков, окружающих церковь Св. Марка. Да сохранит меня Бог от такой выходки! На столе я нахожу железный инструмент с закругленным концом, с деревянной ручкой, инструмент, которым секретари канцелярий прокалывают пергаменты и затем привязывают к ним свинцовые печати; я его хватаю открываю бюро и нахожу там копию письма, извещающего проведитора Корфу о присылке трех тысяч цехинов на исправление старой крепости. Ищу цехины, но они тут не оказываются. С каким удовольствием я бы их положил в карман и как бы посмеялся над монахом, если бы он стал обвинять меня в воровстве! Я бы взял эту сумму как дар неба и считал бы себя ее собственником по праву завоевания.

Я направляюсь к двери канцелярии, ввожу мой кинжал в замочную скважину, но

убедившись, что сломать замок трудно, решаюсь сделать дыру в одной из половинок двери. Я выбрал место, где доска менее толста, и принимаюсь немедленно за дело. Монах, помогавший мне, проклинал шум, производимый мною всякий раз, когда я вбивал мой кинжал в дверь: шум можно было слышать издали; я чувствовал всю опасность, но был в необходимости пренебречь ею.

Спустя полчаса дыра была довольно велика. Края отверстия приводили в ужас: они были неровны, с зазубринами, способными попортить платье и поранить тело. Она находилась на высоте пяти футов. Поставив под нее два табурета рядом, мы влезли на них, и монах полез в отверстие головой вперед; взяв его за ноги, я успел протолкнуть его, и хотя было темно, я не тревожился, потому что знал помещение. Когда мой товарищ очутился на той стороне двери, я перебросил ему наши пожитки, за исключением веревок, без которых мы теперь могли обойтись, и, поставив третий табурет на два первых, я влез на него и стал пролезать в дыру, хотя с трудом, потому что отверстие было узко; не имея никакой точки опоры, я попросил монаха взять меня за туловище и тащить меня к себе. Он исполнил это дело добросовестно: мои бока и ноги были растерзаны, и из маленьких ран струилась кровь.

Как только я очутился по ту сторону двери, я захватил пожитки и, спустившись по двум лестницам, без всякого затруднения открыл дверь, выходящую в галерею, где находится парадная дверь королевской лестницы. Дверь была заперта, как и дверь архива; одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что без катапульты ее нельзя было проломать. Мой кинжал точно говорил мне: *Nie fines posuit* (тебе ничего делать со мною). Совершенно спокойно и хладнокровно я присел и велел монаху сделать то же.

— Мое дело кончено; теперь Бог или счастье должны сделать остальное.

Abbia chi regge il ciel cura del resto, O la fortuna se non locca a lui.

(Пусть тот, кто управляет небом, позаботится об остальном, или же судьба, — если это не его дело). Не знаю, придут ли сегодня служители дворца — в день Всех Святых, или завтра — в день поминок по умершим. Если кто-нибудь придет, я побегу, как только дверь будет открыта, и вы последуете за мной; но если никто не придет, я отсюда не тронусь, и если буду умирать с голоду — тем хуже.

Услыхав эти слова, монах пришел в бешенство. Он называл меня сумасшедшим, отчаянным, соблазнителем, обманщиком, лжецом. На его ругательства я не обращал никакого внимания. В это время пробило тринадцать часов. С минуты моего пробуждения на чердаке прошло не больше одного часа. Важнейшее дело, занявшее меня теперь, заключалось в том, чтобы привести в порядок мой туалет. Бальби имел вид крестьянина, но был приличен; на нем не было лохмотьев, на его теле не было царапин; его красный фланелевый жилет и его кожаные штаны были целы; между тем как мой вид внушал один лишь ужас: я весь был в крови и покрыт лохмотьями. Я наделал себе повязок из платков и одел мое праздничное платье, которое в зимний день должно было быть очень комично. Я надел чистые чулки, кружевную рубашку, за неимением другой, платки и чулки спрятал в карманы — все же остальное бросил в угол. На монаха я надел мой плащ. В таком виде я был похож на человека, который был на балу и провел ночь в развратном месте. Только повязка на ногах не соответствовала моему костюму.

Принарядившись таким образом и надев на голову мою шляпу с пером, я открыл окно. Меня заметили сначала какие-то зеваки, находившиеся на дворе; не понимая, каким образом кто-либо в моем виде и в такой час мог находиться у этого окна, они предупредили того, у кого был ключ от этого места. Привратник подумал, что накануне кого-нибудь запер нечаянно, и, захватив ключи, явился. Я досадовал на себя, что показался в окне, не полагая, что случай и на этот раз поможет мне; я сел рядом с монахом, который продолжал ворчать, как вдруг шум ключей дошел до моих ушей. В волнении я встал и, посмотрев в скважину двери, вижу человека в парике, без шляпы, подымавшегося медленно по лестнице с большими ключами в пуках. Я шепнул очень строго монаху не раскрывать рта, стоять позади меня и следовать за мною. Я беру кинжал и становлюсь в таком месте у двери, чтобы проскользнуть через нее, как только она будет открыта, и бежать. Я молил Бога только о том,

чтобы этот человек не вздумал задержать меня, ибо в этом случае я буду принужден убить его. Двери открываются, и при моем виде привратник останавливается в удивлении. Не говоря ни слова, пользуясь его удивлением, я быстро спускаюсь по лестнице, и монах следует за мной. Не бегом, но идя очень скоро, я проникаю на лестницу, называемую лестницей гигантов, не обращая внимания на Бальби, который мне кричал: «Пойдем в церковь!», я продолжаю идти. Двери церкви находились не более как в двадцати шагах от лестницы, но церкви в Венеции не были уже местом убежища для преступников. Монах знал это, но страх отнял у него память. Убежище, которое я искал, находилось за границей Республики; туда-то я и направился: там я уже находился духом, оставалось только попасть туда и телом. Я прямо направился к главной двери Дворца дожей и, ни на кого не глядя — лучшее средство не быть замеченным, — я прохожу через маленький дворик, попадаю на набережную, вхожу в первую попавшуюся мне гондолу, говоря гондольеру:

— Я хочу ехать в Фузино; позови поскорее другого гребца.

Гребец оказался поблизости. В то время как мы отчаливали, я бросаюсь на среднюю подушку, монах же сел на скамейку. Станный вид Бальби, без шляпы, с красивым плащом на плечах; мой нелепый костюм — все заставляло думать, что я — нечто вроде шарлатана или астролога. Как только мы проехали таможню, гондольеры принялись энергично грести по каналу Guidessa, по которому необходимо проехать, отправляясь или в Фузино, или в Местрэ, куда я, в действительности, и хотел попасть. Когда мы очутились на середине канала, я высунул голову и спросил:

— Приедем ли мы в Местрэ раньше четырех часов? — Вы сказали мне ехать в Фузино. — Не ври; я велел ехать в Местрэ.

Второй гондольер ответил, что я ошибся, в то время как монах, ревностный христианин и друг истины, повторял, что я не прав. Мне хотелось поколотить его, но, подумав, что не у всякого есть здравый смысл, я хохочу, соглашаясь, что ошибся, но прибавляя, что моим намерением было ехать в Местрэ. Мне не отвечали, и спустя минуту гондольер сказал мне, что готов свезти меня даже в Англию, если я пожелаю.

— Прекрасно! Направляйся в Местрэ.

— Мы будем там через три четверти часа: у нас попутный ветер.

Очень довольный этим обстоятельством, я смотрю на канал позади гондолы и нахожу его более красивым, чем когда-либо; поблизости не видно было ни одной лодки. Утро было чудесно; мои два молодых гондольера гребли легко и сильно. Вспоминая об ужасной ночи, которую я провел, об опасностях, которых избег, о месте, где находился еще накануне, о всех случайностях, благоприятствовавших мне, о свободе, которой я начинал пользоваться, — я так сильно взволновался, что, полный благодарности к небу, не мог удержаться и зарыдал.

Мой милейший товарищ, сидевший молча, счел своей обязанностью утешать меня. Он ошибался в причине моих слез; способ, который он употребил для этого, заставил меня перейти от рыданий к неудержимому хохоту, и он подумал, что я сошел с ума. Этот монах, как я уже сказал, был страшно глуп, и все его недостатки происходили от его глупости. Я был в необходимости воспользоваться им, но, хотя и без намерения, он чуть было не погубил меня. Я не мог его уверить, что я приказал гондольерам ехать в Фузино, когда намеревался попасть в Местрэ: он продолжал утверждать, что эта мысль пришла мне в голову только тогда, когда мы выехали на Большой Канал.

Мы приехали в Местрэ. На почте я не нашел лошадей, но нам встретились ветурины, которые так же быстро ездят, и я нанял одного, чтобы он меня свез в Тревизо не более как за пять часов. Минуты через три лошади были готовы, и, полагая, что Бальби позади меня, я сказал ему: «Пора садиться». Но его тут не было. Я сказал работнику пойти за ним, решившись хорошенько выругать его, потому что нам нельзя было мешкать. Работник вернулся и сказал, что его нигде нет. Я был в бешенстве. Я хотел его бросить на произвол судьбы, чувство гуманности удержало меня от этого. Я сам отправляюсь искать его: все его видели, но никто не может сказать, куда он пропал. Я направляюсь к аркадам большой улицы и, заглянув невольно в окно одного трактира, вижу этого несчастного за прилавком,

попивающего шоколад и любезничающего с какой-то девчонкой. Он меня видит, показывает мне на девчонку, говоря, что она недурна, и предлагает мне выпить чашку шоколада, говоря, чтобы я заплатил и за его чашку, так как у него нет денег. На это я отвечал ему. «Я не хочу, торопитесь». И в это время я так сильно сжал его руку, что он побледнел от боли. Я плачу, и мы выходим. Я дрожал от злости. Мы приходим, садимся, но не успели мы сделать и нескольких шагов, как вдруг я встречаю одного жителя Местрэ, по имени Томази, доброго малого, но находившегося в близких отношениях с республиканской инквизицией. Он меня знал и, подойдя, закричал мне:

— Как, вы здесь? Я очень рад вас видеть. Вы, значит, освободились? Каким образом?

— Я не бежал; меня отпустили.

— Это невозможно; еще вчера я был у Гримани и знал бы это.

Легко понять состояние, в котором я находился в эту минуту. Я видел, что был накрыт человеком, который, как я был уверен, должен меня арестовать; для этого ему стоило только кивнуть первому попавшемуся сбиру, а в Местрэ их видимо-невидимо. Я сказал ему говорить тише и, выйдя из повозки, отвел его в сторону. Остановившись позади дома, где никого не было, возле рва, за которым начиналось поле, я вооружаюсь моим кинжалом и хватаю его за шиворот. Видя мое намерение, он вырывается из моих рук, перескакивает через ров и без оглядки бежит. Удалившись на некоторое расстояние, он останавливается и посылает мне рукой поцелуи, как бы желая мне Доброго пути.

Положение было ужасно. Я был один и в войне со всеми силами Республики. Я должен был всем пожертвовать, лишь бы Достигнуть задуманной цели. Как человек, который только что избежал страшной опасности, я сажусь в повозку. Я думал о средствах избавиться от моего неудобного товарища, который не смел заговорить. Мы приехали в Тревизо без всяких других приключений. Я сказал цетурино, чтобы лошади были готовы в семнадцать часов (два часа утра), но у меня не было намерения ехать почтой; во-первых, потому, что у меня для этого не было достаточно денег, а во-вторых, потому что я боялся преследований. Хозяин постоялого Двора спросил меня, не хочу ли я завтракать; я изнывал от голода, но не решался завтракать: лишних четверть часа — все могло быть потеряно.

Я вышел через ворота Св. Фомы, как бы прогуливаясь и пройдя около мили по большой дороге, я бросился в поле с намерением не выходить оттуда на дорогу до тех пор, пока буду находиться в пределах Республики. Короче всего было направиться на Бассано, но я пошел по дороге более длинной потому что меня могли стеречь на ближайшем пункте границы. Я направился к Фельтро.

Пройдя часа три, я присел на траве, не будучи в состоянии идти дальше; я решительно нуждался в пище. Я велел монаху оставить плащ и отправиться на ферму, которая была видна неподалеку, за какою-нибудь едой. Он отправился, говоря мне что думал, что я — выносливее. Хотя ферма не была постоянным двором, фермерша прислала мне с работницей порядочный обед, стоивший мне несколько венецианских грошей. Поев и чувствуя, что меня клонит ко сну, я поспешил продолжать путь. После четырех часов ходьбы я остановился у какой-то хижины и тут узнал, что нахожусь в двадцати четырех милях от Тревизо. Я присел у дерева, заставил сделать то же самое и Бальби и сказал ему следующее:

— Мы пойдем в Borgo di Valsugano; это первый город по ту сторону границы. Там мы будем в такой же безопасности, как в Лондоне, но чтобы пройти туда, нам нужно много предосторожностей и первая из них — расстаться. Вы пойдете лесами в Мантелло, я — по горам; вы по легчайшей и более безопасной дороге, я — по более трудной и длинной; вы — при деньгах, я — без гроша. Я дарю вам мой плащ, который вы променяете на кафтан и шляпу, и вас будут принимать за крестьянина. Вот все деньги, оставшиеся у меня из двух цехинов графа Аскино; берите их. В Борго вы будете послезавтра вечером, а я — спустя сутки. Вы подождете меня на первом постоялом дворе по правую сторону. Сегодня ночью мне необходимо выспаться хоть в какой-нибудь кровати: благодаря Провидению, я, может быть, и достигну этого. Я уверен, что теперь нас деятельно ищут, я уверен, что нас арестуют везде, где нас найдут вместе. Вы видите, в каком печальном состоянии я нахожусь и как мне

необходим отдых. Отправляйтесь же.

— Я выслушал все, что вы мне сказали, — отвечал Баль-бя. — Но я напомним вам только то, что вы мне обещали, когда я решился бежать с вами. Вы обещали не расставаться со мной- поэтому не надейтесь, что я оставлю вас: ваша судьба будет моею судьбою.

— Итак, вы решились не следовать моему совету?

— Да.

— Посмотрим.

Я с усилием встал, смерил его рост и затем по этой мерке стал копать яму моим кинжалом, совершенно хладнокровно, не отвечая на все его вопросы. Спустя четверть часа я стал печально на него смотреть и сказал ему, что как христианин я считаю своею обязанностью предупредить его, чтобы он помолился:

— Ибо, — прибавил я, — я принужден похоронить вас здесь живым или мертвым; а если вы сильнее меня, — то вы меня похороните. Вот крайность, к которой вы меня принуждаете. Вы можете, однако, бежать, потому что я не стану ловить вас.

Видя, что он не отвечает, я снова принялся за работу; но сознаюсь, что я начал терять терпение; я решился отделаться от него. Наконец, он набросился на меня. Догадываясь о его намерениях, я подставил ему мой кинжал, но мне нечего было бояться. «Я сделаю, — сказал он, — все, что вы желаете». Я обнимаю его, отдаю ему все деньги и возобновляю обещание найти его в Борго, Хотя без гроша и принужденный переправиться через две реки, я радовался, что освобождаюсь от общества человека его характера; один, я знал наверное, что достигну границы моей милой Республики.

В Париже

Итак, я снова в Париже, единственном в мире городе, который я принужден считать моим отечеством; так я лишен возможности жить там, где я, действительно, родился; отечество неблагодарное, однако любимое мною, несмотря на все, потому ли, что чувствуешь какую-то нежную слабость к месту, где мы провели наши молодые годы, где получили первые впечатления; потому ли, что Венеция, действительно, так обаятельна, как никакой другой город в мире. Но этот громадный Париж есть место нужды или счастья, смотря по тому, как себя поставишь.

Париж не был мне совершенно неизвестен: я уже раньше прожил там два года, но тогда у меня была лишь одна цель: веселиться и наслаждаться. Фортуна, за которой я не ухаживал, не открыла мне своего святилища, но теперь, я чувствовал, что должен обходиться с нею с большим уважением: мне нужно было сблизиться с любимцами, которых она осыпает своими дарами. Я к тому же знал, что чем более приближаешься к солнцу, тем более чувствуешь благодетельные действия его лучей. Я видел, что для того, чтобы чего-либо достичь, я должен пустить в ход все мои физические и нравственные качества, что я не должен пренебрегать знакомством с великими мира сего, что я никогда не должен теряться и всегда усваивать себе цвет тех, от которых я буду зависеть. Для осуществления этого плана было необходимо избегать того, что в Париже называют неприличным обществом, отказаться от всех моих старых привычек, от всех претензий, могущих мне наделать врагов.

— Я буду, — сказал я себе, — скромнен в своем поведении и речах и таким образом я приобрету репутацию, которой плоды соберу в изобилии.

Что же касается моих немедленных нужд, то в этом отношении я нисколько не беспокоился, ибо я мог рассчитывать на месячную пенсию в сто экю, которую мне будет высылать усыновивший меня отец, добрый и великодушный Брагадин: этой суммы будет достаточно на первое время, потому что в Париже, когда умеешь ограничить себя, можно жить на малые средства очень прилично. Главное было то, чтобы быть хорошо одетым и иметь приличную квартиру, ибо во всех больших городах внешность важнее всего; по ней всегда судят о человеке. Теперь затруднение состояло в существенно необходимом; говоря откровенно, у меня не было ни платья, ни белья — одним словом, ничего.

В Венеции я находился в дружеских отношениях с французским посланником; понятно, что первою моею мыслию было обратиться к нему; он тогда занимал превосходное положение, и я знал его настолько, что мог рассчитывать на него.

Уверенный, что швейцар ответит мне, что монсеньер занят, я достал рекомендательное письмо и отправился в Бурбонский дворец. Швейцар взял мое письмо, и я дал ему свой адрес. Больше ничего не нужно было, я уехал. В ожидании ответа мне приходилось рассказывать о моем побеге из-под Пломб везде, где я бывал. В конце концов, это превратилось в такое же мучение, каким был и мой побег, ибо на рассказ требовалось часа два, даже без всяких разукрашиваний, но мое положение заставляло меня быть сговорчивым и любезным.

Я обедал у Сильвии и, более спокойный, чем накануне, я вправе был радоваться знакам дружбы, которые были мне оказываемы. Ее дочь была девушка пятнадцати лет: я был восхищен не только ее красотой, но также и ее душевными качествами. Я хвалил ее матери, воспитавшей ее, и вовсе не думал оберегать себя от действия ее красоты. Еще так недавно я принял столь серьезные решения! К тому же я был в таком положении, что думать о победах было бы нелепостью. Я уехал рано, сгорая нетерпением узнать, что мне ответит министр. Он не заставил себя ждать: в восемь часов я получил от него записку, и назначал мне свидание в два часа. Понятно, что я не опоздал; я был принят весьма любезно. Г-н де Берни выразил мне удовольствие по поводу моей победы над инквизицией и готовность быть мне полезным. Он мне сказал, что М. М. писала ему о моем побеге и что он льстил себя надеждой, что первый мой визит в Париже, куда я конечно приеду, будет к нему. Он мне показал письмо М. М., но рассказ был далеко не верен. Это было понятно: она писала по слухам, а по слухам трудно было составить себе точное понятие о моем побеге, я сказал Берни, что рассказ о моем побеге ложен и поэтому я позволю себе написать ему все как было. Он очень обрадовался этому, обещая переслать копию с моего рассказа М. М., и в то же время положил мне в руку, самым милым образом, сто луи, говоря, что подумает обо мне и что пошлет за мною, как только будет нужно.

С деньгами в кармане я позаботился о своем туалете; как только у меня было все необходимое, я сел за работу и спустя неделю послал моему покровителю мою историю, обещая ему сделать столько копий, сколько он пожелает. Вскоре министр послал за мною и сказал мне, что говорил обо мне г-ну Эриццо, венецианскому посланнику, который отвечал ему, что не будет вредить мне, но что, не желая ссориться с инквизицией, не примет меня. Вовсе не нуждаясь в нем, я не опечалился его ответом. Затем Берни сообщил мне, что дал мою историю г-же Помпадур *, которая помнила обо мне, и обещал представить меня ей при первой возможности.

— Вы можете явиться, мой дорогой Казанова, — прибавил Берни, — к г-ну Шуазелю * и к генеральному контролеру г-ну де Булоню: вы будете хорошо приняты, и при некоторой ловкости с вашей стороны этот последний может быть вам полезен. Придумайте что-нибудь полезное для королевской казны, избегая всяких усложнений и химер, и если то, что вы напишете, не будет особенно длинно, я вам выскажу свое мнение.

Я оставил министра в весьма хорошем расположении духа, но с ужасом спрашивая себя, что я могу найти, чтобы увеличить королевские доходы? Я не имел никакого понятия о финансах и, как я ни ломал себе голову, я всегда приходил к новым налогам — средство нелепое и негодное.

К Шуазелю я отправился как только узнал, что он приехал в Париж. Он меня принял в то время, когда лакей одевал его; в то же время он писал. Он простер свою любезность до того, что несколько раз прерывал свое занятие и задавал мне вопросы. Но в то время как я отвечал, он снова принимался писать, так что я весьма сомневаюсь, чтобы он меня слышал, хотя несколько раз поглядывал на меня: было очевидно, что его глаза его мысли были заняты разными предметами. Несмотря на и Странную манеру принимать, г-н Шуазель казался умным человеком. Окончив письмо, он сказал мне по-итальянски, что Берни рассказал ему часть моей истории, и затем прибавил:

- Скажите мне, как вы успели бежать?
- Монсеньер, — отвечал я, — рассказ будет слишком длинен: на это потребуется по крайней мере два часа.
- Подробности оставьте до другого раза.
- Но в этой истории интересны именно только детали.
- Пустяки; вы можете укоротить при желании, почти совсем не ослабляя интереса.
- Извольте. Итак, я начну с того, что инквизиторы заключили меня под Пломбы; что спустя пятнадцать месяцев и пятнадцать дней я успел продырявить крышу, — что через слуховое окошко, среди страшных затруднений, я спустился в канцелярию; там я выломал двери, спустился на площадь Св. Марка, откуда отправился в порт, сел в гондолу, которая причалила меня к твердой земле; затем я направил свои стопы в Париж, где и имею честь представиться вашей светлости.
- Но... что такое пломбы?
- Монсеньер, чтобы ответить на ваш ответ, мне понадобится по крайней мере четверть часа.
- Каким образом продырявили вы крышу?
- На ответ потребуется целых полчаса.
- За что заключили вас?
- Рассказ об этом будет слишком долог, монсеньер.
- Я думаю, что вы правы. Весь интерес истории — только в ее подробностях.
- Об этом именно я и докладывал Вашей Светлости.
- Мне необходимо ехать в Версаль, но вы сделаете мне удовольствие, если будете навещать меня по временам. А пока подумайте, г-н Казанова, чем я могу быть вам полезен.
- Приемом у г-на Шуазеля я был почти шокирован, но конец нашего разговора и, в особенности, его последние слова примирили меня с ним; я его оставил если и не совсем довольный, то во всяком случае без досады.
- От него я отправился к г-ну Булоню и в нем нашел человека совершенно другого типа. Он принял меня очень любезно и начал с того, что Берни расхвалил меня и в особенности мои познания в финансах. Я чувствовал, что этот комплимент был совершенно не по адресу, и чуть не расхохотался вслух. Мой добрый гений заставил меня быть серьезным.
- Г-н Булонь был в обществе старца, на лице которого был напечатлен гений и который внушал мне почтение. «Сообщите мне ваши виды, — сказал мне генеральный контролер, — лично или письменно; вы найдете во мне человека, готового поощрить ваши идеи. Вот г-н Пари Дю Вернэ, который нуждается в двадцати миллионах для Военной школы. Дело заключается в том, чтобы найти эту сумму, не обременяя государства и не опустошая казны».
- Только Бог имеет дар творчества.
- Я не Бог, — отвечал мне Дю Вернэ, — однако мне по временам случалось творить, но с тех пор многое изменилось.
- Да, — отвечал я, — жизнь становится все труднее и труднее, — мне это известно; но несмотря на затруднения, я имею в виду операцию, которая принесет королю сто миллионов...
- А во что это обойдется королю?
- Это ничего не будет стоить, за исключением издержек по сбору.
- Значит, эту сумму даст народ?
- Конечно, но добровольно.
- Я знаю, о чем вы думаете.
- Это удивило бы меня, потому что своей мысли я никому не сообщал.
- Если вам нечего делать, то сделайте мне честь приехать завтра обедать ко мне; я покажу вам проект, который я нахожу прекрасным, но который вызовет множество затруднений. Несмотря на это, мы о нем поговорим. Приедете?
- Буду иметь эту честь.

— Прекрасно; я вас буду ждать в Плезансе.

После его ухода г-н Булонь чрезвычайно расхвалил мне талант и честность этого старца. Это был брат г-на Монмартеля, о котором подпольная летопись сообщала, что он — отец г-жи Помпадур, так как он любил г-жу Пуассон, а также и г-на Ленормана.

Выйдя от генерального контролера, я пошел пройтись в Тюильрийский сад и размышлял о Странной случайности, навязываемой мне судьбой. Мне говорят, что нуждаются в двадцати миллионах; я хвастаюсь, что могу найти целых сто, не имея ни малейшего понятия об этой возможности, и человек известный, опытный в делах, приглашает меня на обед, чтобы убедить меня, что мой проект ему известен! Тут было что-то невероятно странное, но отвечало моей манере действовать и чувствовать. «Если он думает, что я проговорюсь, — говорил я себе, — то сильно ошибается. Когда он мне сообщит свой план, от меня будет зависеть отвечать: угадал ли он или ошибся, смотря на тому, как я найду лучше отвечать в виду обстоятельств. Если дело будет мне понятно, я, может быть, и скажу что-нибудь новое; а молчание иногда производит значительный эффект. Во всяком случае не буду отталкивать Фортуны, если она хочет быть мне полезной».

Аббат Берни представил меня г-ну Булоню как финансиста, с тем чтобы я имел к нему доступ, потому что без этого он бы меня не принял. Мне было досадно, что я даже незнаком с необходимыми терминами; с этим многие блистают. Но делать было нечего; взялся за гуж, не говори, что не дюж, а самоуверенности было у меня достаточно. На другой день я сел в наемную карету и приказал везти себя в Плезанс, к г-ну Дю Вернэ. Плезанс находится в окрестностях Венсена.

И вот я — у дверей того великого человека, который спас Францию от пропасти, на краю которой она находилась лет сорок тому, благодаря системе Лоу. Я вхожу и нахожу его сидящим перед камином, в обществе семи или восьми лиц, которым он меня представил как друга министра иностранных дел и генерального контролера. Затем он представил мне каждого из них, упоминая об их титулах, и я заметил, что между ними было четыре интенданта финансов. Поклонившись каждому из них, я посвятил себя культу Гарпократа и весь превратился в слух, не подавая виду, что я так внимательно их слушаю.

Разговор, однако, был не особенно интересен: говорили о Сене, покрытой тогда льдом очень толстым. Затем коснулись недавней смерти Фонтенеля; потом поговорили о Дамьене, который ни в чем не хотел сознаваться, и о пяти миллионах, которые пойдут на это дело. Наконец, по поводу войны, расхвалили Субиза, которого король выбрал в главнокомандующие; от этого легко уже было перейти к издержкам, которые понадобятся на эту войну, и к средствам найти для этого источники.

Я слушал и скучал, потому что их речи были так переполнены техническими терминами, что я не мог даже следить за их мыслью. Если молчанием кто-либо приобретал уважение, то мое упорство в молчании должно было убедить этих господ, что я — важное лицо. Наконец, в ту минуту как меня начала одолевать зевота, обед был подан, и я еще в течение полутора часов упорно молчал, уписывая прекрасный обед. Сейчас же после десерта Дю Вернэ пригласил меня в соседнюю комнату, оставив всех остальных за столом. Я последовал за ним; мы вошли в залу, где нашли мужчину лет пятидесяти, который последовал за нами в кабинет; там г-н Дю Вернэ представил мне его под именем Кальзабиджи. Через минуту вошли два интенданта финансов и Дю Вернэ, улыбаясь любезно, показал мне тетрадь *in folio*, говоря:

— Господин Казанова вот, ваш проект.

Я беру тетрадь и читаю: «Лотерея в девяносто билетов, выигрыши которых, выходящие раз в месяц, могут падать только на пять номеров» * и проч. Я возвращаю ему тетрадь, говоря с величайшей самоуверенностью:

— Я принужден сознаться, что это, действительно, мой проект.

— Вас предупредили: проект принадлежит г-ну Кальзабиджи, здесь присутствующему.

— Я очень рад, не тому, что я предупрежден, а тому, что схожусь с господином Кальзабиджи; но если вы его не приняли, то осмелюсь спросить, почему?

- Проект вызвал много возражений, на которые отвечают не совсем убедительно.
- Я вижу одно лишь затруднение, — сказал я хладнокровно, — именно, что король не позволит своему народу играть.
- Вы знаете, что это затруднение не идет в счет: король позволит играть своим подданным сколько им угодно, но они-то захотят ли играть?
- Удивляюсь, что можно в этом сомневаться; они будут играть, если будут уверены, что выигравшие получают деньги.
- Предположим, что они станут играть, когда вполне убедятся, что касса существует; но откуда взять фонды?
- Фонды? Нет ничего проще. Королевская казна, декрет совета. Для меня достаточно и того, что народ будет предполагать, что король в состоянии заплатить сто миллионов.
- Сто миллионов?
- Конечно. Нужно же ослепить.
- Но для того, чтобы уверить Францию, что король может заплатить сто миллионов, необходимо предположить, что он может их потерять, а предполагаете ли вы это?
- Конечно, предполагаю; но это может случиться лишь в том случае, когда сбор достигнет по крайней мере ста пятидесяти миллионов, а в этом случае, потеря не велика. Зная силу политических расчетов, вы не можете не согласиться с этим.
- Я не один. Согласны вы с тем, что в первый же тираж король может потерять громадную сумму?
- Согласен, но между возможностью и действительностью лежит целая бесконечность, и я бы осмелился уверить вас, что величайшее было бы счастье для полного успеха лотереи, если бы на первый раз король потерял изрядную сумму.
- Как? Но ведь это будет большое несчастье?
- Несчастье желательное. Теория вероятностей может быть приложима и к области духовной. Вы знаете, что все страховые общества богаты. Я готов доказать вам перед всеми европейскими математиками, что король должен выиграть один процент на сто в этой лотерее. В этом весь секрет. Согласны вы, что разум должен уступить перед математическими доказательствами?
- Согласен. Но скажите мне, почему Кастеллетто не может поручиться, что прибыль короля несомненна?
- Ни Кастеллетто, ни кто другой в мире не может дать решительной уверенности в том, что король всегда будет выигрывать. Кастеллетто к тому же полезен только, как временной баланс на один, два, три нумера, которые, будучи чрезвычайно обременительными, могут, выходя, причинить ставщику значительную потерю. Кастеллетто объявляет тогда число закрытым и может дать вам уверенность в выигрыше только в случае откладывания тиража, до тех пор пока шансы будут одинаково обеспечены; но тогда лотерея не пойдет, потому что придется, может быть, ждать целые годы; к тому же в таком случае лотерея превратится в настоящий грабеж. Честность лотереи гарантируется установлением тиража раз в месяц, ибо в этом случае публика уверена, что банк может проиграть.
- Захотите ли вы объяснить все это совету?
- С удовольствием.
- Ответите ли вы на все возражения?
- Смею надеяться.
- Не доставите ли вы мне вашего плана?
- Я его вручу только тогда, когда будет решено принять его и когда мне будет гарантирован известный доход.
- Но ведь ваш план тот же самый, что и этот.
- Сомневаюсь. Я вижу г-на Кальзабиджи в первый раз в жизни, и так как он не показывал мне своего плана, так как он не знает моего, то трудно предположить, чтобы мы сошлись с ним во всех пунктах. К тому же в моем плане я устанавливаю в общем, что король должен выиграть в течение года, и доказываю это математически.

— Значит, предприятие можно было бы отдать товариществу, которое обязется платить королю известную определенную сумму?

— Ни в каком случае.

— Почему?

— А вот почему. Лотерея может процветать только при предрассудке. Я бы не хотел иметь дела с обществом, которое, из желания увеличить свой доход, могло бы прийти к убеждению расширить свои операции, что неминуемо должно было бы уменьшить увлечение лотереей.

— Не вижу почему.

— По многим причинам, которые я готов перечислить вам в следующий раз и о которых вы будете судить так же, как и я. Наконец, лотерея может быть лишь королевским учреждением или не должна вовсе существовать.

— Господин Кальзабиджи согласен с вами.

— Я очень рад, но не удивлен, ибо, размышляя об этом подобно мне, он должен был прийти к тому же результату.

— Имеете ли вы подходящих лиц для замещения должностей при управлении лотереей?

— Для этого нужны только хорошие машины, а в этом во Франции нет недостатка.

— В каком размере рассчитываете вы на прибыль?

— Двадцать на сто в каждый месяц. Тот, кто принесет королю эку в шесть франков, получит пять, и я обещаю, что, *ceteris paribus* (при прочих равных), весь народ будет платить монарху по меньшей мере пятьсот тысяч франков каждый месяц. Я готов доказать это совету при условии, что он будет состоять из таких лиц, которые, признав истину, основанную на физическом или политическом расчете, не будут придирааться и обратят свое внимание прямо на цель.

Я, действительно, чувствовал себя в состоянии сдержать слово, и это внутреннее чувство было мне приятно. Я на минуту вышел, а когда вернулся, то нашел этих господ очень серьезно разговаривающими о проекте.

Кальзабиджи подошел ко мне и спросил, допускаю ли я в мой план кватерну?

— Публика, — отвечал я, — должна иметь полную свободу играть даже на квинтертту, но в моем плане ставки сильнее обыкновенного, потому что игроки могут рисковать кватерны и кпинтерны, так же как и терны.

— В моем плане я допускаю простую кватергу с выигрышем в пятьдесят тысяч на одну.

— Во Франции существуют хорошие математики, и если они не найдут выигрыш равным во всех шансах, то войдут между собой в стачку.

Кальзабиджи дружески пожал мне руку, сказав, что желал бы найти возможность поговорить со мной более обстоятельно; я же, отвечая на его пожатие, высказал желание ближе познакомиться с ним. Затем, оставив свой адрес г-ну Дю Вернэ, я простился с обществом, довольный тем, что видел на всех лицах лестное мнение о моих способностях. Спустя три дня Кальзабиджи приехал ко мне, и я принял его самым любезным образом, уверяя его, что если до сих пор я не побывал у него, то только потому, что боялся его беспокоить. Ответив мне такими же любезностями, он сказал мне, что всех этих господ поразила моя уверенность и что несомненно, что если я похлопочу у генерального контролера, то мы будем иметь возможность устроить лотерею с большою для нас выгодой.

— Я уверен в этом, — отвечал я, — но их выгоды будут еще больше, а между тем эти господа не особенно спешат. Они не посылали еще за мной. Это их дело.

— Вероятно, вы услышите о них сегодня же; я знаю, что г-н де Булонь говорил о вас г-ну де Куртейлю.

— Прекрасно; но уверяю вас, что я не просил его об этом.

Побеседовав со мной еще несколько минут, он просил меня самым дружеским образом пообедать с ним, и я согласился; в ту минуту, когда мы уже собирались выйти, мне подали

записку от Берни, в которой этот любезный аббат говорил, что если завтра я отправлюсь в Версаль, то он меня представит г-же Помпадур, и что там я увижу г-на де Булоня. Обрадовавшись случаю не столько из тщеславия, сколько из политики, я показал записку Кальзабиджи и с удовольствием увидел, что он чрезвычайно радовался, читая ее. «У вас есть все, — сказал он, — чтобы заставить даже Дю Вернэ принять вашу лотерею; вы сделаете состояние, если, конечно, вы не настолько богаты, чтобы презирать деньги».

— Никто не бывает настолько богат, чтобы презирать деньги, в особенности если они даются не из милости.

— Великая мысль! Что же касается нас, то вот уже два года, как мы хлопчем об этом проекте, и все это время нам отвечают глупыми возражениями, которые вы сокрушили сразу. Однако ваш проект не может во многом разниться от нашего. Заключим союз, верьте мне; один вы встретите большие затруднения, и будьте уверены, что сознательные машины, нужные вам, не найдутся в Париже. Мой брат возьмет на себя всю черную работу, а вы воспользуетесь только преимуществами директорства, продолжая жить светской жизнью.

— Я не особенно корыстолюбив, так что не будет затруднения относительно дележа прибылей. Но разве не вы автор плана?

— План принадлежит моему брату.

— Буду я иметь честь его видеть?

— Конечно. Он болен телом, но духом здоров. Мы его сейчас увидим.

Я увидел человека не особенно привлекательного: он был покрыт чем-то вроде проказы, но это не мешало ему ни хорошо есть, ни писать; он прекрасно говорил и был весел. Он никому не показывался, потому что болезнь изуродовала его и он по временам чувствовал непреодолимое желание почесывать себе тело то в одном месте, то в другом, а так как почесываться в Париже считается неприличием, то он предпочитал пускать в ход свои ногти на свободе. Он был холост, любил математику, был знаток финансов, знал прекрасно историю, был остроумен, поэт и большой друг женщин. Он был родом из Ливорно, служил при министерстве в Неаполе и явился в Париж вместе с г-ном де Л'Опиталем. Брат его был так же талантлив и сведущ, но не был так блестящ.

Он мне показал множество рукописей, где вопрос о лотерее был разработан обстоятельно. «Если вы можете обойтись без меня, — сказал он мне, — очень рад, но я полагаю, что вы заблуждаетесь: если вы не знакомы с практикою дела и не имеете под руками опытных людей, — то вся ваша теория ни к чему не послужит. Что станете вы делать, когда получите декрет? Когда вы будете говорить в совете, я вам советую определить им срок, до коего вы будете освобождены от всякой ответственности, то есть вы их запугаете вашим уходом. Без этого вы непременно натолкнетесь на людей, которые вечно будут вас водить за нос. С другой стороны, я могу вас уверить, что наш с вами союз будет очень приятен Дю Вернэ».

Весьма расположенный к союзу с этими господами, ибо без них я все равно не мог обойтись, но не думая показывать им это, я вышел с его братом, который до обеда хотел познакомить меня со своей женой. У этой дамы я встретил очень известную в Париже старуху, по имени Ламот, знаменитую своей прежней красотой и лечебными каплями; другую пожилую женщину, которую в Париже называли баронессой Бланкой, любовницу г-на де Во; третью, по прозвищу госпожа-президентша, и, наконец, четвертую, очень красивую, по имени Раццети, жену скрипача в Опере, за которой, как говорили, ухаживал г-н де Фонпертюи.

Мы сели за стол, но я был неинтересен, потому что лотерея поглощала меня всего. Вечером, у Сильвии, я казался рассеянным, озабоченным, несмотря на нежное чувство, внушаемое мне молодой Балетти, чувство, с каждым днем приобретающее новую силу.

На другой день я отправился в Версаль; Берни принял меня очень любезно, говоря мне, что без него я бы и не подозревал в себе существование великого финансиста. «Г-н де Булонь сказал мне, что вы удивили Дю Вернэ, который считается умнейшим человеком во Франции. Я вам советую не пренебрегать его знакомством. К тому же я вас могу уверить, что

лотерея будет устроена, что этим мы будем вам обязаны и что вы должны воспользоваться ею... Как только король отправится на охоту, находитесь в маленьких апартаментах дворца; выждав удобную минуту, я вас представлю этой знаменитой маркизе. После этого не позабудьте отправиться в министерство иностранных дел и явитесь от моего имени к аббату де ла Биллю. Это — главный чиновник; он вас отлично примет».

В полдень г-жа Помпадур вошла в маленькие апартаменты с принцем де Субизом, и мой покровитель обратил ее внимание на меня. Подойдя ко мне, она сказала мне, что моя история очень ее заинтересовала. «Господа инквизиторы, — сказала она, — очень суровы. Посещаете вы венецианского посланника?»

— Самый высокий знак уважения, который я ему могу оказать, заключается в том, чтобы не посещать его.

— Надеюсь, что теперь вы поселитесь среди нас?

— Это было бы величайшим счастьем для меня, но я нуждаюсь в покровительстве, а между тем знаю, что здесь покровительство оказывается только таланту. Это меня приводит в смущение.

— Я думаю, напротив, что вы на все можете рассчитывать, потому что у вас есть хорошие друзья. Я сама с удовольствием воспользуюсь случаем быть вам полезной.

Так как при этих словах прекрасная маркиза стала уходить, то я только пролепетал выражение мой благодарности.

Возвратившись к себе, я нашел записку от Дю Вернэ, который просил меня приехать на другой день, часов в одиннадцать, в Военную школу. Рано утром явился Кальзабиджи и вручил мне рукопись, заключающую математический проект лотереи. Это был расчет вероятностей, в котором доказывалось то, на что я только намекал. Судьба, казалось, улыбалась мне, потому что этот расчет спасал мой план. Решившись защищаться всеми силами и выслушав совета Кальзабиджи, я отправился в Военную школу, где совет открылся, как только я приехал. Д'Аламбера просили присутствовать в качестве великого математика. Его бы не пригласили, если бы Дю Вернэ распоряжался один, но были другие, по мнению которых его присутствие было необходимо. Конференция длилась три часа.

После моей речи, продолжавшейся не более получаса, г-н Куртейль резюмировал то, что я сказал; затем целый час прошел в возражениях, на которые я отвечал без всякого затруднения. Я им сказал, что если искусство расчета есть вообще искусство находить выражения одного отношения, вытекающего из выражения многих отношений, то это определение применяется одинаково к нравственному расчету и к расчету математическому, я их убедил, что без этой уверенности в мире не было бы страховых обществ, процветающих и богатых. К концу конференции я почувствовал, что мое дело выиграно.

На другой день ко мне явился Кальзабиджи с приятною новостью, что дело принято и что остается обнародовать только декрет. «Я очень рад успеху, сказал я ему, — обещаю дать вам место, как только буду знать, какую роль предназначает мне Дю Вернэ».

Читатель поймет, что я не забыл разных ходов, потому что я знал, что для великих мира сего обещать не значит исполнять. Мне предложили шесть бюро сборов, и я поспешил принять это, и кроме того, мне дали жалованье в четыре тысячи франков из доходов лотереи. Это был доход с капитала в сто тысяч франков, который я мог получить, отказываясь от бюро, ибо этот капитал заменял собою поручительство. Декрет совета появился через неделю. Управление дали Кальзабиджи с жалованием в три тысячи франков и пансионом в четыре тысячи. Преимущества, данные Кальзабиджи, были гораздо выше моих, но я не завидовал ему, так как очень хорошо знал, что он имел на это право. Из шести моих бюро я сейчас же продал пять, по две тысячи франков каждое; шестое я открыл в улице Сен-Дени и поставил там моего лакея в качестве конторщика. Это был молодой, очень смысленный итальянец, бывший лакеем у принца Католика, неаполитанского посланника. Был назначен день первого тиража с объявлением, что по выигравшим билетам уплата будет производиться спустя неделю после тиража в главном бюро лотереи. Желая привлечь толпу к моему бюро, я объявил, что по всем выигрышным билетам, подписанным мною, деньги

будут выдаваться в моем бюро ровно через двадцать четыре часа после тиража. Следствием этого было то, что толпа нахлынула ко мне, что значительно увеличило мои барыши, потому что я имел шесть на сто со всего сбора. Многие конторщики других бюро отправились жаловаться на меня Кальзабиджи, говоря ему, что моя операция значительно уменьшила их прибыли; но управляющий ответил им, что им остается делать то же, что делаю я, если на то у них хватит средств. Мой первый сбор оказался в сорок тысяч франков. Спустя час после тиража мой конторщик принес мне книгу и указал цифру, которую мы должны уплатить; от семидесяти до восьмидесяти тысяч франков. Я сейчас же выдал ему необходимые для этого деньги. Общий доход оказался в два миллиона, из которых управление получило шестьсот тысяч франков. Один Париж дал четыреста тысяч. На первый раз это было недурно. На другой день после тиража я обедал с Кальзабиджи у Дю Вернэ и имел удовольствие слышать, как этот последний жаловался, что доход был слишком велик. Париж имел всего от восемнадцати до двадцати тернов, но несмотря на это, они сделали лотерее блестящую репутацию, и легко было предвидеть, что в следующий тираж сбор будет вдвое больше. Любезные нападки, делаемые на меня за обедом, развеселили меня; Кальзабиджи сказал, что, благодаря моей операции, я гарантировал себе ежегодную ренту в сто тысяч франков, но что это разорило всех других сборщиков.

— Я и сам часто прибегал к подобным же операциям, — сказал Дю Вернэ, и в большинстве случаев, с успехом; к тому же всякий сборщик волен делать то же, что делает Казанова, и это может только увеличить репутацию учреждения, которым мы обязаны как ему, так и вам.

На второй тираж терна в сорок тысяч франков заставила меня прибегнуть к займу. Мой сбор равнялся шестидесяти тысячам франков, но принужденный задержать кассу накануне тиража, я должен был платить из собственных денег, которые мог вернуть только через неделю.

Во всех домах, где я бывал, в фойе всех театров, как только замечали меня, сейчас же давали мне деньги, прося меня играть на них, как мне заблагорассудится, и давать им билеты, ибо никто еще ничего не понимал в этой игре. Вследствие этого у меня образовалась привычка носить с собой билеты всех родов или, вернее, всех цен: каждому я предоставлял выбор и всякий день возвращался домой с карманами, наполненными золотом. Это было большое преимущество: нечто вроде привилегии, которою я один пользовался, потому что другие сборщики не принадлежали к хорошему обществу и не ездили в каретах, подобно мне; преимущество большое в большом городе, где слишком часто человека судят по тому блеску, которым он окружен.

Вольтер

После обеда мы отправились к г-ну Вольтеру, выходявшему из-за стола в то время, как мы входили. Он был точно среди целой толпы царедворцев и дам, вследствие чего и мое ему представление имело торжественный характер.

— Это лучший момент в моей жизни, г-н Вольтер, — сказал я ему, — вот уже двадцать лет, как я состою вашим учеником, и мое сердце исполнено счастья видеть моего учителя.

— Милостивый государь, почитайте меня еще двадцать лет и обещайте к концу этого времени уплатить мне мой гонорар.

— С удовольствием, если бы вы обещались мне подождать этого времени.

Эта вольтеровская шутка всех рассмешила; все это в порядке вещей: шутники поддерживают одну из двух сторон против другой, и та сторона, которая располагает шутников в свою пользу, уверена в победе; это заговор хорошего общества.

К тому же я не был захвачен врасплох, я ожидал чего-либо подобного и надеялся наверстать потерянное время.

Тем временем ему представили двух новоприбывших англичан. «Эти господа — англичане, — сказал Вольтер, — и я желал бы быть англичанином». Я нашел комплимент

этот несколько фальшивым и неуместным, потому что он обязывал англичан отвечать из вежливости, что и они желали бы быть французами; а между тем, если у них не было привычки нагло лгать, они должны были стесняться сказать истину. Мне кажется, что каждому порядочному человеку позволительно считать свой народ лучшим.

Спустя минуту Вольтер снова обратился ко мне и сказал, что так как я венецианец, то должен знать графа Альгароти.

— Я его знаю, но не в качестве венецианца, потому что семь восьмых моих дорогих соотечественников не знают, что он существует.

— Я хотел сказать, в качестве писателя.

— Я провел с ним два месяца в Падуе лет семь тому; он обратил мое внимание на себя в особенности тем, что был горячим поклонником г-на де Вольтера.

— Для меня это лестно, но ему не нужно быть поклонником кого-либо, чтобы заслужить уважение всех.

— Если бы он не начал с поклонения, Альгароти не сделал бы себе никогда имени. Сделавшись поклонником Ньютона, он сумел заставить дам говорить о свете.

— Успел ли он в этом?

— Не так хорошо, как Фонтенель в своей книге «Множество миров»; и все-таки можно сказать, что он успел.

— Это правда; если вы его встретите в Болонье, скажите ему, что я ожидаю его «Писем о России». Он может их выслать в Милан моему банкиру Бланки, который их перешлет мне *.

— Непременно скажу, если его увижу.

— Мне говорили, что итальянцы недовольны его языком.

— Этому легко поверить; во всем, что он пишет, встречается масса галлицизмов. Его стиль очень плох.

— Но разве французские обороты не придают изящества вашему языку?

— Они делают его нестерпимым, как нестерпим был бы французский язык, украшенный на немецкий или итальянский лад, если б даже таким языком писал сам де Вольтер.

— Вы правы, необходимо сохранять чистоту языка. Язык Тита Ливия подвергался критике: говорили, что в нем слышится падуанское наречие.

— Когда я принялся изучать этот язык, аббат Лазарини говорил мне, что он предпочитает Тита Ливия Саллюстию.

— Аббат Лазарини, автор трагедии «Ulisse il giovane» («Юный Улисс»)? Вы, должно быть, были тогда очень молоды; я бы желал его знать. Зато я хорошо был знаком с аббатом Копти, другом Ньютона, которого четыре трагедии охватывают всю римскую историю.

— Я тоже его знал. Я был молод, но считал себя счастливым, что принят в общество этих великих людей. Мне кажется, что это было вчера, хотя с тех пор прошло много лет. И теперь, в вашем присутствии, мое скромное положение не оскорбляет меня; я желал бы быть младшим во всем роде человеческом.

— Да, в этом случае вы были бы счастливее, чем если бы были старейшим. Осмелюсь ли спросить, какому литературному роду вы себя посвящаете?

— Никакому, но со временем это придет. В ожидании этого я читаю, сколько могу, и изучаю людей, путешествуя.

— Это лучшее средство их узнать; но эта книга слишком большая; легче достичь этого изучением истории.

— Да, если бы она не лгала. В фактах трудно быть уверенным; она надоедает; а изучение общества забавляет. Гораций, которого я знаю наизусть, мой руководитель; я его вижу везде.

— Альгароти тоже знает Горация наизусть. Вы, конечно, любите поэзию?

— Это моя страсть.

— Писали ли вы сонеты?

— С десятков, которых я люблю, и до трех тысяч, которых я не перечитал.

— Италия точно помешалась на сонетах.

— Да, если можно считать помешательством желание придать мысли гармоническую стройность, которая бы ее выделяла. Сонет труден, потому что в нем запрещено увеличивать или сокращать мысль, чтобы написать четырнадцать стихов.

— Это — прокрустово ложе, и вот почему у вас так мало хороших сонетов. Что касается нас, то у нас нет ни одного хорошего сонета, но в этом надо винить язык.

— И французский гений; ибо думают, что слишком развернутая мысль должна потерять свою силу и свой блеск.

— А вы другого мнения?

— Извините меня. Все дело заключается в том, чтобы исследовать мысль. Острого словца, например, недостаточно для сонета: оно как во французском, так и в итальянском языке принадлежит эпиграмме.

— Кого из итальянских поэтов любите вы больше?

— Ариосто, но я не могу сказать, что я его люблю больше, чем других, потому что я его только и люблю.

— Вам, однако ж, знакомы и другие?

— Я их всех читал, но все бледнеет перед Ариосто. Когда лет пятнадцать тому назад я читал все то дурное, что вы о нем писали, я говорил себе, что вы возьмете назад свои слова, когда прочитаете его.

— Благодарю вас за мнение, будто бы я не читал его. Я его читал, но я был молод, я знал поверхностно ваш язык. Предупрежденный итальянскими учеными, поклонявшимися Тассо, я имел несчастье обнародовать мнение, которое считал своим, между тем как оно было лишь эхом безрассудных предубеждений тех, которые влияли на меня *.

— Господин Вольтер, я свободно вздыхаю. Но ради Бога, уничтожьте сочинение, где вы осмеяли этого великого человека.

— Зачем? Но я вам покажу опыт моего возвращения на путь истины.

Я разинул рот. Этот великий человек начал декламировать на память два больших отрывка из тридцать четвертой и тридцать пятой песни, где этот божественный поэт говорит о разговоре, который Астольф имел с апостолом Иоанном; он декламировал, не пропуская ни одного стиха, без малейшей ошибки в стихосложении. Затем он указал на красоты с умом, принадлежащим ему, и с величием, достойным его гения. Было бы несправедливо ожидать чего-нибудь лучшего от самых ловких итальянских глоссаторов. Я его слушал, полный внимания, почти не переводя дыхания, желая найти хотя бы одну ошибку, но все было напрасно. Я обратился к обществу и заявил, что извещу всю Италию о моем восторге. «А я, милостивый государь, — отвечал великий человек, — извещу Европу о той репутации, которую я обязан величайшему гению, произведенному ею».

Ненасытный в похвалах, заслуженных им, Вольтер на другой день дал мне перевод стансы, которая у Ариосто начинается стихами:

Quindi awien che tra principi e signori...

Вот этот перевод:

Князья и пастыри, окончив ратный спор, Евангсльем скрепляют договор. Вчера враги, вступив на мирный путь, Друг друга нынче норовят надуть. И слово лживо, и обманен взгляд. Мед на устах, а сердце горький яд. Что слово Божье, взятое в залог, Когда корысть — единственный их бог.

В конце рассказа, покрытого аплодисментами всех присутствующих, хотя ни один из них не понимал итальянского языка, г-жа Дени *, его племянница, спросила меня: думаю ли я, что отрывок, продекламированный ее дядей, есть одно из лучших мест в поэме великого поэта?..

— Да, сударыня; но это не лучшее место. — Иначе и не могло быть, потому что в противном случае не сделан был бы апофеоз синьора Лодовико. — Его значит возвели в святые? Я этого не знал.

При этих словах шутники и Вольтер во главе их перешли на сторону г-жи Дени. Все смеялись за исключением меня, который был совершенно серьезен. Вольтер, удивленный, что я не смеюсь, подобно другим, спросил меня: «Вы думаете, что именно за отрывок, больше чем человеческий, он был назван божественным?»

— Да, конечно. — Какой же это отрывок?

— Это тридцать шесть последних стансов двадцать третьей песни, в которых поэт описывает, каким образом Роланд сошел с ума. С тех пор, как существует мир, никто не знал, как люди сходят с ума, — один лишь Ариосто это узнал под конец своей жизни. Эти стансы наводят ужас, г-н де Вольтер, и я уверен, что, читая их, вы содрогались.

— Да, я их помню; любовь в этом виде ужасна. Мне хочется перечитать их.

— Может быть, вы будете так добры и продекламируете их, — обратилась ко мне г-жа Дени, посмотрев на своего дядю.

— Охотно, сударыня, — отвечал я, — если вам угодно послушать.

— Вы их знаете наизусть? — спросил Вольтер.

— Да. С шестнадцатилетнего возраста не проходило года, чтобы я не прочитывал Ариосто раза два или три; это моя страсть, и он сохранился в моей памяти без всякого усилия с моей стороны. Я знаю наизусть всю поэму, за исключением тех длинных генеалогий и тех исторических тирад, которые утомляют мысль, не захватывая сердца. Только Гораций запечатлел в моей душе все свои стихи, несмотря на прозаичность некоторых его посланий, которые далеко не так хороши, как послания Буало.

— Буало часто слишком сладок, г-н Казанова. Гораций — Другое дело; я и сам люблю его, но для Ариосто сорок больших песен это — слишком.

— Пятьдесят одна, г-н де Вольтер.

Вольтер замолчал, но г-жа Дени пришла на выручку. «Ну что же, — сказала она, — стансы, которые заставляют содрогаться и благодаря которым их автор был назван божественным?»

Я сейчас же начал уверенным тоном, но не в однообразной итальянской манере, которая так не нравится французам. Французы были бы лучшими декламаторами, если бы их не стесняли рифмы; это народ, который превосходно чувствует, что говорит. У них нет ни страстного, однообразного тона моих соотечественников, ни сентиментального тона немцев, ни утомительной манеры англичан: каждому периоду они придают тон и звук наиболее соответствующие, но обязательный возврат тех же звуков отымает у них часть этих преимуществ. Я декламировал чудесные стихи Ариосто как музыкальную прозу, оживляемую мною звуками голоса, движением глаз и изменяя интонации согласно чувству, которое я хотел внушить моим слушателям. Чувствовалось усилие, которое я делал над собою, чтоб не заплакать, а слезы были у всех; но, когда я начал:

Теперь отпускает он скорби своей поводья — Нет никого, кто б свидетелем стал страданий. Неудержимы слезы, словно поток половодья, Неудержимо грудь содрогается от рыданий, слезы из моих глаз полились в таком изобилии, что все слушатели принялись рыдать. Вольтер и г-жа Дени обняли меня, но их объятия не могли остановить меня, ибо Роланд, чтобы сойти с ума, должен был прибавить, что он находится в той же кровати, в которой Анжелика находилась в объятиях Медора, и необходимо было продекламировать следующую стансу.

Когда я кончил, Вольтер воскликнул: «Я всегда говорил: тайна искусства заставлять плакать заключается в том, чтобы самому плакать, но нужны действительные слезы, а для этого необходимо, чтобы душа была глубоко взволнована. Благодарю вас, — прибавил он, обнимая меня, — обещаю завтра продекламировать вам те же стансы и плакать, как вы плакали». — Он сдержал слово.

— Удивительно, — заметила г-жа Дени, — что Рим не запретил поэму Ариосто.

— Даже напротив, — сказал Вольтер, — Лев Х заявил, что будет отлучать от церкви всех тех, кто не будет признавать поэмы. Два дома: д'Эсте и Медичи поддерживали его. Без этого, вероятно, один лишь стих о даре, сделанном Римом, где поэт говорит: *puzza forte*

(страшная вонь), был бы поводом для запрета поэмы.

— Жаль, — заметила г-жа Дени, — что Ариосто был так щедр на подобного рода гиперболы.

— Замолчите, племянница; все эти гиперболы полны ума и силы. Все это крупинки красоты.

Затем мы болтали о разных литературных предметах и, наконец, коснулись пьесы «Ecoissaise» («Шотландка»), которую мы играли в Салере. Вольтер сказал мне, что если я хочу играть у него, то он напишет Шавиньи пригласить мою Линдану приехать помогать мне, а он сам возьмет на себя роль Монроза. Я извинился, сказав, что г-жа * * * находится в Базеле и что я и сам завтра принужден ехать. При этих словах он запротестовал, возмутил все общество против меня и кончил тем, что мой визит будет для него оскорбителен, если я не пожертвую ему по крайней мере неделю.

— Я приехал в Женеву, — сказал я, — чтобы иметь честь вас видеть; теперь, когда я этого достиг, мне здесь больше нечего делать.

— Вы приехали, чтоб говорить мне или чтоб я говорил вам?

— Чтоб говорить вам, конечно, но еще более, чтоб слушать вас.

— Ну, в таком случае, оставайтесь еще три дня, пообедайте у меня каждый день, и мы будем беседовать друг с другом.

Приглашение было так соблазнительно и так любезно, что было бы нелепо отказаться. Я принял его и затем простился.

...На другой день я вошел в спальню Вольтера, в то время как он одевался; он переменял парик и надел другой ночной колпак; он всегда носил на голове теплый колпак для защиты от простуды. На столе я увидел «Summa» Св. Фомы Аквината и, между другими итальянскими поэтами, «Secchia rapita» («Похищенное ведро») Тассони.

— Вот, — сказал мне Вольтер, — единственная трагикомическая поэма, которую Италия имеет. Тассони был монахом, человеком остроумным и ученым.

— Что он был поэт, с этим я согласен, но учености я не могу признать за ним; насмехаясь над системой Коперника, он говорил, что, следуя ей, нельзя объяснить ни фазисы Луны, ни затмения.

— Где это он сказал такую глупость?

— В своих академических речах. Он взял перо, записал сказанное мною и сказал:

— Но Тассони остроумно критиковал Петрарку.

— Да, но этим он нанес удар своему вкусу, так же как и Муратори.

— Муратори у меня тут лежит. Согласитесь сами, что его эрудиция велика.

— Et ubi peccas (этим-то он и грешит).

Вольтер открыл дверцы, и я увидел множество бумаг. «Это, — сказал он мне, — моя корреспонденция. Тут вы найдете около пятидесяти тысяч писем, на которые я отвечал».

— Сохранились ли у вас копии ваших ответов?

— По большей части. Это дело лакея, который этим только и занимается.

— Я знаю многих издателей, которые бы заплатили большие деньги за это сокровище.

— Да; но берегитесь издателей; это настоящие разбойники, более страшные, чем морские разбойники в Марокко.

— С этими господами я буду иметь дело лишь в старости.

— В таком случае, они вам отравят вашу старость.

По этому поводу я цитировал ему макаронический стих Мерлино Коччи.

— Что это такое?

— Это стихи известной поэмы в двадцати четырех песнях.

— Известной?

— Да, и достойной известности, но оценить ее можно только при знании мантуанского наречия.

— Я ее пойму, если вы мне доставите поэму.

— Буду иметь честь принести ее завтра.

— Весьма меня обяжете.

Нас прервали, и мы провели в обществе два часа. Вольтер пустил в ход все свое остроумие и всех очаровал, несмотря на свои саркастические выходки, которые не щадили даже присутствующих; но он владел неподражаемым искусством насмехаться не оскорбляя.

Его дом был поставлен на широкую ногу, кухня у него была превосходная обстановка, очень редко встречающееся среди поклонников Аполлона, которые редко бывают в милости у Плутоса. Ему в то время было шестьдесят шесть лет, и он имел двадцать тысяч ежегодного дохода. Говорили, что этот великий человек обогатился, надувая издателей; правда заключается в том, что он чаще был сам надуваем издателями. Вольтер обогатился не своими произведениями, и так как он гонялся за известностью, то часто давал свои сочинения с тем только, чтобы они были напечатаны и распространяемы. Я сам был свидетелем, как он подарил «Вавилонскую принцессу» — прелестную сказку, написанную им в три дня.

...На другое утро, хорошенько выспавшись, я принялся писать Вольтеру послание белыми стихами, которое мне стоило больших трудов. Я отправил ему его вместе с поэмой Валенго, но я сделал глупость: я должен был предвидеть, что поэма ему не понравится, ибо трудно хорошо оценить то, что не хорошо понимаешь. В полдень я отправился к Вольтеру. Он не принимал, но его место заступила г-жа Дени. У ней было много ума, вкуса, эрудиции; она к тому же ненавидела короля прусского. Г-жа Дени просила меня рассказать ей, как я спасся из-под Пломб, но рассказ был слишком длинен и я отложил его до другого раза. Вольтер не обедал с нами; он появился только в пять часов, держа в руках письмо.

— Знаете ли вы, — спросил он меня, — маркиза Альбергати Капачелли, болонского сенатора, и графа Парадизи?

— Парадизи я не знаю, но знаю немного Альбергати. Вы с ним знакомы?

— Нет, но он мне прислал сочинение Гольдони, болонской колбасы и перевод моего «Танкреда»; он собирается посетить меня.

— Он не приедет; он не так глуп. — Как, глуп? Разве посещать меня глупость? — Глупость не для вас, а для него. — Отчего?

— Он знает, что слишком потеряет, ибо теперь он наслаждается мнением, которое, как ему кажется, вы имеете о нем. Если бы он приехал, вы бы увидели его ничтожество, и иллюзия исчезла бы. Тем не менее, он — хороший дворянин, имеет шесть тысяч цехинов в год и страдает-театроманией. Он довольно хороший актер; он написал несколько комедий в прозе, но они не выдерживают ни чтения, ни представления.

— Вы напяливаете на него платье, которое не украшает его.

— Я принужден сознаться, что оно и в таком виде ему не впору.

— Он — сенатор.

— Нет; он принадлежит к сорока, в Болонье сорок составляют пятьдесят *.

— Каким образом?

— Да так же, как в Базеле одиннадцать часов составляют полдень.

— Понимаю; вроде того, как ваш Совет Десяти состоит из семнадцати.

— Именно; но проклятые сорок в Болонье изображают из себя нечто другое.

— Почему проклятые?

— Они не зависят от фиска и благодаря этому они делают какие им угодно преступления безнаказанно, в крайнем случае их высылают за границу, где они живут, как хотят, на свои доходы.

— Тем лучше; но возвратимся к нашему предмету. Маркиз Альбергати, конечно, писатель?

— Он недурно пишет по-итальянски; но увлекается собственным слогом, разбавляет его водой и голова его пуста.

— Он, вы говорите, актер?

— Очень хороший, в особенности в своих пьесах, когда играет роль влюбленного.

— Он красив?

- Да, на сцене, но вообще его лицо без выражения.
- И, однако, его пьесы нравятся?
- Не знатокам; их бы освистали, если бы их поняли.
- А что вы скажете о Гольдони?
- Все, что о нем можно сказать, это то, что Гольдони — итальянский Мольер.
- Почему он называет себя поэтом герцога Пармского?
- Вероятно, желая доказать, что у самого умного человека есть слабая струна, как и у

всякого глупца; что же касается герцога, то он, вероятно, ничего и не подозревает. Гольдони называет себя также адвокатом, хотя им он никогда не был. Он — хороший автор комедий и ничего больше. Вся Венеция знает, что я — его друг; поэтому о нем я могу говорить обстоятельно: но не блещет в обществе, и несмотря на иронию, так часто встречающуюся в его комедиях, у него чрезвычайно мягкий характер.

— Мне то же самое говорили. Он беден, и меня уверяли, что он хочет бросить Венецию. Это не понравится содержателям театров, где играют его пьесы.

— Все это говорилось наобум; многие думали, например, что, получив пенсию, он перестанет писать.

— Город Кумы отказал же Гомеру в пенсии, из боязни, чтобы и все другие слепые не потребовали ее.

Мы провели вечер очень приятно; он очень благодарил меня за «Macaronicon», который обещал прочитать. Он представил мне иезуита, которому платил жалование и который назывался Адамом; представляя его мне, он прибавил после его имени: «Это не Адам, первый из людей». Впоследствии мне говорили, что Вольтер развлекался, играя с ним в трик-трак *, и что когда проигрывал, то бросал ему в лицо кости. Если бы везде обращались с иезуитами таким образом, то, вероятно, иезуиты были бы тише воды, ниже травы, но мы еще далеки от этого времени.

...На другой день, выспавшись хорошенько и приняв укрепительную ванну, я почувствовал себя в состоянии наслаждаться обществом Вольтера. Я отправился к нему, но я ошибся в своем ожидании, потому что великому человеку в тот день вздумалось быть не в духе, он издевался, насмехался, дулся. Он начал с того, что за столом сказал мне, что благодарит за подарок Мерлино Коччи.

— Конечно, вы мне его дали с наилучшими намерениями, — сказал он, — но я не могу поблагодарить вас за похвалы, вами высказанные, ибо я потерял четыре часа в чтении пошлостей.

Я почувствовал, что волосы встают дыбом на моей голове, но удержался и заметил спокойно, что впоследствии, может быть, он и сам похвалит эту поэму еще больше, чем я ее похвалил. Я указал на несколько примеров недостаточности первого чтения.

— Это правда, — отвечал он, — но что касается Мерлино, то я отдаю его вам с руками и ногами. Я его поставил в один ряд с «Девой» («Pucelle») Шапелена.

— Которая нравится всем знатокам, несмотря на свою плохую версификацию, потому что это хорошая поэма, а Шапелен был действительно поэт, хотя и плохо писал стихи.

Моя откровенность не понравилась Вольтеру; конечно, я должен был предвидеть это, так как он сказал, что ставит «Макароникон» на одну доску с «Девой». Мне было также известно, что грязная поэма такого же названия считалась его произведением; но я знал, что он отрицал это; я предполагал, что он скроет неудовольствие, вызванное моими объяснениями. Ничуть не бывало; он отвечал мне резко, и я принужден был возражать ему так же резко. «Шапелен, — сказал я, — хотел также сделать свой сюжет приятным, не привлекая читателей с помощью вещей, которые оскорбляют нравственность и благочестие. Так думает мой почтенный учитель, Кребийон».

— Кребийон! Вот так судья! Но в чем, скажите, мой сотоварищ Кребийон учитель ваш?

— Он меня выучил менее чем в два года французскому языку; в благодарность я перевел его «Радамиста» александрийскими итальянскими стихами. Я — первый осмелился

применить этот размер к нашему языку.

— Первый! Извините, эта честь принадлежит моему другу Мартелли.

— Вы ошибаетесь.

— Извините; у меня есть его сочинения, изданные в Болонье.

— Я не об этом говорю; я не говорю, что Мартелли не писал александрийскими стихами, но его стих имеет четырнадцать слогов без перемежающихся мужских и женских рифм. Тем не менее, я сознаюсь, что он думал подражать вашим александрийским стихам, и его предисловие заставило меня много смеяться. Вы, может быть, не читали его?

— Конечно, читал. Я всегда читаю предисловия. Мартелли доказывает, что его стихи производят на итальянские умы то же впечатление, какое наши александрийские стихи производят на нас.

— Вот это-то именно и смешно. Он грубо ошибся, судите сами. Ваш мужской стих имеет двенадцать слогов, а женский тридцать. Все же стихи Мартелли имеют по четырнадцать, за исключением тех, которые оканчиваются длинной гласной, которая в конце стиха всегда стоит двух гласных. Заметьте также, что первый полустих Мартелли всегда состоит из семи слогов, между тем как французский — из шести. Или ваш друг Мартелли был глухой, или же имел фальшивое ухо.

— Значит, вы строго придерживаетесь нашей версификации?

— Строго, несмотря на трудности.

— Как принято было ваше нововведение?

— Оно не понравилось, потому что никто не умел декламировать мои стихи; но я думаю восторжествовать, когда сам стану их декламировать в наших литературных кружках.

— Помните ли вы что-нибудь из вашего «Радамиста»?

— Я его всего помню!

— Завидная память! Я вас послушаю с удовольствием.

Я стал декламировать ту же сцену, которую читал лет десять тому назад Кребильону, мне показалось, что Вольтер слушал с удовольствием.

— Незаметно, — сказал он, — никакого затруднения.

Это было мне чрезвычайно приятно. В свою очередь великий человек прочитал мне сцену из своего «Танкреда», который тогда, если не ошибаюсь, не появлялся еще в печати.

Мы бы разошлись по-приятельски, если бы на этом покончили, но приведя цитату одного стиха Горация, он прибавил, что Гораций был величайший мастер в драме, что он дал такие правила, которые никогда не состарятся. На это я ему ответил, что он не признавал только одно правило, но как великий человек.

— Какое?

— Вы не пишете: *contentus paucis lectoribus* (довольствуясь немногими читателями).

— Если б Горацию пришлось бороться с гидрой предрассудков, то он бы писал для всех.

— Мне кажется, что вам не следовало бы бороться с тем, чего вы не уничтожите.

— То, чего я не окончу, окончат другие, и за мной все-таки останется честь начала.

— Прекрасно; но предположите, что вы уничтожили предрассудки, чем вы их замените?

— Вот тебе на! Когда я освобождаю человечество от дикого зверя, пожирающего его, то можно ли спрашивать, что я поставлю на место этого зверя?

— Предрассудки не пожирают человечества; они, напротив того, необходимы для его существования.

— Необходимы для его существования! Ужасное богохульство, с которым расправится будущее! Я люблю человечество, желаю его видеть таким же свободным и счастливым, как я, а предрассудки не уживаются с свободой. Почему думаете вы, что рабство составляет счастье народа? — Читали ли вы меня когда-нибудь?

— Читал ли я вас? Читал и перечитывал, в особенности тогда, когда не был с вами согласен. Ваша господствующая страсть — любовь к человечеству. *Et ubi peccas* (И в этом

грех). Она не согласуется с благодеяниями, которыми вы желаете наделить человечество; она сделала бы его еще более несчастным и порочным. Оставьте ему зверя, пожирающего его: этот зверь дорог ему. Я никогда не смеялся так, как смеялся, читая удивление Дон Кихота, когда он принужден был защищаться от каторжников, которым из величия души он возвратил свободу.

— Печально, что у вас такое дурное мнение о ваших ближних. Но, кстати, чувствуете ли вы себя свободным в Венеции?

— Настолько, насколько можно быть свободным при аристократическом правлении. Наша свобода не так велика, как свобода в Англии, но мы и этим довольны.

— И даже под Пломбами?

— Мое заключение было делом деспотизма, но убежденный, что я сознательно не раз злоупотреблял свободой, я нахожу, что правительство было право, заключая меня, даже без обыкновенных формальностей.

— И, однако, вы убежали.

— Я пользовался лишь своим правом, как и они пользовались своим.

— Превосходно! Но в таком случае никто в Венеции не может считать себя свободным.

— Может быть, но согласитесь, что для того, чтобы быть свободным, достаточно полагать, что пользуешься свободой.

— С этим трудно согласиться. Мы рассматриваем свободу с двух различных точек зрения. Даже аристократы, даже члены правительства не свободны у вас; они, например, не имеют права путешествовать без позволения.

— Это правда; но это закон, который они сами наложили на себя добровольно. Можно ли сказать, что житель Берна не свободен только потому, что он подчинен закону против роскоши, когда этот закон он сам создал?

— Ну, так пусть народы и создают себе законы.

После этого и без малейшего перехода, он спросил меня: откуда я приехал? «Я приехал из Роша, — сказал я. — Я был бы в отчаянии, если б в Швейцарии не видел знаменитого Галлера *. В моих путешествиях я считаю моей обязанностью засвидетельствовать мое почтение великим ученым современникам».

— Г-н Галлер, должно быть, понравился вам.

— Я провел у него три прекраснейших дня в моей жизни.

— С чем и поздравляю вас. Нужно поклоняться этому великому человеку.

— Я то же думаю. Мне в особенности приятно, что вы именно отдаете ему справедливость; сожалею, что он не так справедлив по отношению к вам.

— Э! Может быть, мы оба ошибаемся!

При этом ответе, которого быстрота составляла всю заслугу, все присутствующие расхохотались и принялись хлопать. Разговор о литературе прекратился, и я молчал до того момента, когда Вольтер удалился; я подошел к г-же Дени и спросил ее: не желает ли она дать мне каких-либо поручений в Рим. Затем я вышел, довольный, — как я имел тогда глупость думать, — что в этот день я восторжествовал над атлетом; но против этого великого человека в сердце моем сохранилось недоброе чувство, заставлявшее меня в течение десяти лет критиковать все то, что выходило из-под его пера.

Теперь я в этом раскаиваюсь, хотя нахожу, что в моем споре с ним я был тогда прав. Я должен был молчать, почитать его и не доверять своим суждениям. Я должен был понять, что без его насмешек, которые меня возмутили на третий день моего пребывания с ним, я бы находил его во всем правым. Одна эта мысль должна была бы заставить меня молчать; но человек в гневе всегда полагает, что прав. Потомство, которое будет меня читать, подумает, что я принадлежу к числу его зоилов, и признание, которое я делаю в настоящую минуту, может быть, никогда не будет прочитано. Если когда-либо мы встретимся в Царстве Плутона, освобожденные от наших земных недостатков, то, вероятно, мы помиримся; он примет мои извинения и будет моим другом, я — его искренним поклонником.

Часть ночи я провел, записывая мои разговоры с Вольтером; вышел чуть не целый том.

К вечеру мой эпикуреец пришел за мной, мы отправились ужинать с тремя нимфами и в течение пяти часов совершали всевозможные глупости, какие только мне приходили в голову, а в этом роде мое воображение было всегда необыкновенно обильно. Прощаясь с ними, я обещал навестить их по моем возвращении из Рима и сдержал слово. На другое утро я уехал, пообедав с моим милым эпикурейцем, который проводил меня до Анеси, где я остался ночевать.

Берлин, Митава и Рига

Из Магдебурга я прямо направился в Берлин и, приехав туда, остановился в гостинице «Город Париж». Это заведение, бывшее тогда в моде, содержалось француженкой, г-жой Рюфен. Кроме табльдота каждый вечер был еще ужин, на который допускались одни лишь почетные путешественники. Г-жа Рюфен удостоила и меня причислить к ним. Там я заметил, между прочим, барона Триделя, зятя герцога Курляндского; затем маркиза Бирона, весьма любезного человека, и некоего Ноэля, личность весьма для меня интересную, любимца короля прусского и его повара. Удерживаемый во дворце своими занятиями, он редко обедал у г-жи Рюфен, его друга. Его Величество Фридрих Великий не прикоснулся бы к блюду, приготовленному не им. В Ангулеме я знал отца этого Ноэля, прославившегося своими пирогами. Пирог, который причинил смерть Ламетри *, был верхом кулинарного искусства этого Ноэля. Говорят, что знаменитый философ, умирая в чрезвычайных страданиях, громко хохотал. Он был обжора и умирая повторял: «О, невоздержанность! Я никогда не скажу, что ты — зло». Вольтер мне говорил, что никогда не было атеиста более решительного, чем этот Ламетри, и что он не знал другого человека, который бы был так сильно уверен в этом. Я в этом убедился при чтении его сочинений. Известно, что Фридрих Великий произнес ему похвальное слово на торжественном собрании академии. «Не будем удивляться, — говорил Его Величество в этом похвальном слове, — что Ламетри, веруя лишь в одну материю, — был наделен в то же время самым высоким духом». Шутка заставила всех улыбнуться, хотя она была произнесена перед открытым гробом; правда и то, что она исходила из королевских уст. Что же касается короля, то он не был ни атеистом, ни деистом; для него просто не существовало никакой религии и никогда никакая вера в Бога не влияла на его действия и на его жизнь.

Мой первый визит был к Кальзабиджи. Этот Кальзабиджи был младшим братом того, с которым я в 1757 году основал в Париже лотерею Военной школы, превратившуюся, после смерти Пари Дю Вернэ, в королевскую лотерею. Кальзабиджи оставил столицу Франции и сначала отправился в Брюссель для устройства там лотереи, но, несмотря на поддержку графа Кобенцеля, он разорился. Он был объявлен банкротом. Принужденный бежать, он приехал в Берлин с женой, которую называли генеральшей Ламот, и был представлен Фридриху. Королю понравился его проект, он учредил лотерею в целом государстве и сделал Кальзабиджи государственным советником. Кальзабиджи обещал королю ежегодный доход в двести тысяч талеров; он получал десять процентов со сбора, а управление было на счет правительства. Все шло хорошо в течение двух лет, и Кальзабиджи был счастлив в тиражах; но король, который знал, что несчастливый тираж был весьма возможен, вдруг объявил предпринимателю, что оставляет лотерею на его счет. Кальзабиджи узнал об этом в самый день моего визита.

— Я в большом затруднении, — сказал он мне, — Его Величество требует, чтобы я известил публику официальным объявлением, что им было решено, — а это значит объявить о моем разорении.

— Не можете ли вы продолжать лотерею без королевской поддержки?

— Для этого необходимо найти два миллиона талеров.

— Это трудное дело; но если король возьмет назад свое решение?

— Я знаю вашу ловкость, господин Казанова, не возьметесь ли вы за это трудное дело?

— Я знаю, как это трудно, и не надеюсь на успех.

— А я, наоборот, рассчитываю на успех, помня ваши прежние подвиги. Не убедили вы разве целый совет Военной школы?

— Я предпочел бы убеждать двадцать человек, чем одного короля прусского. И к тому же, что отвечать королю, который говорит: я боюсь и не хочу бояться? Все затруднение в этом.

— Если вы справитесь с этим затруднением, я обещаю вам две тысячи талеров в год.

Предложение было заманчиво. Я обещал Кальзабиджи заняться делом. Последний королевский тираж был назначен на другой день; я рассчитывал воспользоваться результатом тиража как аргументом в пользу тезиса, который я предполагал защищать перед Его Величеством. К несчастью, в этом тираже лотерея потеряла двадцать тысяч талеров. Я узнал, что король, услышав эту новость, сказал, что считает себя счастливым, ибо удар этот ничтожен в сравнении с тем, который мог бы быть. Я нашел несчастного Кальзабиджи в отчаянии; я постарался приободрить его и известил его, что лорд Кейт*, любимец короля, «милорд маршал», как его называли, должен был принять меня вечером.

...Милорд маршал принял меня с распростертыми объятиями и спросил: намереваюсь ли я поселиться в Берлине?

— Моим величайшим счастьем было бы служить столь великому монарху, и я рассчитываю на вашу поддержку.

— Моя поддержка, может быть, будет не столько полезная, сколько вредная. Его Величество никому не доверяет: он хочет видеть и судить сам; случалось, что он находил удивительные качества у лиц, к которым общественное мнение относилось весьма строго. Напишите просто королю, что имеете честь просить у него аудиенции; тогда, если хотите, скажите ему, что я вас знаю. Его Величество, конечно, станет меня спрашивать о вас, а вы не сомневайтесь в моей дружбе.

— Ни в вашей благосклонности, милорд. Но подумайте только, как осмелюсь я у Его Величества, я — лицо совершенно ему неизвестное, — просить аудиенции? Мне не ответят.

— Король всегда отвечает даже последнему из своих подданных. Делайте, что я вам говорю. Его Величество живет теперь в Сан-Суси*.

Я последовал совету милорда: я сочинил мою просьбу об аудиенции и подписал ее моими двумя фамилиями, прибавив слово: венецианец. На другой день я получил записку, подписанную: Фридрих, в которой говорилось, что король будет находиться в четыре часа в садах Сан-Суси и что там я могу ему представиться. Прибыв на место свидания в назначенный час, я вижу в конце аллеи двух лиц, — одно — в партикулярном платье, другое в военной форме и в ботфортах, без эполет: это был король.

Впоследствии я узнал, что другое лицо был его чтец. Король играл с левреткой. Как только он меня увидел, он ускорил шаг и, быстро идя мне навстречу, воскликнул:

— Вы господин Казанова. Что вам нужно от меня?

Сконфуженный таким приемом, я не знал, что говорить.

— Ну, что же вы молчите? Ведь вы — венецианец, писавший мне?

— Да, Ваше Величество; извините мое замешательство. Милорд маршал уверил меня...

— А! Он вас знает? Очень хорошо. Прогуляемся.

Я старался прийти в себя и уже хотел приступить к предмету моей просьбы, как вдруг, сняв шляпу, он мне сказал, показывая направо и налево:

— Нравится вам этот сад?

— Нравится.

— Вы — льстец. Версальские сады лучше.

— Действительно, благодаря своим фонтанам.

— Конечно; я издержал бесполезно три тысячи талеров на проведение воды.

— И ни одного фонтана? Это невероятно.

— Господин Казанова, вы не инженер ли?

Удивленный этим вопросом, я опустил голову вниз, не говоря ни да, ни нет.

— Вы, вероятно, служили также в морях: сколько у вашей Республики военных

кораблей?

— Двадцать.

— А активной армии?

— Около семидесяти тысяч человек.

— Это ложь; вы это говорите, чтобы меня рассмешить. Кстати, не финансист ли вы?

Внезапность вопросов короля, его возражения, являвшиеся раньше моих ответов, все эти причуды его языка увеличивали мое замешательство. Я, однако, чувствовал, что смешон; я знал, что актер, чаще всего освистываемый, тот, который конфузится; поэтому, приняв серьезный вид глубокого финансиста, я отвечал Его Величеству, что я готов отвечать на его вопросы по теории налогов.

— Охотно, — отвечал король, смеясь. — Кат, послушайте финансовые планы г-на Казанова, венецианца. Ну, начинайте.

— Ваше Величество, я различаю три сорта налогов: первый — решительно вредный, второй — к несчастью, необходимый и третий — превосходный.

— Начало хорошо; продолжайте.

— Вредный налог есть тот, который собирается непосредственно королем; необходимый налог — тот, который платится армии; лучший налог — тот, который взимается в пользу народа.

— Ну, это ново.

— Угодно Вашему Величеству, чтоб я объяснился? Налог, предназначенный королю, наполняет его личную шкатулку.

— И этот налог вреден?

— Без всякого сомнения, потому что он приостанавливает денежное движение — душу торговли, настоящую пружину государства.

— Однако вы считаете необходимым налог в пользу армии?

— К несчастью, ибо война — несчастье.

— Может быть; ну, а налог в пользу народа?

— Полезен. Король одной рукой получает с своих подданных то, что возвращает им другой.

— Вы, может быть, знакомы с Кальзабиджи?

— Да, Ваше Величество.

— Что скажете вы о его налоге, ибо лотерея — тот же налог. — Налог почтенный, когда направлен на полезные учреждения.

— И даже тогда, когда в результате — потеря? — Один шанс против десяти не есть даже шанс. — Вы ошибаетесь. — Значит, ошибаюсь не я, а арифметика.

— Вам, конечно, известно, что дня три тому назад я потерял двадцать тысяч талеров?

— Ваше Величество потеряли раз в два года; я не знаю цифры выигрышей, но цифра потери говорит мне, что выигрыши должны были быть очень значительны в предшествующие тиражи.

— Серьезные люди считают этот налог вредным.

— Мы не заботимся о добродетели, а говорим о политике.

У короля всегда девять шансов выиграть против одного шанса проигрыша.

— Может быть, я думаю, как вы, но вообще все ваши итальянские лотереи считаются надувательством.

Король очевидно начинал раздражаться; может быть, он чувствовал, что я прав. Я не возражал. Сделав несколько шагов, король останавливается и говорит мне:

— Вы — красивый мужчина, господин Казанова.

— Это у меня общее с гренадерами Вашего Величества.

Он повернулся спиной и приподнял слегка шляпу. Я удалился, убежденный, что не понравился ему. Но дня через два милорд маршал сказал мне:

— Его Величество мне говорил о вас; он намеревается дать вам здесь место.

— Буду ждать повелений Его Величества.

...Однако Кальзабиджи получил от монарха позволение восстановить лотерею. Он снова открыл свои бюро; к концу месяца он реализовал прибыль в сто тысяч талеров. Он выпустил тысячу акций, каждая ценою в тысячу талеров. Вначале никто не хотел их брать, но когда распространился слух о его новом успехе, дельцы набежали толпой. Лотерея шла своим чередом в течение нескольких лет, в конце которых она погибла по вине директора, издержавшего вдвое больше своего вероятного дохода. Я впоследствии узнал, что Кальзабиджи убежал в Италию и там умер.

...Во время моего пребывания в Берлине, я видел в первый раз Его Величество в придворном костюме, в коротких панталонах и в черных шелковых чулках. Это было по случаю брака его сына, наследного принца, с Брауншвейгской принцессой. Удивление было велико, когда король вошел в залу в этом костюме. Один старик, мой сосед, уверял меня, что прежде он никогда не видал короля иначе, как в военной форме и в ботфортах.

Однажды после обеда, я осматривал Потсдам. Я явился туда в ту минуту, когда король делал смотр своей гвардии. Солдаты были великолепны. Каждый из них был по меньшей мере шести футов роста. Я видел дворцовые апартаменты чрезвычайной роскоши. В самой маленькой комнатке я заметил простую железную кровать за ширмой: это была королевская постель. Не было ни халата, ни туфель; лакей, который видел меня, вынул из шкафа и показал мне ночной колпак, надеваемый Великим Фридрихом, когда у него был насморк. Обыкновенно Его Величество сохранял на голове шляпу, даже когда спал, — привычка, должно быть; очень неудобная. Недалеко от кровати находился диван и стол, заваленный книгами и бумагами; в камине я заметил скомканные и полусторевшие бумаги. Мне сказали, что месяц тому назад случился пожар в этой комнате и что одна рукопись короля наполовину сгорела; это было описание Семилетней войны. Конечно, король снова написал рассказ об этой войне, потому что он был напечатан после его смерти. Я ничего не могу сказать о любовных похождениях этого короля: к прекрасному полу он чувствовал отвращение и антипатию, которых нисколько не скрывал. Моя хозяйка рассказала мне по этому поводу любопытный факт. Я однажды спросил ее: почему окна дома, бывшего против гостиницы, были заколочены. «Так приказал король, — отвечала она». Несколько лет тому назад, Его Величество, проходя по улице, заметил у одного из этих окон Регину, очень красивую танцовщицу, в очень пикантном неглиже (она была в рубашке). Фридрих немедленно приказал заколотить эти окна. Хозяин ожидает смерти короля, чтобы их открыть.

Возвращаясь к истории моего места. Дело касалось места наставника в Померанском кадетском корпусе, только что открытом. Всех кадет было пятнадцать, а наставников пять, по три ученика на наставника. Жалование равнялось пятистам талерам со столом и квартирой: значит, только самое необходимое. Правда и то, что вся должность наставника ограничивалась присмотром за учениками. Прежде чем принять это место, единственное преимущество которого заключалось в доступе ко двору, я просил милорда маршала позволения осмотреть заведение. Каково же было мое удивление, когда заведение оказалось позади конюшен! Оно состояло из четырех или пяти зал, без всякой мебели, и двадцати маленьких комнат с простым столом, кроватью и лавкой вместо стульев. Кадеты жили там; это были молодые люди от двенадцати до шестнадцати лет, одетые в плохие мундиры и упражнявшиеся в военном искусстве в присутствии нескольких человек, принятых мною за лакеев: это были учителя. В ту же минуту было объявлено о приезде короля. Я был одет с иголочки, по моде, с кольцами на всех пальцах, с двумя золотыми часами и крестом. Его Величество удостоил меня улыбнуться и, взяв меня за воротник, сказал мне:

- Это что за крест?
- Орден Золотой Шпоры.
- Кто вам дал его?
- Его Святейшество Папа.

Спрашивая меня, Фридрих посматривал то в одну, то в другую сторону, вдруг его глаза гневно заблестели, он кусает себе губы и, подняв палку, ударяет ею по соседней койке, под которой я заметил ночной горшок.

— Где учитель? — спрашивает король.

Счастливый смертный появляется, и король осыпает его бранью, которую здесь я не могу привести из скромности. Понятно, что после этого я отказался от места. Когда я увидел милорда маршала, он сказал мне:

— По крайней мере, не отказывайтесь, не увидав короля и не поговорив с ним.

Я намеревался отправиться в Россию; барон Трейдель дал мне несколько рекомендательных писем. Оставалось только проститься с королем. Я его нашел на дворе дворца, среди множества офицеров, которых шляпы были украшены перьями и золотыми галунами. На Фридрихе был, как и в первый раз, когда я его увидел, простой мундир и ботфорты, без эполет, но на груди красовался знак, осыпанный, как мне показалось, алмазами. Он делал смотр. Я прошел перед фронтом небольшого отряда, который на коленях, с ружьями наготове, неподвижный, старался достичь возможной степени окаменения. Король удостоил меня заметить издали; он подошел ко мне и воскликнул:

— Ну, когда же вы отправитесь в Петербург?

— Дня через четыре, если Ваше Величество позволит.

— С удовольствием. Добрый путь; что вы рассчитываете делать в России?

— Увидеть императрицу.

— Вы рекомендованы ей?

— Нет, Ваше Величество, я рекомендован лишь одному банкиру.

— Это лучше. Если на возвратном пути вы будете в Берлине, то повидайте меня и расскажите мне, что увидите. Прощайте.

При моем отъезде из Берлина у меня было двести дукатов — сумма достаточная на дорогу, но в Данциге я имел неосторожность проиграть ее, что не позволило мне остановиться по пути. У меня было рекомендательное письмо к фельдмаршалу Левальду, управителю Кенигсберга; я представился ему; он мне дал письмо к г-ну Воейкову* в Ригу. До тех пор я путешествовал в дилижансе, но, вступая в Россию, я почувствовал, что тут мне необходимо иметь вид вельможи, и я нанял четырехместную карету в шесть лошадей. На границе какая-то личность останавливает меня и требует уплаты за вещи, которые я везу с собой. Я ему отвечаю, как отвечал греческий философ (увы! это было слишком справедливо!), что ношу все с собою. Но он настаивает на осмотре моих чемоданов. Я говорю кучеру ударить по лошадям, но неизвестный останавливает их, и кучер, полагая, что имеет дело с таможенным чиновником, не смеет противиться ему. Тогда я выскакиваю из кареты с пистолетом в одной руке и с палкой в другой. Неизвестный понимает мои намерения и пускается бежать. У меня был лакей, лотарингец по происхождению, который не трогался с козел во время этой истории, несмотря на мои приказания. Когда дело кончилось, он говорит мне: «Я хотел предоставить вам всю честь победы».

Мой въезд в предместье Митавы произвел эффект. Хозяева постоянных дворов почтительно кланялись мне, как бы приглашая меня остановиться у них. Мой кучер повез меня прямо в очень хорошую гостиницу, против замка. Заплатив ему, я оказался собственником всего лишь трех дукатов.

На другой день рано я поехал к г-ну Кайзерлингу с письмом барона Трейделя. Г-жа Кайзерлинг удержала меня на завтрак. Молодая полька, прислуживавшая нам за завтраком, была необыкновенно красива. Я все время мог любоваться этой мадонной, которая с опущенными вниз глазами, с блюдечком в руке, стояла неподвижно около меня. Вдруг мне пришла мысль, по меньшей мере странная в моем положении. Я вынимаю из жилетного кармана мои три дуката и ловко кладу их на блюдечко, отдавая ей чашку. После завтрака канцлер оставил меня и возвратился вскоре сказать мне, что он видел герцогиню Курляндскую, которая приглашает меня на бал к себе в тот же вечер. От этого приглашения я содрогнулся: я отказался, говоря, что не имею подходящего платья. Возвратившись в гостиницу, я был извещен хозяйкой, что камергер Ее Светлости дожидается меня в соседней комнате. Эта личность сказала мне, что бал Ее Сиятельства — это бал-маскарад, и что подходящий костюм я легко найду в городе. Он прибавил, что вначале бал должен был быть

обыкновенный, но теперь его обратили в маскарад, вследствие того, что приехал почтенный иностранец, которого вещи были еще в дороге. Сказав это, камергер удалился по всем правилам этикета. Мое положение было печально: как прикажете не явиться на бал, который был изменен именно ради меня! Я ломал себе голову, чтобы отыскать выход, когда еврей-торгаш явился с предложением разменять золотые фредерики на дукаты.

— У меня нет ни одного фредерика.

— Но у вас есть по крайней мере несколько флоринов?

— И флоринов нет.

— Приехав из Англии, как мне сказали, вы, конечно, располагаете гинейми?

— И их нет; все мои деньги — в дукатах.

— У вас их, конечно, много?

Этот вопрос был сделан евреем с улыбкой, что заставило меня предположить, что еврей очень хорошо знал, как обстоит дело. Затем он сейчас же прибавил:

— Я знаю, что вы легко освобождаетесь от них, а при жизни, которую вы ведете, несколько сот дукатов хватит вам ненадолго. Мне нужно четыреста рублей на Петербург, можете ли выдать мне перевод на эту сумму по цене двухсот дукатов?

Я сейчас же согласился и выдал ему перевод на греческого банкира Папанелыюло. Любезность еврея происходила, единственно, вследствие трех дукатов, данных мною служанке. Нет ничего легче, поэтому, и труднее, как добыть денег, все зависит от манеры, как приняться за дело. Не сделай я легкомыслия, я бы так и остался без денег.

Вечером Кайзерлинг представил меня герцогине, супруге знаменитого Бирона*, прежнего любимца императрицы Анны. Это был старик, согнутый, лысый. При внимательном рассмотрении можно было убедиться, что в молодости он был очень красив. На балу танцы продолжались до утра. Красивых женщин было много, и я надеялся во время ужина быть представленным некоторым из них, но был несчастен на этот раз. Герцогиня взяла меня под руку, и таким образом я очутился за столом, за которым сидели одни лишь старухи. Спустя несколько дней я оставил Митаву, с рекомендательным письмом к Карлу Бирону, жившему в Риге. Герцог дал мне одну из своих карет, в которой я и доехал до этого города. Перед моим отъездом он спросил меня, какой подарок мне будет приятнее: перстень или его стоимость деньгами? Я высказался за деньги, что составило четыреста талеров.

В Риге принц Карл принял меня отлично: он предложил мне свой стол и свой кошелек: дело не касалось помещения, потому что и сам принц жил в небольшом помещении, но он доставил мне все-таки очень удобную квартиру. В первый раз, когда я у него обедал, я встретился с Кампиони, танцором. По уму и манерам он был гораздо выше своего положения. Другие приглашенные были: какой-то барон Сент-Элен, из Савойи, игрок, развратник и плут; его жена отцветавшая красота; адъютант и молодая особа, очень хорошенькая, сидевшая по правую руку принца. Эта дама имела грустный вид; она ничего не ела и пила только воду. Знак Кампиони заставил меня понять, что она была любовница принца. После обеда Кампиони повел меня к себе и представил меня своему семейству. Его жена, англичанка, показалась мне очень милой женщиной, но не было никакой возможности смотреть на нее после того, как я увидел ее дочь свеженькую, красивую девочку тринадцати лет, которой можно было дать восемнадцать. Мы сделали небольшую прогулку с этими дамами. Кампиони отошел со мной в сторону.

— Вот уже десять лет, как я живу с этой женщиной. Бетти, которая вам так нравится, не моя дочь; другие дети — мои.

— Куда же вы дели других — плод вашей любви с вашей первой женой?

— Да то, что я делаю и теперь еще и что так смешно в мои лета: они танцуют.

— Я думал, что здесь нет театра.

— Я открыл танцевальную школу.

— И это доставляет вам достаточно средств к жизни?

— Я играю у принца; иногда я проигрываю, но в большинстве случаев остаюсь в выигрыше. Однако мое положение скверно. Я сделал долг; мой кредитор не знает приличий,

он требует уплаты долга и с минуты на минуту меня могут посадить в долговую тюрьму. Дело в шестистах рублях — не шутка, как видите.

— Как же вы заплатите?

— Что же делать? Никому не заплачу. Скоро начнутся холода; я сбегу в Польшу. Барон Сент-Элен, которого вы видели у принца, тоже намеревается подняться с якоря. Вот уже три года, как он проповедует терпение своим кредиторам, которых много: мы сбежим вместе. Принц, принимающий нас ежедневно, очень нам полезен, потому что его дом — единственное в городе место, где можно играть, не боясь скандала, но на его денежную помощь нельзя рассчитывать: он и сам в долгах. Его любовница стоит ему очень дорого и делает его несчастным. Она не говорит с ним вот уже два года, за то, что он не хочет на ней жениться. Принц с радостью отделался бы от нее; он предложил ей в мужья одного офицера, но дама желала бы по меньшей мере капитана, а все те капитаны, которые находятся здесь, отвечают, что им слишком достаточно и одной жены.

Я пожалел бедного Кампиони — вот и все, что я мог для него сделать. Английский банкир Коллинс, с которым у меня были дела, рассказал мне, что барона Штенау повесили в Лондоне за фабрикацию фальшивых ассигнаций. Спустя месяц после нашего разговора Кампиони бежал; барон Сент-Элен сделал то же на другой день. Банкир Коллинс, которому он должен был тысячу экю и которого он называл другом, показал мне прощальное письмо этого господина: письмо было в веселом тоне; прощаясь, он писал, что как честный человек, он ничего с собой не увозит, даже своих долгов, которые оставляет там, где их понаделал... Я оставил Ригу 15 декабря и направился в Петербург. Туда я приехал спустя шестнадцать часов. Расстояние между этими городами приблизительно таково, как расстояние между Парижем и Лионом. Я позволил ехать на козлах одному бедному лакею-французу, который прислуживал мне без всякого вознаграждения во время всего пути. Спустя три года я не был особенно удивлен, увидав его рядом со мною за столом у г-на Чернышева: он мне сказал, что был гувернером сыновей в этом доме. Но не будем забегать вперед: у меня многое кое-чего есть сказать о Петербурге, прежде чем говорить о лакеях, бывших гувернерами князей.

Россия.

Петербург поразил меня своим странным видом. Мне казалось, что я вижу колонию дикарей среди европейского города. Улицы длинные и широки, площади громадны, дома — обширны; все ново и грязно. Известно, что этот город построен Петром Великим. Его архитекторы подражали европейским городам. Тем не менее, в этом городе чувствуется близость пустыни и Ледовитого океана. Нева, спокойные волны которой омывают стены множества строящихся дворцов и недоконченных церквей, — не столько река, сколько озеро. Я нанял две комнаты в гостинице, окна которой выходили на главную набережную. Мой хозяин был немец из Штутгарта, недавно поселившийся в этом городе. Легкость, с которой он объяснялся со всеми этими русскими, удивила бы меня, если бы я не знал, что немецкий язык очень распространен в этой стране. Одно лишь простонародье говорит на местном наречии. Мой хозяин, видя, что я не знаю, куда девать свой вечер, объяснил мне, что во дворце — бал, куда приглашено до шести тысяч человек и который будет продолжаться в течение шестидесяти часов. Я принял билет, предложенный мне им, и, надев домино, отправился в императорский дворец. Общество было уже в сборе и танцы в разгаре; везде виднелись буфеты, обремененные всякого рода яствами, способными насытить всех голодных. Роскошь мебели и костюмов поражала свою странностью: вид был удивительный. Я размышлял об этом, как вдруг услышал около себя слова: «Посмотрите, вот царица!»

Я принялся следить за указанным домино и вскоре убедился, что это, действительно, была императрица Екатерина. Все говорили то же самое, делая, однако же, вид, что не узнают ее. Она гуляла в этой толпе, и это, видимо, доставляло ей удовольствие; по временам она садилась позади группы и прислушивалась к непринужденным разговорам. Она,

конечно, могла таким образом услышать что-либо не почтительное для себя, но, с другой стороны, могла также услышать и истину — счастье, редко выпадающее на долю монархов. В нескольких шагах от императрицы я заметил мужчину колоссального роста в маске; это был Орлов*...

Еще не рассветало, когда я вернулся в свою гостиницу. Я лег спать с намерением проснуться только к часу богослужения, которое должно было быть совершаемо торжественно, в полдень, в церкви Кармелитов. Выспавшись хорошо, я несколько удивился, замечая, что еще ночь. Я снова засыпаю и на этот раз просыпаюсь при солнечном свете. Я приказал позвать парикмахера, наскоро одеваюсь: часы показывали одиннадцать. Лакей спрашивает: буду ли я завтракать? Хотя я был голоден, я отвечал: «После обедни». — «Сегодня нет обедни», — отвечает он.

— Как нет обедни, в воскресенье? Вы шутите.

— Сегодня, сударь, понедельник. Вы спали подряд тридцать часов.

И действительно, я проспал воскресенье. Это, кажется, единственный день в моей жизни, который я действительно потерял.

Вместо церкви я отправился к генералу Петру Ивановичу Мелиссино*. Рекомендательное письмо к нему было от г-жи Лольо, его прежней любовницы. Благодаря этой рекомендации я был принят превосходно. Он, раз навсегда, пригласил меня обедать у него. В его доме все было на французский манер. Кухня была прекрасна, вина — в изобилии, разговор был оживленный, а игра в карты еще более. Я скоро подружился с его старшим братом, женатым на княжне Долгорукой. В тот же «ечер я сел за фараон: общество состояло из лиц хорошего общества, проигрывавших без досады и выигрывавших без похвальбы. Поведение гостей, так же как и их высокое положение, освобождали их от придиорок полиции. Банкиром был некий барон Лефорт, сын племянника известного адмирала Лерорта. С этим молодым человеком случилось неприятное приключение, и он был в немилости. Во время коронации императрицы в Москве он получил привилегию открыть лотерею, основной капитал которой был дан правительством; вследствие ошибок управления, лотерея провалилась и вся вина пала на этого молодого человека.

Так как я играл осторожно, то весь мой выигрыш состоял из нескольких рублей. Князь*** потерял на моих глазах десять тысяч рублей в один удар, но, казалось, нисколько не был этим взволнован; видя это, я выразил Лефорту свой восторг в виду подобного равнодушия, столь редкого у игроков.

— Есть чему удивляться! — отвечал мне банкир. — Князь играл на слово и не заплатил; он так всегда делает.

— А честь?

— Честь не страдает от карточных долгов: таковы, по крайней мере, нравы у нас. Существует как бы условие между игроками, что тот, который проигрывает на слово, волен платить или не платить; выигравший рискует быть смешным, требуя уплаты, которую не делает его противник.

— Такой обычай должен был бы дать право банкиру отказаться от ставки того или другого лица.

— Ни один банкир не осмелится сделать это: проигравший почти всегда уходит, не заплатив; самые честные оставляют залог, но это бывает редко. Здесь находятся молодые люди самого лучшего общества, которые открыто играют в так называемую фальшивую игру и которые смеются над тем, кто выигрывает.

У Мелиссино я также познакомился с молодым гвардейским офицером по имени Зиновьев*, близким родственником Орловых. Он представил меня английскому посланнику, лорду Макартнею. Этот посланник, молодой, богатый, любезный, красивый, влюбился в одну фрейлину. Их связь обнаружилась. Императрица простила фрейлину, но настояла на отозвании посланника.

Г-жа Лольо дала мне также письмо к княгине Дашковой, находившейся тогда в немилости и жившей в своих владениях. Я отправился к ней за три версты от столицы.

Я нашел ее в трауре после смерти мужа. Она предложила рекомендовать меня графу Панину. Я узнал, что Панин часто приезжал к княгине Дашковой, и находил непонятным, как императрица могла допустить, чтобы ее министр находился в интимных отношениях с женщиной, бывшей в ссылке. Тайна объяснилась впоследствии: я узнал, что Панин был отцом княгини; до тех пор я думал, что он был ее любовником. Княгиня Дашкова состоит теперь президентом Петербургской академии наук. Кажется, что Россия есть страна, где полы перепутались; женщины управляют, женщины председательствуют в ученых обществах, женщины участвуют в администрации и в дипломатии. Не достает лишь одного этой стране, одной лишь привилегии этим красавицам: быть во главе войска.

В день Крещения я присутствовал на Неве, на странной церемонии- на благословении речной воды, покрытой тогда льдом в четыре фута толщины. Эта церемония привлекает огромную толпу, потому что после богослужения там крестят новорожденных, погружая их нагими в отверстие, сделанное во льду...

В Мемеле г-жа Бронгончи, флорентинка, дала мне письмо к одной венецианке, г-же Роколини, приехавшей в Петербург с намерением поступить на сцену Большого театра в качестве певицы. Эта девица, ничего не понимавшая в пении, не поступила на сцену. Тут она познакомилась с одной француженкой, женой купца, по имени Проте. Роколини, которую в Петербурге называли синьора Виченца, бывая у Проте, вскоре познакомилась со всем ее обществом и вошла в моду. Увидав Роколини, я сейчас узнал ее: лет двадцать тому я знал ее в Венеции; я, однако, не решился напомнить ей о себе, боясь дать ей понять, что знаю, как она стара. Думаю, что и она узнала меня. У ней был брат, по имени Монтальти, который намеревался убить меня однажды вечером на площади Св. Марка. Впоследствии я узнал, что Роколини была душой заговора, направленного против моей жизни. Она встретила меня одновременно и как новое лицо, и как старого знакомого. Она пригласила меня к себе на другой день. „Если вы любите красивых женщин, — сказала она, — то я вам покажу настоящее чудо в этом отношении“. И действительно, Проте была в числе приглашенных; никогда еще я не видал более красивой женщины. Известна моя слабость к прекрасному полу».

Я стал за нею ухаживать и в конце концов пригласил ее обедать со мной в Екатерингофе, у отличного болонского ресторатора, которого не забыли еще гастрономы, — у знаменитого Локателли. Вместе с нею я пригласил Зиновьева, г-жу Колонна, синьору Виченца и одного музыканта, ее друга. Обед прошел очень весело¹, так что к концу десерта каждый уже подумывал о том, чтобы уединиться со своей избранницей, и я был как раз на верном пути к моей Проте, если бы не неожиданное событие, разрушившее все мое прекрасно подготовленное предприятие.

Луини приготовился к охоте и позвал нас посмотреть на его ружья и собак. Отойдя вместе с Зиновьевым шагов на сто от императорского дворца, я заметил очаровательную юную крестьяночку. Я указал на нее Зиновьеву, мы устремились к ней, но легкая и стройная, как козочка, она ускользнула от нас и скрылась в неказистой хижине, куда мы и зашли вслед за нею. Мы застали отца, мать и детей. Самый красивый ребенок — та самая девочка — прижалась в углу с видом загнанного кролика.

Зиновьев, который, между прочим, был впоследствии двадцать лет посланником в Мадриде, долго говорил с отцом семейства. Разговор шел по-русски, и я, конечно, понять ничего не мог, но догадался, что говорили о юной красавице: отец подозвал ее, она подошла с видом полнейшей покорности и, потупив взор, остановилась перед нами.

Наконец, Зиновьев завершил переговоры и двинулся к выходу, я последовал за ним, одарив на прощанье хозяина рублем. Выйдя наружу, Зиновьев дал мне полный отчет о своей беседе. Он спрашивал отца девицы, не отпустит ли он свою дочь ко мне в служанки, на что отец отвечал, что отпустит с радостью, но просил за это сто рублей, потому что дочка его еще нетронутая.

— Вы видите, — сказал мне Зиновьев, — что ничего не поделаешь.

— Почему же?

- Да ведь он просит сто рублей!
- А если я ему заплачу эту сумму?
- Тогда она станет вашей и вы вольны поступать с ней, как вам будет угодно, только не можете лишить ее жизни.
- А если она не захочет мне повиноваться?
- Этого не должно быть, но если вдруг случится, вы можете ее беспощадно наказать.
- Предположим, что она будет согласна, но, скажите, смогу ли я, если она придется мне по вкусу, держать ее у себя и дальше?
- Повторяю вам, вы стали ее хозяином и имеете право приказать ее арестовать, если она сбежит от вас, не возвратив вам ваших ста рублей.
- А сколько я должен платить ей в месяц?
- Ничего, раз вы будете ее кормить и поить, отпускать в баню по субботам и в церковь по воскресеньям.
- А когда я покину Петербург, могу ли я взять ее с собой?
- Нет, если вы не получите, уплатив пошлину, разрешения на это. Она ваша раба, но прежде всего она подданная императрицы.
- Хорошо. Тогда не устроите ли вы мне это дело? Я заплачу сто рублей и возьму ее с собой. Ручаюсь вам, что буду обходиться с нею совсем не так, как обходятся с рабами. Но я доверяюсь вам и надеюсь, что я не буду обманут.
- За это я вам могу поручиться. Угодно ли вам тотчас покончить с этим делом?
- Нет, подождем до завтра. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нашей компании знал об этом.
- Будь по-вашему. До завтра.

Мы возвратились в Петербург всем обществом в прекрасном настроении, и назавтра в девять часов я уже встретился с Зиновьевым, который был весьма рад оказать мне такую услугу. Мы отправились в путь. Дорогой он сказал, что если я пожелаю, он составит для меня целый гарем из любого количества девушек. «Когда я влюблен, — ответил я ему, — мне хватает одной». И вручил ему сто рублей.

На месте мы нашли отца, мать и дочь. Зиновьев напрямик изложил им суть дела, отец, как водится у русских, возблагодарил Святого Николая за помощь, потом обратился к дочери; та взглянула на меня и промолвила «да».

Зиновьев тут же сообщил мне, что я должен лично убедиться в нетронутости скорлупы, ибо условлено, что я приобретаю невинную девицу. Я отказался от всякой проверки, опасаясь оскорбить девушку, но Зиновьев настаивал на своем, говоря, что она будет просто убита, если я не проверю ее и, наоборот, обрадуется, если я смогу в присутствии ее родителей убедиться, что она «честна». Мне пришлось подчиниться и, стараясь быть как можно скромнее, я провел полное исследование, всякие сомнения исключившее, действительно я имел дело с невинным созданием. Но, по правде говоря, найди я этот плод надкушенным, я бы все равно, не объявил об этом.

Вслед за этим Зиновьев отсчитал отцу сто рублей, а тот вручил их дочери; она же в свою очередь передала деньги матери. Мой камердинер и мой кучер засвидетельствовали своими подписями эту сделку, суть которой была для них совершенно непонятной.

Заирой* окрестил я эту юную девицу. Она села в наш экипаж, одетая в какую-то хламиду из сукна, под которой не было даже сорочки. Отвезя Зиновьева, я поспешил с нею к себе, где и затворился на четыре дня, пока не преобразил мою Заиру, одев ее совершенно а la française, без роскоши, но вполне прилично. Мне пришлось смириться с моим незнанием русского языка, но меньше чем за три месяца Заира выучилась довольно сносно изъясняться со мной по-итальянски. Она не замедлила полюбить меня, а затем начала и ревновать. Об этом я вскоре расскажу.

...К тому времени она похорошела настолько, что я надумал взять ее с собой в Москву, не решаясь оставить в Петербурге. Ее лепет на венецианском наречии доставлял мне несказанное удовольствие. В одну из суббот я отправился в русскую баню. Тридцать или

сорок мужчин и женщин было там, совершенно голых и не обращавших ни на кого ни малейшего внимания — каждый был, казалось, занят лишь собой. Это не было бесстыдством, это была невинность простых душ. Конечно, я был удивлен, что никто даже не взглянул на Заиру, которая представлялась мне оригиналом статуи Психеи, виденной мною некогда в Риме в вилле Боргезе. Ее грудь не была еще полностью сформирована — ведь ей исполнилось совсем недавно четырнадцать лет. Белоснежную кожу прикрывали длинные и густые волосы цвета эбенового дерева, в которые она могла бы закутаться вся целиком. Узкие черные брови были проведены над великолепного разреза глазами, которые могли бы быть немного побольше, но сколько в них было огня и в то же время застенчивости! Я уж не говорю об ее губах, как будто созданных для поцелуев. Если бы не ее приводящая в отчаянье ревность, не ее слепая вера в неопровержимость гаданья на картах, которым она занималась по десять раз на дню, Заира была бы совершенством и мне никогда бы не пришла в голову мысль расстаться с нею.

В ту пору в Петербург приехал некий молодой француз. Звали его Кревкер, он был изящен, с располагающей к себе внешностью и хорошо воспитан, чего никак нельзя было сказать о юной парижанке, которую он привез с собой и которую, он называл Ларивьер. Она была недурна собою, но манерами и воспитанием ничем не отличалась от тех парижских девиц, что промышляют своими прелестями. Молодой человек и красotka пришли ко мне, когда я завтракал с Заирой. Он вручил мне письмо принца Карла Курляндского. Принц просил меня оказать покровительство этой паре.

— Скажите мне сами, — обратился я к молодому француз, — чем же я могу быть вам полезен?

— Приняв меня в ваше общество и устроив мне различные знакомства.

— Что касается общества, то я иностранец и от меня мало толку; я буду бывать у вас, всегда рад видеть вас у себя, правда, я никогда не обедаю дома. Если же говорить о знакомствах, то мне было бы затруднительно представлять вас вместе с мадам. Жена ли она ваша? Что я должен отвечать, когда меня спросят, кто вы и чем намерены заниматься в Петербурге? Странно, что принц Карл не дал вам письма к кому-нибудь еще.

— Я лотарингский дворянин, приехал в Петербург, чтобы развлечься, а мадемуазель Ларивьер моя любовница.

— Не думаю, что возможно кому-нибудь вас представить в таком качестве. Но вы можете наблюдать нравы страны и развлекаться, ни в ком не нуждаясь: театры, прогулки, даже придворные увеселения здесь широко открыты для всех. Я понимаю, что в средствах вы не стеснены.

— Как раз денег-то у меня и нет, и я ниоткуда их не жду.

— Однако, как же вы решились на такую поездку без денег?

— Моя подруга утверждает, что мне в них нет нужды. Она увезла¹ меня из Парижа без единого су в кармане и пока что оказалась права: мы повсюду прекрасно жили.

— Ах, так значит у нее был полный кошелек?

— Мой кошелек, — вмешалась эта особа, — всегда в карманах моих друзей.

— О, тогда понятно, что вы не^{*}пропадете нигде. Я бы тоже открыл для вас подобный кошелек, но, увы, я не так богат.

Гамбуржец Бомбак*, которого я знал в Англии, сбежал оттуда от долгов в Петербург. Ему повезло, он был принят в военную службу. Сын богатого негоцианта, он держал дом, слуг, экипажи, любил женщин, пышный стол, карты и делал долги с легкой душой. Он был дурен собой, но живой, умный и обходительный. Он вошел ко мне в тот момент, когда я разговаривал с оригинальной путешественницей, предпочитающей черпать из карманов своих друзей. Я представил ему достойную пару, рассказал о них, умолчав, разумеется, о состоянии их финансов. Бомбак, любитель приключений, сразу же стал делать авансы Ларивьер, которая отвечала ему в соответствии с правилами своего ремесла. Вскоре я мог убедиться в верности ее метода: Бомбак пригласил их обедать у него на завтра, а пока отправиться в Красный Кабак*, чтобы там отобедать без церемоний. Он пригласил и меня, я

согласился. Заира, не понимавшая по-французски, спросила меня, о чем идет речь, я рассказал ей, она попросила взять ее с собой, и я не мог ей отказать. Я согласился, чтобы избежать неминуемых сцен ревности, слез, упреков, отчаянья, прекращать которые мне приходилось по обычаю этой страны, поколачивая свою строптивую любовницу. Как ни удивительно, но это было лучшим способом доказать ей мою любовь. Таков нрав русских женщин: после тумачов к ним мало-помалу возвращается нежность и все кончается новыми приношениями на алтарь любви. Обрадованный Бомбак поспешил подготовить поездку, обещав вернуться за нами к одиннадцати часам. Пока Заира принаряжалась, Ларивьер вела со мной разговор, склонивший меня к мысли, что я перестал разбираться в людях. Меня поразило, что ее любовник не видел ничего предосудительного в той роли, какую он играл. Он мог, конечно, в свое оправдание сослаться на то, что влюблен в Мессалину, но разве это оправдывало его?

Наша затея удалась как нельзя лучше, обед прошел весьма весело: Бомбак разговаривал только с искательницей приключений, Заира провела все время у меня на коленях, Кревкер ел, пил, смеялся к месту и не к месту. Хитроумная Ларивьер втянула Бомбака в игру и выиграла у него двадцать пять рублей. Он весело заплатил, попросив в благодарность лишь поцелуй. Заира, довольная, что я взял ее с собой туда, где легко бы мог ей изменить, наговорила мне тысячи смешных вещей по поводу француженки и ее друга, который был явно неревнив и снисходителен. Это превосходило ее понимание, и она не могла объяснить себе, как та допускает, чтобы он показывал такую уверенность в своей любовнице.

— Но ведь я же уверен в тебе и ты, однако, меня любишь.

— Потому что я никогда не даю тебе случая сомневаться во мне.

На следующий день я отправился к Бомбаку без Заиры. Я знал, что там должны быть молодые офицеры, которые досаждали мне, ухаживая за Заирой и болтая с ней на своем языке. У Бомбака я застал путешествующую пару, а также двух братьев Луниных*. Оба они теперь генералы, а в ту пору были поручиками. Младший был хорошенький блондин с совершенно девичьей внешностью. Он состоял в возлюбленных у кабинет-секретаря Теплова и, будучи малым решительным, не только ставил себя выше всяких предрассудков, но не стеснялся гордиться тем, что своими ласками мог пленить всех мужчин, с которыми водился.

Угадав, и совершенно справедливо, в богатом уроженце Гамбурга те же склонности, что были у Теплова, и не предполагая таких вкусов у меня, он надумал меня смутить. С этой мыслью он подсел ко мне за столом и так извел меня своими приставаниями во время обеда, что я совершенно чистосердечно принял его за переодетую девицу.

После обеда, расположившись у огня рядом с ним и отважной француженкой, я сообщил ему о своих подозрениях. Лунин, дороживший своей принадлежностью к сильному полу, тотчас же выставил напоказ убедительные доказательства моей ошибки. Интересуясь проверить, могу ли я остаться равнодушным при виде такого совершенства, он придвинулся ко мне и, уверясь, что привел меня в восторг, занял позицию, необходимую, как он сказал, для нашего обоюдного блаженства. Признаюсь к стыду своему, что грех случился бы, если бы Ларивьер, возмущенная тем, что в ее присутствии какой-то миньон осмелился покуситься на ее права, не заставила его отступить.

Лунин-старший, Кревкер, Бомбак, отправившиеся прогуляться, вернулись с наступлением темноты с тремя приятелями, которые могли легко утешить француженку в ее несчастье оказаться в столь дурном обществе, каким оказались юный Лунин и я.

Приступили к фараону, который кончился за полночь. Я и мой новый друг Лунин оставались лишь внимательными зрителями происходящего, а Кревкер отправился спать. Расстались мы только утром.

Войдя к себе, я сразу же удачно увернулся от полетевшей мне в голову бутылки. По счастью, Заира промахнулась, иначе я был бы убит на месте. В ярости она кинулась наземь и стала биться об пол головой. Злость овладела мною, я подбежал к ней, оторвал от пола, поднял; не выпуская ее из рук, я спрашивал, что с ней; мне показалось, что она сошла с ума, и я решил было звать на помощь. Но она несколько успокоилась, хотя слезы не иссыкали, и

сквозь рыдания она называла меня убийцей, изменником и всеми другими бранными словами, какие приходили ей на память. Как неоспоримое доказательство моей преступности она предъявила мне каре из двадцати пяти карт, где она прочитала все о моем страшном распутстве в минувшую ночь.

Не прерывая ее, я позволил ей сказать все, что подсказывали ей ее ревность и бешенство; затем, собрав всю ее чертовщину, я бросил карты в печь, устремив на нее взгляд, в котором были отражены и мой праведный гнев и сострадание, я сказал ей, что она меня чуть было не убила и что, не желая больше подвергаться припадкам ее бешенства, я решил, что с завтрашнего дня мы расстаемся. Я сказал ей, что в самом деле провел всю ночь у Бомбака и там была женщина, но все ее обвинения я решительно отверг. Затем, нуждаясь в отдыхе, я лег в постель и заснул, не оказав ей при этом ни малейших знаков внимания, обычных между нами, хотя она и расположилась рядом, чтобы выразить свое раскаяние и выпросить у меня прощенье.

Через пять или шесть часов я проснулся, она спала глубоким сном. Стараясь не разбудить ее, я стал одеваться, размышляя о том, как лучше развязаться с этой юной фурией, которая рано или поздно неминуемо убьет меня. Пока я обдумывал это, она, почувствовав, что меня нет рядом, проснулась, вскочила с постели и кинулась к моим ногам, умоляя простить ее, взывая к моему милосердию и клянясь, что никогда больше не притронется к картам, если я буду настолько милостив, что не прогоню ее.

Как могущественна прекрасная и любимая женщина в таком состоянии! Все завершилось тем, что я заключил ее в свои объятия и выпустил не прежде, чем она получила несомненные знаки моей вернувшейся нежности. И я окончательно успокоил ее, сообщив, что через три дня мы вместе отправляемся в Москву.

За несколько времени до моего отъезда в Москву императрица поручила своему архитектору Ринальди построить на дворцовой площади большой деревянный амфитеатр, которого план я видел. Ее Величество намеревалась дать большую карусель, где бы блистал двет воинов ее империи. Все подданные монархини были собраны на этот праздник, который, однако же, не имел места: дурная погода помешала этому. Было решено, что карусель состоится в первый хороший день, но этот день так и не наступил; и действительно, утро без дождя, ветра или снега — чрезвычайно редко в Петербурге. В Италии мы рассчитываем на хорошую погоду, в России нужно, наоборот, рассчитывать на скверную. Поэтому я всегда смеюсь, когда встречаю русских путешественников, рассказывающих о чудесном небе их родины. Странное небо, которого я по крайней мере не мог увидеть, иначе как некий серый туман, извергающий из себя хлопья снега. Но пора поговорить о моем путешествии в Москву.

Мы выехали из Петербурга вечером; по крайней мере так следовало думать по выстрелу из пушки; без этого мы бы никак этого не полагали, потому что был тогда конец мая, а в это время года в Петербурге не бывает ночи. В полночь отлично можно читать письмо без помощи свечки. Великолепно, не правда ли? Я согласен, но в конце концов это надоедает. Шутка становится нелепой, потому что продолжается слишком долго. Кто может вынести день, продолжающийся без перерыва в течение семи недель?

Я нанял извозчика и шесть лошадей за восемьдесят рублей. Это дешево, если вспомнить, что переезд равняется шестистам двум верстам или около пятисот итальянских миль. В Новгороде, где мы остановились, я заметил, что мой извозчик очень печален. Я его расспрашиваю, и он отвечает мне, что одна из его лошадей не хочет есть и что вследствие этого, вероятно, я принужден буду отказаться от путешествия. Я отправляюсь с ним на конюшню и, действительно, вижу бедное животное, с опущенной вниз головой, без признаков жизни. Мой извозчик обращается к лошади со словами и просит ее в самых ласковых выражениях снизойти до еды; потом начинает ласкать ее, берет ее за голову, целует ей ноздри, но лошадь по-прежнему остается неподвижной. Тогда извозчик начинает рыдать, а я хохочу как сумасшедший, потому что вижу, что намерение чувствительного извозчика было тронуть лошадь зрелищем его печали. Через четверть часа — все то же;

извозчик излил все свои слезы. Тогда он прибегает к другим средствам: прежде слезы его душили, теперь он приходит в бешенство: он наделяет несчастное животное самыми страшными ругательствами и, вытащив ее из конюшни, привязывает к столбу и начинает ее бить. После этого он ведет ее снова в конюшню и предлагает ей сена: лошадь принимается есть. Таким образом, мир заключен-г- мое путешествие становится возможным. Только в России палка имеет такие результаты. Теперь, как меня уверяют, палка уже не стала сильно влиять: русские перестали в нее верить; к их несчастью, они привыкают к французским нравам, деморализуются. Да остерегаются они этого! Как далеки они теперь от того доброго старого времени Петра Великого, когда папочными ударами наделялись методично. Полковник подвергался кнуту генерала и сам колотил капитана, возвращавшего удары поручику, который в свою очередь передавал их капралу, один лишь солдат не мог их никому передавать, но взамен этого имел возможность получать их от всякого.

В Москве я остановился на хорошем постоялом дворе. После обеда, — что было весьма необходимо после путешествия, — я взял наемную карету и отправился развозить рекомендательные письма, имевшиеся у меня от разных лиц. В промежутках между визитами я осматривал город; но я помню только то, что постоянный звон колоколов чуть не оглушил меня. На другой день мне отданы были все визиты, сделанные мною. Всякий желал угостить меня обедом. В особенности Демидов был любезен.

Всюду меня приглашали с Заирой.

Заира, хорошо обученная предназначенной ей роли, была в восторге и старалась показать мне, что вполне заслуживает полученного ею отличия. Как маленькая богиня Любви она всюду привлекала внимание общества, становилась центром притяжения, и никого не интересовало выяснить, дочь ли она мне, любовница или служанка: здесь, как и в сотне других случаев, русские удивительно снисходительны.

Тот, кто не видал Москвы — не видал России, а кто знает русских только по Петербургу, не знает действительных русских. Здесь считают иностранцами жителей новой столицы. Действительной столицей России долгое время будет еще Москва; старый москвит ненавидит Петербург и при случае готов произнести против него приговор Катона против Карфагена. Оба города соперничают не только своим положением и назначением, но много и других причин делают их врагами — причин религиозных и политических. Москва держится прошлого: это-город преданий и воспоминаний, город царей, дочь Азии, весьма удивленная, что находится в Европе. Это я везде здесь заметил и это придает городу особенную физиономию. В неделю я все осмотрел: церкви, памятники, фабрики, скверные библиотеки, ибо народонаселение, стремящееся к застою, не может любить книги. Что же касается общества, то оно мне показалось более приличным и более действительно цивилизованным, чем петербургское общество. В особенности московские дамы очень любезны: они ввели обычай, который следовало бы ввести и в других странах: достаточно поцеловать им руку, чтобы они поцеловали сейчас же вас в щеку. Трудно представить себе число хороших ручек, которые я перецеловал во время первого моего пребывания там. За столом прислуживают плохо и беспорядочно, но зато блюда многочисленны. Это единственный в мире город, где богатые люди, действительно, держат открытый стол. Для этого не нужно быть приглашенным, достаточно быть известным хозяину. Бывает также, что друг дома приводит многих из своих знакомых: их принимают так же хорошо, как и других. Нет примера, чтобы русский сказал: «Вы являетесь слишком поздно». Они неспособны на такую невежливость. В Москве целый день готовят пищу. Три повара частных домов так же заняты, как рестораторы Парижа, а хозяева дома подвигают так далеко чувство приличий, что считают себя обязанными есть на всех этих трапезах, которые зачастую без перерыва продолжаются до самой ночи. Я никогда не обзавелся бы домом в Москве: мой кошелек и мое здоровье одинаково были бы разорены.

Русский народ самый обжорливый и самый суеверный в мире. Св. Николай здесь почитается больше, чем все святые вместе взятые. Русский не молится Богу, он поклоняется Св. Николаю, его изображения встречаются здесь повсюду: я видел его в столовых, в кухнях

и в других местах. Посторонний, являясь в дом, прежде всего должен поклониться изображению святого, а потом уже хозяину. Я видел москвитов, которые, войдя в комнату, где случайно не было изображения святого, переходили из комнаты в комнату, ища его. В основе всего этого лежит язычество. Страннее всего то, что русский язык есть татарское наречие, между тем как богослужение происходит на греческом языке, так что верующий в продолжение всей своей жизни повторяет молитвы, в которых не понимает ни одного слова. Перевод считался бы делом нечестивым.

По приезде в Петербург первый мой визит был к графу Панину, он был в то время наставником великого князя Павла, наследника престола. Он меня спросил, имею ли я намерение уехать из Петербурга, не будучи представленным императрице. Я ему отвечал, что чрезвычайно сожалею, что это счастье для меня недоступно, за неимением лица, которое бы меня представило ей. Тогда граф показал мне рукой на сад, где Ее Величество имеет привычку прогуливаться по утрам.

— Но каким образом и в каком качестве мне представиться? — Да просто так. — Я — неизвестный для императрицы... — Вы ошибаетесь; она видела вас и обратила на вас внимание. — Во всяком случае, я не посмею подойти к Ее Величеству без помощи кого-либо. — Я буду тут.

Мы условились относительно дня и часа. Я прогуливался один, рассматривая расположение сада. Аллеи были наполнены множеством статуй самой жалкой работы. Это были горбатые Аполлоны, худощавые Венеры, Амуры, похожие на гвардейцев. Нет ничего смешнее того, как были перемешаны мифологические и исторические имена. Я вспоминал улыбающуюся безобразную фигуру, которая носила имя Гераклита, и другую плачущую физиономию, обозванную Демокритом. Старец с длинной бородой назывался Сафо; старуха получила имя Авиценны; двое молодых обнимающихся людей были Филемон и Бавкида. Я сдержал свою улыбку, подходя к императрице. Ей предшествовал Орлов в сопровождении многих дам. После первых приветствий она меня спросила, как я нахожу сад. Я ей повторил то, что сказал королю прусскому на подобный же вопрос.

— Что же касается до подписей, то их поместили, чтобы обманывать невеж и для развлечения тех, которые имеют кое-какое понятие об истории.

— Ни подписи, ни статуи ничего не стоят. Мою бедную тетюшку обманули. Надеюсь, что в России вы видели менее смешные вещи.

— Ваше Величество, то, что может возбудить смех в вашем государстве, не может быть даже и сравниваемо с тем, что приводит в восторг иностранцев.

В разговоре я имел случай упомянуть о короле прусском и выразил мое уважение к нему. Она пригласила меня пересказать ей разговор, который я имел с ним. Я все пересказал. Тогда все говорили о празднике, который желала дать императрица, празднике, о котором я уже упомянул. Дело касалось турнира, на котором должны были появиться лучшие воины ее государства. Императрица спросила, бывают ли такие праздники в Италии.

— Конечно, тем более, что климат Венеции благоприятствует подобным увеселениям; прекрасные дни там так же часты, как они редки здесь, хотя иностранцы находят, что здесь год моложе, чем в других местах.

— Да, это правда; ваш год на одиннадцать дней длиннее.

— Не было ли бы, — возразил я, — реформой, достойной Вашего Величества, ввести в вашем государстве грегорианский календарь? Ваше Величество знает, что он везде принят. Даже Англия в последние четырнадцать лет сократила год на одиннадцать дней февраля, что составило ей экономию многих миллионов. Другие европейские страны с удивлением видят, что старый стиль существует еще в империи, монархия которой в то же время является представительницей Церкви и где существует академия наук. Думают, что Петр Великий, который приказал считать год с первого января, уничтожил бы и старый стиль, если бы не считал себя обязанным придерживаться примера Англии, которая вела оживленную торговлю с вашей обширной империей.

— И к тому же, — возразила императрица, — Петр не был ученым.

— Государыня, он был больше, чем ученый; это был великий ум, необыкновенный гений. Какое понимание обстоятельств! Какое умение управлять ими! Какая решительность! Какая смелость! Он успел во всех своих предприятиях, потому что умел избегать ошибок и искоренял злоупотребления.

Я продолжал еще хвалить Петра Великого, в то время как императрица уже отвернулась от меня. Я полагал, что она не без удовольствия слушала похвалы, расточаемые мною ее предшественнику. Обеспокоенный странностью, которая окончила этот разговор, я обратился к графу Панину, который уверил меня, что я очень понравился императрице и что она ежедневно осведомляется обо мне. Он советовал мне пользоваться случаями видеть ее. «К тому же, — прибавил он, так как вы ей понравились, то она вызовет вас, и если вы желаете поселиться здесь, то получите место». — Не зная, какое занятие могло бы мне быть приятно в стране, которая не нравилась мне, я тем не менее был приятно польщен хорошим мнением обо мне императрицы, не говоря уже о том, что благодаря этому обстоятельству я имел доступ ко двору. Поэтому я широко воспользовался предоставленной мне привилегией: я каждое утро отправлялся в сад Ее Величества. Однажды мы встретились. Она поздоровалась со мной очень любезно.

— То, что вы желали для чести России, уже сделано, — сказала она, — с сегодняшнего числа все письма, адресованные за границу, и все официальные акты, имеющие историческое значение, будут носить надпись как нового, так и старого стиля, одновременно.

— Осмелюсь заметить Вашему Величеству, что теперь старый стиль опаздывает только на одиннадцать дней, но в конце столетия разница будет больше.

— Я и это предвидела. Последний год нынешнего столетия, который, вследствие грегорианской реформы, не високосный в других странах, точно так же не високосный и у нас. Кроме того, ошибка составляет одиннадцать дней, что вполне соответствует числу, которым ежегодно увеличиваются эпакты (Число дней, на которые солнечный год длиннее лунного); это позволяет нам сказать, что ваши эпакты равняются нашим, с разницей лишь одного года. Вы установили равноденствие на второе марта, мы — на десятое, но в этом отношении астрономы не высказываются. Вы правы и неправы, ибо дата равноденствия подвижна, она бывает одним, двумя или тремя днями позже или раньше. Таким образом вы не согласны даже с евреями, сохранившими эмболизм*.

Я был поражен; я говорил себе внутренне: «Вот настоящая лекция по астрономии». Я искал возражений и, наконец, сказал:

— Могу только восторгаться словами Вашего Величества, но праздники Рождества Христова?

— Я ожидала этого возражения; Рим прав, и вы хотите сказать, что у нас Рождество празднуется не во время солнцестояния, как это должно было бы быть. По моему мнению, возражение это не имеет значения; к тому же справедливость и политика заставляют меня мириться с этой незначительной неправильностью. Я не хочу вычеркивать одиннадцать дней из календаря, лишить три миллиона жителей и себя дня рождения и именин. К тому же против меня можно было бы сказать, что я уничтожаю решения Никейского собора.

Аргумент был бесспорный. Понятно, что нельзя идти против решений Никейского собора. По мере того как императрица говорила, мое удивление росло, но вскоре я заметил, что все, что она говорила, было до известной степени приготовлено и заучено, так что можно было удивляться одной лишь ее памяти. И действительно, я узнал на другой день, что императрица имела в кармане небольшое руководство к астрономии, с помощью которого могла блистать эрудицией сколько угодно... В ту эпоху, о которой я говорю, императрица Екатерина была еще молода, большого роста, довольно полна, с белым цветом лица, с открытым выражением... Я был очень тронут ее добротой, которая привлекала к ней сердца всех и которой так недоставало королю прусскому.

Когда рассматриваешь жизнь Фридриха, невольно удивляешься чрезвычайной смелости, с которой он вел все свои войны, но вскоре приходишь к заключению, что он был бы побежден без счастливых случайностей. Фридрих всегда много рассчитывал на случай;

это был, если можно так сказать, настолько же смелый, насколько и ловкий игрок. Откройте, наоборот, историю Екатерины, и вы увидите, что она мало рассчитывала на блестящие удары, что она с успехом осуществила предприятия, которые прежде считались невыполнимыми, и, кажется, что вся ее гордость заключалась в том, чтобы уверить всех, как это легко делается.

Императрица постоянно говорила со мной о календаре. Все это нисколько не подвигало моих дел. Я решил еще раз предстать перед нею, рассчитывая на другой сюжет разговора. Как только она меня заметила, она сделала знак, чтобы я подошел.

— Кстати, — сказала она, — я забыла спросить вас, есть у вас какое-либо возражение против моей реформы?

— По отношению к календарю?

— Да.

— Осмелюсь заметить Вашему Величеству, что сам реформатор заметил небольшую ошибку, но эта ошибка так ничтожна, что ее придется исправить только через восемь или девять тысяч лет.

— Мои соображения совпадают с вашими; но если это справедливо, то Григорий VII напрасно признал ошибку, — ибо законодатель не должен знать ни слабости, ни бессилья. Не смешно ли думать, что если б реформатор не уничтожил високосный год в конце столетия, то через пятьдесят тысяч лет у нас оказался бы лишний год! Наследник апостола Петра, как у вас называют папу, встретил среди верующих своей церкви такую покорность, которую напрасно искал бы здесь, где все преданы старым обычаям.

— Я не сомневаюсь, что воля Вашего Величества восторжествовала бы над всеми затруднениями.

— Я и сама это думаю, но как было бы опечалено мое духовенство, если бы я заставила их вычеркнуть из календаря много праздников, назначенных на эти одиннадцать дней? У католиков есть только один святой на каждый день; у нас не так. Вы, кроме того, заметите, что самые старые государства настойчиво придерживаются своих первобытных учреждений; народ прав, считая их хорошими, если их не изменяют. В этом отношении я вполне одобряю обычай на вашей родине, по которому год начинается с первого марта, — это признак древности Италии. Но удобно ли это?

— Вполне удобно: благодаря двум буквам, прибавляемым нами к дате в январе и феврале, — недоразумение невозможно.

— Говорят также, что вы не делите на две части день, по двенадцать часов в каждой части?

— Действительно, наш день начинается с началом ночи.

— Странно! Но если вы это считаете удобным, то мы не согласны с вами.

— Ваше Величество позволит мне думать, что наш обычай предпочтительнее вашего: нам не нужно стрелять из пушки, чтобы возвещать, что солнце садится.

— Прекрасно, но у нас есть большое преимущество: а именно, знать несомненно, что наступил полдень или полночь, когда стрелка наших часов показывает двенадцать.

После этого разговора она коснулась других венецианских обычаев и заговорила между прочим об азартных играх и лотерее.

— И мне предлагали, — сказала она, — устроить в моей империи лотерею, я согласилась, но с условием, что ставка будет не меньше одного рубля, с тем, чтобы оградить кошелек бедного, который, не зная тонкостей игры и обманчивого соблазна, представляемого ею, мог бы думать, что по терне легко выиграть.

Таков последний разговор, бывший у меня с Великой Екатериной, бесподобной монархиней, которую я никогда не забуду.

...За несколько дней до моего отъезда я устроил большой праздник в Екатерингофе с великолепным фейерверком, который мне, правда, ничего не стоил: это был подарок моего друга Мелиссино. Ужин, поданный на тридцать персон, был изыскан, бал прошел блестяще. Несмотря на худобу моего кошелька, я считал себя обязанным выказать моим друзьям этот

знак признательности за все услуги, сделанные мне ими...

Возвратившись к себе, я нашел Заиру грустной, но спокойной, и это огорчило меня еще больше, чем ее обычный гнев: я любил эту девочку, но надо было готовиться к разлуке и ко всем тяготам, с нею связанным.

Архитектору Ринальди, шестидесятилетнему, но еще очень бодрому и чувствительному к женскому полу старику, давно приглянулась Заира. Много раз говорил он, что я окажу ему величайшее благодеяние, если, отъезжая из России, оставлю девушку на его попечение. Мои издержки он был готов оплатить вдвойне. Всякий раз я ему отвечал, что оставлю Заиру лишь тому, с кем она пойдет по доброй воле, а сумма, потраченная мною на нее, останется ей в подарок. Этот ответ не радовал Ринальди, так как, он не думал, что Заира его полюбит, но все же надежды на успех он окончательно не терял. Случай привел его ко мне как раз в то утро, когда я намеревался приступить к завершению этого дела. Он хорошо говорил по-русски и потому сам изъяснил Заире все о тех чувствах, которые к ней испытывал. Она отвечала ему по-итальянски, что может принадлежать лишь тому, кому я вручу ее паспорт, и все, следовательно, зависит от меня: у нее нет своей собственной воли и ни к кому она не чувствует ни склонности, ни отвращения. Не получив более положительного ответа, почтенный старик, отобедав с нами, откланялся, весьма мало обнадеженный, но продолжая, однако, уповать на меня. Распростившись с ним, я попросил Заиру ответить без всякой утайки, согласится ли она перейти к этому достойному человеку, который будет обходиться с нею, как с родной дочерью... Заира, будучи после обеда в хорошем настроении, спросила меня, вернет ли господин Ринальди мне те сто рублей, которые я за нее заплатил. Получив утвердительный ответ, она сказала:

— Но теперь, мне сдается, я стою гораздо больше, ведь ты оставишь мне все, что я от тебя получила, да еще я и по-итальянски выучилась говорить.

— Дитя мое, ты совершенно права, но я не хочу, чтобы обо мне говорили, что я нажился на тебе, да и те сто рублей, которые он мне заплатит, я хочу тебе подарить.

— Коли ты хочешь сделать мне такой подарок, почему бы тебе не дать эти сто рублей моему батюшке? Раз господин Ринальди меня любит, скажи ему прийти и обо всем договориться с моим отцом, он говорит по-русски не хуже батюшки, они условятся о цене, а я противиться не стану. Ты не рассердишься, если за меня заплатят настоящую цену?

— Конечно нет, напротив, я буду рад как-то помочь твоему семейству, тем более, что господин Ринальди богат.

— Вот и славно, а я тебя буду всегда поминать добром. Отвези меня завтра в Екатеринбург, а теперь пошли спать.

Такова была история моего расставания с этой девушкой, благодаря которой мое пребывание в Петербурге было весьма благоразумным. Зиновьев говорил мне, что, заплатив довольно умеренную пошлину, я мог увести Заиру с собой, а разрешение он брался мне легко доставить. Я, однако, глядел далее, и у меня хватило ума отказаться от этого предложения: я любил Заиру, а она с ее красотой и умом должна была распуститься в такой цветок, что я сделался бы ее рабом.

Все утро, то плача, то смеясь, Заира укладывала свои пожитки. Сколько раз, заведя у меня на глазах слезы, она кидалась ко мне, чтобы меня утешить! Когда я ввел ее к ее отцу и передал ему паспорт, все семейство окружило меня, встав на колени.

Я еще раз был смущен тем, до какой степени рабство искажает человеческую природу. Бедная Заира, она выглядела так плохо в отчей лачуге, где широкое соломенное ложе составляло общую постель для всех!

Но Ринальди мог быть доволен. Он рассказал мне: что уже на следующий день отправился к отцу Заиры и все было улажено, кроме того, что она согласилась перейти к нему только после моего отъезда из Петербурга. Она оставалась с Ринальди до его смерти, и он обошелся с нею как нельзя лучше.

Варшава.

По моем приезде в Варшаву я остановился у Кампиони, который тогда был во главе танцевальной школы. На другой день я стал развозить рекомендательные письма, полученные мною в Петербурге. Я начал с визита князю Адаму Чарторыжскому. Я нашел его в его кабинете в обществе тридцати или сорока лиц. Прочитав рекомендательное письмо, он принялся хвалить лицо, от которого оно было, и пригласил меня на ужин. Я принял приглашение и тем временем отправился к польскому посланнику во Франции, графу Сулковскому, человеку значительных сведений, большому дипломату, мозги которого были переполнены различными проектами, вроде проектов аббата Сен-Пьера. Он очень обрадовался, увидав меня, и, желая со мной поговорить, удержал меня на обеде. Я целых четыре часа просидел за столом, играя роль не столько приглашенного, сколько ученика, которого экзаменуют. Граф Сулковский говорил мне обо всем, за исключением лишь того, о чем я сам мог говорить. Слабостью его была политика: он решительно подавил меня своим превосходством в этом отношении. Я отправился к князю Адаму с целью забыть трескотню дипломата. Там я нашел большое общество: генералов, епископов, министров, виленского воеводу и наконец самого короля, которому князь представил меня. Его Величество много расспрашивал меня об императрице Екатерине и о лицах ее двора. Я был настолько счастлив, что мог рассказать ему кое-какие подробности, живо заинтересовавшие его. За ужином я сидел по правую сторону монарха; он не переставал со мной говорить. Король польский был малого роста, но хорошо сложен; его лицо было выразительно; он говорил хорошо и в его разговоре было много блеска и ума. На другой день князь Адам повез меня к воеводе русскому. Я нашел этого знаменитого человека окруженным лицами его свиты, одетыми в национальный костюм, в больших сапогах, в кафтанах, с обритой головой. Этот-то воевода и был главной причиной беспорядков в Польше. Недовольный положением, которое он и его брат, литовский канцлер, имели при дворе, они стали во главе заговора, который должен был низвергнуть с престола саксонского короля и заместить его, с поддержкой России, молодым Станиславом Понятовским*, который был назван Станиславом-Августом.

Несмотря на мое примерное поведение, не прошло и трех месяцев со времени моего приезда в Варшаву, как я очутился в больших затруднениях. Счета поставщиков падали на меня со всех сторон, а денег у меня не было. Но судьба доставила мне двести дукатов. Некий г-н Шмидт, которому король не без причины предоставил помещение в замке, пригласил меня на ужин. Там я познакомился с остроумным епископом Красинским, аббатом Джиджиотти и двумя-тремя другими лицами, не лишенными знания итальянской литературы. Король, бывший всегда в хорошем расположении, когда находился в обществе, знавший к тому же классиков так, как ни один король, — стал говорить о некоторых римских поэтах и прозаиках. Я с удовольствием слушал, как он то и дело ссылаясь на рукописи схоластов, которые существовали лишь в воображении Его Величества. Но слушал я не говоря ни слова, занимаясь едой. Дело наконец коснулось Горация; всякий цитировал то или другое его выражение. Все одобряли его философию. Удивленный моим молчанием, аббат Джиджиотти спросил меня:

— Если господин Казанова не согласен с нами, то почему бы ему не высказать своего мнения?

— Если вам угодно знать мое мнение о Горации, — сказал я, — то я должен сознаться, что для меня существуют поэты, знавшие лучше него обычаи и дух дворов. Некоторые из его поэм, восхваляемые вами за их вкус и светскость, в сущности довольно грубые сатиры.

— Но что может быть выше соединения изящества с правдой в сатире?

— Это было легко для Горация, у которого была одна только цель, даже в сатирах: льстить Августу. Этот монарх обессмертил себя покровительством писателям своего времени: вот что сделало популярным его имя среди позднейших монархов; они присвоили его себе и отказываются от своего имени.

Я уже заметил, что польский король принял имя Августа при восшествии своем на престол. Мои слова обратили на себя внимание Его Величества. Он меня спросил: кто те

монархи, которые отказались от своих имен и приняли имя Августа.

— Первым был король шведский, — отвечал я, — называвшийся Густавом. Но какое отношение видите вы между Густавом и Августом? — Одно есть анаграмма другого. — Где это вы нашли? — В одной рукописи, в Вольфенбютеле.

Король расхохотался, вспомнив, что и он ссылаясь на рукописи. Затем он меня спросил, не помню ли я каких-либо стихов Горация, в которых сатира приодета в светские и серьезные формы. Я сейчас же ему ответил:

— *Coram rege sua de pouupertate tacentes plus quam poscentes ferent.*

— Да, это правда, — сказал, улыбаясь, король.

Госпожа Шмидт попросила епископа объяснить ей значение этих слов. «Тот, кто не высказывает своей бедности перед монархом, получает больше, чем тот, который просит». Дама ответила, что это место нисколько не кажется ей сатирическим. Я молчал, боясь сказать слишком многое. Даже король старался замять разговор, говоря об Ариосто. Он выразил желание прочитать его вместе со мною. Я ему отвечал, поклонившись и цитируя Горация: «*Tempora quae agant*» (Изыщу время). Спустя несколько дней я встретил короля, который, давая мне поцеловать свою руку, всунул мне бумажку, которая помогла мне уплатить долги: тут было двести дукатов. С тех пор я присутствовал при одевании короля, не пропуская ни одного дня. Мы, кажется, обо всем говорили, за исключением Ариосто; он довольно хорошо понимал итальянский язык, но не говорил на нем. Всякий раз, когда я вспоминаю достоинства этого монарха, я не могу понять, каким образом он наделал так много ошибок, из которых главная — та, что он пережил свою родину. Не все мои знакомства в Варшаве были такого высокого полета. Так, у меня побывала с визитом Бинетти, приехавшая из Лондона со своим мужем, танцором Пиком. Они ехали из Вены в Петербург. Король сказал мне, что желает ангажировать ее на неделю и предложил ей тысячу дукатов. Я сейчас же поехал с этим известием к Бинетти, которая не верила своим ушам. Прибытие князя Понятовского, которому было поручено сделать ей это предложение от имени короля, — убедило ее. В три дня Пик устроил балет. Томатис взял на себя декорации, костюмы и оркестр. Эти новоприбывшие так понравились, что их ангажировали на год, что очень не понравилось Катай, другой танцовщице: Бинетти не только затмила ее, но и отбила у нее поклонника. Вскоре у Бинетти оказалось роскошное помещение и множество поклонников, между которыми был граф Мочинский и камергер граф Браницкий*, друг короля.

Публика разделилась на две партии: катаистов и бинеттистов. Понятно, что я принадлежал к последним, но не мог слишком явно высказывать этого, боясь наделать себе врагов из Чартырыжских, горячих поклонников Катай. Один из них, князь Любомирский, был ее любовником, и я оказался бы дураком, если бы предпочел дружбу балерины этим высоким связям. Бинетти упрекала меня в этом и заставила обещать, что я не буду бывать в театре. Ее главный поклонник, Ксаверий Браницкий, камергер, был уланским полковником: ему было не более тридцати двух лет от роду, он служил во Франции и теперь только что приехал из Берлина, где он был польским посланником при дворе Фридриха. Бинетти, ненавидевшая Томатиса, уговорила Браницкого отомстить за нее этому господину, который в качестве директора театра постоянно делал ей неприятности. Вероятно, что Браницкий обещал ей это, но читатель сейчас увидит, что за это дело он принялся несколько странно.

20 февраля Браницкий отправился в Оперу. Начался уже второй балет. Он вошел в ложу Катай. Там находился Томатис. Как один, так и другая, увидав входящего камергера, предположили, что он поссорился с Бинетти. Браницкий был очень любезен и у двери ложи предложил даме руку. Томатис следовал за ними. Я был в вестибюле, когда канцлер, севший в карету вместе с Катай, крикнул директору следовать за ним в другой карете. Тот отвечал, что он ездит только в своей карете. Браницкий приказывает кучеру ехать; Томатис останавливает его. Канцлер, принужденный выйти, приказывает своему лакею дать пощечину Томатису. Сказано — сделано. Бедный Томатис до такой степени смутился, что и не подумал тем же ответить лакею. Он бросился в свою карету и уехал. Я пришел домой

почти в таком же состоянии духа, как и Томатис: я предвидел печальный исход всей этой истории. История быстро распространилась по городу, и Томатис не смел никуда показываться. Он жаловался королю, но и сам король не мог настоять на удовлетворении, так как Браницкий сказал, что он только отвечал на оскорбление. Томатис говорил мне, что он нашел бы средство отомстить Браницкому, но это стоило бы ему слишком дорого. Он вложил в театр до сорока тысяч цехинов, которые он бы несомненно потерял, если бы был принужден выехать из Польши. Что же касается Бинетти, то она торжествовала, когда я увиделся с нею, она говорила, что принимает самое горячее участие в деле Томатиса, которого лицемерно называла своим другом, но ее радость слишком была сильна, и она не могла ее скрыть. Ее лицемерие оттолкнуло меня от нее, тем более что я смутно понимал, что и мне она готовит нечто подобное. Но я не имел в перспективе потери сорока тысяч цехинов, и потому мне нечего было бояться ее поклонника. К тому же я его никогда не видал, никогда не встречал, даже у короля. Необходимо прибавить, что в Польше Браницкого все ненавидели, так как полагали, что он предан России. Один лишь король сохранил к нему остаток дружбы. К тому же поведение Его Величества по отношению к своему камергеру определялось политическими соображениями. Я знал, что мое положение не дает повода ни к какой клевете: я воздерживался от игры и от всякого рода интриг. Я усидчиво работал для короля, надеясь быть его секретарем. В день Св. Казимира при дворе был большой прием, на котором и я присутствовал. По выходе из-за стола король мне сказал: «Будьте на спектакле». Так как предполагалось в первый раз играть национальную драму на польском языке и так как этот опыт несколько меня не интересовал, то я стал извиняться, но король настаивал. Я последовал за Его Величеством. Почти весь вечер я провел в его ложе, и когда король уехал после второго балета, я отправился за кулисы поздравить Казаччи, пьемонтскую балерину, очень понравившуюся королю. По дороге я остановился у ложи Бинетти, которой дверь была открыта; не успели мы обменяться двумя-тремя словами, как вошел Браницкий. Я поклонился ему и удалился, поступок, в котором я себя впоследствии упрекал. Казаччи была в восторге от похвал, принесенных мною, но любезно упрекала меня в недостатке внимательности с моей стороны: и действительно, это был мой первый к ней визит. Мы говорили об этом, как вдруг Браницкий, очевидно с намерением следивший за мной, быстро вошел в ложу в сопровождении некоего Бининского, полковника в его полку.

— Сознайтесь, господин Казанова, что я некстати являюсь. Вы ухаживаете за этой дамой?

— А разве она, граф, недостаточно обаятельна?

— Она до такой степени обаятельна, что я объявляю вам, что влюблен в нее и не потерплю никакого соперника.

— В таком случае, я скромно ретируюсь.

Граф гордо и несколько презрительно взглянул на меня.

— Вы благоразумны, господин Казанова. Итак, вы мне уступаете место?

— Немедленно, граф. Кто может быть настолько груб, чтобы соперничать с человеком вашего достоинства?

Кажется, я сопровождал мою фразу улыбкой, которая не понравилась Браницкому. Он отвечал:

— Я считаю трусом всякого, кто оставляет занятую позицию при первой угрозе.

Я не совладал с первым движением и схватился рукой за шпагу. Но спохватившись вовремя, я ограничился пожатием плеч презрительно и вышел из ложи. Не успел я сделать и четырех шагов по коридору, как услышал слова: «Трус венецианец», сказанные вслух.

— Граф Браницкий, я вам докажу где и когда вам угодно, что трус венецианец не боится польского вельможи.

На этот раз я решился не отступать. Я ожидал Браницкого на улице, рассчитывая на то, что заставлю его драться. Но напрасно, никто не явился. После получасового ожидания я, весь дрожа от холода, сел в первую попавшуюся мне карету и отправился к воеводе русскому, у которого ужинал король.

Размышляя о моем приключении, я поздравлял себя, что моя счастливая звезда избавила меня от появления графа. Мы, может быть, дрались бы, — чего я, конечно, желал; но вероятно также и то, что Бининский, его приспешник, вонзил бы свою саблю в меня: последствия оправдывают мое подозрение. Под внешностью светскости и мягкости поляки сохранили кое-какую дикость. Как в порывах их дружбы, так и в проявлениях их злобы виден еще сармат или скиф. Они как будто не понимают, что правила чести запрещают действовать против врага массой. Было очевидно, что граф так настойчиво преследовал меня только с намерением поступить со мной, подобно тому как он поступил с Томатисом. Пощечина, правда, не была дана, но я, тем не менее, чувствовал себя оскорбленным, и дуэль между нами была решительно необходима. Но как это сделать? Это было очень трудно.

Воевода принял меня с своей обыкновенной любезностью и предложил мне играть. Видя, что я все время зеваю, он спросил меня, где я витаю?

— Очень далеко отсюда, — отвечал я. — Когда играют с видным лицом, отвечал он, — неприлично быть рассеянным.

Он бросил карты и удалился. Сконфуженный этим обстоятельством, я хотел уже уйти, но дали знать о прибытии короля. Известие оказалось неверным: Его Величество не мог приехать. Это весьма огорчило меня, так как я решился изложить все дело Его Величеству. Ужин прошел печально. Я сидел по левой стороне князя, который не говорил со мной. К счастью, о моем приключении рассказал князь Любомирский, защищая меня.

— Браницкий, — сказал он, — был пьян; лицо, подобное вам, не может чувствовать себя оскорбленным грубостью вельможи.

С этой минуты воевода опять стал со мной любезным, и когда встали из-за стола, он отвел меня в сторону, и я имел возможность рассказать ему, что случилось.

— Теперь я не удивлен вашей рассеянностью, господин Казанова, — я искренно сожалею о вас, дело — серьезное.

— Не найдете ли возможным, Ваша Светлость, дать мне совет?

— Не спрашивайте меня советов; вам остается лишь следовать вашим собственным внушениям.

Дело было ясно. Я решился сделать следующее: убить Браницкого или заставить его убить меня, если он примет вызов; в противном случае вонзить ему кинжал в грудь, хотя бы пришлось заплатить за это головой. На рассвете я отправил ему следующую записку: «Ваше Сиятельство вчера меня оскорбили; не знаю, по какому поводу. Думаю, потому, что Ваше Сиятельство ненавидит меня; вследствие этого я готов к Вашим услугам. Потрудитесь же, граф, приехать за мной, чтобы покончить с этим делом, я обязуюсь следовать за Вами в такое место, где моя смерть, по законам страны, не будет считаться убийством и где мне будет позволено, если судьба будет мне благоприятствовать, убить Вас, не нарушая тех же законов. Это предложение должно доказать Вашему Сиятельству, что я составил себе самое высокое понятие о Ваших благородных чувствах и о Вашем благородном характере».

Через час мне ответили:

«Принимаю Ваше предложение. Потрудитесь указать мне час, когда я могу застать Вас дома. Выберите оружие, и кончим все это как можно скорее».

Обрадованный успехом, я отправил к нему длину моей шпаги, говоря, что буду ждать его завтра в шесть часов утра.

Спустя час я очень удивился, увидев входящего в мою комнату Браницкого. Свою свиту он оставил в прихожей и, входя, запер на ключ мою дверь; затем он сел на мою постель, где я лежал, занятый письмом. Все это мне показалось странным, и, не понимая, к чему все это делается, я схватил мои карманные пистолеты.

— Я явился не с тем, чтобы убить вас в кровати, — сказал он, — но чтобы объявить вам, что я не имею привычки откладывать дуэль до другого дня. Итак, мы будем драться или сегодня, или никогда.

— Сегодня невозможно, граф, сегодня день почты, и я обязан кое-что окончить для Его Величества.

— Вы это окончите после дуэли. Вы боитесь остаться на месте? Успокойтесь. В противном случае, у вас есть извинение: мертвые не боятся упреков.

— А мое завещание?

— Разве у вас есть что-либо завещать? И на этот раз успокойтесь, у вас есть еще пятьдесят лет на завещание.

— Но я не вижу, почему вы отказываетесь отложить дуэль на завтра?

— Вы шутите! Разве вы не понимаете, что если откладывать дуэль на завтра, она никогда не состоится. Король прикажет арестовать нас сегодня же.

— Вы его, значит, уведомили?

— Не шутите! Нет, конечно, я не такой человек, чтобы его уведомить, но я знаю, как делается здесь. Одним словом, я не хочу, чтобы вы вызывали меня понапрасну, и я готов дать вам удовлетворение. Но или сегодня, или никогда.

— Извольте, я согласен. Дуэль с вами имеет слишком много ценности в моих глазах, и я не откажу себе в этом удовольствии. Потрудитесь же приехать за мною после обеда.

— Я рассчитывал ехать с вами сейчас же.

— Ни в коем случае, мне нужно собраться с силами.

— Прекрасно. Я всегда дерусь натошак; у всякого свой вкус. Но зачем прислали вы длину вашей шпаги? С неизвестным я дерусь только на пистолетах.

— Неизвестный! В каком смысле? Десятки лиц в Варшаве засвидетельствуют вам, что я не разбойник. Я не буду драться на пистолетах; это мое право, вы сами оставили за мной выбор оружия.

— Это правда, но вы слишком порядочный человек, чтобы не принять пистолетов, с той минуты как я предлагаю их вам. К тому же пистолеты не так опасны. В большинстве случаев не попадают.

— Но вы не намерены покончить на пистолетах?

— Если никто не попадет, то потом мы можем фехтовать сколько вам угодно.

— Извольте, я готов согласиться на этом. Итак, вы приедете с двумя пистолетами, которые будут заряжены в моем присутствии, и у меня будет выбор оружия. Если не последует результата после первого выстрела, мы будем драться на шпагах до первой крови; и ничего больше, если вам угодно.

Граф сделал утвердительный знак. Я продолжал:

— Вы обещаете также привести меня в такое место, где я буду обеспечен от преследований?

— Разумеется. Обнимите меня: вы хороший человек. А теперь — молчание; до свидания в три часа.

Как только он меня оставил, я запечатал бумаги короля в конверт и позвал Кампиони, имевшего все мое доверие.

— Вот пакет, — сказал я, — вы мне отдадите его вечером, если я буду еще жив; в противном случае, вы его передадите Его Величеству. Вы легко догадаетесь, в чем дело; знайте также, что я никогда не прощу вам малейшую нескромность в этом отношении.

— Понимаю; вы будете обесчещены, если я открою рот, потому что скажут, что вы поручили мне известить о дуэли лиц, могущих воспротивиться ей. Будьте покойны: все мое желание заключается в том, чтобы вы вышли здоровы и невредимы из этого неприятного дела; не оберегайте вашего противника, это может стоить вам жизни.

— Знаю. Теперь давайте обедать.

Я заказал роскошный обед и послал за тонкими винами к Шмидту. Кампиони поддерживал меня, но как человек озабоченный. Что же касается меня, то никогда я не чувствовал подобного аппетита: я отлично поел, пил много, и все-таки моя голова была свежа. В два с половиною часа я подошел к окну, чтобы видеть, когда придет камергер. Я недолго ждал. Не было еще и трех часов, как подъехала его карета. Браницкий был в сопровождении своих адъютантов и генерала в полной форме: это был его свидетель*.

Я занял место в карете рядом с Браницким. Он мне заметил, что мне может

понадобиться кто-либо. На это я ответил, что имею только двух слуг и что они будут совсем не на месте среди его свиты; поэтому я предпочитаю вполне довериться ему, убежденный, что, в случае чего, он придет мне на помощь. В ответ граф горячо пожал мне руку. Место нашей встречи, вероятно, было обозначено раньше, так как мы уехали без всякого с его стороны приказания. Я не спрашивал его об этом, но так как в карете воцарилось молчание, я счел своей обязанностью прервать его.

— Рассчитываете ли вы провести лето в Варшаве?

— Это было мое намерение вчера, но сегодня, кто знает? Может быть, вы воспрепятствуете этому?

— Надеюсь, что это дело ни в чем не помешает вашим делам.

— Желаю того же и для вас. Вы были военным, господин Казанова?

— Да, граф. Могу ли спросить, зачем этот вопрос?

— Да просто потому, чтобы поддержать разговор.

Мы ехали больше четверти часа; потом карета остановилась у ворот парка. Мы торопливо вышли и вошли в аллею, в конце которой находились скамейка с каменным столом; один из гусар положил на этот стол пистолеты. Затем, вынув из кармана пороховницу и пули и зарядив пистолеты, положил их крестом на столе.

Браницкий пригласил меня выбрать пистолет. Но генерал воскликнул:

— Как! Вы намерены драться?

— Конечно.

— Здесь невозможно: вы находитесь в старостве*.

— Ну, так что?

— Здесь опасно; я не могу быть вашим свидетелем. Вы обманули меня, граф; я возвращусь в замок.

— Не задерживаю вас, — ответил Браницкий, — но прошу никому не проговориться. Я должен дать удовлетворение господину Казанова.

Тогда, обращаясь ко мне, генерал опять повторил: «Здесь вам нельзя драться».

— Если меня привезли сюда, я буду здесь драться, — отвечал я, — я буду везде защищать себя, даже в церкви.

— Напрасно. Обратитесь к королю: он рассудит вас, но драться невозможно.

— Я ничего не имею против посредничества Его Величества, если граф предварительно признает, что раскаивается в том, что оскорбил меня.

При этих словах Браницкий посмотрел на меня злобно и отвечал, что он приехал драться, а не мириться. Тогда, обращаясь к генералу, я взял его в свидетели того, что испробовал все, чтобы избежать дуэли. Генерал удалился с глазами, полными слез, в отчаянии. Браницкий вторично сказал мне: «Выбирайте». Я распахнул шубу и взял один из пистолетов. Браницкий взял другой, говоря: «Ваш пистолет превосходен».

— Я испробую его на вашем черепе, — отвечал я хладнокровно.

Мне показалось, что он побледнел; бросив свою шпагу одному из присутствовавших, он открыл грудь. Я сделал то же. Ширина аллеи не позволяла нам отойти друг от друга более, чем на десять или двенадцать шагов. Как только я увидел, что он остановился, я пригласил его стрелять первым. Он несколько секунд целился, но не считая себя обязанным ждать пока он прицелится, я выстрелил на всякий случай одновременно с ним. Браницкий покачнулся, потом упал; я бросился к нему. Но каково было мое удивление, когда я увидел, что его люди с саблями в руках бросились на меня! К счастью, граф воскликнул: «Назад, не смейте коснуться господина Казанова». При этих словах все отступили, и я мог приподнять моего противника правой рукой; в левую руку я и сам был ранен, его понесли на постоянный двор, находившийся в ста шагах от парка. Он не отрывал глаз от меня и, казалось, не понимал, откуда появляется кровь, марававшая мои белые панталоны. На постоялом дворе его положили на матрац и осмотрели рану, которая ему самому показалась смертельной. Пуля вошла с правой стороны возле седьмого ребра и вышла слева, так, что он был прострелен насквозь. Все это было далеко не успокоительно; можно было думать, что пуля тронула

брюшину. Браницкий сказал мне:

— Вы убили меня; поэтому спасайтесь. Вы — в старостве, а я — главный сановник короля. Вот мой знак Белого Орла в виде охраны и кошельек, если у вас нет денег.

Я горячо поблагодарил Браницкого, вернул ему его кошельек и уверил его, что если я заслужил смерть, то приму ее; я не скрыл от него все огорчение, которое причинил мне конец нашей дуэли. Потом, поцеловав его, я быстро вышел с постоялого двора, где никого не было. Все разъехались за докторами, священником, родственниками и друзьями. Я был один, раненный, без оружия, на дороге, покрытой снегом и совершенно мне неизвестной. Я имел счастье встретить крестьянина, ехавшего в тележке. Я ему закричал: «Варшава!», показав дука́т. Он понял, посадил меня на тележку, и мы помчались. Спустя несколько минут я встретил мчавшегося интимного друга умирающего, Бининского, с саблей в руках. Он ехал по направлению к постоялому двору, если бы он меня заметил, то несомненно убил бы меня, как читатель сейчас увидит; к счастью, он не обратил внимания на тележку. Приехав в Варшаву, я бросился к князю Адаму, но никого не застал; тогда я направился в францисканский монастырь. Брат-привратник, ужаснувшись видом крови на моем платье и, вероятно, приняв меня за преступника, желавшего скрыться, хотел захлопнуть дверь, но я его ударил, он упал, и я вошел. На его крик прибежали другие братья; я потребовал, чтобы они приняли меня, угрожая, в противном случае, убить их. К счастью, настоятель заступился за меня и отвел в келью, имевшую вид тюрьмы; все дело заключалось в том, чтобы я на первых порах был в безопасности. Я сейчас же послал за Кампиони, доктором и моими слугами. Еще до их прибытия в мою келью ввели воеводу Подляхии, странного господина, который, услышав о моей дуэли, явился рассказать мне подобное же дело, которое случилось с ним в его молодости. Затем явились воевода калишский и виленский; они упрекали монахов в том, что те приняли меня за преступника. Монахи, желая оправдаться, ссылались на то, как я поступил с их привратником; это рассмешило воеводу. Я не был расположен разделять их веселость, тем более, что рана начала сильно давать себя чувствовать. Одним словом, меня перенесли в комнатку, хорошо меблированную. Рана была серьезна; пуля, раздробив мне указательный палец, вошла в руку, где и застряла. Прежде всего нужно было вынуть пулю, причинявшую мне невыносимую боль. Жендрон, плохой хирург, вынул пулю, сделав отверстие с противоположной стороны, так что моя рука оказалась пораненной насквозь. Но таково человеческое тщеславие: я упорно скрывал свои страдания; я спокойно рассказывал присутствовавшим подробности дела, но как далеко было мое сердце от того покоя, которое виднелось на моем лице!

О Бининском первый дал мне сведения князь Любомирский. Узнав о исходе дуэли, Бининский поскакал точно бешеный, клянясь убить меня везде, где бы ни встретил меня. Сначала он отправился к Томатису, где были князь Любомирский и Мочинский. Томатис не мог ему сказать, где я нахожусь, и этот бешеный выстрелил в него из пистолета; Мочинский бросился на него, но Бининский схватил саблю и поранил ему подбородок.

— А с вами ничего не случилось? — спросил я князя.

— Нет, — отвечал Любомирский, — он схватил меня за платье и, приставив пистолет к груди, заставил сопровождать его до его лошади, потому что он, не без основания, боялся, что люди Томатиса убьют его. О вашей дуэли ходит множество слухов; говорят, между прочим, что уланы решили отомстить вам за своего начальника. Хорошо еще, что вы здесь; великий маршал приказал окружить монастырь драгунами под предлогом схватить вас, но эта мера имеет лишь целью спасти вас от улан, которые намерены атаковать монастырь.

— А как здоровье Браницкого?

— Он погиб, если пуля коснулась брюшины; доктора именно этого и боятся. Он находится у канцлера; король у него. Свидетели уверяют, что ваша угроза пустить ему пулю в лоб стоила ему жизни и спасла вашу. Эта угроза заставила его занять невыгодное положение и стараться прикрыть свой череп, без чего его пуля попала бы вам в сердце, потому что он прекрасно стреляет.

— Существует и другое обстоятельство, не менее благоприятное для меня, это именно

то, что я повстречался на дороге с этим бешеным Бининским; а также и то, что я не на месте уложил графа, потому что, в противном случае, его люди убили бы меня. Я очень огорчен всем, что случилось, но если Томатис не получил раны, то значит пистолет этого бешеного был заряжен только порохом.

В эту минуту явился офицер, принесший мне записку, написанную королем к воеводе русскому.

«Дорогой дядя, Браницкий умирает; однако я не забыл и Казанову: сообщите ему, что он во всяком случае помилован».

Я облил слезами это драгоценное письмо и попросил оставить меня одного, так как нуждался в покое. Через час Кампиони возвратил мне пакет, доверенный ему; он мне повторил рассказ Любомирского.

На другой день мне было сделано множество визитов и предложений услуг со стороны врагов Браницкого. Всякий открывал мне свой кошелек, но я не хотел ничего принять. Это обнаружило во всяком случае большую твердость характера, потому что пять или шесть тысяч дукатов — не безделица. Кампиони находил мое бескорыстие смешным; впоследствии я пришел к убеждению, что он был прав; дело в том, что я раскаялся в этой роли спартанца. Единственная вещь, которую я принял, был сервиз на четыре персоны, присланной мне князем Чарторыжским на все время моей болезни. Дело заключалось в том, чтобы иметь возможность угощать кое-каких друзей, потому что сам я ни до чего не дотрагивался. К тому же и доктор мой настаивал на диете. Он повторял: *Vulnerati fame cruciuntur*, но в моем положении раненого не голод распиная меня. В первый же день моя рука опухла, рана почернела; мой хирург, полагая, что это — признак антонова огня, решил отрезать мне руку; об этом я узнал из дворцовой газеты, которой корректуры просматривались самим королем. Множество лиц приехали ко мне выразить свое сожаление по этому поводу, думая, что операция уже совершилась; в ответ я им показал, смеясь, мою руку. При этом появились мои три хирурга.

— Зачем вас трое, господа?

— Нам нужно составить консилиум. Вы позволите?

— С удовольствием.

— Вы позволите рассмотреть вашу рану?

Мой постоянный хирург тотчас же открыл рану, осмотрел ее и начал по-польски беседовать с своими коллегами. Результатом беседы было то, что мне необходимо отрезать руку, эти господа сообщили мне это на латинском языке — на той латыни, на которой говорят доктора в пьесах Мольера «Мещанин во дворянстве» и «Лекарь поневоле». С целью ободрить меня, эти эскулапы принялись объяснять мне все детали ампутации с развязностью поистине удивительной. Они были веселы и клялись, что после ампутации выздоровление немедленно начнется. Я им отвечал, что так как моя рука принадлежит мне, то я имею право отказаться от операции, которую я называл нелепой.

— Но антонов огонь уже появился в вашей руке; не пройдет и двенадцати часов, как он захватит всю руку, и тогда ее придется отрезать у самого плеча.

— Ну и отрежете у самого плеча, а пока я не желаю операции.

— Если вы знаете больше нас, то, конечно, и рассуждать нечего.

— Я вовсе не знаю больше вас и потому-то прошу оставить меня в покое.

Мой отказ возбудил негодование всех тех, кто мною интересовались. Князь Адам написал мне, что король удивляется недостатком во мне храбрости. «Невозможно предположить, — говорил мне Любомирский, — чтоб трое лучших хирургов столицы ошибались в подобном случае».

— Конечно, они не обманываются, но они хотят обмануть меня. — Зачем? Это трудно объяснить; боюсь, что вы найдете во мне человека слишком подозрительного. — Все-таки скажите. — Видите ли, по-моему, операция, на которой эти господа настаивают, не более как известное утешение, предложенное Браницкому. — Вы — странный человек. — Во всяком случае, я хочу отложить операцию; если сегодня вечером гангрена распространится, я завтра

утром велю отрезать себе руку.

К вечеру приехали еще четыре хирурга. Новый консилиум и новая перевязка. Рука моя была опухшая и посинела. Они уехали, уверив меня, что операцию нельзя откладывать ни на минуту.

Я им отвечал: «Приезжайте с вашими инструментами завтра утром». Как только они уехали, я приказал никого не пускать ко мне завтра. Этим способом я сохранил руку.

В первый раз я вышел в первый день Пасхи. Рука была на повязке. Что же касается до полного выздоровления, то оно наступило только через восемнадцать месяцев. Все те, что порицали меня, теперь восхваляли мою твердость. Во время моего выздоровления мне был сделан визит, очень меня позабавивший. Это был визит одного иезуита, присланного ко мне краковским епископом.

— Я получил приказание епископа, — сказал он, — отпустить вам ваш грех...

— О каком грехе изволите вы говорить?..

— Разве вы не дрались на дуэли?

— И вы полагаете, что за это я нуждаюсь в отпущении? На меня напали, я защищался; во всем этом я не вижу греха. Тем не менее, отпустите мне грех, если монсеньер желает этого; но я никогда не соглашусь, что я согрешил.

— Итак, вы отказываетесь от исповеди?

— Если бы я и хотел исповедаться, то не мог бы.

— Позвольте предложить вам вопрос.

— Предлагайте.

— Я говорю предположительно: вы дрались на дуэли и предположительно: вы желаете получить отпущение.

— Прекрасно; это значит, что я получаю отпущение, если это была дуэль; если нет, так нет.

— Вы меня поняли.

Он пробормотал какую-то молитву и благословил меня.

Спустя несколько дней после моего первого выхода из дому король послал за мною. Как только он заметил меня, он дал мне поцеловать свою руку, что я сделал, преклонив одно колено; Его Величество обратился ко мне с следующим вопросом (сцена, задуманная вперед):

— Почему ваша рука в повязке?

— Ваше Величество, у меня ревматизм.

— Советую вам, милостивый государь, на будущее время избегать таких случайностей.

После аудиенции я отправился к Браницкому. Он очень интересовался моей раной; ежедневно он посылал узнать о моем здоровьи. Одним словом, я считал своею обязанностью сделать ему визит, тем более что король назначил его оберегермейстером — титул, обязывавший людей, придерживающихся светских обычаев, поздравить его. Эта должность была не так почетна, как должность камергера, но зато гораздо доходнее. Говорят, что король назначил его на эту должность только тогда, когда убедился, что он хороший стрелок. В его прихожей меня встретили восклицания негодования. Офицеры и лакеи разинули рты при виде меня. Я просил адъютанта доложить обо мне, что он сделал весьма неохотно. Браницкий сидел в своей постели, бледный, как полотно. Он приветствовал меня рукой.

Я ему сказал: «Граф, я пришел просить у вас прощения в том, что не сумел стать выше пустяка, на который не следовало обращать внимания. Потому я прошу вас защищать меня перед вашими друзьями, которые, не зная благородства вашего характера, могут подумать, что вы — мой враг».

— Господин Казанова, объявляю вам, что я буду врагом всякого, кто не сумеет оценить вас. Бининский в изгнании; король лишил его дворянства; я жалею его, но должен признать справедливость наказания. Вы не нуждаетесь в моем покровительстве, у вас есть покровительство Его Величества. Сядьте и будем друзьями, — прибавил он, взяв меня за руку. — Вы поправились, не правда ли? Вы не дались в руки хирургов и прекрасно сделали.

Вы им сказали, что они надеются понравиться мне, лишая вас руки; эти господа судят о сердце других по их собственному сердцу. Но скажите, пожалуйста, каким образом моя пуля могла ранить вашу руку, попав в живот?

— Вы легко поймете, если позволите воспроизвести положение, которое я тогда занимал.

— Мне кажется, — ответил он после моего объяснения, — что вы должны были держать вашу руку не впереди себя, а позади.

— Последствия доказали, что я был прав.

— Но, милостивый государь, — воскликнула красивая дама, сидевшая рядом с ним, — вы хотели убить моего брата; вы целились в голову.

— Убить? Нет, сударыня: мне, напротив, нужна была жизнь графа, чтобы он защитил меня от его людей, которые без этого убили бы меня на месте.

— Однако вы ему сказали: я испробую этот пистолет на вашем черепе.

— Это говорится, но никогда не делается.

— Вы мне дали хороший урок, — сказал Браницкий, смеясь, — видно, что вы много упражнялись в стрельбе.

— Почти никогда; это мой первый несчастный выстрел Могу, однако, сказать, что рука у меня твердая и глаз верны! Но как состояние вашей раны, граф?

— Я поправляюсь, но на это потребуется немало времен! Мне говорили, что в день дуэли вы хорошо пообедали?

— Я полагал, что это мой последний обед.

— Ну, а если б я пообедал, то наверное лежал бы теперь могиле, потому что пуля коснулась бы брюшины.

Впоследствии я узнал, что в день дуэли у Браницкого служили молебен и он причастился. От него я отправился к великому маршалу графу Риклонскому, королевскому судье: он защитил меня от улан. Он принял меня довольно строго, спрашивая меня, что мне угодно.

— Я желал поблагодарить вас за ваше вмешательство, а также обещать вам быть благодарнее в будущем.

— Очень рад. Что же касается вашего помилования, то этим вы обязаны не мне, а королю. Если бы не Его Величество, я бы нисколько не затруднился казнить вас...

— Неужели вы бы забыли многие обстоятельства, извинявшие меня?

— Какие? Разве вы не дрались на дуэли?

— Дрался.

— Этого довольно; закон ясен.

— Да, относительно дуэли предложенной и принятой в тех условиях, о которых говорит закон, но я дрался для собственной защиты. Поэтому, я думаю, что узнав дело, вы бы не казнили меня.

— Право, я уже и не знаю, что сделал бы. Но зачем об этом говорить? Все кончено. Если Его Величество помиловал вас, значит вы заслужили это. Сделайте мне честь отобедать у меня сегодня. Я бы желал доказать вам, что уважаю вас.

Устроив дело таким образом у судьи, я отправился к воеводе русскому. Он принял меня с распростертыми объятиями.

— Я приказал приготовить вам помещение у себя, — сказал он, — моя жена очень любит ваше общество; к несчастью, помещение будет готово только через шесть недель.

— Этим временем я воспользуюсь, чтобы проехаться до Киева, к воеводе. Его зять, староста, граф Брюль очень рекомендовал мне это маленькое путешествие.

— Поезжайте, вы недурно сделаете. Ваше отсутствие успокоит многих врагов, возникших вследствие вашей дуэли. Да сохранит вас Бог на будущее время от подобного дела здесь. Так легко не отделаетесь. А пока, будьте осторожны и не выходите пешком ночью.

Таким образом, среди обедов и ужинов прошла неделя. Меня заставляли повторять

малейшие подробности дуэли, даже в присутствии короля, который делал вид, что ничего не слышит. Однажды, когда я, может быть, в десятый раз повторял свой рассказ, Его Величество вдруг прервал меня.

— Господин Казанова, вы — дворянин? — Нет, Ваше Величество, я не имею этой чести. — Ну, а если бы венецианский дворянин оскорбил вас, потребовали ли бы вы от него удовлетворения? — Нет, потому что он бы не принял вызова. Мне бы пришлось ждать случая. — Какого? — Случая встретить моего врага за границей; там я бы велел избить его до смерти.

Читатель, может быть, захочет знать, увиделся ли я с Бинетти. Я ее увидел один лишь раз у г-на Мочинского, но она исчезла, как только меня увидела. Я сказал Мочинскому: «Вот странное поведение; за что сердита на меня эта дама?»

— За что? Разве вы не знаете, что ваша дуэль, которую она устроила, была причиной ее ссоры с Браницким? С тех пор Браницкий ни разу не был у нее.

— Можно только похвалить поведение графа. Эта дама, может быть, воображала себе, что граф Браницкий поступит со мною так, как он поступил с этим бедным Томатисом.

Я предпринял мое маленькое путешествие в сопровождении Кампиони. У меня было двести дукатов: половина этой суммы была подарок воеводы русского; другие сто я выиграл. — Не буду говорить об этом путешествии и перейду прямо к причинам, заставившим меня выехать из Варшавы навсегда. При моем возвращении в Варшаву была г-жа Жофрен, прежняя любовь короля; ее везде принимали самым роскошным образом. Не претендуя на прием, подобный приему г-жи Жофрен, я был очень удивлен холодным приемом, встреченным мною в Варшаве. Точно все сговорились, чтобы встречать меня одной и той же фразой: «Мы думали, что не увидим вас больше; зачем вы возвратились?»

— Чтобы уплатить долги, — отвечал я им и уходил. Самая бесцеремонная холодность заступила место самой изысканной любезности, которую мне расточали прежде. Правда, я еще получал приглашения, но уже никто не говорил со мной за столом. Я встретил воеводу русского: он почти не удостоил меня поклоном; увидел я также короля, но Его Величество даже не посмотрел на меня. Спросив князя Сулковского о причине такой перемены, я получил следующий ответ: «Это следствие национального характера; мы — очень непостоянны; вы знаете поговорку: „Sarmatorum virtus veluti extra ipsos“ (У сарматов нет добродетелей; они только их показывают). Вы бы могли устроить себе здесь отличное положение, если бы воспользовались случаем, но теперь слишком поздно; вам остается только одно...»

— Уехать, — прервал я, — постараюсь сделать это скорее.

Придя в себя, я получил анонимное письмо от лица благопритествовавшего мне, которое сообщило мне, что сказал король на мой счет. Его Величество узнал, говорилось в письме, что мое изображение было повешено в Париже за то будто бы, что я украл значительную сумму из кассы лотереи; кроме того, меня обвиняли в различных мошенничествах в Англии и в Италии; наконец, я принадлежал в труппе странствующих комедиантов. Таковы были обвинения, возводимые на меня. Что мог я отвечать? Все это клевета, которую легче выдумать, чем опровергнуть, конечно, я желал уехать из Варшавы немедленно, но у меня не было необходимых денег. Я поэтому написал в Венецию, чтобы мне прислали. Но случилось обстоятельство, ускорившее мой отъезд.

Однажды утром ко мне явился тот самый генерал, который был секундантом Браницкого во время нашей дуэли. Этот генерал явился от имени короля с повелением мне выехать из Варшавы в течение недели. Возмущенный этим приказом, я поручил отвечать королю, что не имею возможности выполнить повеление, а если меня вышлют силой, то я буду протестовать против такого произвола перед целым светом.

Он спокойно отвечал мне: «Милостивый государь, я имею повеление не передать ваш ответ, а лишь только заявить вам распоряжение короля. Действуйте, как вам угодно».

Я немедленно написал большое письмо королю; я ему объяснял, что честь не позволяет мне покинуть Варшаву, так как я имел несчастье наделать долгов. Я просил графа

Мочинского передать это письмо королю. На другой день граф привез мне тысячу дукатов от имени Его Величества, извинявшегося в том, что он дал это повеление, не зная, что у меня не было денег. Граф прибавил: если Его Величество настаивает на вашем отъезде, то только в ваших интересах; он желает видеть вас как можно скорее за границей, так как ему известно, что вы ежедневно получаете вызовы, на которые вы имеете благоразумие не отвечать; тем не менее верно, что лица, делающие эти вызовы, решили отомстить вам за то, что они называют вашим пренебрежением к ним, и король желает быть спокоен за вас.

Я проникся самой горячей благодарностью к королю; я просил графа поблагодарить Его Величество и сказал ему, что его приказы будут немедленно исполнены. Граф предложил мне свою карету, которую я принял, и просил меня писать ему.

На другой день я уплатил мои долги и выехал в Бреславль.

В Испании.

Для Шарлотты я бросил все старые парижские знакомства, которые теперь нелегко было найти. Город, как и все мои знакомые, сильно изменился: везде новые постройки; во многих кварталах улицы и дома как-то помолодели и украсились. В отношении моих старых знакомых было как раз наоборот: «Этот мир, — говорит Монтень, — есть вечное движение». Я нашел богатыми тех, которых прежде видел бедными, и наоборот.

Я посетил последовательно г-жу Рюмен и моего брата и, конечно, принят был отлично. Я имел честь быть представленным княжне Любомирской, и так как я намеревался отправиться в Испанию, прежде чем побывать в Португалии, то с благодарностью принял ее предложение снабдить меня рекомендательным письмом к графу Аранда, тогда всемогущему министру. Карачиоли, которого я встретил в Париже, дал мне несколько писем к различным придворным лицам в Лиссабоне.

Не знаю, какой рок меня преследовал в европейских столицах, но судьбой было решено, что из Парижа я выеду подобно тому, как я принужден был выехать из Вены и из Варшавы. Тогда в Париже давались концерты в так называемой оранжерее Тюильри. Я одиноко прохаживался по зале, когда услышал мое имя, произнесенное молодым человеком. Я имел глупое любопытство послушать, что обо мне говорят, и услышал, как этот молодой человек выражался самым оскорбительным для меня образом. Он позволил себе сказать, что я стоил ему миллион франков, украденных мною у г-жи Д'Юрфэ. Я немедленно подошел к клеветнику и сказал ему:

— Вы мальчишка, которому я бы отвечал пинком, если бы мы были в другом месте.

Молодой человек встал, бледный от бешенства; он бы бросился на меня, если б дамы, окружавшие его, не удержали его. Я немедленно вышел и, судя о его храбрости по его вспыльчивости, прождал его четверть часа у дверей, но не дождавшись, отправился домой. На другое утро мой лакей сказал мне, что некий кавалер Сен-Луи явился вручить мне повеление короля. Мне повелевалось покинуть Париж в двадцать четыре часа. Его Величество, вместо всяких резонов, удостаивал прибавить, что ему так угодно; приказ заканчивался следующими словами, которые я бы нашел нелепыми при всяких других обстоятельствах: «*Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde*» (В остальном я прошу Бога не оставлять вас).

— Я уеду, — отвечал я спокойно Бюго (кавалером Сен-Луи оказался Бюго), — и поспешу доставить Его Величеству это удовлетворение. Если, однако, случай захочет, что я буду не в состоянии выехать в двадцать четыре часа, то Его Величество сделает со мною, что ему угодно.

— Эти двадцать четыре часа — не более как формальность; подпишите этот приказ, и вы уедете, когда найдете нужным. Однако дайте честное слово, что не будете показываться ни в спектакле, ни в общественных местах.

— Обещаю вам это, чтобы доставить удовольствие королю. Подписав приказание, я отправился с Бюго к моему брату, которого он хорошо знал, и рассказал ему, что со мной

случилось.

— Зачем этот приказ? Ведь ты и без того едешь дня через два? Но вследствие чего все это случилось?

— Говорят, — отвечал Бюго, — об угрозах побить одного молодого человека, который хотя и молод, но не привык получать побои.

Добрая г-жа Рюмен собиралась отправиться в Версаль и просить об отмене повеления; но все это совершенно излишне, так как я и без того решил уехать. Однако я оставил Париж только 20 ноября, а повеление получил 6-го. По крайней мере со мной поступили вежливо: французская полиция благовоспитана. Я уезжал из Парижа без всякого сожаления; я чувствовал себя в отличном здоровье и в кармане моем был перевод на Бордо в восемь тысяч ливров. Приехав в этот последний город, я переменял мой перевод на другой в Мадрид на ту же сумму. В Сен-Жане я продал свою карету и взял погонщика мулов как проводника до Пампелуны. В Пампелуне другой погонщик взялся проводить меня до Мадрида. Эта манера путешествовать, напоминающая странствование рогатого скота, была не особенно удобна. Первую ночь я принужден был провести на скверном постоялом дворе, хозяин которого, показывая мне нечто вроде хлева, сказал:

— Вы можете спать здесь, если найдете сено вместо матраца; вам здесь будет тепло, если найдут дрова, чтобы затопить печку.

— И, вероятно, — прибавил я, — могу сварить что-нибудь, если найду какую-нибудь пищу.

Истина заключается в том, что несмотря на деньги, я ничего не мог достать. Целую ночь я провел на ногах, сражаясь с москитами. На другой день я дал моему хозяину один мараведи. Само собой разумеется, что эти печальные постоялые дворы запирались только на задвижку. Я заявил моему проводнику, что на будущее время не желаю ночевать на этих постоялых дворах, открытых для всякого прохожего, где невозможно защититься от ночного нападения.

— Во всех постоялых дворах в Испании вы не найдете ни одного замка, отвечал он.

— Уж не таково ли желание короля?

— Королю нет дела до всего этого, но святая инквизиция имеет право входить в комнаты путешественников во всякое время дня и ночи.

— Да чего ищет ваша проклятая инквизиция?

— Всего.

— Это слишком много; скажите пример.

— Вот вам целых два. Она в особенности желает знать: едят ли скромное в постные дни, а также не спят ли мужчины и женщины в одной комнате; она оберегает спасение наших душ...

— И для этого не приказывает запирать дверей? — прибавил я.

Днем я встречал другие неудобства. Если священник, несший святыне дары умирающему, встречался нам, я принужден был вставать на колени, иногда прямо в грязь. Великий вопрос занимал тогда всех правоверных обеих Кастилии: можно или нельзя носить штаны с гульфиками. Отрицательный ответ восторжествовал, тюрьмы были переполнены несчастными, которые осмелились носить это платье, ибо эдикт, запрещавший их, имел и обратное действие. Дошло до того, что наказывали даже портных, делавших эти платья. Тем не менее народ, несмотря на монахов, продолжал носить штаны, провозглашенные безнравственными святой инквизицией. Чуть было не вспыхнула революция по поводу гульфиков; это была бы очень счастливая революция в Испании, потому что за нею, может быть, последовали бы другие революции; к тому же позабавило бы Испанию в течение целых десяти лет. Инквизиция, желая избежать революции, публиковала эдикт, который приклеивали на стенах церквей, эдикт, запрещавший носить штаны всем, за исключением одних лишь палачей. По моем прибытии в Мадрид меня обыскали самым тщательным образом. Сперва уверились, что у меня нет запрещенных штанов; перетряхивали мое белье; перерывали все мои вещи; перелистали мои книги, или, вернее, мою книгу, потому что в

Испанию я привез только «Илиаду» по-гречески. Этот язык со своими дьявольскими буквами показался подозрительным таможенным чиновникам. Они набожно перекрестились, увидя эту книгу, понюхали ее, пробовали на вкус и в конце концов конфисковали. Однако «Илиада» была мне возвращена через три дня в кофейне улицы Круц, где я поселился. Другая церемония, точно так же весьма мне не понравившаяся, случилась по поводу моего табака. Чиновник, не нашедший, за исключением «Илиады», ничего подозрительного у меня, вздумал попросить меня понюхать табаку (в моей табакерке был парижский табак).

— Милостивый государь, этот табак запрещен у нас. И чиновник схватил табакерку, выбросил табак и отдал мне ее пустую.

Я был доволен моим помещением в улице Круц; к сожалению, не было камина. Холод сильнее чувствуется в Мадриде нежели в Париже, несмотря на разницу в широте; Мадрид — столица самая высокая в Европе. Испанцы до такой степени зябки, что при малейшем северном ветре не выходят иначе, как в плащах. Я не знаю народа более суеверного. Испанец, та! же как и англичанин, — враг иностранцев, и по тем же причинам- вследствие чрезвычайного, исключительного тщеславия. Женщины, менее исключительные и к тому же, чувствую всю несправедливость этой ненависти, мстят за иностранцев любя их. Их увлечения ими — слишком известны, но действуют они осторожно, потому что испанец ревнив не только по темпераменту, но и по расчету, по гордости.

Я сказал, что в моей комнате не было камина. Не будучи в состоянии выносить ужасный жар *brasero*, я хотел завести у себя печку. После долгих поисков я нашел работника, который взялся изготовить мне железную печку. Если теперь в Мадриде есть печки, то этим он обязан мне, потому что я принужден был научить этому рабочего. Мне указали на *Puerto del sol* как на место, где можно погреться; туда направляются жители, завернутые в свои плащи, и греются на солнце; но я хотел греться, а не жариться.

Мне нужен был также слуга, который бы умел говорить по-французски. Я нашел одного из тех оборванцев, которых здесь называют пажам; за каждой порядочной женщиной шествует такой паж, когда она выходит. Это был мужчина лет тридцати, хорошо сложенный, гордый, как и все испанцы; он бы ни за что не унизился до того, чтобы сидеть позади моей кареты или нести сверток по улице.

Затем я подумал о письме, данном мне княгиней Любо-мирской к графу Аранда, бывшему тогда президентом Кастильского совета и тогда всемогущему. И действительно, не кто иной, а он изгнал иезуитов из Испании. Он наводил ужас на весь народ и поэтому его ненавидели, но его это не беспокоило. Это был государственный человек больших способностей, очень предприимчивый, деятельный и, кроме того, любивший развлечения. Что же касается его внешности, то я никогда еще не встречал более ужасного, отвратительного безобразия.

— Зачем приехали вы в Испанию? — спросил он меня холодно, осматривая меня с ног до головы.

— С целью изучения, монсеньер.

— У вас нет другой цели?

— Никакой другой цели, кроме цели предложить мои слабые способности к услугам Вашего Сиятельства.

— Вы и без меня проживете. Если вы будете строго исполнять предписания полиции, вас никто не тронет. Что же касается до употребления ваших способностей, то адресуйтесь за этим к посланнику вашего правительства, г-ну Мочениго, он должен рекомендовать вас, потому что мы вас не знаем.

— Надеюсь, что ответ венецианского посланника будет для меня благоприятен; однако я не могу скрыть от вас, что я в немилости у инквизиторов моей родины.

— В таком случае, вам нечего ожидать, потому что вы можете быть представлены королю только вашим посланником. Изучайте сколько угодно и будьте тише воды, ниже травы — вот вам мой совет.

Неаполитанский посланник, к которому я затем поехал, сказал мне то же самое. Маркиз

Морас, к которому адресовал меня Карачиоли, дал мне тот же совет, а герцог Лассада наговорил мне еще больше ужасов и прибавил, что несмотря на все свое желание, ничем не может мне быть полезен. Он советовал мне поехать к венецианскому посланнику и приобрести его покровительство.

— Не может ли он, — прибавил герцог, — скрыть то, что он знает на ваш счет?

С этой целью я написал в Венецию, к Дандоло, письмо, прося его рекомендации к посланнику. После этого я отправился к Мочениго. Я был принят его секретарем Сондерини, умным и талантливым человеком, который, однако, не мог скрыть своего удивления, видя мою смелость.

— Разве вы не знаете, господин Казанова, что венецианская территория вам воспрещена? А дом посланника ведь венецианская территория.

— Я знаю, но соблаговолите рассматривать мой приезд как знак уважения господину посланнику и как акт благоразумия. Согласитесь, что ведь мне небезопасно оставаться в Мадриде, не будучи представленным ему. Если, однако, посланник не находит возможным принять меня, потому лишь что я в ссоре с инквизицией по причинам, неизвестным ему, то я буду вправе удивляться этому, ибо господин Мочениго — представитель Республики, а не инквизитор. К тому же, так как я не совершил никакого преступления, которое бы сделало меня недостойным покровительства Республики, то думаю, что обк занностью ее представителя предложить мне покровительство, если я его требую.

— Отчего вы всего этого не напишете посланнику?

— Прежде я хотел знать, примет ли он меня; если он отказывается принять меня, то я напишу ему.

— Мне кажется, что вы правы; но будет ли так же думать посланник? Этого я не знаю. Во всяком случае, напишите ему. Я тут же письменно изложил все то, что сказал секретарю. На другой день ко мне приехал граф Мануччи, очень красивый молодой человек. Он был прислан посланником сказать мне, что политические причины не позволяют ему принять меня публично, но ему будет очень приятно побеседовать со мной частным образом.

Это имя — Мануччи — было мне небезызвестно; когда я заметил это графу, он ответил мне, что очень хорошо помнит меня по рассказам своего отца, который, как он говорил, весьма меня уважает. Это навело меня на путь: этот Мануччи был сыном Жана-Батиста Мануччи, который главным образом и был причиной моего заключения под Пломбами. Эти воспоминания я сохранил про себя: они не могли быть приятны ни мне, ни молодому графу. Я знал, что его мать была служанкой, а отец, прежде чем попасть в шпионы, был простым работником. Я спросил Мануччи, носит ли он титул графа в присутствии посланника.

— Конечно, — отвечал он, — у меня есть патент на этот титул.

Он вышел, уверив меня, что сделает все, что от него зависит. Это было много, так как он находился в самых интимных отношениях с Мочениго. Он возвратился сказать мне:

— Не забудьте, что завтра в полдень вы у меня пьете кофе; у меня будет господин Мочениго.

Посланник принял меня очень любезно. Он высказал свое сожаление по поводу того, что не может быть открыто моим покровителем, признавая, что мог не знать или не знал, в чем я провинился у инквизиторов... Это было все равно как если бы он сказал: я боюсь наделать себе врагов, показываясь рядом с вами. Я ему ответил:

— Я надеюсь вскоре представить вам письмо, которое от лица самих инквизиторов уполномочит вас принять меня.

— Прекрасно; как только вы мне доставите это письмо, я представлю вас всем министрам.

Когда я отправился в театр первый раз, я увидел против сцены большую ложу с решеткой, занятую отцами инквизиторами, которые цензуруют театральные пьесы и наблюдают не только за актерами, но и за зрителями. Вдруг я услышал привратника у дверей партера, воскликнувшего: Dios! (Господь!), и в ту же минуту все, не различая пола и возраста, пали ниц и находились в таком положении, пока не утих звон колокола,

раздававшийся на улице. Этот колокол извещал, что около дверей театра проходит священник со святыми дарами для умирающего. Впоследствии я расскажу еще более странные факты.

После спектакля, надев домино, я отправился в маскарад. Я хотел все видеть и все знать, и мое любопытство стоило мне дорого. Нужно, однако, сознаться, что этот первый вечер, проведенный мною в маскараде, стоил мне гораздо меньше, чем последующие вечера, проведенные там, и этим я обязан разговору, который я имел с одним стариком, встреченным мною в буфете. Видя меня одного, вдали от толпы, он сказал мне:

— Разве вы потеряли вашу даму? — У меня нет дамы. — Однако, мне кажется, что вы непочть потанцевать. — Действительно, я люблю танцевать.

— Но если вы сюда являетесь один, то никогда не будете танцевать; все дамы, которых вы здесь видите, имеют своего танцора (*parejo*), который им не позволяет принимать предложений другого.

— В таком случае, я должен отказаться от этого удовольствия: в Мадриде я не знаю ни одной дамы порядочного общества, которая бы захотела сопровождать меня в маскарад.

— Вы ошибаетесь, вы здесь найдете очень хорошеньких дам, и даже легче, чем это может сделать житель Мадрида, потому что вы — иностранец. С тех пор как наш министр, граф Аранда, разрешил эти веселые собрания, они сделались страстью всех женщин и девиц города. Кроме зрительниц, находящихся в ложах, здесь не менее трехсот танцующих дам; но вы не знаете, что не менее четырех тысяч молодых девиц грустят в настоящую минуту в своих комнатах.

— Эти дамы и девицы, я понимаю, не могут явиться сюда одни. — Полиция запрещает это. — Но разве позволительно первому встречному приглашать одну из них?

— Ни один отец, ни одна мать не откажет вам, если вы будете просить их прямо позволить их дочери сопровождать вас на бал.

— Странный обычай. — Главное заключается в том, чтоб предложить девице костюм, маску и перчатки и предоставить в ее распоряжение карету.

— Но если мне откажут? — Вы поклонитесь и станете искать в другом месте. Но будьте покойны: вам не откажут.

Заинтересованный странностью подобного обычая, я обещал воспользоваться советом этого старика и просил его адрес, чтобы известить его о результате моих поисков. Он мне ответил:

— Вы меня найдете всякий вечер в этой ложе, в первом ярусе; впрочем, если позволите, я вас сейчас же представлю даме, которая ее занимает.

Я назвал себя и последовал за ним.

В ложе я был встречен-очень любезно; в ней сидели две дамы и один старик. Одна из них, сохранившая еще следы большой красоты, спросила меня, в каких обществах (*tertullias*) я бываю. Я отвечал, что будучи иностранцем, я нигде не бываю.

— Приходите ко мне, — отвечала она мне по-французски, — я — сеньора Пичона.

У этой дамы, должно быть, был большой круг знакомства, потому что она прибавила:

— Меня все знают.

К концу маскарада танцевали фанданго, танец, о котором я, казалось, имел понятие, потому что видел его в Италии и во Франции, но все это было одна лишь бледная копия, которой оригинал может быть виден только в Испании. Там все позы, движения, жесты были холодны, здесь же все дрожало, все говорило сердцу. Это зрелище произвело на меня чрезвычайное впечатление. Каждый кавалер танцует против своей дамы, сопровождая движения звуком кастаньет; жесты кавалера указывают сначала на желание; жесты дамы выражают согласие; потом кавалер оживляется и становится сладострастным, дама впадает в сладострастную негу, потом в восторженное состояние... Понятно, что зрители и зрительницы всегда весьма заинтересованы этим танцем. Мой восторг был замечен сеньорой Пичона.

— Вот вы и заинтересованы, — сказала она, — но что было бы, если бы вы увидели

фанданго в исполнении цыган.

Я выразил свое удивление тому, что инквизиция позволяет этот танец.

Она ответила:

— Черные отцы запретили фанданго, но граф Аранда разрешил. Он боялся восстания.

Это напомнило мне слова Монтескье, столь справедливые: «Вы можете изменить законы народа, ограничить его свободу, но бойтесь касаться его удовольствий».

На другой же день я стал искать учителя фанданго и нашел его в лице актера, который в то же время дал мне несколько уроков испанского языка. Дня через три я в совершенстве танцевал фанданго и думал, как бы отыскать себе даму. Я не мог обратиться к девице высшего общества, потому что мне бы отказали. С другой стороны, я вовсе не интересовался ни замужней женщиной, ни женщиной легкого поведения. Был день Св. Антония. Я вошел в церковь, желая посмотреть на богослужение и по-прежнему думая о «рагеја» на завтра. И вдруг я заметил молодую девушку с опущенными глазами, выходящую из исповедальни. Убежденный по взгляду на ее фигуру, что она танцует фанданго как ангел или как демон, я решил завести с нею знакомство. Было видно, что она не принадлежит к богатой семье, но она была красива, грациозна и прилична. Она стала на колени после исповеди посередине церкви, потом отправилась причащаться. Мне пришлось долго ждать. Наконец, она вышла из церкви, повернула на улицу и вошла в одноэтажный дом. Я храбро подымаюсь за нею и столь же храбро стучу в дверь.

— Кто там?

— *Geute de paz* (мирный человек).

Таков обычай отвечать в Мадриде. Кредитор, являющийся к вам, полицейский, приходящий вас арестовать, всегда ответят вам: мирный человек. Дверь отворилась, и я увидел эту молодую особу с мужчиной и женщиной; это были отец и мать. Я сказал первому:

— Сеньор, я — иностранец, очень люблю балы, но у меня нет рагеја.

Отец посмотрел на жену, жена на дочь, а дочь посмотрела на меня. Я продолжал.

— Я поэтому являюсь с покорнейшей просьбой позволить мне быть кавалером вашей дочери. Я — честный человек и после бала привезу ее к вам.

— Сеньор, мы не имеем удовольствия вас знать, и мне неизвестно, захочет ли моя дочь сопровождать вас.

Девушка покраснела, как вишня, и сейчас же отвечала:

— Я буду очень рада сопровождать их на бал.

Тогда отец, которого имя было дон Диего, спросил мою фамилию и мой адрес, обещая подумать и дать мне ответ до полудня.

Через несколько часов он явился ко мне и сказал, что принимает приглашение от имени своей дочери, но с условием, что мать будет ожидать конца бала в моей карете. Беседуя с ним, я узнал, что он изготавливает обувь.

— Отлично, — сказал я, — сымите мне мерку и сделайте мне пару башмаков.

— Невозможно, сеньор, я — дворянин (*hidalgo*); я бы упал в своем собственном мнении, если бы снял мерку с вашей ноги.

— Но как же вы делаете в таком случае?

— Если бы я был башмачником, то затруднение действительно было бы; но я не башмачник.

— А кто же вы такой?

— *Zapatero de viejo* (чеботарь). Я не прикасаюсь к ногам кого бы то ни было, за исключением таких же дворян, как и я сам.

— В таком случае, гидальго, не снимайте с меня мерки, но почините мне старые башмаки. Ваша милость согласна ли на это?

— Согласен; я их так чудесно починю вам, что они покажутся вам новыми.

— Вы хороший мастер?

— Мы находимся в ремесле от отца к сыну в течение пяти поколений и работаем дешево. Починка вам обойдется в один *pezzo* диго (около одного экю в шесть французских

ливров).

После этого старик оставил меня, не захотев принять приглашение мое посидеть со мною. Почтенный чеботарь, с презрением относившийся к башмачникам, которые в свою очередь не обращали никакого внимания на его дворянство! Это напоминало мне французских лакеев, презирающих камердинеров своих господ!

На другое утро моя rareja получила от меня домино, маску и перчатки. Вечером я был у ее дверей с наемной каретой: меня ожидали с нетерпением. Мать сопровождала нас, завернувшись в широкий плащ, и почти сейчас же заснула. Когда мы с доньей Игнацией вошли в залу, кадрили уже составились. В продолжении двух часов мы не пропустили ни одного контрданса; затем я ей предложил поужинать. Все это произошло без всяких бесед. Правда и то, что я и трех фраз не знал по-испански. В одиннадцать часов барабан известил нас, что будут танцевать фанданго. Этот страстный танец, которого все фигуры как бы олицетворяют собою страсть, развязал мой язык и заставил меня сделать объяснение в любви, какого я еще никогда не делал: это была невозможная смесь французских, итальянских и испанских слов. Игнация все отлично поняла, вероятно потому, что мои глаза договаривали то, что не договаривал язык. Она дала мне понять, что прежде чем отвечать мне, она должна подумать, и что записка, зашитая под подкладку ее домино, известит меня о ее чувствах. Я должен был послать за ним на другой день утром. Подойдя к карете, мы увидели, что мать по-прежнему спала. Наше приближение разбудило ее, и она сказала нам: «Как, уже? Я не успела даже хорошенько заснуть!» Благодаря темноте кареты, я продолжал держать в руках белые ручки доньи Игнации. На некотором расстоянии от дома мать Игнации приказала кучеру остановиться и дошла с нею до дому пешком, во избежание всяких сплетен...

(Пропускаем историю любви Казаковы и доньи Игнации).

Против дома, в котором я жил, находился красивый дом, обитаемый богатым и знатным вельможей. Я не назову его — может быть, он еще жив. У одного из окон первого этажа я часто замечал белую маленькую ручку, приподымавшую занавеску. Мое воображение воспламенилось, как это всегда бывает; я вообразил себе, что ручка принадлежит одной из тех кастилианок, которые славятся своими черными глазами, белым цветом лица и тонкой талией. И действительно, я оказался прав: однажды днем занавеска была приподнята, и я заметил очень красивую, молодую женщину, бледную, с меланхолическим выражением лица. Я с восторгом смотрел на это лицо, но меня не замечали, хотя окно по-прежнему было открыто и сеньора стояла у окна. Я прижимаю мою руку к сердцу, потом подношу ее к губам и принимаю позу человека, пораженного восторгом, но на ее девственном лице не вижу ни волнения, ни симпатии. В течение целой четверти часа я проделываю все, лишь бы на меня обратили внимание; вдруг лицо незнакомки оживляется, взор сверкает, мне кажется, что она в сильном волнении, она опускает занавеску. Удивленный этим неожиданным результатом, я спрашиваю себя, не боязнь ли быть замеченной заставила ее удалиться? Но ночь наступила, ночь всегда блестящая и звездная в Испании; на улице тихо, я вижу мужчину, завернутого в серый плащ, который исчезает в маленькой калитке напротив. Эта калитка принадлежит соседнему дому: из этого можно было только заключить, что визит этот был не для моей незнакомки. И однако, как объяснить себе это внезапное исчезновение в то именно время, как господин в плаще показавшись у ее окон? — Я терялся в предположениях, когда, при крайнем моем удивлении, в конце четверти часа занавеска снова подымается и молодая сеньора, еще более бледная, чем прежде, облокотилась на баллюстраду. На этот раз она настойчиво на меня смотрит: я возобновляю свои страстные жесты, мне кажется, что вижу на ее лице легкую улыбку, наконец, я решаюсь сделать очень знаменательный жест, — мне отвечают; другой знак показывает мне молчание и тайну, затем мне показывают ключ и записку, после этого занавеска снова опускается. В мгновение ока я на улице; я становлюсь под самым окном незнакомки, ключ и билет падают мне в шляпу. Войдя к себе, я читаю следующие строки, написанные по-французски:

«Дворянин ли вы? Храбры ли вы и можно ли вам довериться? Хочу этому верить. Итак, приходите в полночь; посредством этого ключа вы отворите маленькую резную дверь соседнего дома; я там буду. Глубокая тайна, и не приходите раньше полночи».

Записку я покрыл поцелуями, поднеся ее к сердцу; хотя занавеска была спущена, я подозревал, что за мной наблюдают: новый знак, посланный мне рукой сеньоры, дал мне понять, что рассчитывают на мой приход. Я был в восторге и совершенно забыл о донье Игнации. У меня оставалось два часа на туалет; я с особенным вниманием занялся им. Тем не менее, несмотря на мое упоение, кое-что меня беспокоило. Поведение молодой особы несколько не казалось мне подозрительным, к тому же оно слишком льстило моему самолюбию, но я с ужасом спрашивал себя: если отец или какой-либо родственник поймает меня в этом доме, — то я буду убит. Над этим надо подумать. Мысль об опасности одну минуту была так сильна, что я бы с удовольствием отказался от предстоящего свидания, если бы честь моя не была задета. Правда, я дал слово и его приняли; отступать было невозможно. Я положил в карман мой пистолет, вооружился моим венецианским кинжалом, трехгранное лезвие которого имело около шести дюймов длины, и, в тот момент как пробило полночь, я отворил маленькую дверцу. В полной тьме я ожидал появления сеньоры, — вскоре легкий голос сказал тихо:

— Вы здесь?

Потом, женское платье зашуршало около меня, меня взяли за руку и повели. Мы шли по длинному коридору, огромные окна которого выходили в сад. Вид моей незнакомки совершенно меня успокоил: никогда еще более благородное выражение не оживляло более красивого лица. Я все еще был взволнован, но теперь — от опьянения и счастья... Мы вступили на лестницу, которая показалась мне богато украшенной резьбой, потом я очутился в комнате с черными панелями и с серебряными украшениями, между которыми виднелся фамильный герб: это была комната моей незнакомки. Две свечи освещали комнату; в глубине я заметил кровать, скрытую под занавесом со всех сторон. Незнакомка, которую я буду называть Долорес, пригласила меня сесть рядом с собой; я упал перед нею на колени и покрыл ее руки поцелуями.

— Вы меня любите? — воскликнула она.

— Люблю ли я вас! Можете ли вы в этом сомневаться? Мое сердце, моя жизнь, все, чем я владею, — все принадлежит вам.

— Теперь я не сомневаюсь. Итак, вы клянетесь на этом Распятии, что исполните услугу, которую я у вас потребую?

— Клянусь. — Вы — благородный человек; идите за мной.

Она увлекла меня по направлению к кровати. Я хотел открыть занавес, но она остановила меня: никогда еще взгляд не выражал больше страдания, печали, отчаяния.

— Что с вами? — спросил я, прижимая ее к своему сердцу. — Вы дрожите.

— О, не из страха. А вы не Дрожите? Нет? Ну, так смотрите.

Она быстро приподняла занавески: на кровати лежал труп красивого молодого человека; беспорядок в платье и его поза заставляли думать, что он был убит именно в ту минуту, когда меньше всего можно было ожидать этого.

— Что вы сделали? — воскликнул я.

— Я поступила по справедливости; он был моим любовником, и я убила его. Я, может быть, умру вследствие этого, но так я должна была поступить. Выслушайте, одно слово оправдает меня: он обманул меня!

— Но это ужасно!

— Вы дворянин, вы обещали мне сохранить тайну, подумайте об этом, подумайте также, что только что вы поклялись исполнить то, о чем я вас буду просить.

— Что же вам угодно от меня?

— Устраните этот труп; река находится за стеной этого дома; бросьте его туда, умоляю вас; я не могу его видеть!

И она бросилась на колени передо мной. Какая, сцена! Она — с уставленными на меня

взорами, с отчаянием в сердце, но необыкновенной красоты; я- пораженный ужасом, в красивом костюме; а этот труп — между нами.

— Сударыня, — сказал я ей спокойно, потому что чрезвычайная опасность сделала меня невозмутимо хладнокровным, — сударыня, вы требуете моей жизни, — берите ее!

— Эти слова хороши; еще несколько минут тому назад я не любила тебя, теперь я люблю тебя... Но, — прибавила она печально, — теперь я недостойна вас. — И, рыдая, она бросилась на кровать.

Каждая лишняя секунда могла меня погубить; поэтому я ей сказал:

— Не отчаивайтесь, — надо поспешить.

Я приподнял храбро труп, но вид плаща, которым она покрыла его, напомнил мне человека, которого я видел за несколько часов перед тем проскользнувшим через маленькую дверь, — и я покачнулся от ужаса и отвращения. Тогда Долорес, как бы тронутая опасностью, которой я подвергаюсь ради нее, сделала попытку остановить меня.

— Остановитесь, — воскликнула она, — вы погибли, если вас встретят!

— Но ведь и вы погибли, если этот труп останется здесь. И, взяв эту ужасную ношу, я направился к двери. Долорес последовала за мной со свечой в руках. В мгновение ока я вышел на улицу, затем достиг берега реки. Бросив в воду труп, я упал в изнеможении. Все мое платье было в крови; но это я заметил только тогда, когда пришел в себя; я торопился скрыть эти знаки убийства и всю ночь провел в страшном беспокойстве, думая только о том, как бы бежать из Мадрида в возможно скором времени.

На другой день я не выходил из своей комнаты; постоянно настороже, я из окна наблюдал за прохожими. Я также боялся за Долорес; ее занавеска не подымалась. На другой день я был приглашен на обед к Менгсу. Я отправился туда с целью окончательно проститься, так как рассчитывал скоро уехать из города. Но вот в два часа, в то время когда я подходил к дому Менгса, какой-то человек, плохо одетый, подошел ко мне и сказал: «Вы — „иностранец, живущий в доме кофейни на улице Круц“ остерегайтесь, потому что алысад Месса и альгвасилы следят за вами». Это известие чрезвычайно напугало меня.

— Благодарю вас за предостережение, — отвечал я, — но мне нечего бояться, так как я ничего дурного не сделал. Кто вы?

— Я — альгвасил. Мы знаем, что вы скрываете у себя запрещенное оружие. Кроме того алькад убежден, что знает различные обстоятельства, которые дают ему право арестовать вас и посадить в тюрьму, в ожидании судебного разбирательства.

При этих словах я побледнел; альгвасил заметил это и сказал:

— Не пугайтесь; если вы невинны, то воспользуйтесь данным мною предостережением.

— Вы — хороший человек; возьмите этот дублон.

Он взял деньги и перекрестился. Совершенно верно, что кроме моего кинжала и пистолетов, у меня было другое оружие, спрятанное под ковром моей комнаты: тут были шпага и ружье. Я вернулся к себе с тем, чтобы захватить эти предметы. Затем я направился к Менгсу, где я считал себя в безопасности, так как его квартира находилась в королевском дворце. Менгс дал мне убежище на ночь, но просил меня искать другое убежище на следующий-день, потому что он не хотел быть скомпрометированным.

— К тому же, — прибавил он, — так как вы говорите, что не упрекаете себя ни в чем, кроме того, что имели запрещенное оружие, — то вполне можете не обращать внимания на предостережение альгвасила: всякий — хозяин у себя и волен иметь у себя даже пушки, если это ему угодно.

— Я уверен, что есть много справедливого в предостережении, которое было мне дано, — отвечал я Менгсу, — если я попросил у вас убежища на эту ночь, то с тем только, чтобы избежать неприятности спать эту ночь в тюрьме; тем не менее, я согласен, что мог бы оставить у себя мое оружие.

— Зачем избегаете вы вашей квартиры? Вы — не мнительны и не трусливы.

В эту минуту мой хозяин на улице Круц явился сказать нам, что алысад Месса с двенадцатью альгвасилами пришел в MQKJ квартиру сделать обыск. Он приказал отворить

двери и, прошарив везде, он наложил печати на все замки; затем алысад арестовал моего пажа, говоря, что без него я бы избежал его рук; но прибавил, что ему известно мое пребывание у кавалера Менгса.

Пусть читатель представит себе ужас, овладевший мною при этом рассказе моего хозяина; я забросал его вопросами об алькаде и альгвасилах. Он повторил, что присутствовал при обыске и что он не отыскал ничего подозрительного. Я его спросил уклончиво: не встревожилась ли полиция вследствие какого-нибудь преступления, случившегося в городе, и не был ли сделан обыск также и в других местах? Он мне ответил, что обыск был произведен и в других квартирах, но что не слышно ни о каком преступлении.

Менгс советовал мне отправиться к графу Аранда и объяснить ему несправедливый поступок алькада, арестовавшего моего пажа; так как Менгс продолжал интересоваться судьбой моего лакея, нисколько не беспокоясь обо мне, то я ему сказал с раздражением:

— Этот паж- изменник; он донес на меня, он известил полицию о том, что у меня имеется запрещенное оружие, потому что только он знал это.

Я провел ночь у Менгса; в восемь часов утра он вошел ко мне с офицером, который сказал мне:

— Вы — кавалер Казанова; потрудитесь добровольно следовать за мною до кордегардии около Буэн-Ретиро.

— Я отказываюсь от этого.

— Я знаю, что здесь я не имею права прибегнуть к силе, так как этот дом есть собственность Его Величества; но я должен вас предупредить, что не пройдет и часу, как кавалер Менгс получит приказ изгнать вас отсюда и что тогда вы будете под конвоем препровождены в тюрьму. Этого вы можете избежать: поэтому я вам советую последовать за мною немедленно.

— Так как я не могу сопротивляться, то последую за вами, но позвольте мне написать два или три письма.

— Я не имею права ожидать вас или позволить вам писать; к тому же в тюрьме вы будете свободны писать сколько вам угодно.

В то же время этот офицер, обращавшийся, впрочем, со мной очень вежливо, потребовал запрещенное оружие, которое алькад напрасно искал в моей квартире; я вручил его ему и, обняв Менгса, который, казалось, был очень опечален, я сел в карету.

Меня повезли в тюрьму Буэн-Ретиро, прежде бывшую королевским дворцом; там Филипп V часто жил со своим семейством во время Великого поста. Меня посадили в общую залу, внизу, и мои мучения начались. Прежде всего, я чуть не задохся от скверного воздуха этого места, где сорок заключенных находились под надзором человек двадцати солдат. Тут я увидел четыре или пять кроватей и несколько скамеек, но не заметил ни столов, ни стульев. Я дал экую одному солдату, с тем чтобы он достал мне бумаги и перьев. Он, улыбаясь, взял деньги, ушел и не вернулся: другой солдат, у которого я спрашивал о нем, смеялся мне прямо в лицо. Между другими заключенными я увидел тут и моего пажа; я стал его упрекать, но, как это всегда бывает, он настаивал на своей невинности. В толпе заключенных я узнал также одного плута — Марацани, который не раз являлся ко мне во время обеда и которому я несколько раз давал деньги; он сказал мне, что находится в тюрьме вот уже два дня и что нечто вроде предчувствия говорило ему, что и меня он здесь увидит. «Но, — прибавил он, — в чем вас обвиняют?»

— Об этом-то я хотел спросить вас.

— Вы не знаете? Я нахожусь в таком же положении; но это не мешает отправить нас под конвоем в какую-либо крепость, где мы будем работать на казну.

— Надеюсь, что мне не произнесут приговора, не выслушав меня.

— Не надейтесь; завтра алькад явится допросить вас и ваши ответы будут записаны, — так, по крайней мере, было поступлено со мной. Меня спрашивали, чем я живу, я отвечал, что временно живу у моих друзей, ожидая поступления в гвардию Его Величества. На это мне ответили, что Его Величество даст мне место и что мне нужно об этом хлопотать. Вот

суть моего дела. Это место я теперь получил. То же самое случится с вами, если ваш посланник не заступится за вас.

Я сдержал свой гнев и бросился на соседнюю кровать, но вскоре принужден был встать вследствие множества насекомых. Марацани снова подошел ко мне и сказал: «Хороши, однако, мы с вами! У вас, по крайней мере, есть деньги, но у меня нет ни гроша, и вот уже два дня, как я питаюсь одним лишь хлебом и чесноком. Когда вам придет в голову охота пообедать, пригласите меня: вы сделаете доброе дело; за небольшую плату один из этих солдат добудет нам все, что нам нужно».

— Я не дам никому ни гроша, меня уже успели обокрасть.

Марацани вознегодовал на это, но все остальные стали хохотать. Мой паж пришел сказать мне, что он умирает с голоду и просил у меня денег; я отвечал этому плуту, что ничего не дам ему и чтобы он не считал себя в услужении у меня.

Часа в три лакей Менгса принес мне обед на три персоны; но из эгоизма, в котором я себя упрекаю, я ни с кем не хотел разделить его; я поел сколько мог, то есть очень мало, и приказал остальное унести. Марацани умолял меня оставить по крайней мере вино; я прогнал его; меня снедало беспокойство, я весь был страдание и гнев.

Вечером ко мне приехал Мануччи; он был в сопровождении офицера, арестовавшего меня. После выражения сожалений, Мануччи сказал мне: «По крайней мере, вы ни в чем не нуждаетесь, потому что у вас есть деньги».

— Напротив, я во всем нуждаюсь: я не могу даже написать моим друзьям.

— Какое безобразие! — воскликнул офицер.

— Как поступили бы вы с солдатом, — сказал я ему, — который украл деньги, данные ему заключенным для покупки?

— Он был бы присужден к галерам: назовите мне этого солдата.

Все молчали; я вынул три экю и обещал дать их тому, кто назовет вора. Марацани немедленно назвал его, и другие заключенные подтвердили справедливость его слов. Офицер записал его фамилию, удивляясь тому, что я издержал три экю, чтобы получить один; мне принесли бумаги, свечку, и когда эти господа ушли, я принялся писать.

Не вставая с места и несмотря на неудобство моего положения, потому что все легли спать, а некоторые легли даже на мою бумагу, я написал четыре письма: первое — министру юстиции, в котором я жаловался на алькада; второе было адресовано к Мочениго. «Ваша обязанность, — говорил я в этом письме, взять под свое покровительство несчастного соотечественника, несправедливо преследуемого. Вы ссылаетесь на то, что повеление Вашего правительства запрещает Вам вступиться за меня; если Вы и теперь еще не знаете причин моей ссоры с инквизиторами, то я Вам скажу: инквизиторы преследовали меня исключительно потому, что г-жа Соцци предпочла меня монсеньеру Кондульмеру, который из ревности посадил меня под Пломбы». Я написал также герцогу Лассада, умоляя его заступиться за меня непосредственно у самого короля. Последнее и самое едкое письмо было адресовано мною графу Аранда. Вот оно, если память не изменяет мне:

«Монсеньер, В настоящую минуту меня убивают и убивают в тюрьме. Не имею возможности не верить, что Вы — причина этой медленной смерти, так как я совершенно напрасно объявил моим палачам, что приехал в Мадрид с рекомендательными письмами к Вашему Сиятельству. Какое преступление я совершил? Пусть мне скажут. Обращаюсь к Вашему чувству гуманности: какое удовлетворение можете Вы мне дать за все те мучения, которые я выношу? Прикажите же освободить меня или же нанесите последний удар, — это по крайней мере избавит меня от самоубийства».

Я снял копии с этих четырех писем и запечатал оригиналы для передачи их на другой день слуге Мануччи. Ночь была ужасна; не сомкнувши глаз, я провел ее, сидя на скамейке. В шесть часов явился Мануччи. Я с восторгом обнял его, заливаясь слезами. Я умолял его повести меня на минуту в кордегарию, потому что я был ни жив ни мертв; он сейчас же повел меня туда и приказал подать мне шоколаду. Он прочитал мои письма и, казалось, ужаснулся их содержанию. Этот молодой человек, не испытавший еще страдания, не знал,

что в жизни существуют такие моменты, когда невозможно побороть в себе негодования; однако он поклялся, что мои письма будут в точности переданы по адресам в течение дня; он прибавил, что Мочениго должен быть у графа Аранда и что посланник положительно обещал поговорить в мою пользу с министром. Днем ко мне явились донья Игнация и ее отец. Их вид чрезвычайно опечалил меня, и на этот раз я плакал от умиления. Игнация также плакала; что же касается доня Диего, то он мне сказал целую речь, очень милую по содержанию, но напыщенную по форме. Он мне сказал, что не явился бы навестить меня, если б не был убежден в моей невинности; что все смотрели на меня как на жертву подлой клеветы и что я вскоре получу полное вознаграждение за нанесенное мне оскорбление. Окончив свою речь, добряк крепко обнял меня и незаметно всунул мне в жилетный карман сверток дублонов, говоря мне на ухо: «После отдадите мне». — Я был преисполнен благодарности к нему и отвечал ему также на ухо: «Возьмите назад ваши деньги; у меня они есть, но я не решаюсь их вам показать, потому что мы окружены ворами». Он взял назад деньги и ушел, заставив меня обещать, что я явлюсь к нему, как только буду свободен. Дон Диего не сказал своего имени в тюрьме. Он был очень хорошо одет и на этот раз имел вид вполне дворянина. Таков кастильянский характер — смесь больших недостатков с большими достоинствами; но необходимо прибавить, что все пороки испанцев имеют в своем источнике их умственный склад, между тем как их достоинства — дело их сердца.

После обеда я был извещен о прибытии алькада. Меня повели в соседнюю комнату, где я увидел стол с бумагами; тут же находилось и мое оружие. С алькадом были два писца; он пригласил меня сесть и отвечать прилично на вопросы, которые будут мне делаемы.

— Не забывайте, — прибавил он, — что всякое ваше слово будет записано в протоколе.

— В таком случае, потрудитесь допрашивать меня на итальянском или на французском языке, потому что я очень плохо выфажаюсь по-испански и плохо понимаю этот язык. Я бы не желал сказать какую-нибудь бессмыслицу.

Алькад рассердился и что-то выкрикивал в течение целой четверти часа. Я плохо понимал, что он мне говорит, но упорствовал в своем решении. Тогда он дал мне перо, приглашая написать по-итальянски мое имя, мою профессию и причины, заставившие меня приехать в Мадрид. Я взял перо и написал следующее:

«Я- Джакомо Казанова, венецианец, по склонностям — ученый, по привычкам — независимый и настолько богатый, что не нуждаюсь ни в чьей помощи. Путешествую из удовольствия; я известен венецианскому посланнику, графу Аранда, маркизу Морасу и герцогу Лассада. Я с доверием приехал в Испанию и не думаю, чтобы я нарушил какой-либо закон этой монархии; тем не менее я был арестован и заключен в тюрьму вместе с разбойниками: правда, что это было делом людей более меня достойных такой судьбы. Не зная за собой никакой вины, я должен заявить тем, кто меня преследует, что они не имеют никакой власти надо мною, за исключением того, что могут выслать меня из Испании, — что, впрочем, я готов исполнить немедленно. Меня обвиняют в том, что я скрывал у себя запрещенное оружие. Я отвечаю, что это оружие я вожу с собою повсюду в течение пятнадцати лет: причина этому та, что я много путешествую и что во всякой стране бывают разбойники. К тому же таможенные чиновники у ворот видели это оружие и оставили его мне. Если теперь его у меня конфискуют, то только потому, что желают найти предлог преследовать меня».

Я отдал эту бумагу алькаду, который сейчас же приказал ее перевести. Прочитав то, что я написал, он в бешенстве встал и воскликнул: «Вы раскаетесь в этом!» Потом приказал отвести меня в общую залу.

Вечером приехал ко мне Мануччи; он сообщил мне, что обо мне был разговор между графом Аранда и посланником. Мочениго очень хвалил меня, хотя и признавался, что не может заступиться за меня так, как бы хотел, по причине моей ссоры с инквизицией. Затем посланник сообщил министру все, что знал обо мне. Граф Аранда признал, что со мной поступили гадко, но, тем не менее, не видел причины, чтобы из-за этого умный человек потерял голову, и, говоря это, прочитал посланнику письмо, которое я ему написал.

— Почти то же самое он пишет, — прибавил он, — дону Эммануилу Рода и герцогу Лассада; согласитесь сами, что приличным людям не пишут в таком тоне.

— Еще бы! — прервал я рассказ Мануччи. — Каждому положению соответствует свой стиль. Посмотрите, в каком положении я нахожусь: в грязной зале, без кровати, без стула, окруженный разбойниками; не достаточно ли этого, чтобы вывести человека из терпения? Но ваш рассказ облегчил меня, потому что я вижу, что со мной готовы поступить по справедливости.

Оставляя меня, Мануччи счел возможным уверить меня, что я буду свободен на другой день. Эту вторую ночь я провел так же, как провел и первую: падая с ног ото сна, но боясь отдаться ему, в лихорадке и трепеща за мои деньги, за мои часы, табакерку и даже больше — за жизнь.

Часов в семь утра явился высший офицер с двумя адъютантами и сказал мне:

— Его Сиятельство граф Аранда сожалеет о том, как с вами поступили; об этом он узнал только из вашего вчерашнего письма.

— Его Сиятельство не знает всего. — И я рассказал офицеру историю кражи эку.

Офицер немедленно потребовал к себе капитана, под командой которого находился этот солдат; он рассказал ему об этом факте, приказывая заплатить мне эку из его собственного кармана. Капитан исполнил это с неудовольствием, и я взял монету улыбаясь. Этот офицер был не кто другой, как граф Рохас, полковник полка, стоящего в казармах Буэн-Ретиро; он дал мне честное слово, что к концу дня мне будет возвращена свобода и оружие.

— Если вы не сейчас же свободны, — прибавил он, — то только потому, что Его Сиятельство желает, чтобы вы получили удовлетворение за эту полицейскую глупость. Тем не менее, я должен вам сказать, что алькад был введен в заблуждение лживыми свидетельствами. Он слишком доверился наговорам мерзавца, который служит у вас.

Итак, я не обманулся: на меня донес мой паж; но что мог он сказать? Вспоминая странное событие ночи, предшествовавшей моему аресту, я не вполне был спокоен.

— Надеюсь, — сказал я Рохасу, — что на будущее время мне нечего бояться клевет этого мерзавца; признаюсь, что его присутствие тяготит меня.

Немедленно полковник позвал двух солдат, которые привели плута. С тех пор я ничего о нем не слышал.

Когда повели меня в кордегардию для очной ставки с моим вором, я заметил во дворе графа Аранда, — я выразил свое удивление полковнику, который ответил мне: «Его Сиятельство специально приехал ради вас». — Затем этот почтенный офицер пригласил меня обедать к нему в тот же день.

В ожидании этого я возвратился в тюрьму. В зале поставили для меня кровать; тут я увидел Мануччи, который бросился мне на шею: мы обнялись самым сердечным образом. Я должен прибавить, что этот молодой человек в этих обстоятельствах выказал знаки самой нежной дружбы ко мне; поэтому я всю жизнь буду раскаиваться в тех слухах, которые я имел неосторожность распускать о нем; он мне этого никогда не простил; читатель рассудит сам: не слишком ли далеко простер Мануччи свою месть?

Счастливая развязка моего приключения вскоре сделалась предметом оживленных разговоров заключенных. Большинство льстило мне. Марацани оказался самым надоедливым; он желал, чтобы я немедленно написал прошение к графу Аранда в его защиту. Он достиг только того, что я позволил ему разделить со мной мой обед. Мы еще не вставали от стола, как явился алькад Месса, чтобы отвести меня на мою квартиру: он возвратил мне мое оружие, а офицер, сопровождавший его, вручил мне мою шпагу. Мой выход из тюрьмы не обошелся без некоторой торжественности: несколько солдат шли впереди моего кортежа, как я это называю: я находился между алькадом в полной форме и офицером, о котором я упомянул; за нами шло человек двадцать альгвасилов. Эта свита отвела меня на мою квартиру, в которой уже были сняты печати. Уходя, алькад сказал мне с некоторым волнением:

— Вы можете быть уверены, что у вас все находится в целости; без вашего негодного

слуги вы бы никогда не имели случая обращаться с чиновниками Его Королевского Величества, как с ворами и разбойниками.

— Господин алькад, — отвечал я, — гнев заставляет делать много глупостей. Забудем все, что произошло: думаю, что найдете во мне порядочного человека; ведь согласитесь, что если бы мой голос не был услышан, то я рисковал бы попасть на галеры.

— Это вероятно; но я лично пожалел бы о вас.

— Весьма вам благодарен.

Я принял ванну, приделся и отправился к моему башмачнику-дворянину. Он поздравил меня с свободой, но поздравил также и себя за свою проницательность, вследствие которой он был убежден, что мой арест — не более как одна из ошибок, столь часто делаемых полицией. Когда я рассказал ему об удовлетворении, полученном мною, он уверил меня, что и испанский гранд не мог ожидать ничего лучшего. Затем я отправился к Менгсу, который не рассчитывал увидеть меня так скоро. Он встретил меня с некоторым замешательством. И действительно, не должен ли он был упрекать себя кое в чем, по отношению ко мне? Не выпроводил ли он меня из своей квартиры как человека подозрительного? Я видел косвенное извинение в плане, изобретенном им относительно заступничества в мою пользу, которое он намеревался предпринять. У него я нашел письмо, которое доставило мне большее удовольствие, чем все его уверения. Это было письмо Дандоло с присоединением другого, адресованного на имя Мочениго. Добрый Дандоло извещал меня, что после этого письма посланник не будет бояться вызвать неудовольствие инквизиции, принимая меня у себя, ибо это письмо исходило непосредственно от инквизиторов. Менгс советовал мне немедленно отнести это письмо Мочениго, но я был изнурен и удовольствовался тем, что отправил его к Мануччи, который на другой день пригласил меня обедать к г-ну посланнику. «Будет парадный обед, — прибавил он, — и ваше торжество будет тем полнее». Тем не менее, я не совсем еще был спокоен; вероятно, я бы немедленно уехал из Мадрида и даже из Испании, если бы не свидание с министром, свидание, которое рассеяло все мои сомнения.

В прихожей граф Аранда меня задержал довольно долго, из чего я заключил, что Его Сиятельство, не ожидавший моего визита, приготовлялся принять меня. Спустя три четверти часа я был принят.

Как только граф заметил меня, он пошел мне навстречу с очень любезным видом и, передавая мне пачку бумаг, сказал:

— Вот ваши четыре письма; советую вам перечитать их теперь, когда вы можете рассуждать хладнокровно.

— Отчего вы мне советуете перечитать эти письма, Ваше Сиятельство?

— Отчего? Разве вы не понимаете, в каком тоне они написаны?

— Извините меня, Ваше Сиятельство; но человек, решившийся, подобно мне, покончить с делом, даже рискуя своей жизнью, не может умерять своих выражений. Я должен был думать, что все, что со мной случилось, было результатом повелений Вашего Сиятельства.

— Значит, вы очень плохо меня знаете; еще неудачнее вы посмотрели на ваше положение и на мое.

— Я понимаю, какое уважение я обязан питать к вам при обыкновенных обстоятельствах, но я увидел самого себя вне закона, и поэтому мое раздражение должно быть понятно.

— Может быть; но менее понятно мнение, которое вы себе составили о моих отношениях к вам. Вы несправедливы и плохо поддерживаете репутацию умного человека.

Я поклонился, как бы желая поблагодарить его за этот иронический комплимент.

Он продолжал более строгим тоном:

— Господин Казанова, вполне ли вы уверены, что вам не в чем себя упрекать, как вы утверждаете? Что вы ничем не нарушили законов Его Королевского Величества?

Манера, с которою сказаны были эти слова, привела меня в трепет; воспоминание о

трагическом приключении предстало в моем воображении в кровавых формах. Граф заметил мое замешательство и мягко сказал:

— Успокойтесь; все известно и все прощено вам, потому что ваше поведение было честно и благородно; но сознайтесь, что внешне улик было слишком достаточно, чтобы вас повесить. В конце концов, самая лучшая роль в этом деле принадлежит не вам: вы действовали, как истый испанец, но сеньора Долорес действовала, как истая римлянка.

— Что же она сделала? — Она во всем созналась — Даже рискуя погубить меня?

— Это было единственное средство спасти вас; оправдывая вас вполне, она заставила бы верить в ваше соучастие, потому что вас видели. Кавалер, которого сеньора убила, был довольно плохой человек; однако подобное преступление заслуживало наказания и оно было бы ужасно, если бы преступление сделалось гласным; но тайна, которою оно было покрыто, и еще больше причины преступления Долорес принуждали к снисхождению. Долорес свободна, и ее семья вместе с нею уже оставила Испанию. Что же касается вас, то вы можете быть совершенно покойны. Мне не нужно советовать вам хранить тайну относительно всего этого дела: вы первый заинтересованы в этом.

Мне хотелось броситься к ногам графа; мое волнение должно было дать ему понятие о моей благодарности. Выйдя от министра, я отправился к г-ну Рохасу. Под впечатлением только что бывшей сцены я не скрыл перед ним чувств, которыми переполнено было мое сердце по отношению к Его Сиятельству* Рохас, которому не могли быть известны мотивы моего настроения, сказал мне несколько раздражительно:

— Как! Вас оскорбляют, а вы благодарите?

— Мне отдана была справедливость; я не злопамятен и к тому же, чего я еще мог бы требовать?

— Во-первых, смещения алькада, а потом денежного вознаграждения.

— Я согласен, что алькад превысил власть, но в этом он был более несчастен, чем виновен; что же касается денежного вознаграждения, то мне было бы гадко оценить мои страдания на деньги.

— Прекрасно, но ваше благородство будет истолковано как слабость; вы находитесь в стране, где все можно сказать безнаказанно, за исключением только того, что относится к инквизиции и к королю.

Возвратившись к себе, я нашел там Менгса, ожидавшего меня с каретой. Он был приглашен к обеду Мочениго и заехал за мною. Посланник принял меня с распростертыми объятиями и поздравил Менгса с гостеприимством, оказанным мне. Менгс покраснел, и я не мог не улыбнуться. За столом речь зашла о моих письмах, и с точки зрения, с которой каждый из собеседников рассматривал их, заставили меня подумать о том, до какой степени положение человека влияет на его суждения. Кроме Менгса и посланника, из более известных лиц там были: аббат Бильярди, французский консул, ученый дон Пабло Оливарес и известный Родриго Кампоманес. С искренностью более любезной, чем строгой, посланник порицал мое письмо к графу Аранда; Кампоманес принялся меня защищать, говоря, что именно это письмо должно было вызвать у всех уважение ко мне, даже короля и его министра; Оливарес был того же мнения и поддержал его множеством цитат; Менгс, в качестве царедворца, перешел на сторону Мочениго; что же касается аббата Бильярди, то он сказал, что посланник прав, как, впрочем, прав и Кампоманес.

Кампоманес, известный на своей родине как человек умный, ученый и смелый, был небольшого роста, очень некрасивый, но который казался красивым в то время, когда говорил. Его красноречие, живое и страстное, было чрезвычайно увлекательно. Враг католической церкви, которой приемы он знал основательно, он высказывался всегда и откровенно против злоупотреблений, которые церковь освещает своим авторитетом. Все пасовало перед едкой иронией его рассуждений. Сколько предрассудков уничтожил этот испанский Вольтер: ему Испания обязана изгнанием иезуитов; он открыл графу Аранда все интриги этого общества; он показал ему все нити этой сети, столь ловко расставленной, которая угрожает народам. Кампоманес был кривой на один глаз; граф Аранда и генерал

иезуитов — тоже были кривые на один глаз. Я свел разговор на эту борьбу между этими тремя личностями с косыми глазами, борьбу, которая беспокоила меня по отношению к Кампоманесу; его считали автором всех тех анонимных памфлетов, которые были направлены против иезуитов и наводняли собой тогда все европейские столицы. Его сношения с венецианским посланником давали ему возможность знать все меры, принимаемые нашим сенатом против монахов, — сведения, без которых он бы легко обошелся, если бы ему были известны сочинения нашего знаменитого Паоло Сарпи. Смелый, настойчивый, умный, Кампоманес считался человеком искренним и бескорыстным в своей оппозиции: его вдохновляла одна лишь любовь к правде и отечеству, поэтому-то он заслужил уважение самых просвещенных людей; напротив того, монахи, патеры, ханжи и чернь ненавидели этого смелого писателя. Инквизиция поклялась стубить его, и вслух говорили, что Кампоманесу суждено погибнуть в тюрьмах инквизиции: пророчество, которое, к несчастью, исполнилось, или вроде того. И действительно, года четыре после того, Кампоманес, заключенный в инквизиционную тюрьму, вышел оттуда, произнес публичное покаяние. Оливарес, его друг и наш теперешний собеседник, поплатился еще дороже: все его состояние было конфисковано, и он умер в изгнании. Даже сам граф Аранда, покровитель этих двух людей, не избежал бы гнева инквизиции, если бы король, желая избавить его от мести его врагов, не отправил его посланником в Париж.

Карл III, умерший, как известно, сумасшедшим, понаделал удивительных вещей для испанского короля, и в особенности для человека слабого характера, капризного и набожного. Он так же верил в черта, как и в Бога, — вера, которая отдавала его вполне в руки его духовника. И, однако, этот духовник не был иезуитом, ибо он, а не кто другой, предрасположил совесть короля к великому делу изгнания иезуитского ордена; но этот духовник, которого имя я, к сожалению, позабыл, был в то же время чрезвычайно привязан к инквизиции. Если вначале он делал вид, что поддерживает реформационные планы графа Аранда, то его целью было, как потом обстоятельства показали, тем вернее погрузить короля в пропасть суеверия и деспотизма. История переполнена этими примерами попыток реформ< поддерживаемых злейшими их врагами, убежденными, что эти попытки в конце концов обрушатся на головы их собственных авторов и что иго, на время снятое, с большей еще силой охватит доверчивые народы.

На другой день я явился к дону Эммануилу Рода, человеку большого ума и образования, — явление, составляющее редкость везде, но в особенности в Испании. Он очень любил латинскую и итальянскую поэзию, но считал их ниже испанской. Это — самая обыкновенная слабость у людей самых умных. Предоставлю читателю решить: не разделяю ли я сам этой слабости, заявляя, что не знаю более высокой поэзии и литературы, как поэзия и литература моей родины. В целом мире я не вижу поэтов, которых можно было бы сравнить с Данте, Петраркой, Тассо и Ариосто; говорю только о современных. Можно даже сказать, что за исключением одних лишь греков, вся великая и строгая европейская литература принадлежит исключительно Италии. Римляне блестяще открыли путь, который потом прошли с таким блеском итальянцы Возрождения. Современная Италия имеет то преимущество перед древней, что она блистала в искусствах, почти совершенно неизвестных римской цивилизации. Что может быть выше, совершеннее, прекраснее живописи и музыки моей родины? Школы фламандская, испанская и французская — только отражение нашей школы. Кроме того, Италия произвела величайших архитекторов, величайших скульпторов и что обыкновенно забывают другие народы — величайших военачальников; целый список этих великих людей можно насчитать, начиная с Цезаря. Наконец, в точных науках я не знаю более великих имен, как имена Архимеда и Галилея.

Вот имена, которые я противопоставил дону Эммануилу Рода, отвечавшему на все именем Сервантеса. «Дон-Кихот», конечно, великое произведение, но оно мне всегда казалось мелким по своей цели; тирады романа недостаточно разнообразны, а общая форма — монотонна. При самых добрых пот буждениях читателю трудно в настоящее время объяснить себе непоколебимое сумасшествие Дон-Кихота. Великое правило всякой

литературы и всякого произведения искусства находится в одном сонете Микеланджело: «Писатель и художник не должны воспроизводить то, что будет уничтожено временем», а между тем сатирическое произведение Сервантеса постоянно направлено против смешной стороны, которая не пережила его.

Несмотря на мое красноречие, дон Эммануил остался при своем убеждении, а я при своем: это — обыкновенный результат всякого спора. Во всяком случае, он принял меня очень любезно и выразил свое сожаление по поводу неприятностей, которые я вынес в Буэн-Ретиро; те же самые признаки участия я встретил у герцога Лассады и принца де ла Католика. В течение трех недель, проведенных мною у Менгса, я имел случай видеть самых знаменитых людей Испании; немудрено поэтому, что я начал серьезно думать о приобретении себе какого-либо места в правительстве, тем более что Полина, моя португальская дама, перестала писать мне.

За несколько дней — до Пасхи король со всем двором оставил Мадрид и поселился в Аранхуэце. Мочениго пригласил меня сопровождать его туда, так как он надеялся представить меня там монарху. Но накануне отъезда я заболел лихорадкой, которая удержала меня в постели. В Страстную пятницу, хотя и не совсем еще поправившись, я взял карету и отправился в Аранхуэц; подъезжая туда, я был ни жив ни мертв. В таком состоянии я получил следующее письмо от Менгса:

«Я должен предупредить вас, что вчера патер моего прихода вывесил у дверей церкви список всех тех из его прихожан, которые не веруют в Бога и которые не исповедовались. Ваше имя находится тут же. Патер сделал мне выговор по этому случаю: он удивляется, что под моей кровлей живет язычник. Вы бы должны были остаться лишний день в Мадриде и выполнить ваши обязанности христианина. Забота о моей репутации заставляет меня объявить вам, что с настоящей минуты мой дом закрыт для вас. Мои слуги передадут ваши вещи лицу, которое вы пришлете за ними».

Ознакомившись с этим неприличным посланием, я сказал посланцу, что он может отправляться куда хочет. Но так как он хотел получить ответ на письмо или расписку в получении его, я разорвал его на клочки и, бросая их ему в лицо, сказал: — Вот мой ответ.

Вслед затем я отправился в церковь Аранхуэца и исповедался какому-то капуцину. На другой день я причастился и взял расписку в выполнении всех формальностей, расписку, которую я сейчас же отправил патеру, прося его вычеркнуть мое имя из списка неверующих. Менгсу я написал следующее: «Я заслужил обиду, которую вы мне причиняете, так как я сделал глупость, делая вам честь в том, что принял ваше приглашение жить с вами. Как бы груб ни был ваш поступок, я вам его прощаю, в этом заключается долг доброго христианина, только что удостоившегося приобщиться святых тайн, но позвольте мне напомнить вам поговорку, которую все порядочные люди знают наизусть и которая вам совершенно неизвестна: „*Turpius ejicitur quam non admittituf hospes*“ („Позорно отказывать в гостеприимстве, но еще позорнее изгонять того, кому оно было предложено“).

Отправив это письмо, я рассказал все дело посланнику, который мне ответил, что Менгс был уважаем только за свой талант; что же касается его характера, то он необщителен и преисполнен гордости.

— Он предложил вам убежище из чистого тщеславия, с тем, чтобы уверить весь Мадрид, что с вами обращались так почтительно единственно из почтения к нему, Менгсу.

Менгс говорил на четырех языках, но на всех говорил неправильно, в чем никак не хотел сознаться. Даже его родной язык был ему плохо знаком. Однажды, когда он писал прошение к королю, мне стоило много труда убедить его в том, что его приветственная формула неясна: он называл себя «*el mas inclito*», предполагая, что эти три слова означают: всепокорнейший, между тем как они означают, напротив того: самый известный. В письмах, адресованных к нему, всегда нужно было писать: «Г-ну кавалеру Менгсу»; без этой дворянской формулы он не отвечал на письма. Он точно так же дорожил тем, чтобы упоминали его имена, и оправдывал эту претензию странным соображением. «Меня зовут, — говорил он, — Антонио-Рафаэль Менгс, а так как я живописец, то те, которые не

упоминают моих имен, отказывают мне в чести помнить, что эти имена у меня общие с Антонио Корреджо и с Рафаэлем д'Урбино, которых достоинства я соединяю в себе». В разговоре у него была несносная привычка рассматривать все предметы с метафизической точки зрения. Он считал себя глубокомысленным, потому только, что постоянно прибегал к словарю отвлеченностей, всегда казавшихся мне банальностями. Его речи были переполнены соображениями тех, кто писал о живописи и скульптуре, Леонардо да Винчи, между прочим; а так как он смешивал их правила и путал применения, делаемые ими, то из всего этого выходили самые нелепые результаты. Подобно всем второстепенным художникам, он имел непреодолимую слабость обожествлять все то, что он делал; он постоянно поклонялся своей личности и своему таланту: в нем все, даже его недостатки, было красотой. Помню, как однажды я осмелился заметить, рассматривая одну из его картин, что рука одной фигуры кажется мне неправильно написанной. И действительно, четвертый палец был короче второго.

— Какое странное замечание, — ответил он, — посмотрите на мою руку! — И он протянул ее.

— Посмотрите на мою, — возразил я, — я убежден, что она не отличается от рук других сынов Адама.

— От кого же, полагаете вы, я происхожу? — спросил он.

— Право, не знаю, — отвечал я, — рассмотрев вашу руку, я не знаю, к какой породе причислить вас, но знаю, что вы не принадлежите к моей.

— В таком случае, вы не принадлежите к человеческой породе, потому что нормальная форма руки мужчины и женщины есть именно форма моей руки.

— Готов пари держать, — отвечал я, — что вы ошибаетесь.

Взбешенный, он бросает палитру и кисти, звонит своих слуг и заставляет их показывать руки: представьте себе его бешенство, когда он увидел, что у всех четвертый палец был длиннее указательного. Однако он почувствовал комичность своего поведения и заключил сцену следующей шуткой:

— Я очень рад, что по крайней мере в одном пункте я — единственный в своем роде.

Тем не менее этот человек, чрезвычайно тщеславный, талант которого, по моему мнению, был слишком преувеличен, действительно, имел инстинкт красоты и совершенства. Однажды он мне это доказал. Дело было по поводу «Магдалины», написанной им, — картины действительно прекрасной. В течение целого месяца он мне говорил каждое утро: «Моя картина будет окончена завтра», — но, несмотря на то, что он работал целыми днями, произведение не оканчивалось. Я кончил тем, что спросил его: не ошибся ли он, уверяя меня, что его картина будет окончена на другой день?

— Нет, я не ошибся, потому что из ста зрителей девяносто девять будут ее считать оконченной, но мне важно мнение только этого сотого человека, которого я не могу отыскать. Итак, эта Магдалина никогда не будет окончена, то есть она может быть окончена только фактически, когда я перестану над нею работать. Никакое произведение рук человеческих не может считаться оконченным, потому что ни одно не совершенно. Даже в вашем Петrarке, которого вы так любите, нет совершенного сонета.

— Это правда, — отвечал я и бросился ему на шею.

Как и все живописцы, он ставил гораздо выше гений живописца, чем гений поэта. Так, например, сравнивая манеру работы поэта, сочиняющего трагедию, с работой живописца, который в одной картине изображает различные сцены этой трагедии, он отдавал преимущество последнему. Я отвечал ему на это: «Я, конечно, не решусь высказать, кто выше как гений, Рафаэль или Еврипид, но что касается исполнения, то осмелюсь сказать, что произведение живописца кажется мне скорее делом рук, чем духа. Изображая контуры и располагая краски, он волен фантазировать, как ему угодно, но трагический поэт не может дать воли своему воображению и удалиться от своего сюжета: он нуждается во всей своей энергии, во всем своем уме, во всех своих силах. Покажите мне поэта, который, во время работы, способен заказать обед, — а ведь вы сами делали это, работая над вашей

Магдалиной». Когда Менгс чувствовал, что его побивают, он ворчал сквозь зубы. Это-то именно он теперь и сделал. Я бы мог рассказать еще несколько анекдотов о Менгсе, но предпочитаю возвратиться к нити моего рассказа.

В обществе Мануччи я сделал маленькую экскурсию в Толедо. В этой столице Новой Кастилии можно видеть знаменитый Алькасар, дворец, в котором жили маврские короли. Собор также замечателен; дарохранительница такова по своим размерам, что во время процессий требуется по крайней мере тридцать человек, чтобы ее нести. Каноник, который показывал нам достопримечательности, показал нам маленькую вазу из плохой глины: «Эта ваза, — сказал он, — есть ваза Иуды, где сохранялись тридцать сребреников, за которые он продал нашего Спасителя». Я хотел прикоснуться рукой к этой реликвии, чтобы ближе ее рассмотреть, но каноник остановил меня, сказав, что даже сам король не смеет прикоснуться к ней.

Затем мы отправились осмотреть кабинет естественной истории, также известный своими достопримечательностями. Надзиратель показал нам нечто вроде пакета, где сохраняется, как он сказал, остов дракона: «Доказательство, — прибавил он, — что дракон — не баснословное животное». Он показал нам также фартук франкмасона, полученный им от друга его отца, бывшего франкмасоном: «Доказательство, — сказал он, — что это общество существует». Все эти доказательства не дали мне понятия о высоком уме надзирателя.

По моем возвращении в Аранхуэц посланник представил меня маркизу Гримальди, который долго беседовал со мной о швейцарской колонии, основанной испанским правительством в Сиерра-Морена. Предприятие не процветало; все колонисты умирали в этой суровой местности. Я сказал маркизу: «Этот проект неосуществим; эти колонии лет через двадцать исчезнут до последнего человека. Это зависит как от физических, так и от нравственных причин. Из всех европейских народов швейцарцы больше всех других привязаны не только к обычаям их родины, но и к самой почве. Я бы сравнил их с растением, которое, перенесенное в другой климат, постепенно чахнет. И наконец, умирает. Эти люди подвержены болезни, которую называют тоской по родине, болезни, известной также и древним грекам под именем ностальгии. Лучшим, может быть, средством вылечить их от этой болезни было бы связывать их брачными союзами с колонистами других стран или с испанцами; нужно было бы также оставлять им их священников, но главным образом, оградить их от придинок инквизиции, потому что у швейцарца привычки чрезвычайно глубоко вкоренились: таков, например, обычай, предшествующий брачной церемонии; обычай, не могущий быть ни в каком случае одобряем испанскою церковью». Одним словом, я убеждал г-на Гримальди отказаться от его швейцарской колонии и составить ее из испанских семейств. Он возразил мне, что народонаселение Испании и без того было уже малочисленно, что придется опустошить целый кантон и заселить его в ущерб местностей, довольно плохо населенных. «Совсем нет, — отвечал я, — потому что десять колонистов, которые в Астурии умирают с голоду, будут иметь до пятидесяти детей в течение десяти лет, в следующем поколении их будет двести, а в третьем — тысяча».

Начались опыты моего проекта; маркиз уверил меня, что если дело пойдет успешно, то я получу место директора колонии, вознаграждение, мало мне улыбавшееся, так как в продолжение долгого времени колония по необходимости будет состоять из одних нищих.

Я был занят редакцией проекта, когда начальник хора дворцовой капеллы, венецианец, покровительствуемый Мочениго, явился ко мне и спросил: нет ли у меня какого-либо сюжета, который можно бы переложить на музыку. Готовился дворцовый спектакль, а времени оставалось так мало, что не было возможности выписать либретто из Италии. Я предлагаю ему написать оперу в одном действии, он соглашается, я принимаюсь за работу и в какие-нибудь тридцать шесть часов изготавляю оперу. На мое либретто он сочинил музыку в четыре дня; репетиции делались в доме посольства в присутствии испанских министров и иностранных посланников. Успех был полный — единственная выгода, которую я получил и за которой гнался. Благодаря этому я вошел в сношения с некоторыми лицами театра в

Аранхуэце; в это-то время я и познакомился с синьорой Пеличией, первой певицей, римлянкой по рождению, посредственного таланта, не особенно красивой, но очень умной. Ангажированная в Валенсию, она просила меня добыть ей рекомендательные письма в этот город. Я отправил ее к герцогу Аркосу, который дал ей запечатанное письмо к банкиру дону Диего; об этом обстоятельстве я буду еще иметь случай кое-что сказать.

Из лиц, с которыми я часто встречался в Аранхуэце, я должен упомянуть о доне Доминго Барнери, первом камердинере короля. Из его окон я ежедневно видел, как Его Величество отправлялся на охоту и как оттуда возвращался усталый и изнуренный. Король был мал ростом, но живой и крепкий, в противоположность всем испанским королям, которых мы представляем себе энергическими, но флегматическими. У Карла III был любимец, некто Грегорио Сквилас, человек низкого происхождения, единственное достоинство которого заключалось в том, что у него была красивая жена. Как и все, я приписывал г-же Сквилас милости, которыми король осыпал ее мужа. Но Барнери разубедил меня в этом следующим образом: «Эти слухи действительно ходили, — сказал он, — но это клевета; король — само целомудрие, он знал только свою супругу, но и супружеские обязанности он исполнял скорее как долг, чем как наслаждение. Этот добродетельный монарх ни за что не захотел бы даже ценой своей жизни замарать свою душу смертным грехом. И, поверите ли вы? единственно оттого, чтобы не сознаться в этом своему духовнику. Здоровый и сильный, он ни разу в жизни не заболел. Охотой он занимается с тем, чтобы таким образом истративать избыток жизни, которою он переполнен».

— Удивительный человек! — сказал я.

— Когда королева умерла, привыкнуть к другим условиям жизни было довольно трудно, потому что король не любил ни чтения, ни музыки, ни беседы. Нужны были занятия, которые бы поглощали время. Таким образом устроился порядок жизни, которую теперь ведет Его Величество и, конечно, будет вести до конца дней своих. В семь часов король встает и одевается, затем молится; в восемь часов он слушает обедню и пьет шоколад; после этого он нюхает большую щепотку табака, — и это он делает только раз в день. Затем работает до одиннадцати часов со своими министрами, а окончив работу, плотно обедает, по выходе из-за стола он делает визит принцессе Астурийской и отправляется на охоту. На охоте он остается до восьми часов и закусывает там же. Когда Его Величество возвращается в замок, его несут в постель, потому что он засыпает вследствие усталости. Таковы его привычки, от которых он никогда не отступает.

— Печальная жизнь для короля. Отчего он вторично не женится?

— Он подумывал об одной из дочерей Людовика XIV, о принцессе Аделаиде; ему прислали ее портрет, но рассмотрев его, он перестал думать об этом браке. С тех пор никто не смеет ему говорить о браке, но в то же время несчастье тому, кто бы осмелился предложить ему любовницу.

Карл III был жертвой своего строгого воздержания; известно, что он умер в сумасшествии. Аскетизм хорош только для священников; по отношению к монарху это вредное помешательство; оно мало-помалу приводит к сердечной сухости и в конце концов распространяется даже на разум. Король очень любил инфанта, своего брата, принца замечательно некрасивого; он позволил ему брать любовниц, сколько ему угодно; этого противоречия Барнери никак не мог себе объяснить. У этого инфанта тоже было своего рода сумасшествие, гнездившееся уже в мозгу его августейшего брата, но это сумасшествие было гораздо более светское...

По возвращении из Аранхуэца я сделал визит г-ну Аранда; он принял меня вежливо, но не особенно любезно. Относительно моих препирательств с Менгсом и неверотерпимым патером он мне сказал, что это последнее приключение могло бы сделаться весьма серьезным и что его вмешательство в это дело было бы совершенно бесполезно для меня.

— Господа инквизиторы, — сказал он, — не чувствуют особенной нежности ко мне. Даже в настоящую минуту их приверженцы надеются устроить меня своими грозными публикациями.

— Да что же они требуют от Вашего Сиятельства?

— Пустяки, но я не уступлю. Они хотят, чтобы я снова дозволил носить длинные плащи и шляпы с наклонными полями.

— И из-за таких пустяков вам осмеливаются угрожать?

— До такой степени угрожают, что я не советую вам быть у меня в следующее воскресенье, ибо, если верить пасквилью, приклеенному сегодня утром у моих дверей, мой дом должен быть взорван в этот день.

— Мне любопытно будет увидеть, очень ли высоко взлетит ваш дом, и поэтому я буду иметь честь засвидетельствовать мое почтение Вашему Сиятельству в воскресенье ровно в полдень.

И действительно, в назначенный день я отправился к графу Аранда. В его апартаментах было многочисленное общество; дом, понятно, не взлетел на воздух. Пасквиль, в котором угрожали смертью министру, если он не отменит своих распоряжений относительно плащей, был написан стихами; приведу из них два стиха, имеющих особенную энергию по-испански:

Si me cogen, me horquedaran, Pero no me cogeran, то есть «если они меня схватят, то повесят, но они никогда меня не схватят».

Я вел частые переговоры с министром относительно колонии в Сьерра-Морена, и дело начало принимать такой благоприятный оборот, несмотря на мои опасения, что я готовился уже отправиться на место. Мануччи, по-прежнему оказывавший мне знаки самой тесной дружбы, хотел ехать вместе со мною; он намеревался взять с собой одну молодую авантюристку, которая называла себя Порто-Карреро и говорила, что она незаконная дочь кардинала этого имени; этого кардинала она называла не иначе как *mio padre*. Говорили, что она была любовницей аббата Бильярди.

Между тем, моя злая судьба привела тогда в Мадрид барона Фретюра из Льежа, игрока и плута по профессии. Я имел несчастье познакомиться с ним на водах в Спа; узнав, что я собираюсь отправиться в Португалию, он поехал в Лиссабон, надеясь найти меня там и наполнить свой кошелек моими деньгами. В течение моей долгой, страдальческой жизни я всегда был жертвой массы интриганов и негодяев. Приехав в Мадрид и узнав, что я нахожусь здесь, барон Фретюр явился ко мне с визитом. Он осыпал меня любезностями и лестью, и я счел своей обязанностью принять его вежливо. Я не думал, что буду скомпрометирован, рекомендуя его кое-кому; к несчастью, я всегда был жертвой мягкости своего характера. Уже на третий день после приезда Фретюр показал свои ногти. Он признался мне, что был без гроша, и просил меня открыть ему свой кошелек; он нуждался, прибавил он, в пустяках: в сорока пистолях. Я наотрез ему отказал, благодаря его, однако, за доверие, оказываемое мне.

— Вы без денег, дорогой Казанова? Чудесно! В таком случае мы можем предпринять выгодные операции вместе.

Я понял, что он говорит об игре в карты, и сказал ему:

— Я не знаю, может ли быть успешно предприятие, о котором вы говорите; а не будучи уверен, я воздерживаюсь.

— Черт возьми! Мне нечем сделать первую ставку, а хозяин квартиры требует уже уплаты. Не можете ли вы поговорить с ним на этот счет?

— Это может только повредить вам. — Каким образом?

— Потому что хозяин потребует моего поручительства и, получив отказ, отымет у вас кредит.

Фрютер познакомился у меня с Мануччи; спустя недолго они были уже друзьями, чем Фретюр хвастался первому встречному. Мануччи, игрок по профессии, не дал денег, просимых бароном, но отправил его к одному ростовщику, который снабдил его деньгами под залог. Оба принялись играть. В то же время в Мадриде появился и Кверини; он явился заместить Мочениго, который отправлялся посланником в Париж. Кверини, человек умный и достойный, был весьма расположен ко мне. Достаточно было нескольких дней, чтобы я сделался его другом.

Тем временем Фретюр попал в такое положение, что находился в необходимости

уехать из Испании. Он играл и все проиграл: хозяин приставал к нему, он ждал, что не сегодня завтра его выгонят, а между тем у него не было ни гроша на дорогу. Мой кошелек, совершенно отощавший, не мог поддерживать добрых намерений моего сердца. Конечно, мы обязаны помогать нашим ближним, но своя рубашка ближе к телу; мое положение было таково, что я не мог ничем пожертвовать. Это положение, уже и без того критическое, еще более ухудшилось вследствие оплошности, которой я никогда не забуду. Однажды утром Мануччи влетел в мою комнату, он был бледен и очень взволнован.

— Я в неприятном положении, — сказал он, — Фретюр, которому я запретил являться ко мне, написал мне вчера, что пустит себе пулю в лоб, если я сегодня же не дам ему сто пистолей.

— И это вас волнует?

— Я убежден, что он исполнит эту угрозу.

— А я убежден в противном. Дня четыре тому назад он обратился ко мне с таким же требованием и с такою же угрозой и, как видите, до сих пор здравствует. Правда, он вызвал меня, находя это лучшим средством покинуть жизнь, но я отвечал ему, что так как мне известны его намерения, мы не равны; с тех пор он оставил меня в покое. Если он вызовет вас, отвечайте ему, как я ему отвечал, или совсем не отвечайте.

— Это невозможно. Вот сто пистолей; пожалуйста, отнесите их к нему от моего имени; пусть он подпишет вексель на Льеж, где у него есть имение.

Я согласился исполнить просьбу Мануччи и отправился к барону. Я нашел его в отчаянии; сто пистолей он взял весьма хладнокровно и написал вексель; больше мне ничего не нужно было. В этот день я обедал у посланника и отдал вексель Мануччи. На другой день я отправился к Мануччи, но, к удивлению, привратник проговорил мне: «Нет дома!» Я настаиваю, и тогда привратник сознается, что получил приказ не принимать меня. Я возвращаюсь домой в невыразимом удивлении и в записке, написанной второпях, спрашиваю Мануччи, что сей сон означает. Лакей отправляется с поручением и возвращается с моей нераспечатанной запиской: граф Мануччи приказал не принимать моих писем. Что такое случилось? Напрасно я искал разгадки долгое время, наконец является лакей посланника и приносит мне письмо. В конверте Мануччи находилось письмо Фретюра, адресованное графу. Этот интриган просил сто пистолей и взамен этого обязывался указать на тайного врага Мануччи, хотя Мануччи считал этого врага своим близким другом. Письмо Мануччи указывало на этого врага: это был я, как читатель, вероятно, догадался уже. Конечно, я был виноват в распространении скверных слухов на его счет, но негодяй Фретюр прибавил многое от себя. Каждая фраза письма Мануччи была оскорблением; письмо свое он оканчивал следующей фразой: «Я требую, чтобы Вы уехали из Мадрида в течение недели».

Моя вина была несомненна; я отвечал Мануччи полным признанием ее и извинением, предлагая ему всякое другое удовлетворение, но объявлял ему в то же время, что я вовсе и не думаю уехать из Мадрида. Для уверенности, что мое письмо дойдет по назначению, я приказал написать адрес на конверте моему лакею и сам снес письмо на почту в Прадо. Мануччи получил его, но никогда не отвечал на него. Досада заставила меня сидеть дома в течение двух дней. На третий я взял карету и отправился к принцу Католику; но привратник останавливает меня сразу и объявляет на ухо, что у Его Сиятельства есть причины не принимать меня. Оттуда я отправился к аббату Бильярди: тот же отказ. Я сажусь в карету и еду к Доминго Барнери. Этот принимает меня, но лишь с тем, чтобы заявить мне, что Мочениго везде говорил обо мне как о негодяе и что я не заслуживаю быть принимаемым приличными людьми. Все эти удары кинжала возбудили во мне печальную храбрость идти до конца. Одним словом, мне последовательно отказали в приеме маркиз Гримальди и дон Эммануил Рода. Герцог Лассада, враг посланника, принял меня, но с тем лишь, чтобы просить меня не навещать его. «Мне очень жаль, — прибавил он, — что я принужден отказать себе в таком приятном обществе, как ваше, но это жертва, требуемая приличиями». Оставался один граф Аранда. Я не особенно надеялся на это свидание, и, однако, Его

Сиятельство принял меня очень любезно; помню даже, что он посадил меня возле себя — милость, которой я удостоился в первый раз. Это мне придало храбрости, и я рассказал ему мои злоключения.

— Господин Казанова, вы сделали оплошность, но господин Мочениго уж слишком далеко подвинул свое мщение. Я с грустью вижу, — что нам придется отказаться от наших колонизационных проектов, ибо, когда придет минута представить вас, Его Величество, узнав, что вы венецианец, спросит о вас посланника.

— Но неужели же я принужден буду выехать из Испании?

— Мочениго требовал этого, но я не согласился; к несчастью, ничего больше я не могу сделать для вас при настоящих обстоятельствах. Оставайтесь без боязни среди нас, но я прошу вас молчать о посланнике и его любимце.

С тех пор в течение целого месяца я никого не видал в Мадриде, за исключением моего доброго башмачника и его дочери; это был единственный дворянский дом, где я был принят. Несмотря на дружбу Игнации, пребывание в Мадриде стало тягостным для меня и я собирался в дорогу. Один честный генуэзский книгопродавец, сеньор Коррадо, согласился выдать мне вперед тридцать дублонов, не требуя другого поручительства, кроме моего слова, хотя в залог я предложил ему мои часы и золотую табакерку. Это единственный долг, которого я так и не уплатил, потому что книгопродавец умер вскоре, не оставив наследников.

Заполучив эти деньги, имея кроме того несколько луидоров и золотых вещей, я направился в Сарагосу. Реформы графа Аранда еще не достигли до этой старой столицы Арагонии. Днем и ночью встречались на улицах люди с громадными шляпами на головах, закутанных в черные плащи, спускавшиеся до самой земли, — странный костюм, делавший этих людей похожими на маски или, вернее, на мешки с углем. Под плащом они носили шпагу (spadino), наполовину длиннее тех шпаг, которые носятся светскими людьми во Франции и Италии. К этим маскарадным господам публика выказывала большое почтение, хотя они были не более как бандиты. Мое пребывание в Сарагосе позволило мне обстоятельно наблюдать церемонию культа Богоматери (Nuestra Senora-del-Pilar). Эта церемония, главным образом, состоит в шествии со статуями Богоматери колоссальных размеров. Все частные общества, все оттенки высшего круга были переполнены монахами. В одном из этих собраний я имел честь быть представленным высокой толстой даме, которой генеалогия доходила до блаженного Палафокса. Я собрал странные сведения об отце Пинателли, президенте инквизиционного трибунала. Этот почтенный отец имел неприятную привычку бросать каждое утро в тюрьмы инквизиции несчастных жертв своего сластолюбия. Он считал это как бы искуплением своих грехов; затем он одевался, отправлялся на исповедь, служил обедню и с аппетитом обедал. Затем черт приводил ему новые жертвы. Таковы были его привычки — привычки, очевидно, бывшие ему на пользу, потому что он был свеж, толст и весел.

Я видел также знаменитые бои быков, образчики которых мне случалось видеть уже в Мадриде. Представьте себе длинное и широкое пространство, окруженное перегородкой, за ко торой следуют амфитеатром места; это — арена. Туда впускают громадного быка, который вбегает в бешенстве со спущенными вниз рогами, затем останавливается, смотря направо и налево, как бы ища глазами своего противника. В ту же секунду выезжает человек на лошади (picadero), и в то время как бешеный бык набрасывается на него, пикадеро отстраняет лошадь, избегает быка и поражает его. Все это совершается с быстротой молнии. Иногда бык падает мертвым под ударом пики ловкого пикадеро, но чаще он только ранен. Тогда он гоняется за своим противником и подымает лошадь на рога: довольно часто случается, что пикадеро бывает убит вместе с лошадей. Некоторые из пикадеро борются без лошади. Я восторгался необычайной ловкостью и смелостью, с которой они борются с быком. Хотя и удерживаемый веревками, опутывающими его рога, бык бросался то на одного пикадеро, то на другого, но они, увертываясь от него, никогда не бегут от быка, ибо в противном случае они были бы освистаны зрителями. Пикадеро имеет одно лишь оружие:

пику, к концу которой привешен кусок красной или черной материи. Когда бык недалеко от него, он приближает к его ноздрям материю и бросается в сторону. Животное бросается со спущенными рогами на материю, оставляя противника, который чаще всего прячется за перегородку или же настолько бывает смел, что поражает быка между рогами. В Сарагосе бои быков гораздо более блестящи, чем в столице, потому что тут бык совершенно свободен на арене; вследствие этого часто случается, что борьба оканчивается смертью одного из борющихся. Нужно быть испанцем, чтобы находить удовольствие в подобном зрелище; в глазах иностранца оно всегда будет возмутительным. Эти зрелища привлекают в особенности испанок; при этом случае мне указывали на сарагосских Аспазий: как бы ни была велика репутация арагонской красоты, я принужден сознаться, что ни одна из виденных мною Аспазий не могла сравниться по красоте с красивыми женщинами других национальностей.

Сарагоса- укрепленный город. Одна лишь церковь Nuestra Senora-del-Pilar, построенная на окопах, прерывает линию фортификаций. Однако жители считают город неприступным с этой стороны; они глубоко убеждены, что в случае атаки враг может ворваться в город, но ни в каком случае не в этом месте.

Хоть я и не антикварий, я, однако, люблю старинные памятники, в особенности римских времен; поэтому, отправляясь в Валенсию, я дал себе слово посетить дорогой развалины Сагонты.

Eminet excelso consurgens colle Saguntus¹.

Сагонта построена на возвышенности. «Я взойду туда», — сказал я своему проводнику, который, намереваясь поспеть в этот день в Валенсию, жалобно вздохнул. В интересах своих мулов он с удовольствием уничтожил бы все древние памятники. Товарищем путешествия у меня был маленький аббат, считавший долгом пустить в ход свое красноречие в защиту проводника.

— Сеньор, — сказал он, — что вы там будете делать? Кроме развалин, ничего вы там не найдете.

— Конечно, но эти развалины говорят мне больше, чем самые красивые современные здания.

Аббат с удивлением посмотрел на меня. Проводник пожимал плечами и, невзирая на аббата, собирался ругаться, но вдруг увидел, что я сунул руку в карман. Я вынул из кармана экю.

— Вот, — сказал я, — поделите между собою этот экю.

— Вы *homme* (почтенный человек), — сказали оба, кланяясь мне.

— Это значит, что теперь нет затруднений для обозрения Сагонты. К тому же нет никакой необходимости ехать сегодня в Валенсию.

Амбразуры стен вполне сохранились, хотя их постройки доходят до Второй Пунической войны. Тут я увидел множество надписей, к несчастью, недоступных для меня, как и для многих других, хотя какой-нибудь Лакондамин или Сегье легко разобрали бы их. Аббат был удивлен волнением, которое обнаружилось на моем лице.

— Неужели вам неизвестна, — сказал я, — черта высокого подвига, осветившего эти развалины?

— Да, совершенно неизвестна.

— Вы никогда не открывали книгу?

— Я читаю только мой молитвенник.

— Здесь население древней Сагонты предпочло погибнуть в пламени, лишь бы не изменить римлянам, отдавая город Аннибалу.

— Вы ошибаетесь, сеньор, здесь нет Сагонты; это место всегда называлось Мурвиетро.

— Хотя это последнее имя происходит от латинского выражения *muri veteres* (древние стены) и таким образом устанавливает вполне точно древность, в которую вы не верите, — было бы, конечно, благоразумнее сохранить за новым городом имя Сагонты, но время — *tempus edax* — есть чудовище, пожирающее все: *Mors etiam saxis nominibusque* (смерть не

щадит ни камней, ни названий).

— Эта Сагонта, — глубокомысленно возразил проводник, — не имеет ли и в другом месте развалин?

— Почему этот вопрос?

— Потому, что мы бы отправились осматривать и их, и вы бы мне дали еще экую. — И он прибавил, ухмыляясь: — Если Ваша Милость так любит Сагонту, то надо бы вам поселиться в Мурвиетро.

— Сеньор, — воскликнул вдруг аббат, который, казалось, глубокомысленно размышлял, — я не понимаю, что вас могло так заинтересовать в Сагонте; что же касается меня, то я бы и даром не взял место, потерявшее даже свое название. Я, может быть, не так учен, как вы, но утверждаю еще раз, что это место всегда называлось Мурвиетро.

— Это не может быть, потому что такое название было бы бессмыслицей. Каким образом объясните вы, что был дан эпитет старого предмету, который вначале, по необходимости был новым? Это то же самое, что утверждать, что ваша Новая Кастилия не стара, по той простой причине, что ее называют Новой.

— И однако, несомненно, что Старая Кастилия древнее Новой.

— Как раз наоборот, господин аббат.

С этой минуты аббат, считая меня, вероятно, сумасшедшим, не обращался больше ко мне. Я искал, хотя бесплодно, изображение Аннибала, а также латинской надписи в честь императора Клавдия; зато я имел счастье наткнуться на остатки амфитеатра. На другой день, рано утром, мы направились в Валенсию. Если аббат упорно молчал, то проводник был болтун и в конце концов добрый товарищ. Он был вор, как и все люди его профессии; я помню, что он пустил в ход все чудеса своего красноречия, чтобы выманить у меня несколько лишних мараведи за ночь, проведенную на постоялом дворе.

— Но я же дал вам пол-экую.

— Это подарок щедрости Вашей Милости, а не плата долга.

Различие показалось мне весьма справедливым, и я раскошелился. Он заставил меня также купить кое-какие пустяки по дороге, пустяки весьма неудобные, которые я подарил ему тут же.

По дороге мы встретили постоянный двор, я хотел остановиться тут, чтобы освежиться, но проводник сказал с ужасом:

— Проклятый дом! Поедем дальше.

— Почему проклятый? — спросил я.

— Потому что тут есть duende (домовой).

— Кто вам это сказал?

— У меня есть глаза.

— Вы видели домового?

— До такой степени, что он съел у меня мула не далее как в прошлом месяце.

— Я думал, — сказал я серьезно, — что домовые не нуждаются в пище.

— Они едят, как настоящие черти; однако тот домовый, о котором я говорю, был в свое время красивым мужчиной.

— А! Значит, вы его знавали?

— Конечно! Во время своей земной жизни он был моим родственником Пересом.

— Странно; но зачем Перес бродит теперь на этом постоялом дворе и ест ваших мулов?

— Почему? Да ведь я вам сказал: потому что это проклятый дом, в котором не веруют в Nuestra Señora-del-Pilar, тут живут американские язычники; ихняя Богоматерь имеет лицо красное, между тем как наша — белая; вы ведь сами знаете это, сеньор.

— Совсем не знаю. Но зачем вы там остановились?

— Мне сказали, что лучше провести целую ночь на открытом воздухе, чем провести ее у этих проклятых gitanos (цыган). Перес появился и унес моего черного мула.

— Я уверен, что этот Перес унес мула, сев на него верхом.

— Во время своей жизни он злился на меня, потому что мой дядя в своем завещании

наделил меня больше, чем его. И все-таки нельзя сказать, чтобы Перес не имел добрых минут: поверите ли, сеньор, что даже у самой виселицы он думал о своем родственнике Хуанито.

— Значит, он умер?

— Конечно, умер, потому что его повесили.

— Хуанито, — сказал я, — вы не все рассказываете. Я уверен, что тело повешенного не было найдено на виселице.

— Как только он испустил дух, пришел черт, снял его и унес на своих рогах. С тех пор Перес сделался домовым и пожирает мулов.

Я спросил аббата, который, видимо, заинтересовался рассказом проводника, что он думает об этом странном веровании. Он отвечал мне серьезно и хладнокровно, что не имеет привычки оспаривать верования.

В тот же день, около одиннадцати часов, мы приехали в Валенсию. Я принужден был удовольствоваться скверной квартирой, потому что болонец Морескальки, антрепренер оперы, занял все лучшие квартиры для своих актеров и актрис, которых ожидали из Мадрида. Я пошел навестить его, и мы отправились осматривать город. Я предложил ему войти в кофейню, но он засмеялся. Во всей Валенсии, сказал он мне, не существует места, где бы иностранец мог прилично закусить или даже просто отдохнуть. Трактиры грязны; общество, собирающееся там, скверно и отвратительно; вино никуда не годно настоящий яд, как утверждают сами испанцы, которые, имея у себя хорошее вино, пьют в кофейнях только воду.

— Как! — сказал я, — в стране, производящей такое чудесное вино, в городе, соседнем с Аликанто и Малагой, нельзя найти сносного вина, и это потому, что торговцы, — везде мошенничающие, — отравляют его? Если у них есть какой-либо талант, то он заключается в том, чтобы из хорошего вина добывать скверное.

Валенсия — родина папы Александра VI, того знаменитого Борджиа, которого отец Пето, иезуит, называет поп — *adeo sanctus* (не слишком святой). В качестве туриста я осмотрел в городе все достопримечательное, но я далеко не разделяю избитых восторгов других туристов; это всегда бывает, когда видишь вещи вблизи и подробно. И действительно, Валенсия, находящаяся в чудесном месте, недалеко от моря, омываемая Гвадалавиаром, окружена прелестными видами, под небом всегда голубым и ярким; Валенсия, богатая самой роскошной растительностью, где находится резиденция архиепископа с духовенством, которого доход доходит до миллиона экю; Валенсия, имеющая многочисленное и почтенное дворянство и женщин, если не самых красивых, то самых остроумных в Испании, — все-таки остается неприятным местопребыванием для иностранца. Даже за большие деньги там нельзя достать самых необходимых вещей: скверные помещения, скверная пища, никакого развлечения. В редких собраниях дворянства говорят только о глупостях, потому что этот город, где нет университета, не включает в себе ни одного образованного человека. Что же касается самого города, его общественных зданий, его церквей, его ратуши, его биржи и арсенала, и его пяти мостов на Гвадалавиаре, и его двенадцати ворот, — все это нисколько меня не интересовало, потому что обозрение этих достопримечательностей обходилось ценой чрезвычайного утомления. Улицы не мощены, и в городе нет места для прогулки; правда, что, выходя за город, получаешь полное вознаграждение; окрестности Валенсии напоминают земной рай. Единственная вещь, понравившаяся мне в Валенсии, это средства передвижения. Множество маленьких экипажей в одну лошадь встречаются на всех улицах. Их берут или для прогулок за город, или для экскурсии на два или на три дня. Эти экипажи ездят до самой Барселоны, которая находится в расстоянии около пятидесяти лье. Без местных неудобств, я бы с удовольствием посетил провинции Мурсии и Гренаду, которых красота превосходит, говорят, красоту лучших местностей в Италии. Испанский народ как-то жалок! В самых благах, которыми наделила тебя природа, ты находишь причины своих несчастий! Красота твоей страны и ее богатства являются именно причинами твоей лени и твоей неспособности, подобно тому как

копи Мексики и Перу питали твою гордость и твои предрассудки. Вот мнение, которое на первый взгляд может показаться парадоксальным; нужно, читатель, подумать о нем. Кто сомневается, что Испания, нуждается в перерождении, которое может исходить лишь от иностранного нашествия — единственной-вещи, которая может разбудить в сердце всякого испанца патриотизм, готовый теперь потухнуть? Если Испания снова займет свое славное место в великой европейской семье, — то это случится только вследствие сильного и ужасного потрясения. Один лишь гром может разбудить этих людей.

Уведомленный о скором приезде донны Пеличии, я отправился навстречу ей далеко за город. Ее первое представление должно было быть на другой день, — что было не особенно трудно, потому что можно было давать только те оперы, которые игрались на придворных спектаклях. Граф Аранда не решился дать позволения играть оперу-буфф на иностранных театрах; это было бы слишком смелым нововведением, и инквизиция оказалась бы недовольной. Уже и маскарады, даваемые в Scannos del Poral, сильно ей не понравились, до такой степени, что года через два их пришлось запретить. Выйдя из кареты, донна Пеличия отправила банкиру Диего рекомендательное письмо, данное ей герцогом Аркосом. С Аранхуэца она не видала герцога. Мы были за столом, она, я и ее муж, когда доложили о приезде банкира.

— Сударыня, — сказал он, — считаю за особенную честь, что герцог адресовал вас ко мне; располагайте мною. Я, кроме того, должен вам сообщить приказы Его Сиятельства, но, может быть, они вам известны?

— Надеюсь, что рекомендация герцога не будет вам особенно в тягость.

— Нисколько. Его Сиятельство достаточно богат. Он приказал мне держать в вашем распоряжении 25 000 дублонов.

— 25 000 дублонов?

— Именно, сударыня. Потрудитесь прочесть сами письмо герцога.

В письме было три строчки: «Прошу Вас, дон Диего, вручить за мой счет синьоре Пеличии, по ее первому требованию, сумму в двадцать пять тысяч дублонов».

Все мы были очень удивлены этой историей. В Испании, однако, все это в порядке вещей; Испания — страна чудес. Я уже имел пример подобной же истории в поступке герцога Медино-Селла по отношению к г-же Пичона. В других местах, в Англии например, подобного рода любезности являются следствием тщеславия; в испанском сердце они имеют более чистый источник, желание услужить.

Когда банкир уехал, мы стали рассуждать о письме. Каждый искал причин, не находя их; и в сущности, вполне правдоподобных причин нельзя было найти. Пеличия была того мнения, что герцог хотел показать, что такое — его рекомендательное письмо. «Его Сиятельство, — прибавила она, — хотел мне этим доказать, до какой степени он считает меня неспособной злоупотреблять подобным доверием; вот почему я предпочту скорее умереть с голоду, чем воспользоваться хотя одним из этих дублонов». Муж полагал, что герцог будет оскорблен отказом и что, поэтому, лучше принять хотя часть этого подарка. Я счел нужным сказать, что середины в этом деле не может быть что необходимо или отказаться от всего, или все принять.

— Ну, так я от всего отказываюсь.

— Я убежден, — прибавил я, — что герцог, тронутый подобной деликатностью, будет считать своей обязанностью осыпать вас своими благодеяниями.

Дней через пятнадцать Пеличия возвратилась в Мадрид, не взяв ни одного дублона, чем банкир был, видимо, скандализован. Вскоре слухи об этом проникли в Мадрид и, как это всегда бывает, к ним был припутан довольно грязный комментарий. Король, посмотрев на дело серьезно и уже предвидя полное разорение герцога Аркоса, — приказал заявить синьоре, чтобы она немедленно оставила Мадрид. То же повеление было дано и Казаччи, из Лукки, фаворитке другого испанского гранда.

Этот последний, прощаясь с Казаччи, передал ей вексель на сто тысяч франков, которые она должна была получить в Лионе. Герцог же Аркос послал Пеличии сто золотых

дублонов на дорожные издержки и запечатанное письмо в банк Santo-Spirito в Риме. Пеличия тем более считала возможным принять этот подарок, что ей были известны вполне почтенные мотивы, которым подчинялся герцог, делая его. Что же касается письма, содержание которого ей было неизвестно, — она его узнала только в Риме, когда управитель банка Беллони отсчитал ей 25 000 римских эку.

Впоследствии уже я узнал, что на другой день после отъезда Пеличии король, встретив Аркоса в Прадо, советовал ему серьезно вылечиться от страсти, которая чуть не разорила его. «Ваше Величество — единственная причина всего, что совершилось, — отвечал Аркос, — вы заставили меня превратить в действительность то, что вначале было простой любезностью. Мы знали друг друга, я и донна Пеличия, только самым поверхностным образом, перекинувшись двумя-тремя словами в общественных местах. Я не делал ей никогда никаких подарков». — «Но ведь ты подарил ей 25 000 дублонов!» — «Да, Ваше Величество, но в действительности это случилось только позавчера; истина заключается в том, что если бы Ваше Величество не сочли нужным выслать эту певицу, то она не стоила бы мне ни одного мараведи».

Это был своего рода урок для короля, который, таким образом, узнал, насколько можно доверять городским слухам.

Однажды я присутствовал на бое быков, когда увидел на скамейке красивую молодую женщину, очень хорошо одетую. На мой вопрос сосед отвечал мне:

— Это знаменитая Нина!

— Почему знаменитая?

— Если ее история вам неизвестна, то она слишком длинная, чтобы я мог рассказать ее вам здесь.

Спустя несколько минут какой-то господин, прилично одетый, подошел к моему соседу и сказал ему на ухо несколько слов; сосед объявил мне, что донья Нина желает знать, кто я такой? Тогда, обращаясь к посланцу, я сказал ему, что если эта дама позволит, я буду иметь честь засвидетельствовать ей свое почтение после представления.

— По вашему произношению видно, милостивый государь, что вы итальянец.

— Да, я из Венеции.

— Синьора Нина тоже из Венеции. — И, отозвав меня в сторону, он прибавил: — Синьора Нина — танцовщица, в которую очень влюблен граф Риела, главный управитель Каталонии; вот уже несколько недель, как она живет в Валенсии, под специальным покровительством графа.

— Почему же она не в Барселоне, вместе с Его Сиятельством?

— Потому что епископ требовал ее удаления из этого города.

— Эта дама широко живет?

— Конечно; граф выдает ей ежедневно пятьдесят дублонов; но несмотря на все ее безумства, она не может потратить все эти деньги.

— В Валенсии, конечно.

Польщенный тем, что эта дама меня отличила, я с нетерпением ожидал окончания спектакля.

Когда зрители стали уходить, я отправился к этой прекрасной даме. Она отвечала на мой поклон грациозной улыбкой и фамильярно взяла меня под руку. Я довел ее до экипажа, везомого шестью превосходными мулами; когда я прощался с ней, она пригласила меня к завтраку на другой день. Понятно, что я не запоздал к назначенному часу. Нина жила в прекрасном доме, обставленном дороною мебелью, с лакеями в ливреях, с неслыханною роскошью повсюду, но все без малейшего вкуса. Протискиваясь с некоторым трудом сквозь толпу полудюжины служанок, элегантно одетых, я услышал громкий голос, доносившийся из соседней комнаты: это был голос моей красавицы. Она осыпала бранью купца, явившегося к ней с уборами. После первых приветствий на итальянском языке, и более чем фамильярных, она потребовала моего мнения относительно кружев, которые этот болван испанец, — как она его называла, показывая на него пальцем, — хотел продать ей как очень дорогие

кружева. Я отказывался, ссылаясь на мое невежество в этом деле, и прибавил, что в такого рода предметах дамы — более тонкие судьи, чем мужчины. «Этот болван придерживается другого мнения, — отвечала она, — так как он не хочет со мной согласиться». — Тут купец несколько рассердился и сказал ей довольно грубо, что если кружева не нравятся ей, то их можно оставить для других. «Никто не будет носить подобных тряпок», — возразила Нина, и, говоря это, она схватила ножницы и разрезала на клочки кружева. Купец смотрел на нее и улыбался; но нечто вроде чичисбея, сопровождавшего ее вчера на бое быков, заметил, что жаль уничтожать такие прекрасные вещи. «А тебе какое дело, музыкант!» (Этот чичисбей был некий Молилари, гитарист по профессии, болонец и интриган.) «Сударыня, — отвечал он, — в Барселоне вы уже приобрели репутацию взбалмошной; что подумают о вас жители Валенсии?» — «А тебе-то что, болван?» — и тут же она надела его звучной пощечиной. Молилари не сдался и обругал ее таким словом, которое не употребляется в приличном обществе. Поверите ли? Нина расхохоталась и, обращаясь к купцу, очень удивленному этой сценой, сказала: «Сделай счет». — Купец, человек ловкий, знающий, что вспыльчивость не рассуждает и не рассчитывает, прикрасил свой счет надлежащей цифрой, и синьора, подписавши, выгнала от себя купца, закричав ему: «Отправляйся к черту или к моему банкиру». Лицо этого почтенного господина, очень хорошо выражающее удовольствие по поводу сделки и неудовольствие по поводу ругательств, было чрезвычайно комично. Молилари вышел вместе с ним, избегая, вероятно, подобных же ругательств.

Как только мы остались одни, синьора приказала подать шоколад. Я не знал, как себя держать. Я был удивлен и в то же время ощущал непреодолимое желание смеяться. — «Не удивляйтесь, — сказала она мне, — тому, что я так обращаюсь с гитаристом. Это мерзавец, которого граф Риела поставил при мне в качестве шпиона. У меня есть цель обращаться с ним таким образом; ругательства, которыми я его осыпаю, позволяют ему зарабатывать деньги; без этого что стал бы он доносить своему господину? Его обязанность превратилась бы в настоящую синекуру».

Странная женщина, подобной которой я не встречал еще в моих скитаниях! Она рассказала мне свою биографию, в которой не было ничего интересного, за исключением, может быть, тона, в котором она ее рассказывала. Она была дочерью некоего Паланди, известного шарлатана, с которым я, должно быть, был знаком и который, если не ошибаюсь, продавал разные снадобья на площади Св. Марка... После этой исповеди Нина простилась со мной, приглашая меня к себе на ужин. «Я очень люблю ужинать, — прибавила она, — мы выпьем».

Эта женщина по наружности была действительно обольстительна, но я всегда думал, что одна красота не может внушать любви. Я никак не мог понять, каким образом мог влюбиться в такое существо вице-король Каталонии. Читатель видит, что Нина, несмотря на свою красоту, не вскружила мне голову, тем не менее, в сумерки я отправился к ней, из любопытства. На дворе был уже октябрь месяц, а между тем было так тепло, как в Италии в августе. Синьора была в саду со своим чичисбеем. До ужина Нина рассказывала мне скандальные анекдоты, в которых она играла главную роль, а между тем ей было всего двадцать два года! Наконец, мы засели за стол. Блюда были прекрасны, вино чудесно. Неприличные разговоры возобновились, но, не чувствуя себя в ударе, я после ужина раскланялся. Провожая меня, она сказала:

— Вы чем-то озабочены, точно наперсник в трагедии. Я не люблю чтобы со мной церемонились; не забывайте этого. Завтра вечером я буду ждать вас.

— Никак невозможно. Я уже взял место в карете и уезжаю завтра из Валенсии.

— Ошибаетесь, вы уедете только через неделю, когда и сама я отправлюсь в Барселону.

— Спешные дела...

— Ну так что же? Повторяю вам, вы не уедете. Не возражайте...

Тем не менее, я удалился с твердым намерением уехать из Валенсии во что бы то ни стало.

На другой день вечером я явился к ней с визитом, который должен был быть

последним. Она встретила меня с аффектированной грустью.

— Молилари, — сказала она, — болен. Мы будем ужинать вдвоем, потом поиграем в карты: говорят, что вы известный игрок; посмотрим. Потом мы погуляем в саду, а завтра...

— Завтра, сударыня, я принужден буду уехать.

— Разговаривайте.

— Мое место взято на семь часов утра.

— Как бы не так! Я подкупила ветурино; его экипаж — в моем распоряжении на целую неделю: вот его расписка.

Все это было сказано с легкой, любезной настойчивостью, которая понравилась мне. Что было делать? Однако благоразумие требовало быть настороже. Я ей сказал:

— Ваш шпион донесет графу Риела, что мы ужинали вдвоем.

— Тем лучше.

— То есть, тем хуже.

— Вы, может быть, находите, что это компрометирует вас, или, может быть, вы трусите?

— Если я трушу, то за вас; я бы не желал быть причиной разрыва, невыгодного вам.

— Это очень деликатно, но успокойтесь. Чем более я бешу старого графа, тем более он меня любит, и каждое из наших примирений стоит ему очень дорого.

— Значит, вы его не любите?

— Я его люблю? За кого же вы меня принимаете? Человека, который меня содержит!

— Который осыпает вас подарками, выказывает вам всякого рода почтение...

— Этим он удовлетворяет свою страсть...

— Вас будут считать неблагодарной.

— А какое мне дело до мнения других? Я люблю графа... разорять. К несчастью, он так богат, что этого, кажется, невозможно достигнуть.

Она приказала принести карты, и мы стали играть в примере, азартную игру, до такой степени сложную, что какие-либо расчеты невозможны. Я проиграл двадцать пистолей, которые отдал с неудовольствием, вследствие печального состояния моих финансов. Нина взяла деньги, смеясь, советуя мне отыграться. Затем мы отлично поужинали. Весь следующий день я провел с нею, и мы опять принялись за игру в карты. В несколько дней мой кошелек пополнился тремястами пистоллями, а в них я весьма нуждался.

Наконец, синьора получила от графа известие, что может безопасно приехать в Барселону. Король приказал епископу считать Нину лицом, служащим в городском театре; она могла провести там целую зиму, соблюдая лишь приличие. Передавая мне это известие, Нина прибавила: «Теперь вы можете уехать; не забудьте приходить ко мне всякий вечер в Барселоне. Но являйтесь после десяти вечера- это час, в который граф освобождает меня от своего присутствия». Весьма вероятно, что я бы не воспользовался этим приглашением, если бы не пистолы, которые синьора проигрывала с такою легкостью. Я выехал из Валенсии днем раньше ее, и въехали мы в Барселону каждый отдельно. Я остановился в гостинице Санта-Мария. Хозяин гостиницы был извещен о моем приезде, принял меня чрезвычайно любезно и сообщил мне таинственно, что получил приказ ни в чем мне не отказывать. Этот поступок синьоры был весьма неблагоразумен. Хозяин, правда, имел вид человека весьма опытного в подобного рода проделках, но все-таки Нина была покровительствуема графом, который имел в своем распоряжении всю полицию. Было весьма вероятно, что этот вельможа не любит шуток над собой. Сама Нина описывала его как человека с характером порывистым, ревнивым, мстительным. Хозяин сказал мне, что в моем распоряжении находится карета. Я его спросил, кто об этом позаботился?

— Донья Нина, — отвечал он, улыбаясь.

— Я очень удивлен, — отвечал я, — всем этим. Для моего кошелька это слишком дорого.

— Все уплачено. — Этого я не допущу. — Во всяком случае, я ничего не возьму с вас.

Это заявление заставило меня задуматься и внушило мне мрачные предчувствия. У

меня было рекомендательное письмо к дону Мигуэлю де Севалос, который, на третий день моего приезда, представил меня вице-королю. Граф был низкого роста, он был грубоват по манерам. Принял он меня стоя, чтобы не быть принужденным посадить меня. Я обратился к нему по-итальянски, а он отвечал мне по-испански, что выходило очень смешно. Зная, что он очень тщеславен, я во время моего визита наделял его титулом светлости. Он много говорил о Мадриде и об развлечениях, доставляемых столицей, из чего я заключил, что Барселона не блещет в этом отношении. Он жаловался на Мочениго, который, вместо того, чтобы проехать через Барселону, как граф советовал ему, направился прямо на Бордо. Его Светлость пригласил меня к обеду, — приглашение это было мне тем приятнее, что доказывало, что мое знакомство с Ниной было ему неизвестно. Прошла уже целая неделя с тех пор, как я не видал синьоры, а так как мы условились, что я явлюсь к ней только тогда, когда она предупредит меня об этом, — то никак не мог объяснить себе ее молчания. Наконец, я получил от нее записку: она назначала свидание после десяти часов. Наше свидание было церемонно: сдержанность, обнаруженную ею, я объяснил себе присутствием ее сестры, женщины лет сорока. В сущности, я не чувствовал никакого влечения к Нине, но считал все же неловким прекратить свои визиты. Небольшое обстоятельство, однако, должно было бы заставить меня понять, что эти визиты — рискованное дело. Как-то я спокойно прохаживался по городу, как вдруг подошел ко мне какой-то офицер.

— Милостивый государь, — сказал он мне, — я должен поговорить с вами о предмете, нисколько до меня не касающемся, но интересующем вас в высшей степени.

— Объяснитесь...

— Вы иностранец и, может быть, мало знакомы с испанскими нравами; поэтому вы не знаете, чем рискуете, бывая каждый вечер у синьоры Нины после ухода вице-короля.

— Чем же я рискую? Графу известны мои визиты, и, вероятно, он не имеет причины быть этим недоволен.

— Вы можете ошибиться. Граф знает, что вы бываете у синьоры Нины; если он не выражает ей своего недовольства по поводу этих визитов, то потому, что боится ее гораздо больше, чем любит. Но знайте, что истинный испанец не может любить, не ревнуя. Поверьте мне, в интересах вашей безопасности прекратите ваши визиты.

— Благодарю вас за совет, но не могу последовать ему, это значило бы заплатить грубой неблагодарностью за расположение, выражаемое мне этой дамой.

— Итак, вы будете продолжать ваши визиты?

— До тех пор, пока граф не найдет нужным дать мне понять, что эти визиты ему не нравятся.

— Граф этого никогда не сделает из гордости.

И офицер с этими словами удалился. Четырнадцатого ноября, явившись к Нине, я вижу возле нее какого-то господина подозрительного вида, который показывал ей миниатюрный портрет; этот господин был не кто другой, как бесчестный Пассано, имя, находящееся, к несчастью для меня, почти на каждой странице моих мемуаров. Кровь бросилась мне в голову, но я удержался. Я сделал знак Нине последовать за мною в другую комнату, и там я просил ее немедленно прогнать этого господина. Нина отвечала, что это — живописец, который желает нарисовать ее портрет. «Это — негодяй, которого я хорошо знаю, повторяю вам; прогоните его или я уйду». Нина позвала свою сестру и поручила ей это дело. Приказ был исполнен: Пассано ушел в бешенстве, сказав мне, что я «раскаюсь». И действительно, я раскаялся, как читатель сейчас увидит. Двери дома синьоры вели в узкий и темный проход, проход, через который нужно было пройти, чтобы очутиться на улице. Была полночь. Я простился с дамами и не успел сделать двадцати шагов по этому проходу, как меня схватывают за платье. Я освобождаюсь от моего противника сильным ударом руки и быстро отскакиваю назад, схватываю свою шпагу и наношу сильный удар другой личности, которая с палкой в руках готова была броситься на меня; затем быстро перескакиваю через стену и оказываюсь на улице. Выстрел из пистолета, почти у самого моего уха, заставляет меня бежать, но впопыхах я падаю и, вставая, забываю поднять свою шляпу. Взбешенный, со

шпагой в руке, прибегаю к себе и рассказываю приключение моему хозяину. В то же время с удовольствием убеждаюсь, что не ранен; до этого недалеко было, потому что мое платье было пронизано двумя пулями.

— Дело скверное, — сказал мне хозяин, покачивая головой.

— Весьма вероятно, что я убил одного из этих разбойников, но, по крайней мере, будет известно, что я сделал это, защищаясь. Посмотрите на мое платье: это — для вас ясное свидетельство.

— Лучше было бы вам оставить Барселону.

— Уж не думаете ли вы, что я лгу?

— Да сохранит меня Бог от этого. Я верю всему, что вы мне рассказали, и потому-то советую вам бежать.

— Я ничего не боюсь и остаюсь.

Однако утром случилось обстоятельство, не понравившееся мне. Моя постель была окружена сбирами: захватывают мои бумаги, арестуют меня самого, и вот я в крепости; меня вводят в каземат, приносят мне кровать, отдают мне мой плащ, затем замок щелкает, и я остаюсь один на один с моими мыслями. Я, конечно, увидел связь между ночной атакой и моим заключением в военной тюрьме. Что предпринять? Писать к Нине или ожидать? Я останавливаюсь на этом последнем решении. За деньги я приказываю принести себе хороший обед и съедаю его с аппетитом, несмотря на мои несчастья. В течение двух дней со мной ооращаются довольно порядочно. Мой кошелек был мне возвращен, и в нем находилось триста дублонов. Бывают люди более несчастные.

На третий день, посмотрев в окно, похожее на дыру, просверленную в стене, я вижу во дворе негодяя Пассано, который мне кланяется с иронической улыбкой. Это обстоятельство объяснило мне все. Итак, вот кто донес на меня! Было очевидно, что он играл роль в ночном нападении. Но каким образом Пассано мог попасть на двор тюрьмы? Он фамильярно разговаривал с офицером и как будто приказывал солдатам.

Часов в девять вечера офицер с печальным видом входит в мою тюрьму.

— Потрудитесь следовать за мной, милостивый государь.

— А что такое?

— Вы сейчас это узнаете.

— Но куда вы хотите меня вести?

— На гласис.

Я последовал за ним. Холод был довольно пронизывающий, шел мелкий снег-обстоятельство редкое в Испании, где обыкновенно осень тянется до декабря. Как только мы пришли, солдат попытался снять с меня плащ, который я взял на всякий случай. Я не даю, и солдат говорит мне взволнованным голосом:

— В нем вы больше не будете нуждаться.

Эти слова привели меня в трепет. Я поднимаю глаза и вижу против меня, на некотором расстоянии, — ужасное зрелище! — шесть или восемь солдат, вытянутых в линию с ружьями наготове. Черные, громадные стены крепости придавали особенный трагизм всей этой сцене. При свете нескольких фонарей я видел, как готовились к моей казни, ибо не было сомнения, что меня расстреляют. Я похолодел от ужаса, и в то же время мое сердце трепетало от негодования. Вследствие какого презрения к закону меня хотят казнить без всякого расследования моего преступления? Погруженный в эти размышления, я облокотился у стены, как вдруг офицер, который, казалось, был так же взволнован, как и я, подошел и спросил меня, не имею ли я сделать каких-либо распоряжений и что он готов их выполнить. Услыхав эти слова, которые так ясно указывали на то, чем все это кончится, я прихожу в бешенство, энергически протестуя против убийства и, возвышая голос, делаю ответственными перед Богом за мое убийство всех тех, которые совершат его. Одним словом, я окончил тем, что потребовал священника. Тогда какой-то господин, с лицом, закрытым плащом, подошел к офицеру и сказал ему несколько слов на ухо. Тот взял меня за руку и повел в другую тюрьму, похожую на погреб, вымощенную камнем, получающую

сверху немного воздуха, — истинную могилу, в которой он и оставил меня как бы заживо погребенным, под стражею нового тюремщика. Этот человек, который всей своей внешностью вполне гармонировал со своими обязанностями, заявил мне, что нужно требовать необходимую мне пищу раз в день, ибо никто, за исключением его, прибавил он, не может входить в мою тюрьму, которую он назвал Калабоцо. Это заявление освободило меня от смертельного беспокойства. В моем положении эта отсрочка на двадцать четыре часа была достаточна для моего спасения.

— Я желал бы видеть священника, — сказал я тюремщику.

— Зачем он вам нужен?

— Разве не должен я приготовиться к смерти?

— Никогда священник не входил сюда; эта тюрьма не предназначена для приговоренных к смерти.

— Разве неизвестна вам сцена, предшествовавшая моему переходу сюда?

— Я знаю только, что мне не было дано никаких приказаний, которые обыкновенно даются по отношению к приговоренным к смерти. Лучшее доказательство заключается в том, что руки и ноги ваши свободны и что мне приказано снабжать вас за ваши деньги всем, что вы пожелаете.

— Вы, значит, были предупреждены о моем прибытии?

— Сегодня утром.

Итак, вся описанная мною сцена была лишь комедией казни; все это, вероятно, устроил Пассано, так как невозможно предположить, чтобы вице-король был причастен к такой пытке.

— Если, — сказал я тюремщику, — вы получили приказание доставлять мне все, в чем я нуждаюсь, то прежде всего вы мне добудете книг.

— Невозможно! Это запрещено.

— В таком случае дайте мне бумаги, перьев и чернила.

— Только бумаги, ибо не позволено писать.

— По крайней мере, не могу ли я иметь карандаш для архитектурных рисунков?

— Карандаш — сколько угодно.

— Вы доставите мне также свечку?

— Нет; вот лампа, которая горит день и ночь; этого вам достаточно.

— Все эти запрещения исключительно ли касаются меня?

— Нет, это правила тюрьмы.

— А ваши обязанности принуждают вас быть в моем обществе?

— Нет. У меня ключи от вашей тюрьмы, и я ответствен в том, что вы не убежите; вот и все. Кроме того, вы будете находиться под стражей часового, который стоит у дверей; если хотите, вы можете разговаривать с ним через отверстие.

— В чем заключается пища заключенных?

— В хлебе и воде, но им позволяется требовать какие им угодно блюда, при выполнении известных формальностей. Так, я должен осматривать дичь, пироги и прочее.

После этого тюремщик ушел, проповедуя мне терпение, как будто бы оно зависит от нас. Однако слова тюремщика успокоили меня, и, привычный к подобного рода приключениям, я свободно заснул. На другое утро я аппетитно позавтракал в присутствии моего тюремщика, который аккуратно втыкал вилку во все блюда, чтобы увериться, не скрыты ли там письма. На мое приглашение разделить со мной завтрак он отвечал, что характер его обязанностей не позволяет ему принять мое предложение.

В этой башне я прожил сорок три дня. Там я написал карандашом мемуар: «Полная критика истории Венеции, написанной Амело» *; в этом мемуаре я оставил нужные места для цитат, так как текста разбираемого сочинения у меня не было. Двадцать восьмого декабря тот же офицер, который арестовал меня, заявляется и приказывает мне одеться и следовать за ним. Он сопровождает меня до суда, где какой-то чиновник вручает мне мой чемодан и мои бумаги; он возвращает мне также мои три паспорта, которые, прибавляет он,

действительны.

— Не для проверки ли этого обстоятельства меня продержали сорок три дня в тюрьме?

— Только для этого, милостивый государь; но теперь вы оправданы. Однако вам не дозволяется оставаться в Барселоне. У вас есть три дня, чтобы подготовиться к отъезду.

— Я не хочу знать, кто тайный и сильный враг, преследующий меня, но это поведение позорно, согласитесь с этим. Даже явный негодяй имеет право оправдываться, а мне и в этом было отказано.

— Вы ошибаетесь; вы можете жаловаться в мадридский совет.

— Настоящий опыт достаточен для меня; да сохранит меня Бог прибегать к испанскому правосудию. Я еду во Францию.

— Доброго пути!

— По крайней мере, вы на бумаге дадите мне приказ о выезде?

— Это бесполезно. Я — Эммануил Бадилло, секретарь в администрации. Вас проводят в гостиницу Санта-Мария: там вы найдете все ваши вещи; затем вы будете свободны, а завтра получите паспорт.

Явившись в гостиницу, я получил мое платье и шпагу, так же как и шляпу, которую я уронил при моем падении, — странная находка, тем более что моя комната была открыта только для полиции. Мне передали также пять или шесть писем по моему адресу и не вскрытые — новое доказательство, что мое заключение было результатом личной мести. Я хотел рассчитаться с хозяином перед отъездом, но он мне отвечал обычной формулой:

— Все уплачено, так же как и ваши предполагаемые издержки в течение трех дней.

— Кто заплатил? — Вы и сами знаете — кто. — Моя история известна в городе? — Да. — Что говорили? — Разное; вы рассердитесь, если я стану передавать. — Рассержусь? Какое мне дело до общественного мнения? Дураки создают его и только дураки и боятся его.

— В таком случае, я вам скажу, что уверяют, будто выстрел из пистолета принадлежал вам и что вы убили какого-нибудь кролика, чтобы окровавить вашу шпагу, ибо не было найдено ни трупа, ни раненого в месте, указанном вами.

— Странно. А шляпа?

— Говорят, что шляпу нашел какой-то сбир.

— Вы доверчивы. Но объясняют ли, по какому поводу меня посадили в тюрьму?

— Тут говорят разное: по мнению одних, ваши бумаги были не в порядке, по мнению других, вы были любовником синьоры Нины.

— Вы сами можете засвидетельствовать, что это клевета.

— Последуйте моему совету: не возвращайтесь никогда к этой даме.

— Будьте покойны.

Я узнал, что Нина во всеуслышание хвасталась тем, что давала мне деньги и даже призналась графу Риела, что я был ее любовником. В тот же вечер я доставил новый случай для городских сплетников. Я приказал хозяину взять для меня ложу в Опере. Объявленное представление должно было быть блестящим, но за час до открытия спектакль был отменен по болезни двух певцов; представление должно было возобновиться только второго января. Этот приказ мог выходить только от вице-короля; я его принял на свой счет, как и весь город.

Барселону я оставил в последний день 1768 года, направляясь на Перпиньян. Я странствовал в хорошей карете, медленно, останавливаясь на постоялых дворах только на обед. На другой день после моего отъезда из Барселоны кучер спрашивает меня: нет ли у меня врагов в Барселоне?

— Почему вы меня спрашиваете об этом?

— Потому что вчера трое людей подозрительного вида не теряли вас из виду. Они провели ночь на том же постоялом дворе, что и вы; эти люди избегают разговаривать с другими и, вероятно, готовятся к нападению.

— Но что делать, чтобы избежать этого нападения?

— Теперь они впереди нас на три четверти часа; мое мнение — выехать несколько

позднее и остановиться на ночлег на постоялом дворе, находящемся в стороне от обыкновенной станции, где эти разбойники, конечно, будут нас ожидать. Если они возвратятся, то это будет доказательством, что они следят за нами.

Я последовал совету моего кучера и остановился на указанном постоялом дворе. Разбойников мы там не отыскивали. Я начал уже успокаиваться, как вдруг, посмотрев случайно на двор, увидел их у двери в конюшню. Трепет пробежал по всему моему телу. Я приказал моему слуге не выказывать никакой подозрительности и прислать ко мне кучера, как только эти люди заснут. Кучер скоро пришел. Он настаивал на том, чтобы немедленно же уехать. «Я разговаривал, — сказал он, — с этими негодями и уверен, что они хотят убить вас. Воспользуемся их сном, чтобы удалиться; мы очень близко от границы; я знаю проселочную дорогу, которая приведет нас туда в несколько часов».

Конечно, если б у меня было два вооруженных проводника, то я бы не обратил внимания на этот совет, но в моем положении, с одним лишь пистолетом и шпагой, как защищаться против трех убийц, которых вид обнаруживал смелость и решительность, которые были отлично вооружены? Мы собрались наскоро. В шесть часов мы проехали одиннадцать лье, так что разбойники, вероятно, еще спали; ночью мы въехали на французскую территорию. Я тогда и не подозревал, кто поручил этим людям убить меня...

Приехав в Перпиньян, я рассчитался с моим слугой. На другой день я ночевал в Нарбонне, а на следующий день в Безье. Положение этого последнего города — прелестно и пребывание там обворожительно. Жители остроумны, пьют там хорошо. То же самое я скажу и о Монпелье. По Ниму я только проехал, спеша приехать в Экс, где я нашел многих друзей.

Адмирал Орлов.

И вот я в Эксе, в гостинице Трех Дофинов. Там я нашел испанского кардинала, отправлявшегося в Рим на конклав для выбора нового папы, вместо Рецоннико (Пия V), который только что скончался. Моя комната была отделена от комнаты Его Святейшества только простой загородкой, так что я не пропустил ни одного слова, сказанного в его комнате. Таким образом я сделался невидимым свидетелем сцены, разыгравшейся между прелатом и его интендантом. Кардинал бранил интенданта за его жульничество. «Вы обращаетесь, — говорил он ему, — с моими людьми, точно со скотом; все подумают, что я — нищий. Что это значит? Здесь мы издерживаем вчетверо меньше, чем в Испании».

— Монсеньер, в этой стране нет никаких возможностей издерживать больше. Хорошая пища здесь дешева.

— В самом деле? При этих условиях хорошая пища должна опротиветь.

— Прикажете, чтобы я заставил хозяина требовать двойную цену зато, что мы берем для вашего стола, роскошно сервированного дичью, птицей, рыбой и прочим?

— В таком случае я требую, чтобы вы заказывали обеды во всех местах, через которые мы будем проезжать; за них вы будете платить, но ими мы не будем пользоваться. Вы будете их заказывать на двенадцать человек.

— Но нас только десять.

— Все равно. Кроме того, вы будете больше давать на чай почтальонам. Вы им будете бросать по одному экю. Приходится краснеть, право. Помните также, что не должны принимать сдачи с золотой монеты, данной вами. Хорошую репутацию создаете вы мне своим жульничеством! В Мадриде, в Версале, в Риме будут говорить, что кардинал де ла Серда — скряга.

Все испанские гранды — того же покроя. Кардиналу де ла Серда в то время было лет шестьдесят от роду. Он был низкого роста, с маленькими серыми глазками, с выдающимся носом, смешной с виду. Благодаря его полноте, его можно было принять за Санчо Пансу в кардинальском костюме.

Маркиз д'Аржан жил в окрестностях Экса в доме своего брата, маркиза д'Эгиля,

президента парламента. Он был известен своей дружбой с Фридрихом Великим благодаря своим сочинениям, которых теперь уже никто не читает. Это был старец, почти впавший в детство, но все еще весьма чувствительный к земным наслаждениям. Истинный эпикуреец, он проводил дни безоблачные в объятиях актрисы Кошуа, на которой женился. Если принять во внимание различие в условиях, этот союз походил на союз Жан Жака Руссо с Терезой. Кошуа, хотя и законная супруга, считала себя слугою старого маркиза. Благодаря рекомендации, полученной мною от милорда маршала, он принял меня отлично и представил меня своему брату. Никогда еще не приходилось мне видеть двух человек настолько различных по характеру и наклонностям, как эти два брата, и, однако, их братская дружба была невозмутима. Ничто не затмевало их дружбы, даже религиозные споры. Президент был ханжа и до такой степени преданный приверженец иезуитов, что его называли не иначе как «короткой сутаной». Маркиз д'Эгиль говорил о своем брате всегда с чувством самой нежной привязанности. Он оплакивал его грехи, жалел его ослепления, рассчитывая на его раскаяние и моля небо об этом. Но добрый президент удовлетворялся только пожеланиями, оставляя заботы и управление домом д'Аржану, который знал толк в этом. Роскошный стол, концерты, любительские спектакли, все удовольствия были к услугам гостей. За обедом ежедневно было около тридцати человек приглашенных. Беседа самого лучшего тона, без насмешек, но и без ригоризма, хотя никогда не касались любви. Когда, случайно, маркиз затрагивал несколько деликатный сюжет, дамы закрывали свое лицо, а домашний духовник спешил дать другой оборот разговору. На первый взгляд нельзя было принять этого духовника за то, что он был в действительности — за иезуита. Он по внешности похож был на галантного аббата, но известно, что «платье не составляет еще монаха» (*Phabit ne fait pas le moine*). Я имел случай убедиться в этом. Меня расспрашивали о моем путешествии по Испании, и я рассказал анекдот о скверно измалеванной мадонне в капелле San-Geronimo. Хотя мой рассказ был сделан в самых умеренных выражениях, строгий духовник нахмурил брови и прервал меня, спросив, как в Италии называется пирог, который в это время подавали. «Una crostata», отвечал я, — однако я не сумею назвать вам те яства, из которых составлена начинка (*beatilles*, от слова *beat*- ханжа)». — Все громко расхохотались, за исключением иезуита, при слове *beatilles*. «Неприлично, — воскликнул он, — насмехаться над выражением, которое относится к людям набожным». Потом, благодаря легко понятной ассоциации идей, иезуит спросил меня, кто из кардиналов, по моему мнению, будет избран папой.

— Ганганелли; это единственный кардинал, находящийся в монашестве.

— Почему же вы думаете, что святая коллегия изберет монаха?

— Это единственное средство удовлетворить требованиям испанского правительства.

— Вы говорите об уничтожении ордена иезуитов? Этого никогда не достигнет мадридское правительство.

— Желаю этого, ибо я люблю иезуитов, моих учителей, но боюсь, что они скверно кончат. Во всяком случае, Ганганелли будет папой также и по другой причине, которая, может быть, покажется вам смешною, но которая, тем не менее, весьма серьезна.

— По какой причине?

— Он — единственный кардинал, носящий парик, а вы согласитесь со мною, что никогда еще у нас не было папы в парике.

— Выбор святой коллегии всегда обуславливался важными причинами. Может случиться, что большинство враждебно нашему ордену, но никогда папа не посмеет его уничтожить.

— Вы как будто забываете основной принцип вашего ордена.

— Потрудитесь мне напомнить его.

— Принцип заключается в том, что папа- все и даже больше.

При этом иезуит, весь красный от злости, встал из-за стола. Я только тогда догадался, что нажил себе нового врага. В тот же вечер на замковом театре должен был быть Дан «Полиевкт», но я распрощался с обществом. Я бы на другой же день уехал в Марсель, но

один молодой поляк, по имени Шусловский, родственник маркиза д'Аржана, доставил мне различного рода знакомства в Эксе. Мы весело провели вместе карнавал; я говорю: весело, забывая, что в Великом Посту я жестоко поплатился за все эти удовольствия.

Спустя девять дней после вторника, на масленице, проспав шесть часов, я проснулся совершенно больным. Болезнь быстро развилась и достигла до такой степени, что окружающие считали нужным призвать священника. Мое выздоровление было продолжительным: неизвестная женщина, немолодая и некрасивая, все время ухаживала за мной. Вознаграждая ее деньгами, я спросил, кто прислал ее ко мне. «Ваш доктор», — ответила она.

Через несколько дней я поблагодарил доктора за такую хорошую сиделку. — «Она обманула вас, — сказал он, — я не знаю ее». Моя хозяйка, которой я также говорил о сиделке, ответила мне то же самое. Одним словом, эта женщина никому не была известна. — Кто же прислал ее? Я это узнал только после моего отъезда из Экса.

Как только я выздоровел, я отправился на почту за письмами. Одно из них, из Парижа, было от моего брата, в ответ на мое письмо, в котором я говорил о приезде своем в Перпиньян. Брат поздравлял меня с тем, как ловко я улизнул от убийц. Он писал мне: «Слух о твоей смерти прошел и здесь; это было мне сообщено одним из твоих лучших друзей, графом Мануччи, служащим в венецианском посольстве».

Таким образом, благодаря этому промаху сам Мануччи указывал на себя, как на двигателя всей этой мерзкой попытки. Этот милый друг слишком далеко подвинул свою месть, но принялся за дело очень неловко. Когда впоследствии я встретил его в Риме, я его стал упрекать в этом недостойном поступке. Он нахально отрицал свое участие и настаивал на том, что слух был сообщен ему из Барселоны.

С маркизом д'Аржаном я увиделся только перед самым отъездом. У нас был разговор, тянувшийся три часа и посвященный исключительно его великому другу, королю прусскому. Я подарил маркизу экземпляры «Илиады» и «Энеиды». «Илиада», обогащенная схольями Порфира, была редким экземпляром, в богатом переплете. Д'Аржан в свою очередь по-дарил мне собрание своих сочинений. Когда я его спросил: могу ли надеяться, что буду иметь полное их собрание, он ответил мне:

— У вас есть все, что я написал, за исключением мемуаров, относящихся до моей юности, — мемуаров, которые были мною сожжены.

— Отчего?

— Оттого, что вследствие моей любви к правде я бы стал смешным в глазах всех.

— А если мне, Казанове, придет охота когда-либо приподнять завесу, скрывающую мою жизнь, — что бы вы сказали?

— Я бы сказал вам, что вы напрасно это делаете: в подобной публикации вы можете только раскисать. Человек, который таким образом добровольно становится на подмости, рискует весьма многим. Не говоря уже о том, что его честь постоянно страдает, он подвергается, кроме того, бесчисленным оскорблениям своему самолюбию. Мемуары, в которых автор не говорит всей правды, ничего не стоят, а кто посмеет сказать ее?

— Я посмею.

— Берегитесь; все ваши признания не пойдут на пользу правде, следовательно и в пользу истинной нравственности; но из них сделают оружие против вас. Похвалам, которые вы себе будете расточать, не поверят, а все то худое, что вы скажете о себе, — будет преувеличено. И кроме того, вы себе наделаете множество врагов.

— Я многих не буду называть.

— Этим немного выиграете. Они будут угаданы, да и сами они разве не узнают себя? Поверьте мне, не следует говорить о себе, еще больше не следует делать себя героем книги и таким образом становиться на пьедестал.

Убежденный в справедливости этих замечаний, я обещал маркизу, что никогда не сделаю подобной глупости. И однако, делаю ее ежедневно, в течение вот уже семи лет, даже больше: я пришел к мнению, что обязан это сделать, как бы потом я в этом ни раскаивался.

Итак, я продолжаю писать, не теряя втайне надежды, что история моей жизни не будет напечатана и что, благодаря какой-нибудь случайности, я все это сожгу. Если, однако, этого не случится, я прошу читателя простить меня, вспомнив, что я принужден к этому всякими негодьями, которые посещают замок Вальдштейн, в Дуксе, где я теперь живу.

На другой день после праздника Тела Господня я уехал из Экса в Марсель. Прежде, однако, чем говорить об этом путешествии, я должен сказать несколько слов о процессии, бывшей в этот день в Эксе, подобно всем другим католическим странам. Известно, что в этом торжестве все чиновные люди, духовные, гражданские и военные, обязаны сопровождать святые таинства. Это бывает везде, но здесь замечательно то, что эта церемония сопровождается различными нелепыми сценами, которыми увеселяют толпу. В одном месте вы видите кукол, одетых в шутовской костюм и изображающих смерть, черта, первоначальный грех; они дерутся на улице. Визг, радостные возгласы, шутки, гимны, вакхические припевы — все это образует самый странный концерт. Никогда язычество в своих сатурналиях не доходило до такого безобразия. Крестьяне собираются на этот праздник со всех окрестностей. Святые дары несут только в первый день года, и в этот-то именно день толпа увеселяется самым скандальным образом. Кто посмел бы восстать против такого обычая, прослыл бы нечестивым. Один член парламента убеждал меня в том, что такой праздник очень хорошее предприятие, ибо город наживет несколько сот тысяч франков... По приезде в Марсель первое лицо, которое я встретил в гостинице, есть сестра Нины, синьора Скицци. Она оставила Барселону вместе со своим мужем и намеревалась отправиться в Ливорно.

— А ваша сестра тоже здесь? — спросил я.

— Нет, она пока в Барселоне, но ненадолго. Епископ не хочет, чтобы она оставалась в городе; ей поэтому приходится уезжать. Однако она немного обращает внимания на преследование епископа, зная, что любовь графа Риела последует за нею повсюду.

— И повсюду, — прибавил я, — она найдет возможности разорять его.

— В ожидании этого она его и обесчестила в Испании.

— Нельзя, однако, предположить, чтобы ваша сестра ненавидела графа, который пожертвовал ей всем, осыпал ее благодеяниями и обеспечил ей состояние.

— Ну, в этом вы ошибаетесь. Она небогата; у ней есть только алмазы да разные безделушки. Что же касается чувства, то сестра моя неспособна чувствовать благодарности к кому бы то ни было. Она — сама неблагодарность: то, что я и мой муж сделали для нее, только послужило нам во вред; он имел место; она сделала так, что его прогнали. Но вы и сами знаете, что можно ожидать от этого чудовища.

— Я только знаю, что со мной она была очень щедра.

— Ее щедрость была только напоказ; настоящей целью Нины было опозорить графа, и она достигла этого. Вся Барселона знает, что вас пытались убить у ее дверей и что убийца умер от раны, нанесенной ему вами.

— Но можете ли вы полагать, что Нина участвовала в этом или по крайней мере, что она знала об этом заранее? Это неестественно.

— Да разве есть что-нибудь естественное в поступках этой женщины? Но вот что я видела и слышала: всякий раз, как являлся граф, она расхваливала ваш ум и ваши манеры, с целью унижить его. Граф, недовольный всем этим, много раз просил ее переменить разговор. Нина всегда отвечала ему смехом. Наконец, за два дня до события, граф, выведенный из терпения, вышел, сказав, что даст вам урок вежливости. Когда вечером, после вашего ухода, мы услышали выстрел, Нина не обнаружила никакого волнения; она только сказала, смеясь: «Вот урок вежливости!» Я ей заметила, что, вероятно, вы убиты. На что она отвечала смехом, говоря, что ваша смерть только и может вызвать смех. На другое утро она была в отличном расположении духа, когда слуга известил ее о вашем аресте. Она написала вашему хозяину записку, которой содержание тщательно скрyla; вероятно, приказ доставлять все нужное вам в тюрьме.

— Увидела она графа в этот день?

— Он явился только на следующий день вечером.

Нина встретила его хохотом, иронически поздравила его с успехом. «Эта мера, — прибавила она, — оградит кавалера от нападений его врагов». Граф сухо отвечал ей, что ваш арест не имеет ничего общего с ночным приключением. Когда весь город узнал о том, что вас посадили в башню, все старались узнать причину этого. Нина напрямик спросила об этом вице-короля, который отвечал, что ваш паспорт подложный.

— Но если граф не участвовал в моем аресте, то кто донес на меня?

— Пассано, потому что его посадили в одно время с вами. Когда ваш паспорт был найден настоящим, Пассано был отправлен в Вену, с тем, вероятно, чтобы уберечь его от заслуженного наказания. В самый день вашего освобождения Нина собиралась отправиться в оперу и вообразила, что вам запрещено всякое сообщение с нею, но уверяла, что если у вас хватит смелости добраться до нее, то она с удовольствием убежит с вами. Когда она узнала о вашем приезде во Францию, она все рассказала вице-королю, который сделал вид, что ничего не знает. Поблагодарите поэтому небо, что вы оставили эту ужасную страну живы и здоровы, ибо ваши отношения к Нине непременно обошлись бы вам ценою жизни...

В Марселе меня ничего не удерживало; я уехал в наемной карете прямо в Турин, через Антибы и Ниццу. Мои туринские друзья встретили мое прибытие скверным комплиментом: если верить им, я страшно постарел. Правда и то, что мне было уже сорок пять лет; это обыкновенно возраст успокоения, но для меня это все еще был возраст удовольствий и деятельности. Я рассказал о моем проекте отправиться в Швейцарию, чтобы приступить к печатанию на собственный счет моего опровержения книги Амело. Все подписались на сочинение: граф Лаперуз удержал за собой пятьдесят экземпляров, за которые заплатил вперед. У него я познакомился с кавалером Л..., английским посланником, очень милым человеком, богатым, известным гастрономом, и в этом качестве всем симпатичным, и в особенности дорогим для одной балерины, некой Карпиони.

Я недолго оставался в Турине и оттуда направился в Лугано. Типография этого города и управляющий ею пользовались прекрасной репутацией; к тому же тут мне нечего было бояться цензуры. Сейчас же после приезда я отправился к управляющему г-ну Аньелли; мы условились насчет печатания. В шесть месяцев издание удачно было окончено и пущено в продажу; все издание разошлось в один год. Главною моею целью при составлении этого сочинения было примириться с государственными инквизиторами в Венеции. Проскитавшись по всей Европе, я ощутил весьма естественное желание увидеть снова мою родину. Это желание по временам было так сильно, что мне казалось невозможным жить в другом месте. «История Венеция» Амело была написана в духе враждебном венецианцам; это было собрание самых грубых клевет с примесью кое-каких ученых исследований. Сочинение читалось в течение восьмидесяти лет, и никто еще не подумал опровергнуть его; правда и то, что венецианец, который бы взялся за это дело, не получил бы на это позволения от своего правительства, ибо наше отеческое правительство руководствуется правилом ничего не позволять говорить о себе, ни в худом, ни в хорошем смысле. Я осмелился обойти запрещение, уверенный, что рано или поздно государственные инквизиторы будут благодарны мне за смелость и исправят несправедливость, допущенную по отношению ко мне.

В то время как я работал над этим сочинением, я удостоился визита начальника городской милиции. Лугано и его окрестности составляют часть тринадцати кантонов, но нравы, обычаи, язык — там все итальянское, включительно до полиции. Начальник полиции был очень любезен и предложил мне свои услуги.

— Хотя вы иностранец, — сказал он, — но можете жить в моем городе в полной безопасности; здесь вы найдете защиту от ваших врагов, и в особенности от управителей Венеции.

— Я знаю, что мне нечего бояться, так как я нахожусь в Швейцарии.

— Вам, конечно, известно также, что иностранцы, которые любят пользоваться нашей защитой, должны уплачивать известную сумму ежемесячно или еженедельно.

— А если б они не стали уплачивать этого налога? — возразил я.

— В таком случае, они не могут считать себя в полной безопасности.

— Что касается меня, то я считаю себя в полной безопасности; до тех пор, пока в этом отношении мое мнение не изменится, я ничего не буду платить.

— Вы можете делать что вам угодно, но подумайте, что вы во вражде с Венецианской Республикой.

Косвенная угроза, заключавшаяся в этой последней фразе, не испугала меня; тем не менее, благоразумие требовало кое-каких мер и я с этой целью отправился с визитом к военному начальнику. Меня вводят — представьте себе мое удивление: я вижу Г... и его красивую жену, которых я знал лет десять тому назад в Салере. Г-жа... несколько не постарела, и я увидел по ее приему, что она не позабыла меня. Я рассказал Г... о попытке начальника полиции. Он мне отвечал, что сделает ему строгий выговор, что мне нечего бояться; одним словом, оставил меня обедать и, прибавив, что должен отлучиться, просил посидеть с его женой.

Мы сделали маленькую поездку на Боромейские острова — великолепное жилище графа Фредерика Боромео, бывшего одним из моих старинных друзей. Этот граф вел поистине царскую жизнь, хотя был почти разорен. Я отказываюсь дать вам понятие о красоте этих волшебных островов; мой рассказ покажется сухим тем путешественникам, которые видали эту роскошную действительность. Граф Боромео, хотя и очень старый, известный своим безобразием, все еще нравился женщинам. Сады его дворца были переполнены молодыми красавицами, из которых некоторые, как мне говорили, были страстно влюблены в моего старого друга.

Возвратившись в Турин, я нашел там письмо венецианца Джироламо Джульяни, того самого, который по повелению инквизиторов рекомендовал меня г-ну Мочениго. В этом письме он горячо рекомендовал меня г-ну Берлендису, посланнику Республики при сардинском правительстве. Этот Берлендис славился как тонкий дипломат по той причине, что любил развлечения. У него был открытый стол, и в его доме существовал настоящий культ к прекрасному полу; весь талант посланника заключался в том, что он отлично угощал; обыкновенно от посланников не требуется ничего более; истинное превосходство ума, знания, науки, простые вкусы, все подобные качества презираются в дипломате, и мне известен не один дипломат, который не пошел в гору, благодаря именно этим качествам. Правительства желают иметь слепых, послушных исполнителей. В этом отношении Венецианская Республика могла быть вполне довольна Берлендисом, у которого не было ни ума, ни характера, ни таланта. Я сказал ему об издании моего сочинения, и он согласился официально отправить его государственным инквизиторам. Ответ, полученный им, был странный: секретарь грозного трибунала сообщал ему, что отправил сочинение в суд и что одно заглавие говорило уже о легкомыслии или злых намерениях автора; в суде оно будет рассмотрено, а в ожидании этого секретарь рекомендовал Берлендису наблюдать за мною и отказываться от всяких демаршей, которые могли быть истолкованы так, что я нахожусь под его покровительством. Поэтому, боясь компрометировать Берлендиса моим присутствием на приемах у него, я бывал у него лишь по утрам — секретно. Гувернером его сына был некто Андреис, корсиканский аббат, довольно образованный человек. Это, как кажется, тот самый, который живет теперь в Англии и который приобрел там большую известность благодаря своим сочинениям. Приблизительно в это же время одна французская модистка, любовница графа Лаперуза, умерла, подавившись портретом своего любовника, который она проглотила в момент любовного экстаза. По поводу этого трагического события я сочинил два сонета, которыми я и до сих пор еще очень доволен. Если бы я не боялся слишком удлинить мои мемуары, я бы присоединил к ним и эти пьесы в виде оправдательных документов; но я мало забочусь о том, что называют литературной славой, и если мое имя должно проникнуть в потомство, то этим я буду скорее обязан моим поступкам, чем моим сочинениям.

Окончив мой труд, не имея никакой сердечной заботы, бросив игру вследствие малых шансов на выигрыш и не зная, куда деваться, я возымел мысль предложить свои услуги

графу Алексею Орлову, командовавшему русской эскадрой, стоявшей около Ливорно и предназначенной к отправке в Константинополь. Те из моих друзей, которым я сообщил о моем проекте, поспешили дать мне рекомендательные письма в Ливорно; я бы предпочел векселя, ибо я оставлял Турин с весьма малым количеством денег. Если бы экспедиция в Дарданеллы была под начальством англичанина, то нет сомнения, что она захватила бы проход, но граф Орлов не имел репутации моряка. Может быть, читателю покажется странным, что я вообразил, будто бы предназначен судьбой взять Константинополь. В моем умственном возбуждении я вообразил себе, что русский граф никогда не успеет этого сделать один; правда, что он потерпел неудачу, но в настоящую минуту я далеко не уверен, что эта неудача была результатом моего отсутствия.

Я проезжал через Парму и ужинал там у Дюбуа, директора монетного двора инфанта, человека тщеславного до нелепости, несмотря на весь его ум. Наше знакомство с ним было весьма старинно. Я рассказал ему мои проекты. «Вот, сказал я, — письмо к графу Орлову, который с нетерпением ожидает меня, и я спешу быть на месте, потому что, говорят, флот должен выйти в море на этих днях». При этих словах Дюбуа, убежденный, что имеет дело с важным государственным деятелем, глубоко поклонился мне. Он сделал вид, что хочет говорить об этой экспедиции, производившей тогда во всей Европе большой шум; но его дипломатическая осторожность заставила его молчать. Тогда он начал говорить о своей собственной персоне. Я предчувствовал, что этот разговор не скоро кончится, но так как он имел осторожность угостить меня отличным ужином, то я был терпелив. Он открывал рот с тем только, чтобы говорить, я чтобы есть; он смотрел на меня, а я не слушал его. Его беседа, превратившаяся, следовательно, в простой монолог, касалась чуть не всех европейских монархов: он жаловался на всех них без исключения; в числе их находились даже монархи, умершие лет пятнадцать тому назад; но у меня был такой дьявольский аппетит, что я готов был проглатывать и не такие анахронизмы. Помню, что он с чрезвычайной горечью жаловался на министров Людовика XIV, который, говорил он, отказал ему даже в стакане воды: это мне показалось странным, и действительно было странным. Этот стакан воды заключался в ордене Св. Михаила, который был раздаваем, прибавлял он, всяким ослам.

— Конечно, — сказал я, — с вами поступили несправедливо, отказывая вам в нем.

За десертом, так как его жалобы прекратились, я приступил к рассказу о моих неудачах; я жаловался на судьбу и не скрыл от него моего безденежья; я нуждался в пятидесяти цехинах, и он великодушно предложил их мне. Этих денег я ему никогда не отдавал и, вероятно, никогда не отдам; человек предполагает, а Бог располагает! В Ливорно я застал еще русский флот, удержанный неблагоприятными ветрами. Английский консул немедленно представил меня графу Орлову, который жил в его доме. Он знал меня в Петербурге и любезно сказал мне, что будет очень рад видеть меня у себя на палубе; он пригласил меня отправить на корабль мои вещи, потому что хотел сняться с якоря при первом попутном ветре. Оставшись со мной один на один, консул спросил меня, в каком качестве я намеревался сопровождать адмирала.

— Это-то именно я бы хотел знать, прежде чем ехать, — сказал я, — я принужден объясниться с графом по этому пункту.

Переговоры представляли некоторые трудности, но я люблю определенные положения, и, чтобы выяснить свое положение, я прямо отправился к графу Орлову. Его Сиятельство был занят и просил меня подождать одну минуту. Эта минута продолжалась добрых два часа, к концу которых я вижу выходящего из кабинета г-на Лольо, посланника польского в Венеции. Я его знал в Берлине.

— Что вы тут делаете? — спрашивает он.

— Ожидаю.

— Может быть, аудиенции у адмирала? Он чрезвычайно занят.

— Вот уже два часа, как я это замечаю.

Однако посетители менялись, и были принимаемы. Это меня шокировало: не явно ли было, что для них адмирал не слишком был занят?

Тем не менее мое терпение преодолело его злую волю. После моего четырехчасового ожидания в приемной он выходит, сопровождаемый всей своей свитой, и при моей просьбе аудиенции, которой я ожидал с утра, он отвечает мне приглашением к обеду. Я был точен и занял место за его столом, где все сели кто где мог. Я был очень шокирован числом приглашенных, которых было почти вдвое больше, чем кувертов. Я предвидел минуту, когда мой сосед и я, мы принуждены будем есть из одной тарелки. Никогда еще не был сервирован более плохой обед. Вино отзывалось морской водой; блюда были испорчены. Разговор казался каким-то нелепым шаривари: тут можно было услышать все татарские наречия, на которых говорят от Невы до Балканов. Орлов, для возбуждения аппетита приглашенных, кричал от времени до времени: «Кушайте же!» И каждый глотал куски. Что же касается его самого, то он только делал вид, что ест, будучи занят подчеркиванием некоторых мест в письмах, читаемых им. За десертом принесли ром и водку — напиток, благодаря которому его татарские глаза заблестели. После кофе граф отвел меня в амбразуру окна, и вот, слово в слово, короткий разговор, бывший между нами.

— Ну, мой друг, ваши вещи отправлены на берег? Мы едем завтра.

— Позвольте, граф, спросить вас, на какой пост вы меня предназначаете?

— У меня нет никакого дела предложить вам. Вы последуете за мною в качестве друга.

— Ценю эту любезность и считал бы за честь защищать ваши дни с риском собственной смерти; но чем я буду вознагражден до и после экспедиции? Как бы ни почтили меня своим доверием Ваше Сиятельство, я все-таки буду вне дела. Я не желаю быть паразитом, который годится лишь на то, чтобы увеселять вашу свиту своими рассказами. Я нуждаюсь в занятии, за которое я бы получал известное определенное вознаграждение и которое давало бы мне право носить вашу форму.

— Невозможно, милый друг, куда я вас дену?

— Испытайте меня и вы увидите. Я смел и энергичен; у меня, может быть, найдутся кое-какие таланты, и я хорошо говорю на языке той страны, куда вы отправляетесь.

— Решительно у меня нет места предложить вам.

— В таком случае, позвольте пожелать вам доброго пути; я отправлюсь в Рим. Я бы желал, чтобы вы никогда в этом не раскаялись. Объявляю вам, что без моего участия вы никогда не попадете в Дарданеллы.

— Что это вы мне говорите? Что это: оракул или предсказание?

— И то, и другое.

— Ну, увидим, мой дорогой Калхас.

На другой день русская эскадра снялась с якоря. Что же касается меня, то я возвратился в Палермо, где я забыл свою неудачу в обществе отца Стреафико. Это тот самый монах, который спустя года два приобрел епископство благодаря фокусу столько же смелому, сколько опасному.

На похоронах отца Риччи, последнего начальника Стреафико, этому последнему было поручено сказать надгробную речь. Эта речь — горячий панегирик, написанный нервно, страстно, ставил папу Ганганелли в необходимость или наказать оратора или же дать блестящий пример умеренности, награждая его за его ораторский талант. Святой отец остановился на этом последнем, и Стреафико был сделан епископом. Впоследствии он и сам сознался мне, что, зная отлично человеческое сердце и политические требования времени, он был наперед уверен, что святой отец поступит именно так. Стреафико каждый вечер собирал у себя молодых особ хорошего общества, которых учил импровизации, и — странная вещь для монаха! — он сопровождал их поэтическую прозу звуками гитары. Таким образом он посвящал их искусству, которым в таком совершенстве владела знаменитая Коринна, которая спустя четыре года была увенчана в Капитолии — в месте, прославленном величайшими поэтами Италии, получившими тут свои лучшие венки. Шум, произведенный в Риме этим ночным увенчанием, не прошел без горечи для этого женского лауреата. Талант Коринны, как бы он ни казался великим, был в сущности весьма второстепенный. Итальянские импровизаторы, которых можно встретить толпами в итальянских городах,

имеют язык условный и напыщенный, похожий на настоящую поэзию так же, как медь похожа на золото. Их вдохновение вполне фальшиво, их идеи, если случайно они у них бывают, — плоски и издавна сделались достоянием толпы. Что же касается до поэтических украшений, которыми они наделяют эти идеи, то все это фальшиво и безвкусно. Но возвратимся к Коринне и ее торжеству; сатира и шуточные стихотворения со всех сторон посыпались на нее. В этих излияниях насмешек, не уважавших частную жизнь женщины, указывалось в особенности на то, что строгое целомудрие, столь важное для ее пола, не принадлежало к числу добродетелей поэтессы. Она бы могла обвинить своих грубых обвинителей в их невежестве с большим правом, чем они обвиняли ее в нецеломудрии. К тому же все женщины, которые со времен Гомера прославились в поэзии, не обязаны ли своей славой любви, которая внушала им их песни? Без этой благодетельной страсти, без этого энергического стимула, разгорающего нашу кровь, возбуждающего наши нервы и возносящего нашу душу, слава этих женщин потухла бы вместе с их жизнью. Лучшая часть славы, доставшейся на их долю, была дана им произведениями их поклонников.

Накануне дня, назначенного на увенчание Коринны, были найдены приклеенными у дверей храма, где должна была происходить церемония, следующие стихи:

Arce in Tarpeia, Caio regnante, sedentcm
Nunquam vidit equum; Roma vidcbat equam.
Corinnam patres obscura nocte coronant.
Quid mirum? Tenebris nox tegit omne nefas.

Когда Калигула царствовал, его любимый конь не мог быть в Капитолии; теперешний Рим удостаивает этой чести кобылу. Для увенчания Коринны наши сенаторы прибегают к мраку ночи. Не удивляйтесь, ибо ночь есть покрывало, брошенное на все пороки.

Правда и то, что следовало ее увенчать днем или вовсе отказаться от этого торжества.

Выбрать ночь для этого было большою неловкостью. На другой день появились новые стихи, еще более оскорбительные.

Corinnam patres turba plaudente coronant,
Altricem mcmores geminis esse lupam.
Proh scelust impuri redierunt soecla Neronis.
Indulge! scortis la urea sarta Pius.

Сенат увенчивает Коринну при аплодисментах черни; он вспоминает, что в прежние времена волчица кормила близнецов — основателей Рима. Времена позорные, напоминающие времена Нерона! Как! Святой отец увенчивает развратную женщину!

Этот скандал нанес ужасный удар папскому правительству; всем стало ясно, что в будущем ни один поэт, достойный этого имени, не будет иметь чести быть увенчанным в Риме, где эта честь была оказана двум величайшим гениям Италии (Петрарке и Тассо). Так как я уже начал цитировать, то позвольте и еще привести стихи, приклеенные к дверям Ватикана.

Sacra fronde vilis frontem meretricula cingit;
Quis vatum tua nunc proemia,
Phoebe, velit.

Когда чело куртизанки обрамлено священным венцом, какой поэт, Аполлон, станет искать твоих венков? (лат.)

Эти два скверных латинских стиха имеют достоинство довольно верно выражать чувство общества того времени.

Наконец, к довершению скандала, в ту минуту, когда взволнованная Коринна входила в

залу, где ее ждали кардиналы и сенаторы, какой-то молодой аббат всунул ей в руку какую-то бумагу. Она взяла ее, краснея, и с большою благодарностью, как будто бы дело касалось особенной почести. Стихи по-прежнему были латинские, и кардинал Гонзаго перевел их громким ясным голосом. Не буду цитировать оригинал; совершенно достаточно одного перевода:

«Женщина! Отчего эта бледность на твоих ланитах? Ужас заставляет тебя неуверенно ступать. Отчего дрожишь ты, входя в Капитолий? Дочери Геликона аплодируют твоему триумфу; что же касается Аполлона, то если его здесь нет, то можешь воскликнуть: Приап, прибеги ко мне на помощь!»

Бесстыдный и легкомысленный аббат исчез еще до чтения этого послания. Коринна, краснея от стыда, оставила Рим сейчас же после увенчания, и святой хранитель величественного здания, аббат Пицци, на которого сыпались насмешки и сарказмы со всех сторон, заперся в своем доме, из которого не выходил в течение нескольких месяцев.

КОММЕНТАРИИ

Свои воспоминания, озаглавленные в рукописи «История моей жизни до 1797 года», Казанова писал в последние годы жизни, доживая ее библиотекарем в замке австрийского вельможи графа Вальдштейна.

В эссе о прославленном авантюристе Стефан Цвейг приводит слова Казановы об этом труде, который был для мемуариста «единственным лекарством, не позволявшим сойти с ума или умереть от гнева — гнева из-за неприятностей и ежедневных издевательств завистливых негодяев, которые бок о бок со мной проживают в замке графа Вальдштейна».

По утверждению Цвейга, Казанова не верил в возможность опубликования х: воей рукописи, хотя известна одна, по крайней мере, его попытка ознакомить с нею читателя. Кроме того, Казанова еще за десять лет до смерти смог опубликовать историю своего побега из венецианской тюрьмы, вошедшую потом в основной текст мемуаров (*Histoire de ma fuite des prisons de la rpublique de Venise, appelee les Plombs*. Prague, 1788).

Только через двадцать с лишним лет после смерти Казаковы основатель знаменитой издательской фирмы Фридрих-Арнольд Брокгауз, приобретя рукопись «Истории моей жизни», издал ее в переводе на немецкий (вернее, в обработке) В. Шюца- «*Aus den Memorien des Venetianers J. C. de Seingalt*» (Leipzig, I XII, 1822–1828).

Успех первых же вышедших в свет томов был настолько громок, что, еще до завершения издания Брокгауза во Франции начинает выходить «пиратское» издание. Обратный перевод с немецкого на французский, осуществленный Обером де Витри в 14 томах (1825–1829), был полон неточностей, и Брокгауз предпринимает издание оригинального, французского текста «Мемуаров». Но с этим текстом сначала была проведена определенная работа В чем она заключалась, рассказал в 1867 г. в письме к французскому «казановеду» А. Баше сам издатель, сын основателя фирмы Генрих Брокгауз.

«Редактирование моего оригинального издания... было поручено Вашему соотечественнику, профессору французского языка в Дрездене г-ну ЛафОРГУ. Единственное, что мы себе позволили, о чем уже было сказано фирмой Брокгауз в предисловии 1826 года и что мы считали необходимым, — проверить рукопись в двух отношениях. Первое: Казанова писал на языке, который не был ему родным. Отсюда — в оригинале множество грамматических ошибок, итальянизмов, латинизмов, их надо было устранить ради чистоты и правильности выражений. Но тот, кому была поручена эта щекотливая работа, постарался, чтобы своеобразие автора ничуть от этого не пострадало. Затем... непристойности надо было соразмерить с нормами здоровой философии, дабы не подвергать мучениям порядочных граждан... смягчить выражения и образы, к которым нынешний читатель непривычен. Но при всем этом, сцены, на слишком чувственную наготу которых наброшена вуаль, ничего не потеряли в своей пикантности».

Как ни оценивать работу преподавателя французского языка из Дрездена, в новом

издании (Casanova de Seingalt. Mfemoires escrit par lui-mSme «Мемуары, написанные им самим») Казанова предстал великолепным французским (или, как теперь выражаются изяшно, «франкоязычным») писателем. Г. Гейне и А. Сент-Бёв восхищались его стилем, остроумием и занимательностью изложения. Достоевский справедливо писал несколько позже: «Французы ценят Казанову, как писателя, даже выше Лесажа».

Высокая оценка привела к тому, что некоторые критики решительно отказали блестящему венецианцу в... авторстве. «Библиофил Жакоб» (псевдоним видного литератора XIX в. Поля Лакруа) считал автором Стендаля, «чей ум, характер, идеи и стиль обнаруживаются на каждой странице „Мемуаров“».

Теперь уже ясно, что «Мемуары» Казановы действительно «написаны им самим». Другое дело, что подлинного, освобожденного от правки Лафорга текста пришлось ждать более ста лет. Но традиция сохранила лафорговский текст и после публикации в 60-х годах XX века «нередктированного» Казаковы. Французские издатели помещают нередктированный текст в «вариантах».

Историю «русского» Казановы можно начинать с Достоевского. Достоевский, в частности, писал: «Личность Казановы одна из самых замечательных своего века... Прибавим еще, что бегство Казановы из венецианских пломб наделало тогда большого шуму в Европе и доставило ему чрезвычайную известность. Из этих темниц бежать почти невозможно. Это рассказ о торжестве человеческой воли над препятствиями непреодолимыми... Перевести всю книгу невозможно. Она известна некоторыми эксцентричностями, откровенное изложение которых справедливо осуждается принятой в наше время нравственностью...» (ж. «Время», 1861, № 1).

Сокращенный русский перевод «Мемуаров Казановы» в одном томе под редакцией В. В. Чуйко вышел в 1887 г. (в 1902 г. — второе издание). Эта книга и легла в основу нашего издания (в текст внесены лишь необходимые поправки). Однотомник начинался с истории заключения Казаковы под Пломбы, с 1755 года Вся предыдущая жизнь Казановы, история его детства и юности (напомним, что в 1755 г. Казанова уже достиг тридцатилетнего возраста) оказалась здесь опущенной. Между тем эта часть «Мемуаров» весьма существенна для понимания характера героя, да и занимательности в ней предостаточно. Мы решили в известной мере восполнить этот пробел, — главы, вошедшие в первые три тома восьмитомного издания «Мемуаров» (издатели- братья Гарнье, Париж, 1880), переведены на русский язык Б. Л. Храмовым. Несколько расширены и главы, повествующие о пребывании Казаковы в России. В своей работе переводчик использовал также последнее, имеющееся в наших библиотеках французское издание «Мемуаров», предпринятое издательством «Галлимар» в 1964–1978 гг. (три тома, каждый почти по тысяче страниц убоистого текста). Е. Л. Храмовым составлен и «Комментарий» к изданию, кроме случаев, оговоренных в тексте.

В заключение приведем еще раз слова Ф. М. Достоевского из его предисловия к публикации в журнале «Время»: «По крайней мере, мы убеждены, что доставляем читателю занимательное чтение».

К с.6. Сен-Жермен — авантюрист XVIII в., подлинное имя и время рождения неизвестны. Появился на сцене общественной жизни в 40-х годах в Италии, Голландии, Англии. Повсюду выдавал себя за великого мага, обладателя тайны философского камня и эликсира бессмертия, говорил, что прожил много веков и помнит зарождение христианства. Во Франции смог заручиться доверием Людовика XV и всеильной маркизы Помпадур. Вынужденный покинуть Францию, побывал и в России, был близким другом братьев Орловых. По одним сведениям, умер в 1784 г., по другим — в 1795-м. Упоминается Пушкиным в «Пиковой даме».

Кс.7. Лоу Джон (1671–1729) — французский финансист, родом из Шотландии. Назначенный в 1720 г. генеральным контролером (министром) финансов Франции, выпустил в обращение громадное количество необеспеченных банкнот, что привело к неслыханному биржевому ажиотажу и спекуляции и резко подорвало систему финансов государства. Был

вынужден бежать из Франции. Причисляя его к знаменитым авантюристам второй половины XVIII в., Ст. Цвейг допускает анахронизм.

К с. 7. Калиостро Александр, граф. — Под этим именем известен Джузеппе Бальзаме (1743–1795); родился в Сицилии в купеческой семье. Долго странствовал по Европе, занимаясь алхимией, магией, врачеванием. В 1780 г. под именем графа Феникс прибыл в Петербург, но вскоре покинул его. Организатор знаменитого дела «Ожерелье королевы», послужившего одной из причин падения престижа королевской фамилии во Франции. Приговорен папским судом к пожизненному заключению в крепости Св. Ангела в Риме, где и умер.

Тренк Фридрих фон (1726–1794) — прусский офицер, заточенный Фридрихом II в крепость по обвинению в связи с сестрой короля принцессой Амалией. Бежал, служил в Австрии и России, затем вернулся в Пруссию и снова был заключен в крепость на девять лет. После освобождения странствовал по Европе. Сочувствуя Французской революции, переселился в Париж. Казнен во время якобинской диктатуры.

К с.22. Гримами, три брата — владельцы театра Сан-Самуале: Микеле, Альвизо и Джованни. Средний из братьев — аббат Альвизо Гримани был весьма строгим и скупым опекуном Казаковы в детстве.

К с.23. Славонка. Славонцы — славянские подданные Венеции, жители Далматинского побережья, часто состояли в наемных войсках Венецианской Республики. Славонией называлась нынешняя южная часть Хорватии.

Гоцци Антонио-Марио — первый учитель Казаковы, умер в 1783 г., его сестра Элизабетта-Мария («Беттина») родилась в 1720-м и умерла в 1777 г. С нею связаны первые любовные приключения Казаковы, она первая женщина, взволновавшая ум и чувства подростка Джакомо.

К с.27. Мерсиус — непристойная книга, представлявшая собою якобы перевод на латынь «Диалогов испанской монахини Луизы Сигеа о тайнах Амура и Венеры», сделанный голландским ученым Мерсиусом. Подлинный автор французский литератор Никола Шорье (1616–1692).

К с.34. Университет в Падуе — один из старейших в Европе, основан в 1222 г. Обучение в нем Казаковы считалось сомнительным, пока в 1923 г. не были обнаружены регистрационные ведомости Юридического факультета, показывающие, что Казанова действительно посещал занятия в университете в течение нескольких триместров. Каких-либо документов о сдаче им докторских экзаменов найти, однако, не удалось.

К с.36. Тонзура — остриженное место на макушке у католических духовных лиц, символ отречения от мирских интересов. Тонзурование производится одновременно с посвящением в низший духовный сан.

Альвизо Гаспаро Мальпiero, сенатор — родился в 1664 г.; к этому времени ему было 75 лет.

К с.38. Пасеан — французская транскрипция названия местности Пасиано близ Венеции.

К с.44. Руджеро и Анжелика — герои поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

К с.54. Луиза Бергали (1703–1779) — итальянская поэтесса, жена графа Гаспара Гоцци, старшего брата знаменитого драматурга Карло Гоцци.

К с.57. — Бабка Казаковы Марция Фарузи умерла в марте 1743 г.

Королева Мария-Жозефина, до того как стать женой будущего польского короля и саксонского курфюрста Августа III (Фридриха-Августа), была австрийской эрцгерцогиней, ее отец император Иосиф I. Их дочь Мария-Амелия вышла замуж за неаполитанского короля Карла VII Бурбона.

К с.63. — В действительности епископ Бернардо де Бернарди умер не через два года, а через 15 лет после встречи с Казановой, в 1758 г.

К с.66. Антонио Дженовезе (1712–1769) — философ и экономист, в то время профессор метафизики Неаполитанского университета.

К с.67. Лелио Караффа — впоследствии посол Неаполитанского королевства в Париже.

К с.72. — Италия была театром военных действий во время так называемой войны за Австрийское наследство (1741–1748). Война велась между Францией, Испанией, Пруссией, с одной стороны, и Австрией и Англией — с другой. «Немецкий отряд» — вероятно части австрийской армии генерала Лобковича, а «испанцы» — солдаты армии, которой командовал генерал граф Гаж, К с.74. Кардинал Аквавива, князь Аквавива д'Арагона (1696–1745), был поверенным в делах Испании при папской курии.

К с.84. — Стальные рессоры были в XVIII в. роскошью. Чаще всего карета подвешивалась на ремнях, крепившихся к выступам ходовой части.

К с.89. Монте Кавалло — ныне Квиринальский дворец в Риме. В XVIII в. местопребывание папы.

К с.89. Бенедикт XIV (Просперо Ламбертини, род. в 1675 г., ум. в 1758 г.) — папа с 1740 г. Автор многих богословских сочинений. Пытался ограничить права ордена иезуитов, однако не смог провести полное его запрещение.

К с.96. — Прусский король Фридрих II был известен гомосексуальными наклонностями.

К с.117. Маттео Джованни Брагадин, сенатор (1689–1767) — будущий покровитель Казаковы. В год знакомства с Казановой ему было 57 лет. Его друзья Марко Дандоло (1704–1779) и Марко Барбаро (1668–1771) — представители старейших аристократических родов Венеции. Оба скончались холостяками, не забыв Казакову в своих завещаниях.

К с.119. Каббала- средневековое мистически-религиозное учение, посвященное толкованию библейских текстов, и связанные с ним магические обряды.

К с.123. Республика Венеция (Республика Святого Марка) возникла и пережила свой расцвет в Средние века. К эпохе Казаковы она, находясь в упадке, все же сохраняла за собой часть владений в Италии и на Балканах с населением более чем два с половиной миллиона. Правление было наследственно-олигархическим. Высшие государственные органы могли пополняться только представителями фамилий, занесенных в так называемую «Золотую Книгу», которая «открывалась» крайне редко, и число фамилий было невелико. Во главе правления стоял Совет Десяти, без санкции которого номинальный правитель Венеции — пожизненно избираемый дож — не мог ступить ни шагу.

К с.128. «Бучиншоро» — роскошно украшенная галера, на которой вновь избранный дож отправлялся для свершения традиционного обряда венчания с морем. Плавание дожа свершалось в сопровождении бесчисленных лодок и суденышек, также разукрашенных, на которых венецианцы отправлялись полюбоваться этой красочной церемонией.

К с.130. — Общение с иностранными посольствами для представителей патрицианских домов в Венеции было воспрещено. Для сношений с представителями иностранных государств сенат Венеции выделял специально назначенных лиц — конферентов.

К с.133. — Здесь начинается история любви Казаковы и молодой женщины, обозначенной инициалами К К Бе брат (П. К. «Мемуаров») Пьетро Кампана. Его любовница Мария Колонна, урожденная Отгавиани, дочь того самого Отгавиани, в дом которого в Падуе привезли ребенком Казакову. Ее сестра Роза была замужем за патрицием Пьетро Марчяло.

К. К. — Катарина Кампана, родившаяся в 1738 г. К моменту встречи с Казаковой ей было 16, а не 14 лет. Обычная для «Мемуаров» незначительная (на один-два года) хронологическая неточность. Катарина Кампана в восемнадцатилетнем возрасте благополучно выйдет замуж за некоего адвоката

К с.137. Джудекка — остров, отделенный от Венеции широким каналом Джудекка, вплоть до конца XVIII в. был покрыт многочисленными садами и огородами. У многих венецианских патрициев там были загородные дома.

К с.150. ...кончалось время ношения масок... — Вместо комментария приведем отрывок из книги П.Муратова «Образы Италии» (М., 1912–1913): ...XVIII век был веком маски. Но в Венеции маска стала почти что государственным учреждением, одним из

последних серьезных созданий этого утратившего всякий серьезный смысл государства. С первого воскресения в октябре и до Рождества, с 6 января и до первого дня поста, в день св. Марка, в праздник Вознесения, в день выборов дожа и других должностных лиц каждому из венецианцев было позволено носить маску. В эти дни открыты театры, это карнавал, и он длится, таким образом, полгода... Все ходят в масках, начиная с дожа и кончая последней служанкой. В маске исполняют свои дела, защищают процессы, покупают рыбу, пишат, делают визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться; разрешенная Республикой маска находится под ее покровительством. Маскированным можно войти всюду, в салон, в канцелярию, в монастырь, на бал, во дворец, в Ридотто (знаменитый игорный дом, который стал подлинным центром венецианской жизни, его закрытие в 1774 году по постановлению сената было воспринято почти что как трагедия)... Маска, свеча и зеркало — вот образ Венеции XVIII века.

К с.161. М.М. — Мария-Маддалена. Это имя принадлежало Марии Лоренце Пассини (род. в 1731 г.), одной из шестнадцати монахинь Монастыря Сан-Джакомо в Мерано. Она умерла в 1788 г. настоятельницей этого монастыря.

К с.166. Фурлан (или точнее «форлан») — уроженец провинции Фриуль, расположенной к северу от Венеции, население которой состояло в значительной мере из славян. В Венеции были носильщиками, грузчиками и т. п.

К С.180. Французский посол в Венеции (с октября 1754 г.) — Франсуа Иоахим де Берни (1715–1794). Впоследствии он стал министром иностранных дел Людовика XV и находился на этом посту до 1758 г., когда из-за ссоры с всесильной маркизой Помпадур был заменен Шуазелем. В том же году произведен папой Бенедиктом XIV в кардиналы. Часть казановистов считает историю дружбы Казаковы и де Берни в Венеции маловероятной.

К с.187. Уксу&ктырехразбойников — дезинфицирующее средство, открытое якобы в 1720 г. в Марселе во время эпидемии чумы четырьмя разбойниками, находившимися там на каторге.

К с.192. Пьетро Киари (Кьяри; 1700–1788) — аббат, итальянский поэт и романист. Казанова высмеивал его напыщенные стихотворные драмы.

К с. 197. «Монастырский привратник» — имеется в виду «Шартрезский привратник» («Le portier des Chartreux», 1744) — анонимный эротический роман, автором которого был, по-видимому, аббат Латуш.

Аретино — имеются в виду стихотворные подписи («позы») итальянского поэта Пьетро Аретино (1492–1556) к серии эротических рисунков Джулио Романо. «Позы Аретино» были широко известны читающей публике, они, в частности, упоминаются в переписке Пушкина.

К с.237. Зенон — древнегреческий ученый, основатель философской школы стоиков. По учению Зенона, жизненные блага совершенно безразличны для решения вопроса о человеческом счастье. Современник Зенона — Пиррон, основатель философской школы скептиков. Одно из основных положений его учения — воздержание от всякого суждения, т. к. оно не связано ни с каким объективным миром и свидетельствует лишь о субъективном состоянии (атараксия).

К с.286. Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721–1764) фаворитка Людовика XV, в ее салоне собирались как политики, так и люди искусства.

Этьен Франсуа, граф де Стенвиль, герцог де Шуазель (1719–1785) французский государственный деятель. В 1758 г. по настоянию маркизы де Помпадур назначен министром иностранных дел, сменив на этом посту друга Казаковы де Берни.

К с.290. Лотерея — итальянское изобретение. Возникнув в этой стране в XVI в., она получила распространение по всей Европе, и к XVIII в. государственные лотереи стали одним из способов пополнения казны. Суть числовой лотереи в том, что государство принимает на любые суммы пари, предложенные игроками за выход одного или нескольких чисел. Ставят или на то, что выиграет тот или другой из пяти номеров (простая ставка), или что выиграны два («амба»), три («терна»), четыре («кватерна»), или все пять из пяти

(«квинтерна»). Вероятность выигрыша при простой ставке в числовой лотерее равна 5:90 - 1:18. При «амбе», «терне» и т. д. вероятность выигрыша еще более понижается.

К с.300. В XVIII в. путешественники обычно отправляли свои письма на адрес банкирских контор или торговых фирм.

К с.302. — Казанова не случайно «сталкивает» Вольтера и Тассо. Поэма Тассо «Освобожденный Иерусалим» и трагедия Вольтера «Танкред» написаны на один сюжет; впоследствии оба произведения легли в основу оперы Россини «Танкред».

К с.303. Дени Мари Луиза Миньо (1712–1790) — племянница и душеприказчица Вольтера.

К с.308. — Болонья, входившая с XV в. в состав Папского государства, пользовалась широким самоуправлением и возглавлялась Советом Пятидесяти.

К с.309. Трик-трак — старинная французская игра восточного происхождения, напоминающая нарды. Продвижение шашек определяется числом, выпадающим при бросании костей.

К с.313. Галлер Альбрехт (1708–1777) — выдающийся швейцарский естествоиспытатель и поэт. Его дидактическая поэма «О происхождении зла» впервые была переведена на русский язык Н. М. Карамзиным.

К с.315. Ламстри Жюльен Офре де (1709–1751) — французский философ-материалист, врач по профессии. Был приглашен Фридрихом II в Берлин и служил в должности чтеца короля; член Берлинской академии.

К с.317. «Милорд маршал» Кейт — Джордж Кейт (1693–1778), наследственный лорд-маршал Шотландии (с 1712 г.). Как сторонник претендента на английский престол Якова Стюарта был изгнан из Англии, заочно приговорен к смерти. С 1747 г. на прусской службе, друг Фридриха II. Его брат Джеймс Кейт (1698–1758), прусский фельдмаршал, погиб в одном из сражений Семилетней войны.

Сан-Суси (франц. «без забот») — королевский замок в Потсдаме, выстроенный в 1747 г. архитектором Г. Кнобельсдорфом. Был окружен обширным парком.

К с.323. Воейков — имеется в виду, очевидно, Федор Матвеевич Воейков (1703–1776), посол в Курляндии и Польше, затем киевский генерал-губернатор.

К с.324. Эрнст-Иоганн Бирон (1690–1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны, с 1737 г. был герцогом Курляндии. Его младший сын, с которым был хорошо знаком Казанова, «принц Курляндский» Карл Бирон (1728–1801) был, по свидетельству современников, «шалун и повеса». Столица Курляндского герцогства — Митава, ныне Елгава.

К с.328. Братья Орловы Григорий (1734–1783) и Алексей (1737–1808) Григорьевичи, русские государственные деятели, организаторы и участники свержения Петра III и возведения на престол Екатерины II. Сын Екатерины и Григория Орлова, получивший титул графа Бобринского, стал предком многих русских политических деятелей XIX и XX вв. Алексей Орлов командовал русской эскадрой в битве под Чесмой, получил титул князя Орлова-Чесменского.

Мелиссино Петр Иванович (1730–1797) — «один из лучших артиллеристов своего времени», русский военный деятель, начальник русской артиллерии в войне 1768–1774 гг. Брат его, Иван Иванович (1718–1795), был директором Московского университета в 1757–1771 гг.

К с.329. Зиновьев Степан Степанович (1740–1794) — родственник братьев Орловых, чья мать была урожденная Зиновьева.

К с. 333. Заира — имя героини одноименной трагедии Вольтера (1732), рабыни султана Оросмана.

К с.335. Бомбак — уроженец Гамбурга Баумбах; Казанова не очень образован орфоэпически.

Красный Кабак — постоянный двор в десяти верстах от Петербурга по дороге на Петергоф.

К с.336. Братья Лунины — очевидно, Петр и Александр (1745–1816), родные дядья будущего декабриста.

К с.344. — Необходимо пояснить некоторые моменты в разговоре Казаковы и Екатерины II. Речь идет о разных системах календарей. Принятый в Средневековье в христианских странах так называемый юлианский календарь был введен Юлием Цезарем в 46 г. до н. э. В солнечном календаре длина года составляет 365,2422 средних суток, поэтому она может быть либо 365, либо 366 дней (вставляются високосные годы). По юлианскому календарю средняя длина года составляет 365,25 дней, високосный год вставляется через каждые 4 года. Ошибка юлианского календаря — 1 день в 128 лет. Вследствие этого весеннее равноденствие, приходившееся в IV в. на 21 марта, к XX в. передвинулось на 9 марта.

В 1582 г. папа Григорий XIII (в тексте ошибочно — Григорий VII) ввел разработанную итальянским ученым Луиджи Лиллио реформу: по папскому предписанию, во всех католических странах день, следующий за 4 октября, велено было назвать не 5, а 15 октября. По григорианскому календарю («новый стиль») на каждые 400 лет считают не 100 високосных годов, а только 97, сделав простыми те столетние года, у которых число не делится на четыре 1700,1800,1900. Это дает в среднем 365,2425, что очень приближается к астрономической длине солнечного года. Ошибка в 1 день нарастает каждые 3000 лет. Все католические страны уже к концу XVI в. ввели у себя григорианский календарь, протестантская Англия отказалась от старого стиля только в 1752 г. В России же новый стиль был введен только в 1918 г.

В лунно-солнечных системах календаря, известных еще в глубокой древности (в том числе и в государствах Иудеи и Израиля), старались вести счет дней так, чтобы первые дни месяцев всегда приходились на новолуние, но явления солнечного года (например, равноденствие) приходились всегда на один и тот же месяц. Это достигалось путем вставки 13-го лунного месяца в лунный год; такой дополнительный месяц носит название эмболистического месяца (эмболизм в рассуждениях Екатерины II).

К с.350. Станислав Август Понятовский (1732–1798), будучи польским послом в С.-Петербурге, пользовался благосклонностью великой княгини Екатерины Алексеевны. В 1764 г. с ее помощью (к тому времени она стала русской императрицей Екатериной II) был избран на польский престол. Последний король Польши.

К с.352. Франциск Ксаверий Браницкий (в России — Ксаверий Петрович) польский государственный деятель, один из важнейших проводников русского влияния, после последнего раздела Польши богатейший землевладелец в западных губерниях Российской империи; отец графини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой (1792–1880).

К с.358. — Ю. М. Лотман так комментирует дуэль Казаковы с Браницким: «...Браницкий... явился на поле чести в сопровождении блестящей свиты. Казанова же, иностранец и путешественник, мог привести в качестве свидетеля лишь кого-нибудь из своих слуг. Однако он отказался от такого решения, как заведомо невозможного — оскорбительного для противника и его секундантов и мало лестного для него самого: сомнительное достоинство секунданта бросило бы тень на его собственную безупречность как человека чести. Он предпочел попросить, чтобы противник назначил ему секунданта из числа своей аристократической свиты. Казанова пошел на риск иметь в секунданте врага, но не согласился признать наемного слугу быть свидетелем в деле чести» (Л о т м а н Ю. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 99).

К с.359. Староство — в старой Польше земли, пожалованные из государственного фонда, передаваемые королевским наместникам — старостам с условием отчета в получаемых доходах или на правах аренды за твердо установленный ежегодный налог — «чинш».

Кс.428. Амело дела Уссе Абрагам-Никола (1634–1706) — французский историк и публицист. Известен главным образом своим сочинением, в котором первым исследовал систему государственной власти в Венеции («Histoire du. gouvernement de Venis» — Париж,

1676; Амстердам, 1705). Казанова присоединился к хору критиков книги Амело, надеясь реабилитировать себя перед правительством Венеции.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖОВАННИ ДЖАКОМО КАЗАНОВЫ

1725, 2 апреля. В Венеции у актера Гаэтано Джузеппе Казановы и его жены Джованны Марии, урожденной Фарузи, родился первенец — Джованни Джакомо.

1733, декабрь. Умер отец.

1734–1737. Пребывание в Падуе в пансионате аббата Гоцци.

1737. Вступление в Падуанский университет, где Казанова готовится к получению степени доктора прав.

1739. Возвращение в Венецию.

1740, февраль. Принятие низшего духовного сана.

1743, март. Смерть бабушки. Осень того же года — отъезд в Калабрию к епископу Мартуранскому.

1744–1745. Пребывание в Риме на службе у кардинала Аквавивы. 1745, апрель. Отъезд из Рима.

1745, май. Приезд в Константинополь. В конце года возвращение в Венецию.

1746, 20 апреля. Знакомство с сенатором Брагадином.

1748. Вынужден покинуть Венецию, странствия по Италии: Милан, Мантуя, Парма. 1750, январь. Возвращение в Венецию и скорое бегство из нее. Лион, Париж. 1750–1753, лето. Пребывание в Париже и в Голландии.

1752, Переводит на итальянский язык трагедию Каюзака «Зороастро». Пишет либретто балета «Фессалийки» (премьера- 24 июля 1752 г.).

1753, июль. Прибывает через ряд государств Германии в Вену (аресты в Дрездене и Праге).

1754, начало. Снова возвращается в Венецию.

1755, начало. Знакомство с аббатом де Берни.

1755, 26 июля. Арест и заключение в тюрьму «Пьомби» (под Пломбы).

1756, 1 ноября. Побег из тюрьмы.

1757, январь. Прибытие в Париж.

1759, август. Отъезд из Парижа.

1759–1760. Странствия по Голландии, Германии, Швейцарии (знакомство с Вольтером), Савойе, Провансу. По-видимому, в это время берет себе вторую фамилию — де Сейнгаль.

1760, конец. Пребывание в Риме у художника Рафаэля Менгса. Награждается папским орденом Золотой Шпоры. Отныне называет себя «Кавалер де Сейнгаль».

1761–1763. Странствия: Париж, Страсбург, Швейцария, Италия.

1763, июнь. Приезд в Лондон.

1764, март. Бегство из Лондона Тяжело заболевает в Брюсселе.

1764, лето. Через Ганновер и Брауншвейг прибывает в Берлин. Знакомство с Фридрихом II. Предложение поступить на прусскую службу.

1764, осень. Пребывание в Курляндии и Риге.

1764, декабрь. Прибытие в Петербург.

1765, зима, весна, качано лета. Жизнь в России. Поездка в Москву.

1765, октябрь. Приезд в Варшаву.

1766, июль. После дуэли с графом Браницким покидает Варшаву. Бреславль, Дрезден, Лейпциг, Вена.

1767, сентябрь-ноябрь. Последнее посещение Парижа. Выслан оттуда по приказу короля. Направляется в Мадрид.

1767, октябрь. Умирает сенатор Брагадин.

1768, январь-ноябрь. Пребывание в Испании завершается арестом в Барселоне и высылкой из страны.

1769, до мая. Жизнь в южной Франции. Июнь. Приезд в Турин.

1769–1771. Жизнь в Турине, столице Савойского королевства, последние месяцы под надзором полиции.

1771, декабрь. Выслан из Турина во Флоренцию.

1772. После странствований по Италии возвращение в Венецию, хлопоты о помиловании. В ноябре останавливается в Триесте, городе, принадлежавшем в то время Австрии.

1774, июнь. В Горице начинается печатанье исторического труда Казаковы «История волнений в Польше» (3-й том выходит в 1775 г.)

1774, 14 сентября. Возвращение в Венецию после помилования трибуналом инквизиции.

1775. Переводит итальянскими октавами «Илиаду» (3-й том, до XVIII песни, выходит в 1778 г.).

1776. Становится тайным агентом-осведомителем инквизиции под псевдонимом Антонио Пратолини. В Дрездене умирает мать Казаковы.

1779. Публикация брошюры Казаковы, направленной против Вольтера.

1780. Начало семейной жизни с Франческой Бучане.

1782. Серьезная ссора с влиятельным патрицием Гримани. Публикация памфлета против Гримани «Ни любви, ни женщин».

1783, январь. Высылка из Венеции, начало новых скитаний.

1785, сентябрь. Становится библиотекарем в имении австрийского князя Вальдштейна, в замке Дукс, в центральной Чехии. Конец скитальческой жизни.

1791. Начало работы над «Мемуарами». 23 января граф Ламберг получает текст «Предисловия».

1792. Помимо «Мемуаров», находясь в постоянной ссоре с дворней князя Вальдштейна, пишет многочисленные пасквили, чтобы отплатить повару, дворецкому, кастеляну и т. д. В письме к своему другу Опицу сообщает, что закончил XII том «Мемуаров», которые доведены до 1772 года.

1793. Взмолвленный событиями во Франции, пишет «Письмо Робеспьеру». Судьба этого письма неизвестна.

1794. Ссора с Опицем, постоянным корреспондентом Казаковы с 1788 г.

1795. Тайком покидает замок Дукс, но после краткого пребывания в Берлине возвращается обратно.

1797. Выпускает брошюру, трактующую вопросы французской лингвистики. В это же время он, по-видимому, отказывается от намерения опубликовать свои «Мемуары».

1798, 4 июня. В замке Дукс в возрасте 73 лет умирает Джованни Джакомо Казанова.

В 1820 г. Карло Анджелини, внучатый племянник Казаковы, передает издателю Брокгаузу рукопись «Мемуаров» Казаковы в 12-ти томах.